

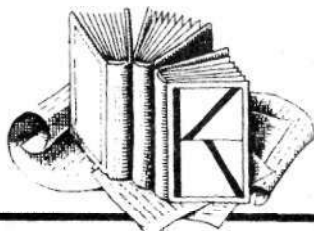


ПИСАТЕЛИ О ПИСАТЕЛЯХ

АЛЛА МАРЧЕНКО

**С ПОДОРОЖНОЙ  
ПО КАЗЕННОЙ  
НАДОБНОСТИ**





ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»



Jim Stewart

АЛЛА МАРЧЕНКО

---

**С ПОДОРОЖНОЙ  
ПО КАЗЕННОЙ  
НАДОБНОСТИ**

Лермонтов

Роман в документах и письмах

МОСКВА «КНИГА» 1984

ББК 77. 3

М 23

Общественная редколлегия серии:  
*Д. А. Гранин, А. М. Зверев, Ю. В. Манн,  
Э. В. Переслегина, Г. Е. Померанцева,  
И. А. Тертерян, А. М. Турков*

Предисловие  
*Нафи Джусойты,*  
*доктора филологических наук*

Рецензент:  
*Вл. Гусев,*  
*кандидат филологических наук*

Художник  
*Наталья Бочарова*

## ПОСТИЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА

Алла Максимовна Марченко — известный критик и исследователь русской современной и классической поэзии, да и не только русской. И Лермонтовым занимается давно и успешно.

Новая ее работа также посвящена М. Ю. Лермонтову. Это не биография, не жизнеописание и не очерк творческого пути писателя. Хотя в книге есть и то, и другое, и третье, это прежде всего — исследование характера поэта. Имею в виду не жанр книги, а ее суть.

О Лермонтове, о его жизни и творчестве написано множество книг и статей, немало среди них работ талантливых. Но надо сказать, что такого художественного исследования, такой книги еще не было. И дело вовсе не в том, что А. Марченко удалось обнаружить новые факты и материалы. Напротив, в этом плане Марченко исходит из давно или недавно установленных и научно выверенных фактов. Новизна же и оригинальность книги в том, что автор попытался вскрыть диалектику характера, мощного и цельного и в то же время сложного по структуре. Изобразить характер поэта в целостности и противоречивости, истолковать логику его поступков автору удастся убедительно, доказательно и пронизательно. Это тем более отраднo, что Марченко нигде не идет на поводу интуитивной пронизательности. Свои догадки она высказывает не раньше, чем находит подтверждение им в логике самых разнообразных фактов бытового, литературно-творческого, психологического ряда — там, где перекрещиваются показания самых различных свидетелей. Кстати, надо сказать, что этому искусству автор книги во многом учился у своего героя — у Лермонтова-психолога, у Лермонтова-человековеда.

Любопытно отметить, что А. Марченко так искусно ведет повествование, что и нас, читателей, делает соучастниками своей интерпретации, своего проникновения в глубинные слои характера героя. И убеждаешься, что искусство здесь не в манере подачи, изложения фактов и аргументов — хотя надо сказать, что автор безусловно обладает вполне сложившимся стилем повествования и сюжетосложения, — а в умении видеть и отыскивать в сумме известных фактов незамеченные прежде сцепления и сближения.

И все это приводит к тому, что мы, привыкшие к традиционной трактовке, невольно забываем о своем, укоренившемся в сознании стереотипе и с благодарностью принимаем новое «внушение», новое представление о характере любимого поэта.

Сюжет своего повествования Марченко строит внешне в полном

согласии с хронологической канвой краткой жизни поэта, не столь уж богатой событиями, но предельно насыщенной внутренними исканиями.

Мы знакомимся с детством и юностью поэта. Автор в причудливой композиции подает лишь факты, но строит повествование исключительно занимательно, незаметно для нас, исподволь подводя к сердцевине рано сформировавшегося, цельного и могучего характера. Характера, в котором, по верному наблюдению автора книги, доминантой выступает гордость. Но это не обычная гордость, а «гордость лермонтовской пробы», иначе говоря — независимость, вольнолюбие, противостояние, «с небом гордая вражда», героическая воля, готовность к подвигу.

Автор убедительно говорит о том, что в лермонтовском характере естественно уживались стремление к активной, деятельной жизни в атмосфере всеобщей общественной апатии в последекабрьское время и страсть к песнопенью, понятая как единственное и пожизненное призвание. Такая позиция, естественно, вела к осознанию себя единственно ответственным лицом за свою судьбу.

В свете этой логики объясняется и решение 18-летнего Лермонтова покинуть Московский университет и поступить в школу гвардейских юнкеров, как бы отказаться от литературного поприща, к которому так целеустремленно готовился, и стать воином.

Внешне все выглядит случайным, немотивированным, но это лишь с точки зрения обычного здравого смысла. По логике Лермонтова все естественно. Крутой поворот судьбы предпринимается осмысленным волевым усилием. Происходит испытание себя «скучными песнями земли», всем земным в самой грубой форме, происходит своеобразное опрощение. Но в то же время Лермонтов силой воли сохраняет независимость, укрепляет свою готовность к подвигу.

От двух нелегких лет пребывания в юнкерах Лермонтов переходит к испытанию себя на «светскость», к познанию «света» изнутри.

Автор сосредоточивает свое внимание в творческом плане на драме «Маскарад», в биографическом — на взаимоотношениях с В. Лопухиной. В истории любви и разлуки с Лопухиной исследователь опять-таки занят разгадкой характера поэта. Глава об испытании характера любовью написана прекрасно, тонко, деликатно, убедительно. История создания «Маскарада» исследуется как испытание характера «светом», его интригами и пошлостью. Однако здесь присутствует и подспудная мысль — отыскать не только творческие истоки «Смерти Поэта», но и чисто биографические мотивы, подготовившие Лермонтова к его подвигу. Марченко видит в «Маскараде», в истории драмы, кроме всего прочего, еще и пушкинскую тему. Правда, она тактична и осторожна, она предупреждает; речь идет не о буквальном описании «истинного происхождения», но лишь о том, что «Смерть Поэта» — отклик, реакция на кровавый финал пушкинской драмы. Начало ее отразилось в «Маскараде». Вот именно — «отразилось». У исследователя имеются веские доказательства. Автор убеждает читателя, что в 1835—1836 годах Лермонтов как бы готовился к встрече с Пушкиным, присматривался не только к его творчеству, но и к его личности, ведь для него Пушкин — единственный поэт, с кем он желал померяться силой, хотя и знал, что Пушкин — «дивный гений». Поэтому и «Смерть Поэта» не только

памятник всероссийскому горю, но и личному горю Лермонтова. В этом автор убеждает тонким анализом стихотворения.

Такое освещение дальних подступов к подвигу поэта делает сам подвиг не случайным поступком, а именно подвигом, к которому Лермонтов был подготовлен и логикой творческого развития, и логикой характера, и силой личного пристрастия, особого пристрастия к Пушкину.

Марченко поступила правильно, не оборвав пушкинскую тему на разговоре о «Смерти Поэта». Повествуя о событиях жизни поэта в период его первой ссылки на Кавказ и по возвращении из ссылки, автор вновь и вновь обращается к Пушкину в связи с новыми творческими устремлениями Лермонтова.

Алла Марченко написала отличную книгу о Лермонтове — человеке и поэте. Исследовательский талант автора счастливо сочетается здесь с талантом повествователя. Читается книга с необыкновенным интересом, как роман, написанный в ярком стилистическом ключе и оригинально скомпонованный. С чувством особой радости рекомендую ее читателям.

*Нафи Джусойты,  
доктор филологических наук*



## ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Москва моя родина и всегда ею останется. Там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив.*

25 октября 1827 года пензенской помещице Елизавете Алексеевне Арсеньевой, урожденной Столыпиной, на основании записи, сделанной в октябре 1814 года в метрической книге церкви Трех святителей у Красных ворот, было выдано из Московской духовной консистории следующее свидетельство:

«Октября 2-го в доме господина покойного генерал-майора и кавалера Федора Николаевича Толя у живущего капитана Юрия Петровича Фермонтова родился сын Михаил... крещен того же октября 11 дня... Восприемницею была вдовствующая госпожа гвардии поручица Елизавета Алексеевна Арсеньева».

Факт вроде бы ничем не примечательный, но попробуем вдуматься в него, вписав в бытовой контекст эпохи...

Сожженная пожаром древняя столица стала постепенно «наполняться» лишь к лету 1813 года. Одними из первых вернулись из Нижнего Новгорода Карамзины. Картина, представшая историку Государства Российского, была печальной, куда более печальной, чем виделось из нижегородского далека:

«С грустью и тоской вехали мы в развалины Москвы. Живем в подмосковной нашего князя Вяземского... Здесь трудно найти дом: осталась только пятая часть Москвы. Вид ужасен. Строятся очень мало. Для нас этой столице уже не бывать».

Жилье в конце концов нашлось, но жить в нем, а тем более работать было затруднительно: несколько комнат без всяких удобств, и притом втридорога. Однако чувство дискомфорта, мешавшее Николаю Михайловичу обжиться в Москве, создавали не только бытовые неудобства, и дороговизна: («Цены на все лезут в гору», пуд рафинада — 100 рублей ассигнациями!). И в лучшие свои времена Карамзины жили более чем скромно: придворный историограф, как вспоминают очевидцы, сам ходил в лавочку за чаем и сахаром...

Иным стал нравственный климат, словно в великом пожаре сгорели не только дома, драгоценные рукописи и уникальные библиотеки, но и нечто более важное — дух высокого бескорыстия:

«Здесь все очень переменялось, и не к лучшему. Говорят, что нет и половины прежних жителей. Дворян же едва ли есть и четвертая доля, из тех, которые обыкновенно приезжали сюда на зиму. Один Английский клуб в цветущем состоянии».

Граф Федор Ростопчин, инициатор «сожжения», негодовал: и его подвиг, и подвиг тех, кто добровольно, «действуя заодно с народом»,

«предавал пламени все свое достояние», перестал вызывать восторг и восхищение. «Патриотизм по-ростопчински» вдруг, в одночасье, «вышел из моды». В послепожарной Москве тон стали задавать «реалисты» — те, для которых, по едкому определению неистового губернатора, «денежная сторона великой катастрофы» затмила и ее славу, и славу «ультрамосквича».

По возвращении императора из Европы «великий поджигатель» добился высочайшей аудиенции, однако Александр I принял Ростопчина более чем холодно. В глазах самодержавного триумфатора московский генерал-губернатор теперь, когда вместе с опасностью поостыл и сверхпламенный патриотизм, был персоной «нон грата». Человеком, «навязанным ему общественным мнением». Общим мнением и «отторгнутым» — «по неизбежному обратному толчку».

Казалось бы, кому как не Федору Ростопчину должна была быть известна глубинная, подводная причина этого «толчка»! Ведь он сам, хотя, видимо, и с «походом», определил величину денежного урона: 321 миллион. Между тем Александр Благословенный смог выделить для вспомоществования разоренным бедствием всего лишь два миллиона: французские войны опустошили казну. Сумма, в сравнении с масштабом бедствия, была столь мизерной, что смахивала на подаяние...

Для того чтобы представить и остроту положения и степень горячности, с какой в Москве 1814 года обсуждались правительственные меры в связи с разором, уместно напомнить такую деталь. Когда в 1833 году на юге России начался из-за неурожая голод, Николай I немедленно выделил губернаторам южных провинций; Репнину, наместнику Малороссийскому, и Воронцову — Новороссийскому и Бессарабскому — миллион!

Но знала ли вдова гвардии поручица Арсеньева, дочь Столыпина, обо всех этих обстоятельствах? Или пустилась в дальний путь с беременной дочерью и несамостоятельным зятем на авось, не ведая, каких усилий и трат будет ей стоить московское зимование — даже при самом благополучном разрешении Марии Михайловны от бремени? Ведь до весны, до окончания распутицы, нечего было и думать о возвращении в Тарханы! По провинциальному, так сказать, недомыслию и неосведомленности? Знала. И притом не от досужих посторонних, склонных к панике или, наоборот, прекраснородушию. Уж на что обстоятельным и твердым человеком был ее новый родственник — адмирал и сенатор Николай Мордвинов, только что (в июле 1813 года) выдавший дочь свою Веру за брата Арсеньевой Аркадия: и деньги, и связи, и громкое имя. А и тот, загнанный прошедшими бедами в степное захолустье, пережил смутное время в пензенском имении зятя — селе Столыпино. Лишь по весне 1814-го сдвинулись Мордвиновы-Столыпины с места, да и то не в Москву направились — в подмосковную деревеньку. Адмирал и сенатор не располагал средствами, достаточными, чтобы обстроиться на пепелище: московский дом Мордвинова сторел дотла вместе с обстановкой и коллекцией картин, приобретенных екатерининским любимцем во время итальянских экспедиций...

Короче: для того чтобы, на осень глядя, одинокой вдове вздумалось везти беременную дочь в Москву, минуя Пензу, битком набитую влиятельными родственниками (родная сестра Александра — жена вице-губер-

натора Евреинова), надо было иметь либо безответственный характер, либо шальные деньги, либо находиться в последней крайности.

Безответственностью Елизавета Алексеевна не страдала. Никогда не было у нее и легких денег, и если средства все-таки не переводились, то потому только, что всегда тратила их к месту. А вот крайность, в какую ее поставили и раннее замужество дочери, болезненной от рождения, и трудная ее беременность, была из самых крайних: госпожа Арсеньева не могла ждать, когда Москва делается обитаемой.

Она была старшей дочерью Алексея Емельяновича Столыпина, человека оборотистого, властного, предприимчивого, разбогатевшего на винных откупах, учрежденных в 1765 году. (А. Фадеев, женившийся на одной из дочерей пензенских Долгоруких, рассказывает в воспоминаниях, что семейство князей Долгоруких, несмотря на крайне стесненные обстоятельства, почти бедность, весьма холодно отнеслось к проекту зятя заняться откупами; до такой степени холодно, что Фадеев вынужден был отказаться от соблазнительной идеи. Но Столыпин был не столь щепетилен. Принадлежавшие ему виноделательные заведения, включая пензенский винный завод, не смущали его совести: они приносили доход, а деньги не пахли.) Замужество Елизаветы Алексеевны было не очень счастливым. Нельзя сказать, что Михаил Васильевич Арсеньев «женился на деньгах» — столь явный расчет был чужд его широкой и великодушной натуре. Да и деньги были не такими уж большими: чтобы купить Тарханы, и притом по случаю, «по дешевке», к приданому пришлось присовокупить почти все свадебные подарки (Столыпина, как люди практичные, предпочитали одаривать новобрачных серебром и ассигнациями).

Михаилу Васильевичу шел 27 год. По понятиям 18 столетия, самое время, оставив разорительную, не по карману, гвардейскую службу, остепениться, обзавестись семьей да зажить степным помещиком.

В соответствии с этим направлением мыслей он и сделал свой выбор. Невеста была умна, рассудительна, степенна, правда, немного сурова и «до некоторой степени неуклюжа», а главное, громоздка. И «Алексеевичи» и «Алексеевны» статью пошли в отца; Алексей же Емельянович был столь «великого роста», что в юности служил гренадером в лейб-кампанском корпусе. Все это: и чересчур высокий рост, и суровость делали Елизавету старше своих двадцати лет; двадцатисемилетний супруг, мужчина статный и видный, из-за необычайной молодости, выглядел едва ли не младше ее.

Зато за такой женой не пропадешь: ровное, надежное, спокойное постоянство. Да и столыпинская поддержка многого стоила. Не имей родственники жены устойчивого авторитета в Пензенской губернии, не стать бы елецкому дворянину уездным предводителем чембарским! Казалось бы, не велик почет — одни хлопоты, но именно хлопот, и не узкосемейственных, требовал темперамент господина Арсеньева.

В журнале «Вестник Европы» за 1809 год опубликован любопытный документ — письмо из Чембара, присланное в редакцию губернским секретарем и уездным заседателем чембарского суда Евгением Вышеславцевым, — наивный, совершенно безыскусный рассказ о том, как Арсеньев уговорил некоего господина М., выигравшего на законном основании многолетнюю земельную тяжбу с соседом, отказаться от

присужденной ему суммы, и притом не прибегая ни к каким судейским уловкам — воздействуя лишь на совесть истца. Такими живыми красками изобразил бедственное положение ответчика, с таким жаром человеколюбия, что достиг цели, чем, видимо, сильно поразил воображение чембарских обывателей. Судя по всему, случай с господином М., не устоявшим перед красноречием Михаила Васильевича, был типичным для деятельности последнего; иначе трудно представить себе появление «Письма из Чембара» — этого, по определению его автора, «анекдота, утешительного для друзей человечества», — на страницах столь солидного издания, каким был в те годы «Вестник Европы».

Вряд ли такого рода «анекдоты» были по нраву Елизавете Алексеевне: ее человеколюбие никогда не переступало границы «семейного круга». Не слишком радовало суровую супругу Михаила Васильевича и его увлечение разного рода удовольствиями, равно как и страсть к изящным мелочам. Ей и сальные свечи хороши, тем более нынешние тоненькая, редко снимать надобно; а ему — восковые подавай, прозрачного виду. А то и французских из Москвы привезет... Мыслимое ли дело — 64 рубля ассигнациями за пуд?

Среди удовольствий, на какие горазд был Михаил Арсеньев, случались и самые что ни на есть банальные. Так, к примеру, однажды из московской поездки привез он в Тарханы карлика — «менее одного аршина ростом». Куда делся уродец, когда затейнику надоела диковинка, неизвестно, но в течение двух или трех месяцев любопытствующие — и окрестные помещики, и крестьяне — могли наблюдать это представление сколько заблагорассудится: живая кукла имела обыкновение спать на подоконнике фасадного окна.

Однако были среди затей Михаила Васильевича и более оригинальные: елки, маскарады, домашние спектакли. Домашний театр не редкость в быту русского дворянства конца XVIII — начала XIX века. Даже тесть Арсеньева содержал некоторое время огромную труппу, известную всей Москве. Но театр Алексея Емельяновича — обычный крепостной театр, дань моде и тогдашним представлениям о престиже. В театральных же предприятиях его зятя ведущим актером и режиссером, и декоратором был он сам. И удивляли они не пышностью постановки, а изобретательностью, артистизмом и, главное, увлеченностью, какую вносил Арсеньев в провинциальные развлечения...

Неумение и нежелание Михаила Васильевича ограничить себя домашним кругом хотя и не слишком способствовало семейственности, но и не нарушало налаженного стараниями Елизаветы Алексеевны мирного течения бытовой жизни. Хуже было другое: и Елизавета Алексеевна, и Михаил Васильевич, заключая брачный союз, видели себя в окружении целого выводка детей. Однако после рождения Марии Михайловны Елизавета Алексеевна заболела тяжелой и, видимо, неизлечимой женской хворью. Идеального многодетного семейства не получилось; мечта Михаила Васильевича о сыновьях, на которых могла бы излиться энергия его нестареющей души, так и осталась мечтой. Единственная же дочь была тиха и болезненна. Ни в мать, ни в отца... Так полагал Арсеньев. Елизавета Алексеевна судила иначе; она-то

видела: под тихостью тлеет опасный арсеньевский огонь, но предпочитала не делиться своими соображениями с мужем...

К тому же Михаил Васильевич начал дурить. Вот уж действительно — седина в голову, бес в ребро. Хотя какой из него старик? Это она в свои тридцать шесть лет выглядит почти пожилой женщиной того и гляди перейдет в разряд почтенных старух, а ему хотя и за сорок перевалило, — все молодец! И держится молодым, и чувствует по-молодому. Нет чтобы приволокнуться развлечения ради — влюбился! И страстно.

Елизавета Алексеевна придирчиво присматривалась к сопернице и не могла отыскать в ней изъяна: красива, изящна, жива, белолица — и это при резко-черных волосах! Разве что ростом не вышла — субтильна, но крупные женщины не в фаворе у Михаила Васильевича, в этом его супруга могла убедиться на собственном горьком опыте.

Проживала разлучница по соседству, именовалась госпожой Мансыревой и была замужем, но муж, человек военный, пребывал в вечном отсутствии, так что, пользуясь свободой сельских нравов, хозяйка села Онучи принимала чембарского предводителя безотказно. О том, что скрывалось за безотказностью, госпожа Арсеньева старалась не думать. Чувства черноглазой вертихвостки ее не интересовали, к тому же, судя по горести, какой предавался влюбленный супруг, там ничего и не было, кроме обычного кокетства, подогреваемого провинциальной скукой.

Ну что ж, и это надо перетерпеть: перемелется — мука будет...

Не перемололось.

1 января 1810 года, как и было заведено с тех пор, как Машенька встала на ножки, Михаил Васильевич затеял елку. А к елке — и маскарад, и спектакль, на этот раз из Шекспирова Гамлета, и себе костюм смастерил — могильщиком вырядился. И гостей, как водится, наприглашал, и нарочного в проклятые Онучи отправил. Верного человека снарядил — камердинера своего, Максима. Да только с дурной вестью Максим воротился: муж-де появиться изволил, и в дому огни потушены. Сообщено по секрету было, на ухо, но в тарханском доме, где никто из слуг и дыхнуть без ведома хозяйки не смеет, какие секреты?

Удостоверясь, что праздник не будет испорчен присутствием очаровательницы, Елизавета Алексеевна повеселела. Но обернулось трагедией — не аглицкой, выдуманной, а самой что ни на есть натуральной.

Вот какой запомнилась ночь с 1 на 2 января 1810 года гостям господина и госпожи Арсеньевых:

«Елка и маскарад были в этот момент в полном разгаре, и Михаил Васильевич, был уже в костюме и маске; он сел в кресло и посадил с собою рядом по одну сторону жену свою Елизавету Алексеевну, а по другую несовершеннолетнюю дочь Машеньку и начал им говорить как бы притчами: «Ну, любезная моя Лизанька, ты у меня будешь вдовушкой, а ты, Машенька, будешь сироткой». Они хотя и выслушали эти слова среди маскарадного шума, однако серьезного значения им не придали или почти не обратили на них внимания, приняв их, скорее, за шутку, нежели за что-нибудь серьезное. Но предсказание вскоре не замедлило исполниться. После произнесения этих слов Михаил Васильевич вышел из залы в соседнюю комнату,

достал из шкафа пузырек с каким-то зелием и выпил его залпом, после чего тотчас же упал на пол без чувств и из рта у него появилась обильная пена, произошел между всеми страшный переполох, и гости поспешили сию же минуту разъехаться по домам. С Елизаветой Алексеевной сделалось дурно; пришедши в себя, она тотчас же отправилась с дочерью в зимней карете в Пензу... Пробыла она в Пензе шесть недель, не делая никаких поминовений».

Смерть хозяина не изменила бытового уклада Тархан. Подобно пушкинскому «почтенному бригадиру» Ларину Дмитрию, Михаил Арсеньев никогда не входил в экономические заботы своей супруги. Имение принадлежало ей (496 душ мужского пола с землями, лесными и всякими угодьями). Следовательно, ей, владелице, и надлежало властвовать. И Елизавета Алексеевна властвовала. Не только хозяйственные распоряжения, но и деловые бумаги в присутственные места шли от ее имени. Не спросясь мужа, Елизавета Алексеевна переменила заведенный прежними владельцами поместья — Нарышкиными — порядок. Ввела три дня «барщины старинной», однако и «тарханить», то есть скупать в деревнях разного рода сельскохозяйственные излишки — от меда до овчин, — людям своим не запретила. Нарышкины держали крепостных на оброке, оброк же желали иметь не в натуре, а в ассигнациях; вот их мужики и изворачивались — «подтарханивали» («тарханами» называли в Пензенских краях мелких торговцев-перекупщиков). Арсеньева и рынок в селе своем повелела открыть. Беспокойство, конечно: при рынке — кабак, где кабак, там и гульбище. Но понимала: если не дать людям возможности подзаработать, придется «отрезать» от своего надела, своим доходом жертвовать. Число крепостных душ росло, а количество пахотной земли, закрепленной за крестьянским «миром», оставалось прежним. «Отрезать» — Елизавета Алексеевна не желала; однако и лохмотья видеть не хотела, вид нищеты весьма неприятно действовал на самолюбие «достаточной помещицы».

В результате захудалое Никольское, Яковлево тож, проданное Нарышкиными за бездоходность, стало приносить солидную прибыль (в редкие годы ниже 20 000 рублей).

В ту пору многие из образованных русских дворян, те особенно, кому пребывание за границей сообщило «весьма практическое направление», пытались внедрить в свой быт идею комфорта, то бишь «соразмерного устройства и распределения всех частей помещения, самых малых статей хозяйства, выгодного соображения всех потребностей быта с его способами».

Заморский комфорт на русской почве приживался плохо. А. И. Герцен вспоминает:

«Отец мой провел лет двадцать за границей, брат его еще дольше; они хотели устроить какую-то жизнь на иностранный манер, без больших трат и с сохранением всех русских удобств. Жизнь не устраивалась, оттого ли, что они не умели сладить, оттого ли, что помещичья натура брала верх над иностранными привычками? Хозяйство было общее, именье нераздельное, огромная дворня заселяла нижний этаж, все условия беспорядка, стало быть, были налицо».

Новомодных штучек Елизавета Алексеевна не признавала. Жила

по старинке: не именье, а маленькое государство — своя церковь свой причт, свой врач; свои обойщики, столяры, ткачи, повара кондитеры, пирожники, свой маленький консервный завод, занятый производством бесчисленного количества солений, варений да фруктовых вод на меду и т. д. и т. п. И, разумеется, собственный придворный живописец — создатель семейной портретной галереи. Ему же, в случае надобности, заказывались и образа для домашней церкви. По смерти Михаила Юрьевича пожелала Елизавета Алексеевна расписать купол усыпальницы семейственной; в центре композиции — Михаил Архангел; лик же святого — повелела списать с портрета внука, сделанного в самую счастливую пору их жизни и потому особенно дорогого...

Со всем этим многосложным хозяйством Арсеньева управлялась и без лишних трат, и с толком; прижимиста, бережлива, но в меру, не до потери лица и достоинства: на нужное денег не жалела, без лишнего легко обходилась, не в пример покойному Михайле Васильевичу...

Домовитостью отличались все сестры Столыпины, особенно Екатерина. Елизавета и Екатерина, почти погодки, росли и выросли вместе. Пристрастие к сестре-подруге Арсеньева перенесла и на дочь Екатерины — Марию, а затем и на внука Акима, — хотя виделась с ней не часто, куда реже, чем с младшими, пензенскими — Натальей да Александрой. Екатерина Алексеевна вышла замуж за «кавказца», Павла Хастатова, там и прижилась. Крохотное имение Хастатовых находилось в районе Пятигорска, недалеко от горы Машук, той самой горы, которой суждено было стать местом последней дуэли поэта, местом его смерти.

Екатерину Хастатову, по себе Столыпину, кавказские ее знакомцы называли «передовой» помещицей. И в этом не было насмешки. Чтобы жить и успешно заниматься хозяйством в непосредственной близости от Линии Кавказского фронта, нужно было обладать действительной, а не показной силой духа, а главное, — умением не делать ничего впопыхах — отчего происходил в делах надежный и прочный порядок.

В Тарханах же, кроме порядка, был и уют. Дар этот — умение вить гнездо, защищая его «заветным кругом» забот неусыпных, — был у Елизаветы Алексеевны и смолоду, но расцвета достиг лишь тогда, когда все силы неизрасходованной любви и жара семейственности сосредоточились на обожаемом внуке. Где бы ни останавливалась вдова Арсеньева на временное житье — на Водах Кавказских, в Москве или в Петербурге, — она тут же, не мешкая, начинала обживать и отлаживать «приют» — оборонять Мишеньку уютом. И все это — не входя в лишние, не приличные доходам траты, страсти к роскошной отделке наемных квартир не предаваясь, малыми, полудомашними способами обходясь: что полезно да удобно, то и красиво.

С дочерью Елизавета Алексеевна была не в пример суровее. В год смерти мужа, убитая горем, стыдом, а пуще — смертной обидой, совсем было решила отправить ее в Петербург, в Смольный, — и прошение послано, и ответ получен благоприятный, — но за лето передумала: обуздала оскорбленную гордость и сердце опять повернулось к жизни.

В архиве «Воспитательного общества благородных девиц» в списке

пансионерок за 1810 год против имени Марии Арсеньевой стоит помета: «Не представлена».

У биографов Лермонтова нет единодушия в отношении к его бабке. И это понятно: среди документов, характеризующих личность госпожи Арсеньевой, есть и свидетельствующие не в ее пользу. Известно, например: одиннадцать человек дворовых — все, что принадлежало лично Михаилу Васильевичу, Арсеньева тотчас по смерти его переписала на свое имя. Прибрала к рукам и большую часть мужниних крепостных, переселенных в Тарханы из Орловской губернии (там были наследственные поместья Арсеньевых), после проведенного по настоянию Елизаветы Алексеевны семейного раздела, которого покойный супруг ее не удостоился добиться при жизни. По свойственной ему беспечности. По равнодушию к надежной собственности.

По-видимому, с хлопотами о наследстве связаны и частые в первые годы вдовства поездки Елизаветы Алексеевны вместе с дочерью в село Васильевское — вотчину Арсеньевых. Когда заходила речь о жизненно важном деле, бабка поэта не считалась со своими чувствами — ни с симпатиями, ни с антипатиями, — если чувства эти не касались тех, кого она без памяти любила — то есть *самых своих*.

Господа Арсеньевы после рокового маскарада 1810 года навсегда исключены из списка *своих*. Но ладить с ними необходимо, ибо необходимо выколотить из этих непрактичных людей все, что полагалось по закону вдове и дочери одного из Васильевских бонвиванов!

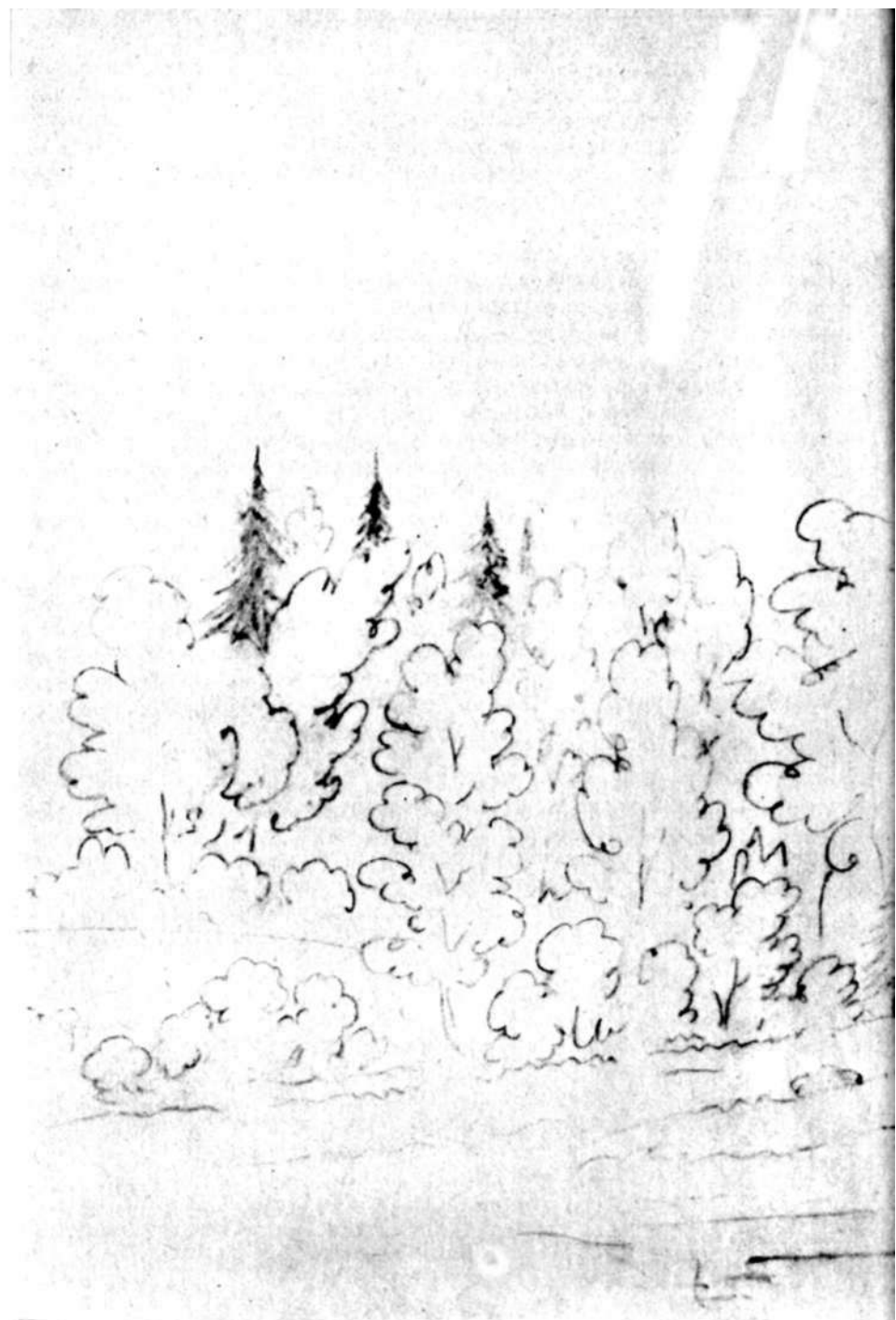
Все это очень смахивает на скупость — можно употребить и более сильное слово; скарденность, и все-таки ни элементарной скупостью, ни боязнью одинокой вдовы упустить лишний кусок поведения Арсеньевой не объяснить...

Надлежало во что бы то ни стало устроить судьбу единственной дочери — не просто выдать ее замуж, но и оградить от брачных случайностей. Ведь и подумать жутко, сколько бродит вокруг да около молодцов, готовых в одночасье просвистеть и свое, и женино! Игроков, пустодомов да мотов! Ей — ничего не нужно. Все, что у нее есть, — Машино. Но какая из дочери хозяйка? Вся в отца: одни химеры на уме и на сердце! Пусть уж лучше и движимое, и недвижимое остается в ее, по-столыпински надежных, руках (у Столыпиных был редкостный на Руси талант — умение превращать бездоходные и захудалые имения в доходные и процветающие).

Происходили пензенские Столыпины из бедных муромских дворян (две крохотные деревеньки, 20 душ крепостных). В семьях столь скудного достатка все, что касалось домашнего хозяйства, практиковалось по необходимости с усердием. По необходимости и детей, тем более мальчиков, воспитывали как работников. К десяти годам наследники мелкопоместные должны были и толк в обработке поля понимать, и цены на разные сорта хлеба знать, и лошадь уметь заложить — зимой в сани, в телегу — летом.

Это уже потом муромские Столыпины в гору пошли: послепетровской России нужны были молодцы, годные ко всякому полезному делу. Прочные люди, взращенные на вольном деревенском воздухе, на скудных полумужичьих хлебах, а не боярские недоросли, зараженные бледной немочью в душных хоробах. В деятелях нужда была,







а не в трутнях. Недаром в этой семье, по традиции, прочно держался культ Великого Петра. Вот что писал о Петре I один из братьев бабушки Лермонтова:

«Куда мы ни взглянем, где ни ступим внутри нашего отечества, везде находим следы его трудов, его попечений, везде видим печать его гения».

Самым любимым из детищ Великого Реформатора была регулярная армия, и ей также требовались кадры — солдаты гренадерской стати. Столыпины же и по этой части вроде как в своего легендарного земляка — Илью-былинного пошли: великаны в их роду не переводились.

Воспоминания пензенского чиновника донесли до нас забавный провинциальный анекдот. Отец Екатерины Сушковой (мисс Блэк-айз юношеской лирики Лермонтова) — буян, игрок и придира, повздорил как-то с одним из братьев Елизаветы Арсеньевой и, чтобы дать ему пощину, вынужден был, схватив стул, взобраться на него. Взбешенный гигант хотел было «смять его как козявку», да не тут-то было: юркий Сушков проскользнул меж столыпинских ног.

А вот еще один анекдот из столыпинской серии — о Дмитриии Аркадьевиче Столыпине: «Росту он был исполинского. Приезд его и посещения затруднялись иногда тем, что для него невозможно было приискать достаточного размера кровати. Но к этому он привык и искусно подставлял стулья, так что мог улечься без помехи».

«Исполинство» Столыпиных способствовало рождению полумифов. Граф С. Шереметьев, вспоминая о Дмитриии Аркадьевиче, племяннике Елизаветы Арсеньевой и внучке Мордвинова, пишет:

«Крымская война заставила его искать более деятельной боевой службы... На Черной речке он совершил подвиг под градом пуль и вынес на плечах своих в виду неприятельской линии тело убитого Веймарна. Французы, пораженные смелостью, при виде этого исполина, мерным шагом отступавшего с телом убитого генерала, прекратили пальбу, выражая одобрение. Это подвиг гомерический, напоминающий сказание об Аяксе...»

Судя по рассказу самого «исполина» («Из личных воспоминаний о Крымской войне»), подвиг выглядел не совсем таким, как в бытовавшей легенде. Дмитрий Аркадьевич Столыпин действительно участвовал в знаменитом сражении при Черной речке и в самом деле вынес тело своего начальника из-под неприятельского огня, но не один — с помощью нескольких рядовых. Не упоминает он в своих записках и о реакции французов. Однако появление легенды замечательно: в стойком, «не неврастеническом мужестве» лучших представителей этого рода было нечто, поражающее воображение; в «неврастеническое время» оно вполне могло казаться «гомерическим»...

Гренадерский рост был не единственной фамильной столыпинской чертой, переходящей из колена в колено. Со столь же неуклонным постоянством наследовался в этом прочном роду и еще один признак — «умный ум». Практический. Лишенный склонности к мистицизму и мечтательности, основательный и дальновидный, из тех, что видит предмет в его настоящей сущности, не увлекаясь наружностью.

Ни блеска, ни легкости, ни размашистости в Столыпиных не было.

Зато это были люди надежные, твердые и, что называется, с правилами: слово не расходилось с делом, поступки — с рассуждениями. Решались они тихо, соразмерно с благоразумием, но, решившись, действовали скоро и успешно, ибо обладали гибким, тонко реагирующим на изменчивость обстоятельств характером,

В бумагах Петра Андреевича Вяземского сохранилась «Записка» об Аркадии Алексеевиче Столыпине (зяте Н. С. Мордвинова и отце Дмитрия Аркадьевича; в конце XIX века «Записка» опубликована в «Русском архиве» П. Бартевым).

Вряд ли оставшийся неизвестным сочинитель «некрологии» помышлял о внуке старшей сестры Аркадия Алексеевича, но когда читаешь ее, невольно думаешь, что многими чертами своей личности (редкая пронизательность в соединении с неутомимой наблюдательностью, умение сосредоточиться на «единой мысли», постоянство воли и, наконец, потребность действовать) поэт Лермонтов обязан своим предкам — «по столыпинской линии»...

Аркадий Алексеевич, утверждает автор «Записки», «не прежде оценивал поступки другого, пока не проникал причины их, и, наблюдая за ними, верно угадывал последствия, отчего редко... ошибался в людях. Знал он по возможности все изгибы сердца человеческого... Когда же размышлял о каком-либо предмете, то старался совершенно проникнуть оный своим понятием, и тогда ничто не могло развлечь его, доколе он не обзрел предмет своего вполне: такова была в нем сила внимания...

В достижении цели... был постоянно мужествен и потому не оставлял того, что предпринимал. Был чрезвычайно деятелен. Один умный человек сказал об нем, что он „спешил жить“».

От Столыпиных же, видимо, досталось Лермонтову и его серьезное, не разменивающееся на пустяки честолюбие. Самолюбие добрейшего и милейшего Михаила Васильевича Арсеньева вполне довольствовалося победами уездного масштаба да лаврами первого актера домашних театров.

Братья Елизаветы Алексеевны метили выше. Их отец, выйдя на девятнадцатом году жизни в отставку, пустился в аферы; винокурные заводы росли как грибы. Позднее Алексей Емельянович прибрал к рукам и сверхвыгодные поставки военному ведомству, все по той же питейной части (одержимый идеей «благонравия», Александр I повелел открыть при каждой армейской части собственные питейные точки, дабы солдаты Его Величества не теряли достоинства по трактирам, а напивались, не покидая полковых территорий). Словом, дать блестящее образование всем своим «богатырям», а их было ни много ни мало — пятеро, и все и умны, и способны, — Столыпин-отец сумел, что называется, не надрываясь. Сыновья же не только распорядились предоставленной им возможностью, но и ценить это умели. И чувство благодарности, и «бугор семейственности» был развит в этом роду до чрезвычайности. До глубокой старости Алексей Емельянович оставался столпом клана. За несколько лет до его кончины М. М. Сперанский, бывший в ту пору пензенским губернатором, писал в Петербург — сыну Алексея Емельяновича и другу своему Аркадию: «Батюшка ваш... очень слаб телом, но довольно бодр еще духом, а

особливо поутру. Вечер играет в карты, обедает всегда за общим столом, хотя и не выходит из тулупа. Ноги очень плохи. Прекрасная вещь видеть, как водят его ваши сестрицы из одной комнаты в другую: ибо один он пуститься уже не смеет».

Показателен сам тон письма Сперанского — ни тени иронии по отношению к винокуренному степному королю в нагольном тулупе, возглавляющему чинный стол, тон, несомненно, заданный стилем семьи.

Однако, зная образ чувств и мыслей наследников пензенского винного «нувориша», их подчеркнутую щепетильность в вопросах долга и чести, и сам выбор пути — как можно дальше от Пензы и винных откупов, — можно с достаточной степенью вероятности предположить, что их если и не оскорбляло, то все-таки смущало, а, может быть, даже и тяготило не слишком благородное происхождение своего нынешнего — почти блестящего положения.

В отрывке «Я хочу рассказать вам...» Лермонтов писал: «Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало чувство, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, но они-то самые важные и есть; они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам».

О чувстве, унижительном для их достоинства, сыновья Алексея Емельяновича, надо полагать, никому не сообщали; вряд ли даже, учитывая их воспитание, вполне «тщательное», и личные их «брезгливости», обсуждали щекотливое обстоятельство меж собой. Но, видимо, тайное уязвление все-таки имело место; оно-то и подхлестывало, стимулируя, их честолюбие, накладывая на него отпечаток особого рода. (Тут, на мой взгляд, уместно напомнить, что Николай Семенович Мордвинов, тесть Аркадия Столыпина, родством с которым в семье бабки поэта особенно гордились, как вспоминает одна из дочерей адмирала, «восставал на винные откупа», «противен был ему источник дохода с вина». Мордвинов неоднократно говорил об этом с Александром I, поднимал вопрос о неблагоприятном промысле и в правительствующем Сенате. Борьба была, разумеется, чистым донкихотством. Винные откупа составляли огромный, но скрытый военный налог. Граф Канкрин сказал однажды в Государственном Совете: «Легко вам нападать на откупа! Ведь у нас — что кабак, то батальон».

И все-таки, по настоянию Н. С. Мордвинова, государственные гербы с «питейных домов» были сняты. Противник «доходов с вина» был достаточно широк и пронизателен, чтобы не оценить личных достоинств человека, получившего блестящее образование на «доходы с вина». Он и в дальнейшем с особым, выборочным уважением относился к мужу любимой дочери; после ее смерти, зять умер раньше, заменил сиротам Аркадия Алексеевича отца. Но вряд ли в этих особых обстоятельствах Аркадий Алексеевич мог забыть, что он всего лишь сын винного откупщика, вряд ли не старался сделать все возможное, чтобы другие об этом забыли...)

Все братья Елизаветы Алексеевны: и Александр, и Аркадий, и Николай, и Дмитрий, и Афанасий, — делая карьеру или деньги, были не дельцами, а деятелями.

Александр — герой Аустерлица и адъютант Суворова. Факт, не требующий комментария: легендарный генералиссимус людей мелкого

пошиба так близко к себе не подпускал; да и адъютант его знал, под чьим начальством честь имеет служить; это подтверждает написанная Александром Столыпиным биография великого русского полководца.

Николай — генерал-лейтенант, ревнитель военного просвещения, автор замечательной книги «Отрывки из записок военного человека» (об этом документе у нас еще пойдет речь в связи с родом военной службы, которую — по следам своего двоюродного деда — выберет Михаил Лермонтов).

Здесь же приведу несколько выдержек из нее; чтобы оценить их по достоинству, надо помнить, что книга писалась и издавалась в самый разгар аракчеевщины, в ту пору, когда, несмотря на опыт 1812 года, «русская армия продолжала жить под прежним экзерциргаузным режимом, и внешность осталась единственным объектом военного воспитания».

В том самом 1819 году, в котором закончилась публикация (в военном журнале при Генеральном штабе) «Отрывков» Н. Столыпина, в месяце мае был произведен высочайший смотр гвардейского корпуса. Участвовал в нем и знаменитый Семеновский полк. Вот фрагмент из приказа, подводящий итоги и оценивающий результаты мероприятия:

«Семеновский полк прошел со взводными дистанциями не чисто, у многих взводов левые фланги были назади, надлежащей тишины в шеренгах не было, много колен... согнутых, ногу подымали не ровно, носки были не вытануты... офицеры не чисто шли и шпаги дурно и неровно держали...»

Как выяснилось три четверти века спустя, анекдотический приказ был не только подписан, но и составлен самим Александром I.

Плац-парадное направление и строго соблюдаемый экзерциргаузный режим требовали и парадной, вычурной экипировки.

Вот как описывает офицер Волынского полка изобретенный для его полка головной убор:

«Это — большая, кожаная, обтянутая сукном кадушка с разными металлическими прибавками, всего весом в несколько фунтов, и пригонялся он на голову вплотную, да еще так притягивался к подбородку, что у другого глаза выпучивались...»

Строгого соблюдения уставной формы одежды требовали не только от нижних чинов и младших офицеров; ни малейшей вольности не позволяли себе и военные самого высокого ранга, вплоть до командира Отдельного гвардейского корпуса великого князя Михаила Павловича.

«Великий князь Михаил, — вспоминает служивший под его началом военный, — строго наблюдал, чтобы убор его лошади вполне соответствовал мундиру, в который он был одет». (Шеф гвардейцев имел возможность носить — смотря по настроению и расположению духа — форму любого из вверенных ему полков.) Как-то раз шталмейстер оплошал — «оседлал лошадь к разводу с убором не той части войска, которой мундир надел его высочество».

Михаил Павлович пришел в такую ярость, что «совсем не сел на коня», «остался пешим».

Офицеры втихомолку фрондировали; кто-то из острословов пустил

по гвардии анекдот: «Жаль, что приметно дыхание солдат, видно, что они дышат...»

Паскевич гордился, правда, спустя много времени, тем, что «не позволял акробатства с носками и коленками солдат». Николай Алексеевич не фрондировал; с помощью слова делал дело; спокойно, не позволяя себе резкостей и выпадов против отдельных личностей, объяснял;

«В вооружении и одежде войск не следует... смотреть на блеск или красу, но только на пользу: из сего не значит, что войска получают худой вид; ибо ловкость, прочность и удобство во всех вещах делают большую частью и красоту их, следовательно, сделавши полезное, не можно сделать противного для глаз, ежели только не будет умышленно стараться обезобразить».

«Должно, чтобы солдат одинаково одевался, идя в парад и вступая в дело... на войне должна быть такая же точность в исполнении, как на ученье... Полки учиться должны так, как они должны драться...

Что может делаться только при смотре или на ученье, должно отбросить как бесполезное и вредное... В обучении войск должно исключить малейшие излишности».

Отвергать «излишности» и выучку, рассчитанную на смотровые эффекты, в то время, когда сам император, обожавший игру в «живых солдатиков», был убежден, что война только портит его красивые игрушки? Для этого нужно было иметь отменное гражданское мужество.

К тому же автор «Отрывков», издавая свое сочинение, имел в виду не отдельные недостатки. Его не устраивала вся система образования армии, начиная от способа набора солдат («в гражданском отношении набор должен быть сколько возможно менее тягостным» — «надобно, чтобы все сословия участвовали в составе войск и чтобы каждый воин в гражданине и гражданин в воине видел своего ближнего») и кончая его, солдата, последней физической нуждой...

Несмотря на императивную лексику («должен быть», «должен отказаться») и повелительный синтаксис, «Отрывки из записок военного человека» никак не производят впечатление свода правил и выводов; делясь личным опытом, автор не декларирует, а предлагает «просвещенному воинству» тему для размышления: «...решился я издавать их совокупно, уверен будучи, что суждения моих со товарищей послужат мне полезным наставлением, а может быть и чтение сих отрывков подаст некоторым из них повод лучше обдумать и предложить менее искаженными предметы, о которых рассуждаю; по крайней мере, я всегда был того мнения, что мыслям взаимное сообщение так же необходимо, как движению воде, без которого она зацветает и гложнет».

Написанные в течение 1817—1819 годов, в момент не утихнувшего еще «грома побед», «Отрывки» вышли отдельной книгой в 1822 году.

В 1854 году одна из глав этой работы — «Опыт об употреблении легкой кавалерии» — переиздана племянником Николая Алексеевича — Дмитрием Аркадьевичем Столыпным. Крымская война, с ужасающей наглядностью продемонстрировавшая непригодность основных устройств русской армии, подтвердила и актуальность размышлений Николая Столыпина.

Не знаю, как отнеслись сотоварищи Николая Столыпина к его предложению — «лучше обдумать и предложить менее искаженными» вопросы, поднятые в его книге, но то, что племянник его, едва вышедший из младенчества в год смерти автора, переиздавая сочинения своего дядюшки, руководствовался не соображениями семейно-кланового престижа — несомненно. Тут было «взаимное сообщение мыслей». Это подтверждают и уже упоминавшиеся «Воспоминания» Дмитрия Аркадьевича о Крымской войне. И по стилю, и по духу они являются как бы продолжением записок Николая Алексеевича Столыпина:

«Я сделаю еще одно замечание, касающееся вообще до экипировки войск. Один раз генералу Веймарну (Дмитрий Аркадьевич — ординарец Веймарна. — *А. М.*) нужно было... ехать в главную квартиру с донесением; утомившись после долгой езды, мы взобрались на гору, откуда было видно место, где должна была стоять сотня казаков. Несмотря на начавшийся сумрак... мы при внимательном осмотре заметили белую точку; усугубляя на этот пункт внимание, мы могли рассмотреть, что это была белая лошадь, а продолжая смотреть в ту же сторону, мы различили и других лошадей. Таким образом, белая лошадь открыла нам казаков, поставленных в секрете. В мирное время серые лошади и вообще блестящее в амуниции у многих считаются весьма красивыми; но в военное время... это решительно не годится. Для форт-постов казачий полк на серых лошадях казался бы непригодным; то же самое можно сказать и о легко-кавалерийском полку той же масти, для аванпостной службы».

Казалось бы, мелочь, но сколько в этом частном эпизоде характерно столыпинского! И чисто столыпинский метод постижения истины — способом «усугубления главного пункта внимания», и чисто столыпинское пренебрежение ко всему внешнему и блестящему, и опять же — столыпинское умение в частности видеть общее (как будто у Столыпиных была не одна, а две пары глаз: с телескопическим и с микроскопическим устройством хрусталика...).

Севастопольский военный генерал-губернатор Николай Алексеевич Столыпин был убит — «растерзан толпой» во время холерного бунта в 1830 году. Чтобы такое могло произойти, он должен был сознательно, руководствуясь высшими правилами чести, отказаться и от личной охраны, и от тех мер предосторожности, какие полагались по закону особе столь высокого ранга в момент возмущения черни.

Через год, летом 1831-го холера достигла и северной столицы. В городе начались волнения. Растревоженная слухами о врачах-отравителях и нелепыми распоряжениями растерявшихся властей, толпа разнесла «чумную» больницу. Не доверяя администраторам, Николай I без охраны и оружия вышел к восставшей толпе и, пользуясь только силой слова, поставил ее «на колени».

Эпизод этот произвел неотразимое впечатление на современников. Даже язвительный маркиз де Кюстин, под влиянием рассказов о 7 июля 1831 года, пришел к заключению, что государь обладал чем-то вроде гипнотического обаяния и был храбрым человеком, так как, исходя из опыта холерных бунтов в военных поселениях, должен был знать: «В России нет более свободного человека, чем восставший солдат...»



Был ли на самом деле храбр Николай Павлович Романов? Видевшие его близко во время декабрьского мятежа в этом, как известно, сомневались. Александр Герцен считал его трусом. Но к 1831-му император уже вполне уверовал и в божественное происхождение самодержавной власти, и в то, что именно он, по высочайшей, не человеческой, божьей воле, является носителем ее на земле. Вера эта, поддерживаемая регулярными сеансами самогипноза, создавала и видимость личной храбрости, и иллюзию личной значительности...

У Николая Алексеевича Столыпина не было другой «охранной грамоты», кроме чисто столыпинского «не неврастенического мужества», но она не оборонила его: «В России нет более свободного человека, чем восставший солдат...»

Дмитрий Алексеевич Столыпин, участник войны 1812 года, командир одного из корпусов Южной Армии, активно вводящий в своих частях «ланкастерское обучение», был не только храбрый воин и талантливый генерал, но еще и ученый-теоретик, регулярно выступавший со статьями в «Артиллерийском журнале». Ему же принадлежит книга «О фортификационном профиле».

Сочинение это — узкопрофессиональное, рассчитанное на специалистов, но авторское предисловие небезынтересно и в рамках нашего сюжета:

«Не по малодушию, не по пренебрежению к отечественному, много любимому мною языку, издаю я сии записки на языке французском; по-русски я изложил бы их лучше. Причины более важные меня к сему побудили. Я говорю о французских инженерах вообще и о других писателях, еще находящихся в живых и пользующихся уважением, достаточно ими приобретенным, не только между соотечественниками, но и между просвещенными военными Европы... я почел неприличным писать свои мнения, кои не всегда с ними согласны, на языке, для них непонятном».

Очень любопытный психологический документ: «многолюбие» к родному языку и свободное владение французским; широкая осведомленность в проблемах военной инженерии («начну кратким изложением всего, что было написано о сем предмете со времени Вобана до наших времен») и умение сосредоточиться, на специальном его аспекте («ограничиваюсь обращением внимания... на Профиль — эту часть фортификации, которая ближе всего к нам артиллеристам»); уважение к уже сделанному совокупными усилиями просвещенных военных Европы и несогласие с их мнениями; уверенность в себе и такт, не позволяющий вести научный спор на языке, который непонятен европейским специалистам; смелость мысли и скромность ее выражения... Достоинство, которое нужно ревниво стеречь, не стоит того, чтобы его стеречь. Достоинство, с каким вел полемику Дмитрий Столыпин — тридцатилетний подполковник русской артиллерии, — не нуждалось в силовых приемах защиты...

В бумагах Александра I сохранилась запись:

«Есть слухи, что пагубный дух вольномыслия или либерализма разлит или, по крайней мере, сильно уже разливается и между войсками; что в обеих армиях, равно как и в отдельных корпусах, есть по разным местам тайные общества или клубы, которые имеют притом секретных миссионеров для распространения своей партии». Далее следуют имена

секретных миссионеров, среди которых и имя генерал-майора Дмитрия Столыпина.

Дмитрий Алексеевич скоропостижно скончался в возрасте 40 лет 3 января 1826 года. И первый биограф Лермонтова, П. Висковатов, связывает этот разрыв сердца с арестами лиц, причастных к восстанию 14 декабря.

Аркадий Алексеевич Столыпин, обер-прокурор Сената, умер несколькими месяцами раньше. По-видимому, и он был так или иначе связан с декабристами.

Николай Бестужев показал на следствии, что покойный А. А. Столыпин одобрял тайное общество и высказал предположение, почти уверенность: только смерть помешала сенатору действовать в нынешних обстоятельствах вместе с ними.

Сведениями более точными мы, к сожалению, не располагаем. Но, во-первых, Николай Бестужев — не из тех, кто не отвечает за свои слова. Во-вторых, Аркадий Столыпин, понимавший службу как служение отечеству, — независимо от того, как он относился к идее насильственного переворота, — не мог не одобрять перспектив, которые сулила столь радикальная перемена в гражданской жизни россиян! Ведь перемена эта давала выход и его честолюбию, увлекая возможностью наконец-то подключить свою энергию и свой деятельный ум к настоящему государственному делу!

Короче, лидеры декабризма в случае захвата власти, несомненно, рассчитывали на сотрудничество и деловые качества как самого Николая Мордвинова, так и его энергичного зятя. Об этом точнее, чем подследственные показания Николая Бестужева, свидетельствуют стихи Кондратий Рылеева, обращенные к сиротам Аркадия Алексеевича:

Пусть их сограждане увидят  
Готовых пасть за край родной,  
Пуускай они возненавидят  
Неправду пламенной душой,  
Пусть в сонме юных исполинов  
На ужас гордых их узрим  
И смело скажем: знайте, им  
Отец Столыпин, дед Мордвинов.

Больше того, в биографии Аркадия Алексеевича есть моменты, позволяющие предполагать, что покойный сенатор, если он действительно был связан с «миссионерами декабризма» словом и делом, мог разделить их участь и в случае разгрома. Я имею в виду его отношения с Михаилом Михайловичем Сперанским, с которым Александр I, по ироническому замечанию князя Петра Долгорукова, «некоторое время занимался... мечтами конституционными».

Познакомились Столыпин и Сперанский еще до того, как Александр остановил благосклонный взгляд на знаменитом «конституционном мечтателе». Однако, войдя в фавор, Сперанский не забыл талантливую и честолюбивую провинциала. Это по его протекции Столыпин получил приличное его дарованиям назначение — «с перемещением в правительствующий Сенат, за обер-прокурорский стол».

17 марта 1812 года Сперанский по обвинению в государственной измене был арестован и выслан с редкостной в это правление срочностью в Нижний Новгород. В чем состояла суть измены, не мог постигнуть даже самый тонкий исторический ум того времени — Николай Карамзин:

«История Сперанского есть для нас тайна: публика ничего не знает. Думают, что он уличен в нескромной переписке. Его все бранили, теперь забывают. Ссылка похожа на смерть».

Аркадий Алексеевич не предал попавшего в опалу друга и единомышленника, несмотря на то, что падение покровителя увлекло и его. Несколько раз навещал в ссылке, и не просто для того, чтобы утешить, — «старался доставить ему безопасность и спокойствие», «приискивая все средства для облегчения его положения».

Крамольные визиты не оставались, разумеется, тайными — ни для тайной полиции, ни для Александра I. Кроме того, поддерживая изгнанника, Столыпин дразнил не одного государя — он восстанавливал против себя общественное мнение: к осени 1812 года Нижний Новгород оказался центром эвакуации — он был буквально оккупирован беженцами из захваченных Наполеоном губерний. Потерпевшие урон от французов настроены были, как и следовало ожидать, крайне патриотично — контактов с государственным изменником избегали. По свидетельству Д. Рунича, оказавшегося в Нижнем Новгороде как раз в ту пору, Сперанский жил весьма уединенно, недоброжелательство народа к нему проявлялось открыто... «С ним избегали всякого сближения».

Вскоре Сперанского переслали подальше — в Пермь, но слухи об его изменничестве продолжали бродить по России. Достигли они и Пензы, и как раз в тот момент, когда Аркадий Алексеевич по делам службы оказался в родных краях (занимался формированием пензенского ополчения).

Патриоты пензенской округи всполошились и, собравшись в губернаторском доме, настрочили донос — главноначальствующему генералу Булычеву. Несколько дней писали и отправили сочинение по срочной казенной почте — с нарочным. На Аркадия Столыпина — злодея, опасного в настоящих обстоятельствах.

Стиль бумаги — истинно гоголевский:

«Будучи в тесной связи с предателем Сперанским, может быть, имеет он и тайные сношения с Наполеоном».

Как откликнулся главноначальствующий на врученное ему нарочным послание, мы не знаем, но известно: Столыпин в самый разгар «опасных обстоятельств» умудрился счастливо и выгодно влюбиться в дочь самого Мордвинова — Веру Николаевну. И предложение скоро сделал, и согласие скоро получил, и свадьбу сыграли не мешкая. У пензенских обывателей аж дух захватило — от зависти, а пуще от недоумения: экая рыбка морская попалась «в сатанинские сети Столыпина»!

Словом, русская покорность общему мнению — свойство, столь сильно ненавидимое Лермонтовым, не входила в столыпинские «правила». Эти сильные и решительные люди жили не по общему — своему установлению, потому, видимо, и казалось: в среде, где измельчание личности приобрело характер почти фатального закона, они существуют как бы вне этого закона, вопреки или наперекор ему.

Но вот о чем нельзя забывать: к тому времени, как Лермонтов «из детских вырвался одежд», из братьев его бабки в живых остался лишь самый младший — Афанасий.

Любимец Арсеньевой, Афанасий Алексеевич был и скроен, и сшит по лучшим столыпинским лекалам: ладно и крепко. Единственное,

чем обделила его судьба, было честолюбие. Старшим — в избытке, с лихвой отвалила, а на младшеньком — словно бы экономию навела. Герой Бородин, отличный строевой офицер (выбравший артиллерию по следам Дмитрия), он рано вышел в отставку и с головой окунулся в местные саратовские проблемы (имение А. А. Столыпина Нееловка находилось в Саратовской губернии).

Афанасий был последним ребенком Алексея Емельяновича и Марии Афанасьевны, по себе Мещериновой. Когда он родился, Елизавета, старшая, уже заневестилась. Его и воспитали иначе: в надежде, что это последнее, такое удачное да крепкое «яблочко» недалеко от яблоньки укатится — опора и утешение на старости лет.

Последыш надежды оправдал. Оставшись по смерти братьев за главного, Афанасий Алексеевич волей-неволей вынужден был стать «столпом клана» — взвалить на свои, к счастью, могучие плечи нелегкое бремя долга семейственного, многотрудную, и хлопотливую роль старшего и самого авторитетного мужчины в огромном роду. Его энергии, сметки, здравого смысла и доброжелательности хватало на то, чтобы оказывать самые разнообразные услуги своим близким, особенно вдовым сестрам и невесткам. И все это Афанасий Алексеевич делал без шума, но с твердостью. И по-стольпински разумно и споро.

В детстве, в тарханскую пору, Лермонтов был очень привязан к младшему брату своей бабки, благо жил тот почти по соседству, женился поздно и был чрезвычайно легок на подъем. К Афанасию Алексеевичу по завещанию перешли Тарханы, его же, в случае своей смерти. Елизавета Алексеевна назначила опекуном внука.

Как и все Столыпины, Афанасий Алексеевич прекрасно рассказывал. Правда, объем приключений, выпавший на его долю, был не слишком велик, но ему довелось стать участником Бородинского боя. А это сюжет неисчерпаемый, он воспламенял воображение детей, входивших в жизнь после грозы Двенадцатого года...

А. И. Герцен вспоминает:

«Рассказы о пожаре Москвы, о Бородинском сражении... были моею колыбельной песнью, детскими сказками, моей «Илиадой» и «Одиссеей». Моя мать и наша прислуга, мой отец... беспрестанно возвращались к грозному времени, поразившему их так недавно и так круто. Потом возвратившиеся генералы и офицеры стали наезжать в Москву. Старые сослуживцы моего отца... теперь участники, покрытые славой едва кончившейся кровавой борьбы, часто бывали у нас. Они отдыхали от своих трудов и дел, рассказывая их... И я не раз засыпал под них на диване».

Настоящее дядюшки вряд ли могло интересовать Мишеля. Рожденный без достаточного честолюбия, Афанасий Алексеевич переносил «саратовское ничтожество» не только с терпением и спокойствием, но и с видимым удовольствием. Любовь к бранной славе была для этого человека данью молодости и духу времени своей молодости, когда каждый русский считал себя причастным к Истории, когда и рядовому, обычному человеку казалось: «История как будто живет с нами» — «в один год и в одно правление».

К сорока годам дядюшка отстал «от большой дороги», а его внучатый племянник мечтал не просто о большом и даже великом — он жаждал колоссального...

Разговоры о том, что «нынче деньги дороги, а хлебы дешевы, да еще плохо родятся», его утомляли, а «всеобщее стремление к ничтожеству», то есть к жизни для жизни, приводило в бешенство. Лермонтовский максимализм отрицал, как бессмысленность, средне-стольпинский жизненный принцип, который теперь, после смерти старших «богатырей» вдруг, как-то разом, стал заземляться, во всяком случае, в представлении «мечтателя молодого». Однако он его и угадал, и сформулировал если и не совсем точно, то очень похоже (в автобиографической драме «Станный человек»):

«Пускай графские сынки да вельможи проматывают именье, мы, дворяне простые, от этого выигрываем. Пускай они будут при дворе, пускай шаркают в гостиных с камергерскими ключами, а мы будем тише, да выше. И наконец, они оглянутся и увидят, хоть поздно, что мы их обогнали».

Правило: «тише, да выше» Лермонтов в юные годы свои презирал, видя в нем некое подобие «мушки» — карточной игры для девиц и старух; ни удовольствия для ума, ни обольстительной надежды выиграть вдруг и крупно, ни риска, ни боренья. Позднее, изжив максимализм, он оценит и те уроки простого и серьезного взгляда на жизнь, какие в детстве преподавал ему Афанасий Алексеевич, — вперемежку с занимательными отрывками из отечественной «Одиссеи»...

«Наш батареинный командир Столыпин, увидев движение кирасиров, взял на передки, рысью выехал несколько вперед и, переменяв фронт, ожидал приближение неприятеля без выстрела. Орудия были заряжены картечью, цель у Столыпина состояла в том, чтобы подпустить неприятеля на близкое расстояние, сильным огнем расстроить противника и тем подготовить успех нашим кирасирам... Под Столыпиним убита его лихая горская лошадь».

Как близок этому «мемуару» — и интонационно, и по сути, — рассказ бывалого артиллериста в «Бородине»: «Повсюду стали слышны речи: „Пора добаться до картечи“». И далее: «„Забил заряд я в пушку туго и думал: угошу я друга! Постой-ка, брат мусью!».

Как и лермонтовский Максим Максимыч, Афанасий Столыпин всего лишь штабс-капитан; это его старшие братья в генералы вышли, а он так и остался простым армейцем. И когда читаешь его письма к Алексею Аркадьевичу Столыпину — красавцу, льву и повесе — «белой вороне», «нравственному уроду» в семье, не можешь отделаться от мысли: уж очень все это напоминает странные отношения Максима Максимыча и Печорина; никак не может понять стареющий, но все еще крепкий отставной штабс-капитан, что носит по свету непутевого — при таких-то данных! — племянника и чего тот хочет от жизни! Больше года потратил обязательный Афанасий Алексеевич, чтобы получить от этого непонятного человека документы, необходимые для ввода во владение его же собственным именем: то сплин, то любовь. Даже местоположение неизвестно. «Извини, — любезный друг, — пишет Афанасий Столыпин одной из своих «правильных» племянниц, — что я затруднил тебя сею моею комиссиею, но не зная... где шатается Алексей Аркадьевич, я решил адресоваться к тебе, как к человеку аккуратному».

Но пересмотр произойдет позднее. Пока же была тоска по ушедшим

«богатырям» и горделиво презрительное: «богатыри — не вы» — отношение к тем, кто «пережил свое прошедшее», кто за заботами о хлебе насущном, утратил «высшие интересы», кто разменял Дело на множество мелких житейских дел.

В разряд «предавших» попадал и Афанасий Алексеевич, отклонившийся от большой дороги и большой судьбы старших братьев.

В полудетской запальчивости, в юношеском презрении к простому Лермонтов невольно, но искажал истину. Заботы о хлебе не были для Афанасия Алексеевича лишь заботами о «доходах с хлеба». За ними: любовь к земле и серьезное, я бы даже сказала, государственное отношение к обязанностям земледельца, землевладельца, работодателя на земле — черта, кстати, свойственная не только Афанасию. За редким исключением, вроде друга Лермонтова — Алексея-Монго, Столыпина не принадлежали к типично русским «барам», смотревшим на свои поместья лишь как на источник дохода: во все вникали лично, не доверяя случайным управляющим, не разоряли, а обустроивали землю, подходя и к этому Делу не только с практической, но и с теоретической стороны; и тут, подстрекаемые «умным умом», связывали частности — общей мыслью.

Сын Аркадия Алексеевича, уже известный нам Дмитрий, в юности — гвардеец, войдя в возраст зрелости, вернулся в саратовское свое имение. Насовсем. С твердой и ясной идеей; вложить всю — без остатка — жизнь в дело русского землеустройства.

Вот что пишет наблюдательный современник:

«Воспитанный первоначально в мордвиновском доме, он перешел потом под покровительство дяди Афанасия Алексеевича Столыпина, Бородинского героя и богатого саратовского помещика, и воспринял от него многое, чему следовал в жизни. Пример дяди рано развил в нем стремление к занятию сельским хозяйством и к вопросам, прикосновенным к этой важнейшей области народного благосостояния... Получив за Севастополь золотое оружие... стал усиленно заниматься усовершенствованием многочисленных имений, как своих, так и опекаемых им. Слава хорошего хозяина привела к тому, что к Дмитрию Аркадьевичу стали обращаться за практическими советами и ему пришлось принять не одно расстроенное имение, которое в руках его снова приходило в цветущее состояние. Доброта Дмитрия Аркадьевича и попечение о благе и пользе не имели пределов. В этом отношении он представлял из себя редкое явление. После смерти Афанасия Алексеевича он унаследовал его влиятельное положение в семье по всем семейным и хозяйственным вопросам... Он не отступил от раз заведенного порядка и, занятый вопросами о крестьянском землевладении, упорно преследовал цель распространения хуторского хозяйства. Всегда отличаясь практичностью и здравомыслием в делах, он был далек от узкой расчетливости. Это была широкая и благородная натура... Он готов был всем и каждому протянуть руку помощи, преподать добрый и полезный совет, выручить из беды, и все это делалось им так просто, как будто иначе и быть не могло... Он никогда не мог сидеть сложа руки и продолжал до конца с изумительной последовательностью развивать излюбленную свою теорию о пользе подворного владения и необходимости хуторного хозяйства».

Сравнивая то, что известно об Афанасии Столыпине с приведенной выше характеристикой его воспитанника, видишь, что Дмитрий Аркадьевич унаследовал от своего дядюшки не только влиятельное положение в семье и жизненные правила. В длинной веренице столыпинских предков повторяется через какие-то промежутки тип особого закала — «стойкие, смелые люди, с сильно развитым чувством долга, самоотверженные и суровые».

И Афанасий Алексеевич, и «дитя его выбора» — Дмитрий Столыпин воплощали этот психологический тип в чистом, беспримесном варианте. Но дядюшка был практиком, а его воспитанник оставил несколько сочинений с теоретическим уклоном: «Два вопроса земледельческого и общего образования», «Хутора и деревни», «Из личных воспоминаний о Крымской войне и земледельческих порядках до и после реформы», «Граф Н. С. Мордвинов в его сельскохозяйственной практике» и т. д.

Внук Мордвинова, о котором Пушкин говаривал, что он один заключает в себе всю русскую оппозицию, и тут — в узкопрофессиональном вопросе — предстает перед нами сторонником инакомыслия, противоречия с общим всем мнением. Полемизируя и с народниками, и со славянофилами, уповавшими на возрождение крестьянской общины, Дмитрий Аркадьевич убежден: именно община с ее круговой порукой и практикой передела, убивающей в мужике страсть к земле, является «корнем экономических неустроений русского народа».

«Надо также взять во внимание, — утверждал Д. Столыпин, — отстаивая идею подворного, а не общинного землепользования, — и развитие личности: России нужен класс самостоятельных земледельцев, что может быть только при отдельном хозяйстве».

Однако, размышляя о причинах, побудивших Лермонтова (в отрочестве и в первые годы юности) обороняться способом отрицания от всего «столыпинского», надо принять во внимание и следующее обстоятельство. За Столыпинами, наряду с несомненными добродетелями, водились свойства и не совсем добродетельные: они никогда не упускали *своего*. На чужое — не зарились. Большому богатству не завидовали. Но за свое, законное, держались цепко и ухватисто.

В глазах юного Лермонтова, одержимого мечтой о «земном всеобщем братстве», пристрастная приверженность к своему выглядела презренной. Она и в самом деле порой была не слишком симпатичной. Возьмем, к примеру, такой эпизод из биографии Аркадия Алексеевича Столыпина, как тяжба из-за дачи в районе Усовки. Принадлежащая ему часть находилась в одной окружности с селами, которыми владели брат Николай и муж сестры Натальи — Григорий Данилович Столыпин, тоже родственник, только очень дальний: седьмая вода на киселе. Женившись, Аркадий Алексеевич решил навести и в этом наделе необходимый ему порядок. Сказано — сделано. Наняли вольного практика (так в ту пору именовались землемеры), обмерили окружность и разделили — согласно закону. Однако при межовке произошло недоразумение: землемер оплошку допустил — 200 десятин от надела Григория Даниловича по вине вольного практика было приписано к наделу Аркадия Алексеевича. Выяснилось это уже после того, как уездный суд подписал и утвердил дележ на основании представленных обмеров: чин чинарем. Григорию Да-

ниловичу взбрело на ум (как-никак, а тоже столыпинского древа отросток) перепроверить меру. И завертелось... По совести — правда была на стороне Григория Столыпина, по закону — на стороне Аркадия Алексеевича, ибо закон гласил: «Объявив тягающимся сторонам свое решение, судебное место ни отменить, ни изменить его не властно».

Григорий Данилович завел частную переписку с высокопоставленным шурином — не помогло. Не помогло даже деликатное вмешательство Сперанского, понимавшего, сколь многое теряет его нравственный друг от неблагоприятной тяжбы. И втайне страдал от неблагообразия конфликта, и письменно высказывался, несмотря на то, что был обязан сенатору, ссудившему на покупку имения 50 тысяч рублей. И к совести зывал Михаил Михайлович, и к благоразумию:

«Вам должно бы сойтись с Григорием Даниловичем. Сие весьма нужно и для родственных связей и для вашего имени, коему он всегда может делать множество мелких притеснений».

Тщето: 200 из причитающихся Григорию Даниловичу дачных десятин, в пересчете на ассигнации — 15 тысяч, остались все-таки за Аркадием Столыпиным: имя — именем, а деньги — деньгами. Лермонтов, хотя в разгар этой тяжбы был всего лишь «любезным дитятей», не мог о ней не знать. Приезжая в Пензу, Елизавета Алексеевна имела обыкновение останавливаться у сестры Натальи. И дом удобнее, чем у Александры, жены Евреинова, и Мишеньке веселее: младшие «Григорьевичи» — почти сверстники.

Трудно предположить, что Михаилу Юрьевичу не было ничего известно и о другой тяжбе, той, что «выиграл» родной его дед Михаил Васильевич Арсеньев, — номер «Вестника Европы» с «Письмом из Чембара» Елизавета Алексеевна из тарханской библиотеки не изъяла...

Какой материал для сравнения, какая пища для размышлений «о людях и страстях»! Ведь и в нежно любимой им бабушке был тот же «изъян души»!.. Для тех, кто видел ее только в гостиных, «старушка Арсеньева» была и оставалась «женщиной, совершенно замечательной по уму и любезности». Имевшие же с ней дело примечали за вдовой и другое: прижимиста и себе на уме. Все, до последней копейки, получила она с господ Арсеньевых. Хотела то же самое проделать и с Лермонтовыми — по смерти зятя, но тут уж внук воспротивился; настоял не на законном, а полюбовном разделе отцовского наследства. Юрий Петрович Лермонтов умер в 1831 году, но только шесть лет спустя Елизавете Алексеевне удалось заполучить у Михаила Юрьевича доверенность на ведение дела о кропотовском имении. Согласившись на полюбовный раздел, Елизавета Алексеевна, по ее подсчету, потеряла верных 10 тысяч. Потеря была чувствительной, но госпожа Арсеньева, может быть, впервые в жизни не жалела об убытке. Своего имени она не берегла: ее «Париж» стоил «мессы», но именем внука рисковать не хотела; боялась, что тетки, сестры покойного зятя, обидятся: разорила, де, их, и Мише достанется, что «не хотел ее упросить».

И все-таки не будем, подобно некоторым биографам Лермонтова,



ставить знак равенства между Марфой Ивановной Громовой, этой «Коробочкой» из ранней драмы Лермонтова «Люди и страсти», и Елизаветой Алексеевной. Марфа Ивановна, как и Григорий Печорин, — портрет, но не одного человека; это характер, составленный из «пороков» целого клана, причем без поправки на их же достоинства.

И чем старше становился правнук Алексея Емельяновича Столыпина, тем отчетливей понимал: столыпинская «линия» была шире, чем верно-надежное средство сохранить и умножить достояние во времена всеобщего разорения дворян и экономической паники. Столыпина интуитивно искали способ борьбы с русскими неурядицами, пытаясь — не большой горой, так соломиной — осилить (для примера и подражания) беду неминуемую и неотвратимую. Ведь разорались на ананасах да оранжерейной клубнике не только «графские сынки», но и куда более практичные люди... Взять хотя бы саратовского богатея — Алексея Панчулидзева. В дни молодости Елизаветы Алексеевны на затейливые его палаты окрестные помещики съезжались поглазеть, как на диво дивное, не на озерном песке — на «елетонских» казенных солях устроенное. Дивились и верили: не будет перевода великолепию, вечным саратовским вице-губернатором устроенному — не дом, а замок увеселительный на манер заморских княжеских. Тут тебе и библиотека, и псарь, и оркестр с тремя капельмейстерами...

А чем кончилось процветание?

Ездили на свадьбу к Афанасию, крюк верстовой сделали — на панчулидзево чудо взглянуть. Взглянули и глазам не поверили: как не было дива. Даже сад бесконечный, причудами изукрашенный, и тот в обыкновенную рошу превратился...

Нет уж, лучше тише, да выше...

И стойкость, с какою Столыпина свое гнули, и способность их устоять, не потеряться в общем замешательстве Лермонтов очень даже способен был оценить, тем более, что видел — предвидел? предчувствовал? — безнадежность, историческую обреченность этого противостояния меньшинства большинству: в идею спасения способом полумер он не верил. В воспоминаниях князя Мещерского описан весьма показательный случай. Александр Васильевич Мещерский, познакомившийся с Лермонтовым в 1840 году, происходил из семьи столыпинского образца — то есть был наследственным «экономом». Однажды в присутствии Михаила Юрьевича зашел разговор об интенсивном хозяйстве, модный среди «экономствующих» помещиков. Выяснилось: Лермонтов питает к этой идее «полное недоверие». Александр Васильевич, человек недалекого ума, связывает это недоверие с пренебрежением поэта к сельскому хозяйству («ковырянию в земле») и в доказательство этого «пренебрежения» приводит оформленный под малороссийский анекдот рассказ поэта о своей попытке выяснить, почему его имение не приносит дохода (речь, по-видимому, идет о Кропотове, куда Лермонтов мог вполне завернуть во время одной из своих ссылок).

«Призываю хохла-приказчика, спрашиваю, отчего нет никакого дохода? Он говорит, что урожай был плохой, что пшеницу червь попортил, а гречиху солнце спалило. — Ну, я спрашиваю, а скотина что? — Скотина,

говорит приказчик, ничего, благополучно. — Ну, спрашиваю, куда молоко девали? — На масло били, отвечал он. — А масло куда девали? — Продавали, говорит. — А деньги куда девали? — Соль, говорит, куповали. — А соль куда девали? — Масло солили. — Ну, а масло куда девали? — Продавали. — Ну, а деньги где? — Соль куповали! и так далее...» «Не истинный ли это прототип всех наших русских хозяйств? — сказал Лермонтов и прибавил: — Вот вам при этих условиях не угодно ли завести интенсивное хозяйство!»

Анекдот — при видимой его несерьезности — весьма серьезен, ибо свидетельствует не о поэтически высокомерном пренебрежении к «ковырянию в земле», а о том, что Лермонтов не только достаточно размышлял о сем предмете, но и «обозрел его вполне своим понятием»... Для этого ему, кстати, в отличие от А. В. Мещерского и подобных Мещерскому дилетантов от экономики, не нужно было годами накапливать опыт — он схватывал сущность явления или человека в «краткий миг»...

Есть чувство правды в сердце человека,  
Святое вечности зерно:  
Пространство без границ, теченье века  
Объемлет в краткий миг оно.

Дар этот — предощущения истины — был развит у Лермонтова до чрезвычайности, может быть, — до гениальности.

Ю. Самарин, будучи человеком весьма наблюдательным, именно это свойство Лермонтова — странный его способ постижения сути — и отметил прежде всего.

«Я часто видел Лермонтова, — писал Ивану Гагарину летом 1841 Юрий Федорович Самарин, — за все время его пребывания в Москве (речь идет о последнем перед гибелью приезде поэта в город своего детства — проездом на Кавказ, в 1841 году. — А. М.). Это в высшей степени артистическая натура, неуловимая и не поддающаяся никакому внешнему влиянию благодаря своей неутомимой наблюдательности и большой глубине индифферентизма. Прежде чем вы подошли к нему, он вас уже понял: ничто не ускользнет от него; взор его тяжел, и его трудно переносить. Первые мгновенья присутствие этого человека было мне неприятно; я чувствовал, что он наделен большой проницательной силой и читает в моем уме, и в то же время я понимал, что эта сила происходит лишь от простого любопытства, лишеного всякого участия, и потому чувствовать себя поддавшимся ему было унижительно. Этот человек слушает и наблюдает не за тем, что вы ему говорите, а за вами, и после того, как он к вам присмотрелся и вас понял, вы не перестаете оставаться для него чем-то чисто внешним, не имеющим права что-либо изменить в его существовании».

По размышлении Юрий Самарин внес в первое впечатление некоторые уточнения, показывающие, что Лермонтов вовсе не был так прочно закован в каменный панцирь профессионального, игнорирующего все условности этикета и дружества неутомимого любопытства. Это видно по письму Самарина к Гагарину, написанному, правда, позднее, уже после гибели поэта. Здесь Ю. Ф. Самарин признает, что Михаил Юрьевич все-таки чувствовал к нему дружбу (или что-

то вроде этого). Еще более красноречива запись в дневнике того же автора от 31 июля 1841 года, то есть сразу после получения известия о том, что Лермонтов убит на дуэли Мартыновым. Исходя из тех же наблюдений (других не было), Самарин делает совсем иные заключения (с того же этюда, с наброска — другой, с иным выражением лица портрет). И это портрет человека, не столько обладающего «большой глубиной индифферентизма», сколько, наоборот, страдающего от недостаточной глубины «защитного слоя»: «Мы долго разговаривали. (Разговаривали! Значит был диалог, а не находящиеся в неравном положении наблюдатель и наблюдаемый! — А. М.). Он показывал мне свои рисунки. Воспоминания Кавказа его оживили. Помню его поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... Его голос дрожал, он был готов прослезиться. Потом ему стало стыдно, и он, думая уничтожить первое впечатление, пустился толковать, почему он был растроган, сваливая все на нервы, расстроенные летним жаром. В этом разговоре он был виден весь».

В первом письме Ю. Самарина Лермонтов непроницаем для собеседника. Но как только речь зашла о близком сердцу (Трубецкой, его ранение, стычка с горцами, воспоминания о Кавказе), он, словно бы утратив способность защищаться от чужой пронизательности, становится виден весь.

И все-таки Ю. Самарин куда более точен и оригинален именно в первой, неприязненной и холодной, характеристике, если иметь в виду не Лермонтова-человека, и притом еще очень молодого человека, по нынешним меркам, почти мальчика, а художника, его «деятельный гений». Не обладай Лермонтов этой редкой и, видимо, не слишком приятной в общении способностью освобождать свойственную ему пронизательность (дабы не помешать чистоте и точности эксперимента) от своих человеческих склонностей, симпатий и антипатий, он не успел бы сделать то, что сделал. «Герой нашего времени». «Демон». «Мцыри». «Песня о купце Калашникове». Сборник стихов — маленькая, тонкая книжка, единственная, но зато из тех, что «томов премногих тяжелей»... Ведь судьба отвела ему для этого титанического труда всего четыре года — с 1837 по 1841. Вы только вдумайтесь — всего четыре года, из которых надо еще вычсть: две ссылки да войну, а также службу с ее маневрами, учениями, парадиловками и прочая и прочая...

То же самое свойство — не поддающаяся внешнему влиянию неутомимая наблюдательность, принявшая вид «индифферентизма», — проявилось и в разговоре об интенсивном хозяйстве, но Мещерский истолковал его на уровне своего понимания...

Свойство это было врожденным и обнаружилось, видимо, очень рано, раньше, чем окружающие заподозрили Мишеля в беспощадной зоркости. Недаром юношеской драме Лермонтова «Станный человек» — этому драматизированному опыту самопознания — предпослан эпитаф из Байрона: «Меланхолический взгляд — страшный дар; не телескоп ли он, в который рассматривают истину».

Столь же рано обнаружилась в характере внука госпожи Арсеньевой и еще одна странность: быть всегда одинаковым — равным лишь

самому себе. Герой «Странного человека» Владимир Арбенин говорит: «Я не сотворен для людей теперешнего века и нашей страны; у них каждый обязан жертвовать толпе своими мыслями и чувствами; но я этого не могу, я везде одинаков — и потому нигде не го-жусь».

В том, что самохарактеристика, сделанная семнадцатилетним психологом, не натяжка, не попытка «подогнать» свою личность под романтический трафарет, под модный литературный образ, убеждают воспоминания умного и тонкого Павла Анненкова, наблюдавшего Лермонтова в зените его славы — в 1839—1840 годах:

«Выдержка у Лермонтова была замечательная: он не сказал никогда ни одного слова, которое не отражало бы черту его личности, сложившейся, по стечению обстоятельств, очень своеобразно; он шел прямо и не обнаруживал никакого намерения изменить свои горделивые, презрительные, а подчас и жестокие отношения к явлениям жизни на какое-либо другое, более справедливое и гуманное представление их».

Но вернемся к обстоятельствам, сформировавшим личность Лермонтова, к их роковому стечению.

1811 год.

В этом году пехотный капитан Юрий Петрович Лермонтов вышел по болезни в отставку и вернулся в свою вотчину — тульское сельцо Кропотово с явным намерением сделать выгодную партию, то есть удачно жениться. Неподалеку от Кропотова, верстах в тридцати, находилось родовое имение Арсеньевых — Васильевское, куда, в связи с хлопотами о разделе наследства, зачастила и госпожа Арсеньева с «малолетней дочерью».

Арсеньевы жили открыто — гостеприимство было их страстью. Гостей зазывали, обласкивали, закармливали. Хозяева — из тех, у кого каждый день на счету, обьезжали Васильевское; зато изнывающие от деревенской тишины соседи при каждой оказии заезжали к Арсеньевым и, естественно, попадали в «свою провинцию» — с утра до вечера благодушное, без затей, удобное ничегонеделанье. Двадцатичетырехлетний кропотовский помещик пришелся кстати. В этом шумном и безалаберном доме, в котором жили легко и беззаботно, не размышляя о прошлом, не задумываясь о будущем, и произошло то, чего больше всего боялась Елизавета Алексеевна: Машенька, Марья Михайловна, Мари — влюбилась в Юрия Петровича Лермонтова.

Арсеньевы обрадовались неожиданному развлечению до восторга и на Елизавету Алексеевну попробовали воздействовать: браки, де, совершаются на небесах.

Аргумент сей, как и следовало ожидать, не произвел никакого впечатления на суровую их сноху — наотрез отказала: не быть по сему.

Машенькин избранник был хорош собой (среднего роста, редкий красавец и прекрасно сложен), обаятелен, сведущ в «науке страсти нежной», начитан, наслышан (окончил Петербургский кадетский корпус) и даже добр, хотя и вспыльчив. Но все это, включая начитанность, в стольпинском кругу не относили к числу мужских добродетелей. К тому же Юрий Петрович был беден, не просто небогат, а именно беден; имение — маленькое, заложенное-перезаложенное, а впридачу к долгам — три незамужние сестры («большие уж девки») да мать — ни к

домоводству, ни к земледовству не усердная. Впрочем, и Юрий Петрович сельскохозяйственного рвения не проявлял — он вообще не проявлял никакого рвения — это-то и было печальнее всего.

Деньги что? Их и нажить можно, нажил же батюшка. Но молодец Машиного выбора, по всему видать, не из той породы. На взгляд Елизаветы Алексеевны, горе-жених вообще ничего не умел, кроме как «камурь строить», то есть, по столыпинскому разумению, был совершенно бесперспективен.

Не надеясь на собственную проницательность, Елизавета Алексеевна стала собирать слухи, в выход из службы по болезни она не верила — какая хворь в двадцатичетырехлетнем щеголе? Информация, собранная посредством слухов, усугубила замешательство вдовы Арсеньевой: «игрок и пьяница, спивший с кругу».

Этого еще не хватало! Ни игроков, ни пьяниц Столыпина и близко к себе не подпускали, как прилипчивой хвори боялись. А хворь год от году становилась все прилипчивей — эпидемия, да и только! Острый недостаток средств к существованию заставлял искать пополнение в картежной игре; несколько состояний, нажитых таким образом — по счастливой игре в карты — поддерживали надежды. Но даже и без надежд — игра, точнее, крупная игра создавала для постоянного игрока какое-то искусственное богатство — иллюзию богатства, ведь в случае выигрыша, в ажиотаже карточного везения, можно было позволить себе и трату не по карману, и счет от модного портного оплатить, и в ресторации стол открыть.

Столыпина в ненадежной лотерее не участвовали: их жизнестойкости, рассчитанной на долгий «марафон», был противен «спринтерский» метод. Противен и недоступен: основательная кровь не разогревалась, не приводилась в волнение столь неосновательным, миражным соблазном.

Но даже если не верить слухам, а цену слухам Елизавета Арсеньева знала, жизненный опыт, опыт собственного замужества, безошибочно подсказывал материнскому сердцу, что жених — впридачу ко всему — ненадежен. Ненадежен в том же смысле, что и покойный Михаил Васильевич. Елизавета Алексеевна кое-как приспособилась к жизни с непутевым мужем. Но это она, Лиза Столыпина. Дочери такую ношу не осилить. Да и положение у нее — другое. Батюшка Алексей Емельяныч хоть и богат был, да детей куча, и возраст к критической поре подходил: двадцать стукнуло. Будешь нос воротить — в девках останешься. И если уж честной быть, в Михайле, кроме неосновательности да смутных надежд на наследство, и достоинства были: хорошая дворянская фамилия, не особенно знатная, но давнишняя; опять же связи, а связи по нынешним-то временам — надежнее денег. Нет, как ни верти, а кандидат в зятья в сравнение с мужем не шел. Михайлу Васильевича Елизавета Алексеевна насквозь видела: прозрачен, как стеклышко, к светлому воскресенью промытое. Весь тут. На виду. А этот, кропотовский красавец, что омут темный. И любезен, и разговорчив, а скрытен. Скрытен и привередлив: то то не так, то это. Переменчив.

Но Машу как подменили...

И все-таки: не быть по сему. Не быть.

Однако вышло.

Мы очень мало знаем о матери Лермонтова. Несколько ее изящных, но мало оригинальных французских стихотворений. Поясной портрет

работы крепостного мастера: придворный живописец Елизаветы Алексеевны явно не посвящен в сущность модели — не мудрствуя, пишет наружность.

П. Шугаев, ссылаясь на общее мнение, утверждает, что Мария Михайловна была «точная копия своей матери, кроме здоровья, которым не так была наделена».

Портрет свидетельствует о другом: ни материнской властности, ни столыпинской вальяжности; но и в общем выражение лица и в лепке скул, и очерке твердого рта — что-то мальчишеское, почти дерзкое. Но главное — глаза: никак не материнские — огромные, темные — «лермонтовские» глаза.

Лицо живой матери Лермонтов, оставшийся сиротой в два с небольшим года, несмотря на свою редкостную память, позабыл. Осталось смутное, музыкальное впечатление:

«Когда я был трех лет, то была песня, от которой я плакал: ее не могу теперь вспомнить, но уверен, что если б услышал ее, она бы произвела прежнее действие. Ее певала мне покойная мать».

Может быть, рассказами родных о детстве матери навеян образ маленькой Нины в «Сказке для детей»:

Она росла, — как ландыш за стеклом  
Или скорей как бледный цвет подснежный.

Образ этот совпадает с тем, какой создает первый биограф Лермонтова — Висковатов, основываясь на устных воспоминаниях очевидцев:

«Марья Михайловна, родившаяся ребенком слабым и болезненным, и взрослою все еще глядела хрупким, нервным созданием... В Тарханах долго помнили, как тихая, бледная барыня, сопровождаемая мальчиком-слугою, носившим за нею лекарственные снадобья, переходила от одного крестьянского двора к другому с утешением и помощью, помнили, как возилась она с болезненным сыном... Марья Михайловна была одарена душою музыкальною. Посадив ребенка своего себе на колени, она заигрывалась на фортепьяно, а он, прильнув к ней головкой, сидел неподвижно, звуки как бы потрясали его младенческую душу и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою».

Впрочем, осталось и еще одно свидетельство — сослуживца Михаила Юрьевича по Гусарскому полку: «Стороной мы слышали, что... история его матери целый роман». Думается, оно значительно всех остальных.

Столыпины, а значит, и Елизавета Арсеньева, относились к брачным союзам в полном соответствии со своими правилами и с общей «марафонской» жизненной установкой; мезальянсов ни в ту, ни в другую сторону они себе не позволяли. Личный сердечный интерес не должен был вступить в противуречие с интересами рода. Ведь новую овцу брали не только «за себя», но «и в род свой», и она не должна была портить «породу» — ни излишней тонкорунностью, ни «паршивостью». На ровнях женились, сук по себе гнули. Правилу этому подчинялись все Столыпины. Один Дмитрий Алексеевич, вольтерьянец и умник, восстал против обычая: «без воли» — советов родительских не спросясь — женился. На бело-ручке, неженке-музыкантше — Екатерине Анненковой. Событие это было воспринято в Пензе драматически: а вдруг пустодомкой жена окажется, даром что приглядна? Или хуже того: брезгулей да чистулей? Замучает

и мужа и домашних? А что если мотать начнет? На одних нарядах при нынешних-то обычаях состояние истощить можно!..

Лишь известие о восстановлении Аркадия в сенаторском чине, о милостивом его прощении и возвращении за обер-прокурорский стол спасло Алексея Емельяновича от верного удара — «покрыло и умерило горечь, с которой он принял женитьбу Дмитрия». Но лишь умерило. О том, сколь шумен был переполох, вызванный вольным поступком Дмитрия Алексеевича, можно судить по письму Михаила Михайловича Сперанского:

«Дмитрия с женою... ожидаем здесь (то есть в Пензе. — А. М.)... 1 декабря. Ему бедному много хлопот, мать неумолима, но мы предполагаем, что она расположит свое поведение по-здешнему».

С Екатериной Аркадьевной Столыпиной, по счастью, обошлось: сумела расположить свое поведение. Пензенских меломанов очаровал ее талант («Каждый день я слушаю ее и не могу наслушаться... Это второй Фильд...») — из письма М. Сперанского А. Столыпину). И родственники, приглядевшись к молодой, сообразили: эта — стада не испортит. И правы оказались: и жена, и мать, и хозяйка из рафинированной музыкантши вышла преотличная. Даже сестер мужа по части домовитости оставила — такой порядок в Середникове навела, что Елизавета Алексеевна, уж на той крута была, а и та в смущение приходила. У нее в Тарханах и розги не в почете были — на крайний случай, а так — бритьем половины головы да отрезанием косы благонравие и трудолюбие поддерживала.

А здесь не розгами — кнутом секли. Правда, уже после смерти Дмитрия. Был бы жив брат — ни за что бы не позволил... Экий позор... Однако вслух неодобрения не высказывала: в чужой монастырь со своим уставом не ходят, да и ссориться невыгодно. Своей подмосковной нет, Мишеньке после трудов учебных отдых нужен, а до Тархан далеко. Середниково под боком, и виды — прелесть, внуку нравятся; и по музыкальной части — польза: и совет дельный, пример поучительный — что ни говори, а второй Фильд. А учителя? Как на подбор. Одна гувернантка при дочерях Дмитрия покойного — девица Мишель — чего стоит? Шутка ли, три языка? И не скажешь, что гувернантка: дочь Козлова-слепца в подругах ближайших... А что на конюшне мужики, кнутом битые, воют, так ведь где конюшня и где дом господский. Авось обойдется.

Нам, с нашими нынешними, эмансипированными представлениями, отношении Столыпиных к браку может показаться циничным. А главное — обыкновенным, общим для людей их круга. Но это далеко не так. Столыпины даже в этом вопросе принадлежали к меньшинству, идущему не по, а против течения.

Куда более характерной представляется, к примеру, брачная эпопея Евдокии Петровны Сушковой, кузины мисс Блэк-айз. Поскольку и сама эта женщина, и все, что произошло с ней из-за опрометчивого замужества, имеет самое непосредственное отношение к нашему основному сюжету, есть резон рассказать об этой истории подробнее.

Евдокия Петровна, или, как называли ее друзья и знакомые, Додо, росла сиротой при живом отце в доме своего деда по матери — Пашкова. Жили Пашковы безалаберно — спустя рукава, и к началу 30-х годов оказались на грани разорения. У Пашкова было запущенное заводское

дело в Оренбургской губернии. Сам он по старости и отдаленности дела заниматься им не мог; сыновья служили в столичных гвардейских полках; пришлось откомандировать в Оренбургское захолустье зятя — Петра Сушкова, а попечение о его детях взять на себя. Стучавшаяся в двери «недостаточность» не мешала Пашковым развлекаться. Тетки Додо обожали выезды. Старики с утра до вечера играли в карты. Додо блистала на всех московских балах, а в промежутках писала стихи. В заветную тетрадку заглянул проездом через Москву князь Вяземский, удивился молодому дарованию и списал одно из стихотворений. А вернувшись в Петербург, пропечатал в «Северных цветах». Анонимно, конечно, но о том, что опубликованный в столице «Талисман» сочинен черноглазой внучкой Пашковых, знала вся Москва. Узнали, разумеется, и Пашковы. И разгневались. Бабка взяла с внучки клятву: ничего не печатать до замужества.

Много лет спустя Николай Огарев, тоскуя по юности, вспомнил и о милой московской барышне Додо Сушковой, в которую, видимо, как и многие из ее бальных кавалеров, был по-студенчески влюблен, «не слишком, а слегка»:

Двором широким проезжая,  
К крыльцу невольно торопясь,  
Скакал, бывало я, мечтая —  
Увижу ль вас, увижу ль вас!  
Я помню (годы миновали!),  
Вы были чудно хороши,  
Черты лица у вас дышали  
Всей юной прелестью души.  
В те дни, когда неугомонно  
Искало сердце жарких слов,  
Вы мне вручили благосклонно  
Тетрадь заветную стихов..  
Листы тетради той заветной  
Я перечитывал не раз,  
И снился мне ваш лик приветный  
И блеск, и живость черных глаз...

К той же поре относится и новогодний мадригал Лермонтова — «Додо». Целую серию экспромтов «на личности» заготовил он для маскарада в Дворянском собрании, на который явился, по свидетельству Шан-Гирея, в костюме звездочета с огромной гадательной книгой в руках.

Огарев запомнил лишь живой блеск глаз да юную прелесть. Лермонтов — в жанре мадригала — создал удивительный по проникновению в суть «милой барышни» портрет, и притом портрет «на вырост», с учетом будущности, его обещаний; оттого и сходство с годами становилось все очевидней:

Умешь ты сердца тревожить,  
Толпу очей остановить,  
Улыбкой гордой уничтожить,  
Улыбкой нежной оживить;  
Умешь ты польстить случайно  
С холодной важностью лица  
И умника унизить тайно,  
Взяв пылко сторону глупца!  
Как в *Талисмане* стих небрежный,  
Как над пучиною мятежной  
Свободный парус челнока,  
Ты беззаботна и легка.



Тебя не понял север хладный,  
В наш круг ты брошена судьбой,  
Как божество страны чужой,  
Как в день печали миг отрадный!

В одном только ошибся юный звездочет, предрекагель судеб человеческих: в кругу большого света Додо никогда не чувствовала себя «божеством страны чужой». Наоборот! Только на этих подмостках сознавала себя на месте. Ее живому, ртутному изяществу нужна была рама — «и блеск, и шум, и говор балов». Только здесь, на узорных паркетах, отраженная во множестве огромных зеркал, и чувствовала себя победительницей: недаром так любила рядиться амазонкой — золотая каска с перьями, панцирь из золотых лилий да колчан со стрелами, хотя явно не обладала приличной сей маскарадной роли статью — уж слишком легка и станом неосновательна. Подруга ее, Смирнова-Россет, прозвала Додо «воронежской ласточкой»; ласточкой — за легкость нрава и изящество повадки; воронежской — по местонахождению любимого мужем Евдокии Петровны имения, села Анна, куда граф Андрей время от времени «заключал» жену, наказывая за любовь к соблазнам большого света...

Судя по акварели П. Ф. Соколова и дагерротипу, сделанному незадолго до смерти, Евдокия Петровна красавицей в полном смысле этого слова никогда не была. Но в пору первой юности недостаток правильной красоты искупался, видимо, живостью, умом, несомненной незаурядностью натуры. И когда в 1833 году в Москву на осенне-зимнюю ярмарку невест прикатил один из самых богатых женихов России — молодой граф Ростопчин (сын того самого «поджигателя»), молва — этот всесильный институт общественного мнения — из целой армии претенденток на брачный приз безошибочно выбрала трех самых достойных; среди них Додо и ее подруга Екатерина Булгакова, дочь московского почт-директора, Александра Яковлевича.

Граф Ростопчин — капризник, проказник, смотревшийся в неполные девятнадцать бывшим молодым человеком (лет на тридцать с гаком), к великой радости Пашковых, остановил свой выбор на их прелестной внучке. В Москве зашушукались: Додо была влюблена в Александра Голицына. Об этом романе было известно не только подругам Евдокии Петровны, но и их родителям, а значит — «всему свету». Александр Яковлевич Булгаков так увлекся романтической коллизией, что счел нужным обсудить ее во всех подробностях со своим постоянным корреспондентом Александром Ивановичем Тургеневым. Сплетни-новости были страстью и призыванием московского почт-директора, имевшего к переписке ведомственное отношение и потому не смущавшего себя неблагообразием перлюстрации. Но в данном случае Булгакова понять можно, у него была серьезная причина для волнений. То, что граф Андрей — малый пустой, для семейного счастья не созданный, Александр Яковлевич, по старой дружбе с отцом жениха, знал доподлинно. Но и соблазн велик: прежде чем сделать официальное предложение Додо Сушковой, «богатый ребенок» — этот жених от нечего делать — и на его дочь Катеньку заглядывался.

Булгаков устоял. Хватило если не благоразумия, то любви отцовской. Пашковы не устояли, и как устоять, если жених несметно, басно-

словно богат? Соблазнились и... уговорили Додо. Впрочем, долго уговаривать не пришлось...

Несколько лет спустя Евдокия Петровна Ростопчина-Сушкова написала повесть «Чины и деньги», где, подстрекаемая «аналитическим духом века», сделала попытку проанализировать историю и своей любви, и своего замужества.

Вот как объясняет главный герой повести Вадим поведение любимой им девушки:

«Она отдала мне все сердце, всю душу, ни разу не подумав, что ей следует присоединить к ним и руку свою. Я был избранный ею друг, но никогда не воображала она, что я мог ей быть женихом».

Коллизия — в основе, несомненно, автобиографическая, так же, как и основной мотив прощального письма героини:

«Прости меня, прости меня, Вадим! Я люблю тебя по-прежнему — нет! больше прежнего... но я не могла противиться — мне грозили деревней, Костромой, заточением — бог знает чем!».

Оформляя действительное происшествие «под роман», графиня Ростопчина вынуждена ввести в повествование отсутствовавшие в жизни моменты: самоубийство героя, смерть героини и т. д.

Действительность обошлась без романтических ужасов. Додо, и выйдя замуж, продолжала жить в убеждении: избранник сердца и муж законный — вещи несоместные, жизнь не роман, и роман не жизнь...

Для Марии Михайловны Арсеньевой этот типичный образ мыслей девиц на выданье был неприемлем. Отдав душу, она тут же пообещала «избранному сердцем другу» и свою руку. И выполнила обещание — заставила Елизавету Алексеевну дать согласие на брак.

Приведенная выше выдержка из воспоминаний сослуживца Лермонтова — «история его матери целый роман» — да отсутствие точных данных о времени и месте бракосочетания Марии Михайловны Арсеньевой и Юрия Петровича Лермонтова породили множество фантастических гипотез. Но, думается, обошлось без банальностей, как новомодных — добрачная связь, так и старомодных — тайный брак. История замужества матери поэта, действительно, походит на роман — ввиду своей нетипичности, но роман отнюдь не банальный. Как-никак, а Мария Арсеньева была дочерью своего отца, и она вполне могла предьявить здравомыслящей матери безумный — в духе Арсеньева — ультиматум: или дать-подать друга сердечного Юрия свет Петровича, или пузырек с ядом!

Нет, Елизавета Алексеевна была не из тех, кто ничему не учится. Слишком дорога была ей дочь — единственная страстная привязанность, — чтобы она могла позволить себе рисковать. Именно здравомыслию матери, а не ее слабости обязана была Машенька Арсеньева, теперь уже Мария Михайловна Лермонтова, своим недолгим, горьким, обманным счастьем. Слишком памятен был вдове Арсеньевой новогодний маскарад, слишком хорошо она знала, что может произойти, если ей, матери, и удастся волей да властью родительской остановить эту непреклонность, это нетерпение страсти...

О том, что вырванное с помощью почти шантажа родительское благословение — не мир, а всего лишь перемирие, ни Мария Михайловна, ни ее супруг старались не думать. Да и у Елизаветы Алек-

сеевны появились другие заботы: в опасности было не только отечество, но и жизнь ее любимых братьев — уцелеют ли в грозе? А тут еще и беременность Марьи.

И сестры, и матушка — успокаивали: бог даст, обойдется. Елизавета Алексеевна на словах соглашалась, а сама свое думала; вам, может, и дает, а у меня что-то все — отнимает.

«Как во власти божией лишилась я смертью мужа моего...»

Нету надежды у нее ни на бога, ни на Пензенских повитух. Ни бог, ни бабка не помогут, ежели употребление инструментов да искусственное действие рук потребуется. Ученая акушерка нужна, а где ее в Пензе взять?

Думала долго, решила скоро: в Москву.

Вот обмолотим хлеба, управимся и соберем поезд. Лучше, конечно бы, загодя, по теплу верному, по твердой августовской дороге тронуться, да в страду каждая лошадь на счету!

И тронулись. И поехали. Со скарбом и снедью. Жизнь в Москве дорогая, а по нынешним трудным временам и совсем разорительная. Какая-никакая, а экономия — на своих-то припасах...

Москва встретила пензенских пилигримов невесело; ранним ненастьем и разором; дома каменные — обгорелые, без крыш и окон, от деревянных — печи да трубы. Хорошо еще, у Верещагиных весь город в знакомцах. Как приехали, так и устроились, не мыкались, как другие.

Без инструментов обошлось.

Акушерку сыскали ловкую, да языкатую, руки дело делали, а язык невесть что плел: не умрет, мол, младенец сей смертью своей.

Несмотря на предсказание, младенца нарекли Михаилом. В честь деда покойного. Не свою смертью умершего. Суеверов среди Столыпиных не было.

Выезд этот из губернской Пензы, из имения обжитого, устроенного, от собственного домашнего врача был до того не в обычае, что его не смог предположить даже весьма осведомленный свидетель детства поэта — его троюродный брат Аким Шан-Гирей. Так уверен был, что Михаил Юрьевич в Тарханах родился, что, издавая мемуары, не счел нужным проверить этот факт.

Сам же Лермонтов не только помнил, что появился на свет в сожженной пожаром древней столице своей отчизны, но и видел в этом особую волю providения:

«Москва моя родина и всегда ею останется. Там я *родился*, там много *страдал* и там же был слишком *счастливым*».

## ГЛАВА ВТОРАЯ

*И вижу я себя ребенком, и кругом  
родные все места...*

Перезимовали. А по весне, с семейством Верещагиных, переместились в Федорово: на свежий воздух и молоко парное. Маша слаба, у внука лекарь золотуху признал. Велел лист черносморородиновый заваривать, а не поможет ежели — череду.

Не привыкла Елизавета Алексеевна в приживалках жить, родство хоть и имеется, да уж очень отдаленное... Правда, того и гляди Дмитрий младшей сестре хозяйки предложение сделает, к тому идет. Маше-то все едино, ей и в шалаше — рай, лишь бы друг ненаглядный рядом был. Зато зять, как рыба в воде, будто не в кропотовской развалюхе — на паркетах наборных ходить учился. В важные люди нарахтится. Мужских серьезных разговоров не выносит, при Дмитрие рта не открывает, зато с девицами любезен, дамский угодник! К Маше Хастатовой, институтке, смолянке, и к той подход нашел; стишки да альбомы, романсы да жмурки. Но и к жене внимателен: женихуются. А той много ли надо? Светом его светится. Надолго ли ведро? О сыне даже забыла. Елизавета Алексеевна для вида сердится, выговаривает дочери, а сама радешенька: из детской не выходит, за кормилицей в три глаза глядит, няньку гоняет; не бабка, не мать крестная — владелица: мне сие принадлежит и впредь принадлежать будет.

Хорошо у Верещагиных — после стольких тревог отдохновение. И братья тут — и Дмитрий, и Афанасий — в войне уцелевшие, и племянница — по сестре Кате — любимая.

Первым Дмитрий уехал, в полк вернулся. Потом и Машу Хастатову на Кавказ проводили — Афанасий повез. На Кавказе, неподалеку от «Рая» хастатовского, за батюшкой Алексеем Емельяновичем 4 тысячи десятин закреплено было. Беспокойным владение оказалось: несмотря на грамоту императорскую и начальства местного окрики, мужики окрестных деревень распахивали господскую столыпинскую землю. Беспокойное хозяйство, по завещанию, к Николаю отходило, но Афанасий, по-родственному, не из собственной — семейственной выгоды на себя хлопоты взял: сам в дикое имение отправился, порядок наводить. К тому же и сестрица, Екатерина, по боевым заслугам мужа покойного разрешение на устройство дома в Горячеводске исхлопотала: помочь надо. Батюшка весь в ревматизмах, врачи воды приписали, а удобств никаких: палатки походные, кибитки войлочные, балаганы из тростника. Надо свое заводить, нехитрое, но свое, пока другие Горячие Воды, в следующем, 1816 году значится имя Алексея Емель-

яновича Столыпина, Афанасий Алексеевич и эту свою комиссию успешно выполнил и отпуск из полка — по семейным обстоятельствам — по прямому назначению использовал.)

...Мария Михайловна, расставаясь с кузиной кавказской, «другом по уму и дарованиям», «сестрой по душе и чувствам», — плакала. Прослезилась, уезжая, и Маша Хастатова. И матушка ее, и брат с сестрой, младшие, «кавказцами» заделались, прижились в диком краю, а ей, институтке смольной, не по душе красоты тамошние. В Россию тянет, к василькам и ромашкам, к прудам с кувшинками да к речкам спокойным.

Весь альбом, из Петербурга племянницей привезенный, слезами закапали. Полистала альбом девический Елизавета Алексеевна, руку Дмитрия узнала. Дмитрий верен себе: уменя «владеть собой» Катиней дочке желает. А вот и ее Маши почерк — бисер французский:

Cette qui t'aime d'avantage  
Pourra mettre son nom à la suivante page... \*

Верно братец заметил: не досталось нашим с тобой дочерям, Катя, столыпинского самообладания — что на сердце, то и на лице. Ничего, жизнь научит. Другое меня печалит — и твоей, и моей Маше здоровья бог не послал, вот откуда беды ждать надо...

«Милой Машыньке. Чего желать тебе, друг мой? Здоровье — вот единственная вещь, которая недостает для счастья друзей твоих. Прощай и уверена будь в истинной любви Елизаветы Арсеньевой».

Проводив племянницу и братьев, Елизавета Алексеевна стала томиться: в гостях хорошо, а дома лучше.

Дома оказалось — хуже. Год кое-как скоротали, а к лету невоготу сделалось — ни доброго, ни худого мира.

21 августа 1815 года вдова гвардии поручица Елизавета Алексеева, дочь Столыпина, вынуждена была выдать отставному капитану Юрию Петрову, сыну Лермонтова, заемное письмо на 25 тысяч ассигнациями.

Заем был, разумеется, фиктивным: у Лермонтова-отца не было и не могло быть таких крупных денег. Под заем, пользуясь разрешающей способностью закона, вдова Арсеньева оформила юридические права зятя на приданое жены, из которого к тому же вычла взятые на себя судебные издержки...

В автобиографической драме «Люди и страсти» Лермонтов обмолвился, что именье, то есть приданое за женой, было получено его отцом под честное слово.

Вряд ли легкомысленный этот поступок был продиктован излишком доверчивости. Скорее всего, у Юрия Петровича, как и у героя лермонтовской драмы, просто-напросто не оказалось наличных денег, чтобы оплатить крепостную бумагу. (За юридическое оформление прав на приданое полагался налог в размере одной десятой его стоимости.) Лермонтов точно указывает сумму, которую «не захотел» заплатить батюшка Юрия Волина: три тысячи; она соответствует той, какую Юрий Лермонтов должен был выложить, если бы Елизавета Алексеевна настояла на официальном оформлении имущественной стороны брач-

---

\* Кто любил меня более,  
Пусть поставит свое имя на следующей странице (*фр.*)

ного акта: за Марией Михайловной было обещано 30 тысяч ассигнациями — доля ее отца по разделу с братьями.

Цифра эта, кстати, выводит из тьмы неизвестности на свет истины и еще одну, со стороны вроде бы маловажную, но для участников тарханской драмы очень даже чувствительную подробность. Согласившись на брак дочери с негодным и неприятным ей человеком, Елизавета Алексеевна неудовольствие свое происшедшим выразила постыпински наглядно: ни копейки сверх того, что полагалось Марии Михайловне по закону от отца покойного, от себя не прибавила. Точно так же поступили и все остальные ее родственники по постыпинской линии: подвергли новобрачных экономическому бойкоту. Но даже этой законной суммы Мария Михайловна, в отличие от своей матери, которой приданое было вручено звонкой, серебряной монетой, не получила.

Деньги были и в то же время их как бы и не было. Ни одной траты, ни одной поездки молодожены не могли позволить себе без спроса и позволения матери: то ли баловни, живущие на всем готовом, то ли арестанты — «рабы судьбы»...

Как переживала Мария Михайловна материнскую опеку, мы не знаем, но Юрия Петровича положение «крепостного зятя» явно тяготило. Природная доброта не в силах была справиться с природной же раздражительностью.

Начались разлады. Сначала с тещей, а потом и с женой.

Шила в мешке не утаишь. О том, что молодые не ладят, раньше всех узнала домашняя служба информации, то бишь прислуга. На уровне своего понимания все и объяснила автору «Колыбели замечательных людей» П. Шугаеву:

«Юрий Петрович охладел к жене по той же причине, как и его тесть к теще (то есть из-за хвори, привязавшейся к М. М. Лермонтовой после родов. — А. М.), вследствие этого Юрий Петрович завел интимные отношения с бонной своего сына, молоденькой немкой, Сесильей Федоровной, и кроме того, с дворовыми... Отношения Юрия Петровича к Сесилье Федоровне не могли ускользнуть от зоркого ока любящей жены, и даже был случай, что Марья Михайловна застала Юрия Петровича в объятьях с Сесильей, что возбудило в Марье Михайловне страшную, но скрытую ревность, а тещу привело в негодование. Буря разразилась после поездки Юрия Петровича с Марьей Михайловной в гости к соседям Головным, в село Кошкарево... в 5 верстах от Тархан; едучи в карете оттуда обратно в Тарханы, Марья Михайловна стала упрекать мужа своего в измене; тогда пылкий и раздражительный Юрий Петрович был выведен из себя этими упреками и ударил Марью Михайловну весьма сильно кулаком по лицу, что и послужило впоследствии поводом к тому невыносимому положению, какое установилось в семье Лермонтовых».

Сам по себе флирт или связь с молоденькой гувернанткой, равно как и шашни с дворовыми девками, по всей вероятности, мог иметь место, хотя бы потому, что был в обычае... Но именно по этой причине он ничего и не объясняет. Юрий Петрович в завещании сыну назвал Елизавету Алексеевну «матерью обожаемой им женщины», и у нас нет оснований видеть в этом предсмертном признании лишь попытку обелить себя в глазах сына, во всяком случае, нет оснований верить ему

меньше, чем всезнающей молве. Вот ведь и Мария Михайловна, умирая, просила мать не ссориться с зятем, уверяя, что Юрий Петрович ее истинно любит. Будь это совершеннейшей неправдой, вряд ли Елизавета Алексеевна позволила бы зятю увезти из Тархан в Кропотово единственный портрет дочери. Допустим — назло или тайком увез, хотя последнее маловероятно; зачем тогда хранил как реликвию? И портрет, и листки из семейного альбома — стихотворную их переписку, этот дневник в диалогах, относящийся, кстати, к той самой поре, когда, по утверждению молвы, семейная жизнь в Тарханах сделалась невыносимой?

Но, может быть, невыносимой она была именно в Тарханах? А как только молодым удавалось вырваться из-под контроля Елизаветы Алексеевны, вырваться и укатить в то же Кропотово, — их отношения улаживались?

На такое предположение наводит рисунок в кропотовском альбоме: два дерева, разделенные ручьем, а ниже — рукой Марии Михайловны:

Склонности объединяют нас,  
Судьба разделяет.

Ответ Юрия Петровича в альбомном дневнике куда более оптимистичен, чем скорбная сентенция его жены: «Ручей два дерева разъединяет, ветви их сплетаясь, растут».

Не связан ли этот оптимизм с заемным письмом на 25 тысяч ассигнациями, которое Юрий Петрович наконец выцарапал у тещи в августе 1815 года? Ведь если бы ему удалось заполучить, как когда-то Михайле Арсеньеву, полагающееся за женой — не на бумаге, а наличными, он смог бы, с грехом пополам, но все-таки устроить свою семейную жизнь по собственному разумению.

Не думаю, что это могло что-либо в корне переменить... И если уж «искать женщину», пытаясь отгадать загадку тарханской драмы, то, конечно, не в смазливой Сесилии, не в народной красоте тарханских девок, и даже не в самовластии Елизаветы Алексеевны. И измена, и неурядицы с тещей — следствие, а не причина, ибо драма была завязана задолго до того, как «любезному дитяти» Марии Михайловны и Юрия Петровича Лермонтовых потребовалась бонна... Женщиной, разрушившей семейное счастье супругов Лермонтовых, была сама Мария Михайловна Лермонтова.

Я не могу любовь определить,  
Но это страсть сильнейшая! — любить  
Необходимость мне; и я любил  
Всем напряжением душевных сил.

Способность эта — то ли дар божий, то ли проклятье — досталась Лермонтову от матери, в придачу к чрезвычайной нервности. Ответить на такое чувство Юрий Петрович, естественно, не мог. Для него любовь была развлечением, приятным времяпрепровождением, но никак не всепоглощающей страстью. Он наивно полагал, что любит жену, а та страдала, встречая со стороны мужа лишь рассеянную, легко раздражающуюся нежность — на большее этот неосновательный, впечатлительный, но неглубокий человек просто-напросто не был способен. И чем явственней страдала так и не научившаяся «властвовать собой» дочь Михаила Арсеньева, тем чаще раздражался, не понимая, чего от него хотят, Юрий Петрович. А тут еще теща с неусыпным надзором... А тут еще

братцы тещины, говоруны да умники, о пользе отечества сильно пекущиеся...

Прибавьте ко всему этому полное и хроническое безделье: сын слишком мал, чтобы нуждаться в мужских, отцовских заботах, хозяйство — в руках Елизаветы Алексеевны, даже выезды в гости и те затруднительны — по вечному нездоровью Марии Михайловны. Ни дела, ни привычки к кабинетным занятиям, да и откуда взяться такой привычке у воспитанника кадетского корпуса?

Все — начиная с молчаливых требований жены и кончая ключницей, пробегавшей мимо с таким видом, будто он чучело огородное, в костюме с чужого плеча наряженное, — больно задевало и без того уязвленное и униженное самолюбие. Вот и брал реванш там, где его можно взять: с глупенькой Сесильей в амуры играл, девкам тещиным проходу не давал — самоутверждался.

Заемное письмо, как свидетельствуют книги чембарского уездного суда, было выдано сроком на один год. Прошел год. Елизавета Алексеевна помалкивала. И вдруг сделала ход конем: в конце лета 1816 года, то есть как раз в тот момент, когда надо было платить по выданной зятю бумаге, объявила доход со своего имения в 500 рублей, тогда как соседний помещик с такого же надела и в тех же самых климатических обстоятельствах заплатил 5 тысяч! Жест был достаточно красноречивым: ни Мария Михайловна, ни Юрий Петрович — по деликатности, не могли ни настаивать на выплате, ни заметить матери и теще, что та пошла на прямой обман. В крайнем раздражении, после очередной семейной сцены (не умея разговаривать с Елизаветой Алексеевной, теряясь перед ее логикой и досадуя на себя за бесхарактерность, Юрий Петрович отводил душу на кроткой жене) Лермонтов укатил в Кропотово. Уехала, не в силах видеть страданий дочери, и Елизавета Алексеевна — в Пензу, к родственникам, но скоро вернулась. Посланный за сведениями в Тарханы нарочный привез недобрую весть: молодая барыня неделю как с постели не встает.

23 января 1817 года Михаил Михайлович Сперанский написал Аркадию Алексеичу Столыпину:

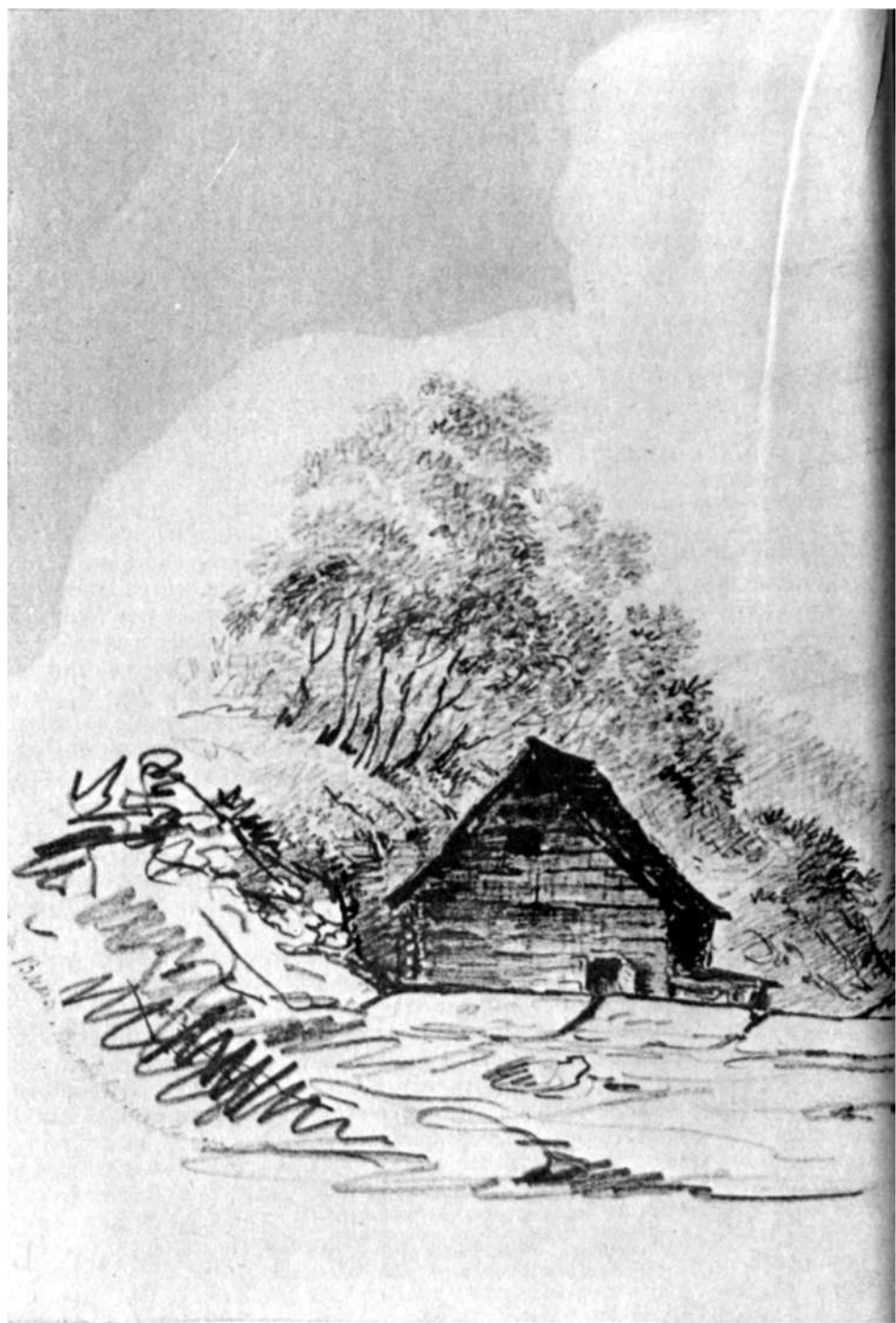
«Есть новость для вас печальная, племянница ваша Лермонтова... весьма опасно больна сухоткою, или чахоткою... Мало надежды, а муж в отсуствии».

Чахотка, вероятно, оказалась скоротечной. Менее чем через месяц тот же Сперанский сообщил тому же Аркадию Столыпину, что дочь Елизаветы Алексеевны — «без надежды».

24 февраля 1817 года Мария Михайловна скончалась. Ее сыну не было и трех лет. Но день похорон матери он запомнил, описав в поэме «Сашка». Поэма эта создавалась в Тарханах, которые поэт навестил после долгого отсутствия в январе 1836 года. Стояла такая же жестокая зима, как и девятнадцать лет тому назад, в феврале 1817-го...

Он был дитя, когда в тесовый гроб  
Его родную с пеньем уложили.  
Он помнил, что над нею черный поп  
Читал большую книгу, что кадили,  
И прочее... и что, закрыв весь лоб  
Большим платком, отец стоял в молчанье...







Надпись на надгробной плите матери поэта в семейной усыпальнице в селе Тарханы гласит: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой... Житие ее было 21 год, 11 месяцев и 7 дней».

5 марта, выждав положенные по обычаю девять дней после кончины жены и не дождавшись сороковин, Юрий Лермонтов уехал из Тархан. Взять с собой сына Елизавета Алексеевна ему не позволила. Срок оплаты заемного письма продлила еще на год.

Юрий Петрович не хотел отказываться от сына. А бабушка не желала расставаться с внуком. В результате этой распри и появилось духовное завещание Арсеньевой. Как и все поступки этой женщины, оно было более чем решительным:

Ныне сим... предоставляю по смерти моей... родному внуку моему Михаиле... принадлежащее мне... с тем однако, ежели оной внук мой будет по жизнь мою до времени совершеннолетия его возраста находиться при мне на моем воспитании и попечении без всякого на то препятствия отца его, а моего зятя... если же отец внука моего истребует, чем, не скрываю чувств моих, нанесет мне величайшее оскорбление: то я, Арсеньева, все ныне завещаемое мной движимое и недвижимое имение предоставляю по смерти моей уже не ему, внуку моему... но в род мой...»

На угрозу отнять внука Елизавета Алексеевна ответила оскорблением. Юрий Петрович не мог дать сыну того положения в обществе, какое гарантировало попечение Арсеньевой.

Униженный и оскорбленный, он отступился. Но Елизавете Алексеевне было мало скрытого от посторонних глаз унижения.

Сделав вид, что не в состоянии погасить мнимый долг, она растянула мучительное для Юрия Петровича положение — то ли просителя, то ли вымогателя — еще на полтора года. Деньги он получил лишь в мае 1819-го. Об условиях духовного завещания и заемном письме знали лишь самые близкие. Молва расценила получение столь крупной суммы как взятку: отец, де, продал теще за 25 тысяч рублей ассигнациями свои права на сына.

Впрочем, в оценке молва почти справедлива: по закону Юрий Петрович был прав, но по совести в денежных препирательствах над свежей могилой, в самом стремлении получить приданое уже умершей жены было что-то не совсем пристойное, тем более что в 1819 году вдовец Лермонтов уже знал: сына ему, не рискуя его будущностью, от бабки не отторгнуть, ни сейчас, ни по достижении шестнадцатилетия. Завещание тещи и то, что он, отец, спасовал перед решительностью экономического ультиматума, лишало его морального права на арсеньевские деньги.

Хотя — кто знает? Судя по действиям, какие Юрий Петрович предпринял в 1830-м (частые свидания с сыном, попытка установить с ним духовный контакт и т. д.), он вполне мог где-то там, в глубине души, рассчитывать и на иной разворот событий. Думается, не случайно старая распря, почти затихшая после того, как Юрий Петрович привез в Тарханы на воспитание сына сестры — Мишу Погожина-Отрашкевича, дабы и его Миша не рос в одиночестве горького сиротства, — возобновилась в год совершеннолетия Михаила Юрьевича. Больше того, если исходить из ситуации, зафиксированной в написанной в 1830 году драме «Люди и

страсти», шансов выиграть сына у Юрия Петровича в то время было ничуть не меньше, чем у Елизаветы Алексеевны. Мишеля разрывали два равносильных чувства: любовь и благодарность к бабке и жалость к отцу, всеми брошенному, никому не нужному. Победительные Столпыны, медленно, но уверенно набирающие общественный вес, и безродный отец, тщетно пытающийся сохранить внешнюю респектабельность. Жребий отца казался ему жребием «изгнанника на родине», изгоя — «с названием гражданина».

Распря в драме заканчивает самоубийство самого юного из ее участников — Юрия Волина. Жизнь прекратила дело за смертью Юрия Петровича Лермонтова.

Но все это еще впереди...

Дом, где Елизавета Арсеньева и внук ее Михайла смертью лишились мужа и деда, а семь лет спустя — дочери и матери, — был продан на снос. Не просто снесен, а именно продан, и притом — в соседнее село, где и был восстановлен по точному строительному плану, к покупке присовокупленному. (Жест трагической героини, Андромахи русской, а где-то там, глубже, совсем мужицкое: не бросать же щи, ведь они посоленные.)

...На месте снесенного дома, в саду — сада при порухе не тронули — в десяти сажнях от проклятого места, Арсеньева заложила церковь: маленькую, но каменную — Марии Египетской. До той поры в Тарханах была лишь еще при Нарышкиных строенная деревянная церквушка — теперь здесь находится фамильный склеп Арсеньевых.

Два памятника из светло-серого гранита, почти совершенно одинаковые, рядом — над гробом мужа и дочери. Внука же — от этих, любимых, но предавших, Елизавета Алексеевна и в смерти отделила и пристрастием своим отметила:

«Несколько впереди этих двух памятников (Михаилу Арсеньеву и Марии Лермонтовой. — *А. М.*), то есть ближе к двери, в часовне стоит из прекрасного, черного, как уголь, мрамора, и гораздо большего размера, памятник в виде четырехсторонней колонны над гробом Михаила Юрьевича, с одной стороны которого бронзовый небольшой лавровый венок и следующая надпись: „Михаил Юрьевич Лермонтов“, с другой: „Родился 1814 г. 3-го октября“, с третьей: „Скончался 1841 июля 15“».

Дорогие могилы Елизавета Алексеевна обнесла оградой. Себя же распорядилась похоронить вне часовни. К стене склепа прибита лишь небольшая доска белого мрамора; ни даты рождения, ни точного возраста усопшей люди, хоронившие Арсеньеву, видимо, не знали — возраст определен на глазок — 85, вместо действительных 72. Но дата смерти указана верно: 16 ноября 1845 года.

Нет, эта женщина была не из тех, кто не обладает даром долгой и справедливой памяти, но жить в доме, наполненном столькими воспоминаниями, она не могла...

Заложив церковь и приведя в порядок склеп, Арсеньева, перезимовав в Пензе, принялась по весне за строительство нового дома: начиналась ее вторая жизнь, и начинать ее следовало на новом месте.

В Тарханах Лермонтов прожил первые 13 лет своей жизни, бывал здесь и позже: летом 1828-го, зимой 1836-го. Вот какой сохранилась в памяти поэта страна его детства:

И если как-нибудь на миг удастся мне  
Забиться, — памятью к недавней старине  
Лечу я вольной, вольной птицей;  
И вижу я себя ребенком, и кругом  
Родные все места: высокий барский дом  
И сад с разрушенной теплицей;

Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,  
А за прудом село дымится — и встают  
Вдали туманы над полями.  
В аллею темную вхожу я; сквозь кусты  
Глядит вечерний луч, и желтые листья  
Шумят под робкими шагами.

Взамен разрушенных — при старом доме и старом саде — теплиц были немедленно сооружены новые. И сад новый заложен, и пруды выкопаны. Но в новом, доходном и правильном саду было скучно: там не водились воспоминания.

Новая — с иглочки — жизнь.

Не отсюда ли — из детства, прожитого в доме, выстроенном специально для него, наследника, — без предыстории, без тайников и закоулков, без старых запахов и старинных вещей — привязанность Лермонтова к домам с прошлым, со следами прошедшего, подобным «узору надписи надгробной на непонятном языке»?

«Сказка для детей»:

Но близ Невы один старинный дом  
Казался полн священной тишиною;  
Все важностью наследственной в нем  
И роскошью дышало вековою...

Музыкой туг гремели вечера,  
В Неве дробился блеск высоких окон,  
Напудренный мелькал и вилял локоп...

Начало безымянной поэмы (в некоторых изданиях печатается как вторая глава «Сашки»):

Давно когда-то, за Москвой рекой,  
На Пятницкой, у самого канала...  
Был дом угольный...  
В гостиной есть диван и круглый стол  
На витых ножках, вражеской рукою  
Исчерченный...

Жалок и печален  
Исчезнувших пришельцев гордый след.  
Вот сабель их рубцы, а их уж нет.

О, так тогда был пышен этот дом!  
Вдоль стен висели пестрые шпалеры.  
Везде фарфор китайский с серебром,  
У зеркала...

Известно, что в день последней дуэли Лермонтов рассказал своему секунданту, Михаилу Глебову, о плане двух исторических романов — одного из времени смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петербурге, действиями в сердце России и под Парижем, с развязкою в Вене, и другого, из Кавказской жизни, с Тифлисом при Ермолове, Персидской войною и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов.

Белинский, ссылаясь на разговор с Лермонтовым, утверждает, что речь шла не о дилогии, а о трилогии, о трех романах из трех эпох жизни

русского общества: «века Екатерины II, Александра I и настоящего времени».

Приведенные выше исторические фрагменты: один — из века Екатерины II («все роскошью дышало вековою»), второй — из александровских времен («тому лет двадцать пять и боле») — хоть и косвенное, но достаточно убедительное доказательство, что лермонтовский замысел захватывал и восемнадцатое столетие, что задумана была не просто серия «портретов дедовских веков», а нечто вроде художественного исследования исторического феномена России — задача, перед которой остановился в бессилии, не умея постичь «связь времен», Николай Карамзин. («Карамзин смотрит на исторические явления, как смотрит зритель на то, что происходит на театральной сцене, — писал В. Ключевский. — У него каждое действующее лицо позирует... Это — скорее воздушные тени, чем живые исторические лица... Они ведут драматическое движение, но сами не движутся, не растут и не стареют, уходя со сцены такими же, какими пришли на нее; русские князья южной Руси XI—XII веков говорят, мыслят и чувствуют так же, как князья северной Руси XIV и XV веков, т. е. как мыслил сам историк. Это люди разных хронологических периодов, но одинакового возраста.

Лица у Карамзина окружены особой нравственной атмосферой: это — отвлеченные понятия долга, чести, добра, зла, страсти, порока, добродетели. Речи и поступки действующих лиц у Карамзина внушаются этими понятиями и ими же измеряются; это своего рода лампочки, прикрытые от зрителя рампой и бросающие особый... свет на сцену. Но Карамзин не заглядывает за исторические кулисы, не следит за исторической связью причин и следствий, даже как будто неясно представляет себе, из действия каких исторических сил слагается исторический процесс и как они действуют».)

Слово это — *связь* — произносит, со слов Лермонтова, и Белинский: романы, по замыслу автора, должны были иметь «между собою связь и некоторое единство».

И вот еще чем знаменательны лермонтовские этюды двух старинных домов — петербургского и московского: в этих исторических реконструкциях с особенной наглядностью видно, как растет душа поэта, как мужает его мышление, как из полудетского любопытства к важной наследственности угасших родов возникает серьезный, деятельный интерес к истории своей отчины.

Интерес этот, кстати, возник раньше, чем потребность «марать пером бумаги лист летучий». «Вадим» — романтическая (в духе Гюго) импровизация на тему пугачевщины — был написан в Петербурге в 1833—1834 годах, но материал для него собран в период тарханского долгого детства. По свидетельству самого Лермонтова, основой для романа послужили рассказы бабушки (среди истребленных мятежниками дворян — два близких Елизавете Алексеевне человека: отец Григория Даниловича Столыпина, мужа сестры Натальи, и Василий Хотяинцев, сын которого — Фома — был приглашен Арсеньевой в качестве приемника внука).

Как установили исследователи, ключевые сцены «Вадима» (бегство Палицына в лес, в пещеры, казнь его жены, кровавая расправа с господами села Красного и т. д.) документально отражают подлинные

события русского бунта, захватившего в летние месяцы 1774 года, в числе других приволжских провинций, и пензенский край.

Лермонтов не только слушал преданья грозной старины; он сам отыскивал ее следы — запечатлевал в памяти, — словно уже тогда, в детстве, исследуя окрестности Тархан, «по инстинкту прибирал» их подальше, предчувствуя, что эта копилка пригодится ему в будущем. И действительно, пригодилась: через десять лет сохранные в памяти зарисовки с натуры были переведены в слово с такою точностью, что С. Андреев-Кривич узнал — через полтора года лет! — описанные в «Вадиме» места...

«Вадим» не исключение в творчестве Лермонтова. Начав писать сравнительно поздно — в 1828 году, — он прежде всего обратился к тем сокровищам, что были заперты на замок немоты в шкатулке его детской памяти, благо судьба наделила его ум редкостным и для писателя драгоценным даром: способностью долго-долго — вечно! — хранить «первоначальны впечатленья».

Взять хотя бы ранние кавказские стихи и поэмы. Вкупе они составляют как бы особую книгу из отдельных стихов и поэм на тему «Кавказ». Большая часть этой книги также написана в Москве, в начале 30-х годов. А между тем в последний раз Лермонтов ездил на Воды летом 1825 года. Это было не первое его путешествие «в сторону южную», но пять лет назад, в 1820-м, он был еще слишком мал. Из первой своей поездки на Воды маленький Лермонтов вывез лишь потешку — игру в Кавказ и горцев.

К десяти годам он был уже готов к тому, чтобы огромное общее впечатление разложить на части и рассмотреть по частям.

Больше всего поразили его воображение, тяготеющее к колоссальному, горы — воплощение колоссальности. В 1832-м Лермонтов, перебирая в памяти свой эмоциональный «архив», наткнулся на неиспользованный «негатив» (снимок его души, такой, какой она была десять лет от роду — в 1825-м, в год его второго, сознательного, свидания с Кавказом) и как бы отпечатал — перевел в позитив — на прекрасной мягкой и матовой бумаге:

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю об вас да о небе».

В запаснике, вывезенном десятилетним Лермонтовым из «страны чудес», хранились не только образы гор и горных ландшафтов, но и множество кавказских сюжетов. Они тоже окажутся востребованными, как только его деятельный гений начнет вертеть жернова романтических поэм: «Азраил», «Ангел смерти», «Измаил-Бей», «Аул Бастунджи», «Хаджи Абрек»... Среди «одичалых хребтов Кавказа» отыщет он со временем и земное место для владыки надзвездного мира — Демона. Там же, в «жилище вольности простой», найдет пристанище и еще один бродячий лермонтовский сюжет: история молодого монаха, с детства заключенного в монастырскую тюрьму. И все-таки главным богатством, привезенным мальчиком-Лермонтовым из южных стран, был не экзотический сюжетный материал, тем более, что он был

добыт не личным опытом, а усвоен «с голоса чужого»: из рассказов кавказских родственников и знакомых, из южных поэм Пушкина.

Дар, преподнесенный своему приемному сыну Кавказом, был совсем «инога сорта» — «что другие все дары!» Мечтатель, он создал в своем уме иной, не похожий на тарханскую действительность, мир и населил его существами, не имеющими сходства с реальными людьми. Из ничего создал — из пустоты. Но дав жизнь миражной вселенной, Лермонтов долго не мог дать ей «названья», не умея одеть в плоть рожденные воображением химеры. И вдруг, попав в страну гор, обнаружил: несуществующая, воображаемая действительность существует: «творец» уже создал ее.

«Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..»

Лет через тридцать, а точнее, в 1852 году, той же дорогой, по следам Лермонтова, поедет молодой Толстой — вольный охотник за суровой прозой, с младенчества приучавший себя к земле, но и его при виде гор — потянет к небу, и он не сможет противиться власти гор:

«Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчезли и не возвращались более. „Теперь началось“, — как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдаль видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ — все это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо — и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу — и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно поматываются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами; а горы... За Терекон виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины молодые, а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье, и сила, и молодость, а горы...»

Описывать горы Толстой и не пытается, и не потому, что уже описаны и воспеты, горы для него — из рода несказанного, они как бы учат главному правилу творческого поведения художника-психолога при встрече с несказанным: «Чтоб его выразить, нужно говорить о другом» (Т. Манн).

Впрочем, и Лермонтов в 1832-м уже не мог сказать о себе, не погрешив против истины: «С тех пор все мечтаю об вас да о небе». Ведь уже написаны: «Люди и страсти», «Станный человек» — драмы земные и земным озабоченные. Написана и первая «Молитва» — присяга на верность земле с ее страстями и ее «мраком»:

Не обвиняй меня, всесильный,  
И не карай меня, молно,  
За то, что мрак земли могильный  
С ее страстями я люблю;  
За то, что редко в душу входит  
Живых речей твоих струя;  
За то, что в заблужденье бродит  
Мой ум далеко от тебя;  
За то, что лава вдохновенья  
Клокочет на груди моеи;



За то, что дикие волненья  
Мрачат стекло моих очей;  
За то, что мир земной мне тесен,  
К тебе ж проникнуть я боюсь,  
И часто звуком грешных песен  
Я, боже, не тебе молось.

Но угаси сей чудный пламень,  
Всесожигающий костер,  
Преобрати мне сердце в камень,  
Останови голодный взор;  
От страшной жажды песнопенья  
Пускай, творец, освобожусь,  
Тогда на тесный путь спасенья  
К тебе я снова обращаюсь.

(1829)

Из взрослого мрака еще более чистым и светлым казался образ детства:

«Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов, они так сияли в лучах восходящего солнца, — и, в розовый блеск одеваясь, они между тем, как внизу все темно, возвещали прохожему утро...»

Кроме этого — голубого и розового автопортрета на фоне синих гор, — существует еще и эскиз к портрету десятилетнего поэта, снятый с Лермонтова его троюродным братом Акимом — по-домашнему — Екимом Шан-Гиреем (встретившись летом 1825-го на Водах с Марией Акимовной Хастатовой, теперь уже Шан-Гирей, Елизавета Алексеевна уговорила племянницу ехать в Россию, а чтобы та не передумала, увезла все семейство с собой). Портрет Лермонтова, набросанный Екимом, довольно выразителен, но в нем и намек нет на мечты о небе! Обычный десятилетний мальчик, ничем не примечательный:

«...Все мы вместе приехали осенью 1825 года в... Тарханы, и с этого времени мне живо помнится смуглый, с черными блестящими глазами, Мишель, в зеленой курточке».

Единственная особая примета — «клок белокурых волос над лбом, резко отличавшихся от прочих, черных, как смоль».

Шан-Гирей и в дальнейшем не замечал за своим кузенком никаких странностей, никаких отклонений от средней нормы:

«В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел, ровного характера, занимался часто музыкой, а больше рисованием, преимущественно в батальном жанре, также играли мы часто в шахматы и в военную игру, для которой у меня всегда было в готовности несколько планов... Никаких мрачных мучений, ни жертв, ни измен, ни ядов лобзанья в действительности не было... все стихотворения Лермонтова, относящиеся ко времени его пребывания в Москве, только детские шалости, ничего не объясняют и не выражают; почему и всякое суждение о характере и состоянии души поэта, на них основанное, приведет к неверному заключению».

Аким Павлович Шан-Гирей исходил из самых благородных побуждений: он и в самом деле был твердо уверен в правоте своего суждения, и в самом деле слышал от своего кузена пренебрежительные отзывы о его собственных ранних произведениях, а главное, никак не мог совместить, в силу ограниченности природы, того Мишеля, какого знал в домашней жизни, с тем Лермонтовым,

каким тот предстает в юношеских своих сочинениях, еще не обожженных в тигле высочайшего мастерства. Отсюда и искажение момента истины.

А между тем авторитет Шан-Гирея, мемуариста добросовестного и доброжелательного, по мере того как увеличивается число изданий сборника «Лермонтов в воспоминаниях современников», все поднимается в цене и все больше и больше начинает давить на сознание читателя, порождая скептическое отношение и к юношеской лирике и вообще ко всему творчеству Лермонтова до 1837 года.

Этому, кстати, способствует и непонятно чем вызванная тенденция: почти во всех популярных изданиях его сочинений ранние стихи перенесены в конец тома на правах приложения. И хотя специалисты, борясь с издательско-читательской традицией, все чаще обращаются к анализу, тщательному и внимательному, произведений, несправедливо подвергнутых «остракизму», это не оказывает никакого влияния на читательское мнение. Читатель, не разбираясь, может быть, в профессиональных тонкостях, тем не менее чувствует: при подходе к текстам, не предназначенным для печати, с теми же мерками и положениями, какие выработаны литературной наукой для произведений, доведенных автором до совершенства, хрупкая структура «незрелых творений» рассыпается. В каких только аспектах не рассматривались, к примеру, юношеские драмы Лермонтова «Люди и страсти» и «Станный человек», пока наконец не было найдено единственно точное и верное определение жанра этих вещей: драматизированный дневник! Я бы даже так сказала: свод автобиографических заметок и записей, с присовокуплением зарисовок с натуры, а также размышлений о страстях и людях, с которыми автор сталкивался ежедневно. Однако пользоваться этим надежнейшим источником биографических сведений надо очень осторожно, и вот почему.

Юношеские драмы Лермонтова не предназначались для широкой публики, юного драматурга вполне устраивала камерная аудитория: узкий круг друзей, сначала пансионских, а затем и университетских.

Камерность, с одной стороны, великодушно извиняла погрешности, а с другой — требовала соблюдения приличий, то есть некоторой конспирации. (В лермонтовское время так поступали авторы не только драматизированных, но и обыкновенных бытовых дневников. Примером может служить дневник Екатерины Сушковой, опубликованный в приложении к одному из последних изданий ее знаменитых «Записок».) В авторском предисловии к «Странному человеку» Лермонтов уверяет: «Лица, изображенные мною, все взяты с природы, и я желал бы, чтобы они были узнаны». Высказывание это обычно понимается буквально, а между тем хотя лица, изображенные в «Странном человеке» и в драме «Люди и страсти», в самом деле имеют прототипов, и даже вполне конкретных, узнать их мудрено, так как Лермонтов, сводя этюды в картину, затушевывает, маскирует сходство.

Возьмем княжну Софью. В облике этой независимой девушки, в ее манере вести себя мы угадываем сходство с московской кузиной Лермонтова Александрой (Сашенькой) Васильевной Верещагиной,

обладавшей, по свидетельству Шан-Гирея, саркастическим, а по мнению ее подруги, Екатерины Сушковой, насмешливым умом.

Лермонтов дорожил дружбой с А. Верещагиной — об этом свидетельствуют его письма. Списанной с насмешливой и умной Александры Васильевны княжне Софье принадлежит самое тонкое суждение о характере главного героя «Странного человека» — Владимира Арбенина, которое она, кстати, высказывает, адресуясь к девушке, в которую Арбенин влюблен:

«Я знаю, что он тебе нравится, но берегись! ты Арбенина не знаешь хорошо, потому что его никто хорошо знать не может... Ум язвительный и вместе глубокий, желанья, не знающие никакой преграды, и переменчивость склонностей, вот что опасно в твоём любезном; он сам не знает, чего хочет, и по той же причине, полюбив, разлюбит тотчас, если предоставится ему новая цель!»

Совет в сашенькином духе: и друзьям, и подругам мадмуазель Верещагина говорила в глаза и при людях вещи, которые обычно не говорят вслух, и частенько заставляла их вспыхивать от досады. А. Глассе в работе «Лермонтов и Сушкова» приводит очень характерный эпизод из жизни этой несомненно неординарной женщины.

Выйдя замуж за немецкого дипломата Карла фон Хюгеля, Александра Васильевна поселилась с семьей в родовом замке мужа. Сама вела хозяйство, сама и туалеты себе мастерила, следуя еще в девичестве усвоенному принципу: максимум эффекта при минимуме затрат.

«Однажды, — вспоминает ее правнучка, — принц Вюртембергский заметил ей, что на ней очень красивое платье, но что он ее в нем видел уже не раз. „И ваше королевское высочество на мне его еще не раз увидит“, — был ее ответ».

Та же доходящая до резкости прямота отличает Софью. Когда один из поклонников княжны предлагает ей с трудом добытый билет на модный концерт, она отвечает: «Я не любопытна, я не имею этого порока».

И тем не менее у Сашеньки Верещагиной не было оснований узнавать себя в княжне Софье. Верещагина, будучи старше Лермонтова на четыре года, относилась к нему хотя и дружески, но покровительственно, пожалуй, даже с оттенком высокомерия — она как бы снисходила до него; княжна же явно влюблена в Арбенина...

По той же схеме «замаскированы» и остальные персонажи драм: при почти портретном сходстве отдельных черт — ситуации перетасованы, как карты.

Тем же целям служат и намеренные хронологические сдвиги. Возьмем разговоры о смерти и странном завещании графа Свитского, сильно занимающие изображенное в «Странном человеке» общество. Современники не могли не узнать в графе Свитском графа Ростопчина, пожелавшего, чтобы его похоронили как можно скромнее и дешевле. Как и родственники Свитского, родные Федора Ростопчина не осмелились исполнить волю покойного: «пламенный» москвич похоронен по высшему разряду — двумя архиереями. Но все это в действительности произошло в 1826 году — Лермонтов переносит событие, долго обсуждаемое всей Москвой, в 1831-й...

Взят с природы и образ главного героя драматической дилогии. В первой части он носит имя Юрия Волина, во второй — Владимира Арбенина, но это только разные варианты одного и того же характера — авторского, психологическая формула которого получена способом длительного самонаблюдения. «Тяжелая ноша самопознания, — признается двойник автора, — с младенчества была моим уделом».

В несколько упрощенном виде результат многолетнего опыта может быть сведен к четырем важнейшим пунктам.

Скверная привычка рассматривать со всех сторон, «анатомировать каждую крошку горя», которую посылает ему судьба.

Раннее развитие чувств и мыслей, от которых характер как бы отстает. По мыслям Волин — Арбенин (Лермонтов) взрослый человек, но в его поступках еще слишком много ребяческого — следствие уединенно-оранжерейного воспитания и отсутствия реального жизненного опыта.

Исполинские замыслы и жажда великого, резко отличающие его от устремленной к ничтожеству толпы; отсюда — острое сознание одиночества: «Во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы моему».

Доставшаяся от матери способность воображать счастье, создавая себе существа такие, «каких требовало сердце»...

Как бы не совсем доверяя данным, полученным посредством самоанализа, Лермонтов сравнивает их с оценками друзей Арбенина (княжна Софья), полудрузей (Белинский), родственников (отец, мать), предоставляя тем самым почтеннейшей публике судить — и о проницательности участников коллективного психологического опыта (он же и диспут по данным этого опыта), и о личности человека, поставленного в центр драмы.

Мало того, Лермонтов еще раз перепроверяет полученные результаты — по Лафатеру. Для этого в драму введен некий 3-й Гость — последователь швейцарского кудесника, гениального физиономиста; с согласия автора этот персонаж допущен и к архиву Арбенина. Вот каковы результаты ученой и беспристрастной (апологет Лафатера с молодым Арбениным лично не знаком) экспертизы:

«Он имел характер пылкий, душу беспокойную, и какая-то глубокая печаль от самого детства его терзала. Бог знает отчего она произошла! Его сердце созрело прежде ума... Его насмешки не дышали веселостью... Обида, малейшая, приводила его в бешенство, особливо когда трогала самолюбие... Я уверен, что если б страсти не разрушили его так скоро, он мог бы сделаться одним из лучших наших писателей. В его опытах виден гений!».

Итак, коллективными усилиями самого Владимира, наиболее проницательных лиц из его окружения, при содействии свидетелей (отец, мать, старая нянька), бросающих в котел еще не готовой, но уже закипающей мысли отдельные факты, подробности, что-то вроде приправы, создается истинное суждение о характере Арбенина. А рядом, параллельно и одновременно — молвой, толпой, расхожим, пошлым общим мнением, досужим любопытством — фабрикуется и запускается в оборот ложное суждение о том же предмете — личности главного героя. Согласно мнению толпы, Арбенин — удачливый, веселый человек:

«Он, который часто в обществе казался так весел, так беззаботен, как будто сердце его было — мыльный пузырь!»

И еще:

«Он очень счастлив: это доказывает его веселый характер, а история счастливых людей не бывает никогда занимательна...»

Эта ли лермонтовская фраза, задержавшись на магнитной пленке памяти Толстого, подсказала ему знаменитое начало «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на друга», — трудно сказать, но Шан-Гирей ее явно не помнил, что вполне вероятно, поскольку в год создания «Странного человека» ему было всего тринадцать лет. Видимо, не прочитал он его и впоследствии, что тоже допустимо, — слишком уж уверен, что юношеские произведения Лермонтова не достойны его славы. Иначе трудно понять, как мог пройти мимо следующей реплики последователя Лафатера: «Если он и показывался иногда веселым, то это была только личина». Ведь она кажется прямой издевкой над утверждением Шан-Гирея: «В домашней жизни своей Лермонтов был почти всегда весел».

Словом, если мы, спровоцированные свидетельством любезного Екима, поверим в ровное настроение Михаила Лермонтова, в его веселость, неминуемо попадем в положение придворных стукачей Розенкранца и Гильденстерна, которые так и не смогли выполнить секретное задание — проникнуть в тайное тайных наследника датского престола! Знаменитый фрагмент с флейтой семнадцатилетний поэт приводит в письме к матери Екима — Марии Шан-Гирей.

Вот как эта сцена звучит в его переложении:

«Гамлет берет флейту и говорит:

Сыграйте что-нибудь на этом инструменте.

*И придворный.* Я никогда не учился, принц, я не могу.

*Гамлет.* Пожалуйста.

*И придворный.* Клянусь, принц, не могу (и прочее, извиняется).

*Гамлет.* Ужели после этого не чудачки вы оба? когда из такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных звуков, как хотите из меня, существа одаренного сильной волею, исторгнуть тайные мысли?...»

К цитате, вместо комментария, приписана только одна фраза: «И это не прекрасно!..»

Увы, люди, окружавшие Лермонтова, даже самые близкие и любимые, не обладали инструментом, который мог бы исторгнуть из него, существа, обладавшего на редкость сильной волей, тайные мысли и чувства! Тем более что он сам возвел стену между внешним своим поведением и внутренним самочувствием. Сохранить непроницаемость этого барьера — сделалось одной из главных его жизненных забот. А в творчестве, наоборот: предметом самого пристального внимания стало именно это противоречие — между тайным и явным, между внешним и внутренним, между чувством и поступком.

По счастью, у нас есть возможность перепроверить суждения Шан-Гирея о состоянии души и характере его кузена, относящиеся и к более раннему возрасту, к той поре, когда черноглазый Ми-

шель не писал ни стихов, ни драм, и, согласно утверждению Акима Павловича, был весь поглощен штурмами снежных крепостей, верховой ездой на маленькой лошадке с черкесским седлом да гимнастикой.

Вот заметка в записной книжке поэта 1830 года:

«Я помню один сон: когда я был еще восьми лет, он сильно подействовал на мою душу. В те же лета я один раз ехал в грозу куда-то: и помню облако, которое, небольшое, как бы оторванный клочок черного плаща, быстро несло по небу: это так живо передо мною, как будто вижу».

«Когда я еще мал был, я любил смотреть на луну, на разнообразные облака, которые в виде рыцарей с шлемами теснились будто вокруг нее: будто рыцари, сопровождающие Армиду в ее замок, полные ревности и беспокойства».

Небесный свод был для маленького тарханского мечтателя чем-то вроде косморамы. Истории, разыгранные на экране неба «разновидными облаками», так резко врезались в память, что он мог прокрутить отснятые в уме «ленты» в любое удобное ему время. В один из таких «просмотров» и было написано стихотворение «Бой» — перевод на поэтический язык сюжета, возникшего в промежутке между отрочеством и детством, когда сознание еще способно на мифотворчество:

Сыны небес однажды надо мною  
Слетались, воздушных два бойца;  
Один — серебряной обвешан бахромою,  
Другой — в одежде чернеца.  
И, видя злость противника второго,  
Я пожалел о воине младом;  
Вдруг поднял он концы сребристого покрова,  
И я под ним заметил — гром.  
И кони их ударились крылами,  
И ярко брызнул из ноздрей огонь;  
И вихорь отступил перед громами,  
И пал на землю черный конь.

(1830)

Чего только не отыскивали в ребяческом мифе толкователи! И библейские ассоциации, и обращение к поэтике волшебной сказки (причем сознательное), и мистический экстаз, который «в пророческих состояниях имеет акустическую природу», и раннехристианскую символику, и византийскую поэтику, и «минейную» службу архистратигу Михаилу, совершающуюся на именины Лермонтова 8 ноября по старому стилю. (Цитирую не какое-нибудь сверхспециальное исследование, а соответствующий — на букву «Б» — параграф массовой Лермонтовской энциклопедии.)

Но о каком обращении к поэтике волшебной сказки может идти речь, если существует самоличное признание Лермонтова, к 1830 году относящееся: «Я не слышал сказок народных; в них, верно, больше поэзии, чем во всей французской словесности»?

И как можно искать в произведении, сюжет которого не имеет прецедентов в гимнографии, конкретизацию подобного сюжета?

Кстати, о библейских ассоциациях и вообще о библии. Хотя Елизавета Алексеевна и была в бытовом плане строго православ-

ной, то есть педантично соблюдала религиозные правила и предписания христианства, в теоретическом плане оно ее не увлекало. Как и в семействе Марфы Ивановны Громовой («Люди и страсти»), в столыпинской среде священное писание воспринималось как свод нравственных правил, не более того. (Никак нельзя забывать и о том, что время, о котором идет речь, «вовсе не знало судорожного православия. Церковь, как и государство, — писал Герцен, — не защищалась чем попало, не ревновала о своих правах, может быть, потому, что никто не нападал. Все знали, какие это два зверя, и не клали пальца им в рот. Зато и они не хватали прохожих за ворот, сомневаясь в их православии или не доверяя их верноподданничеству. Когда в Московском университете учредили кафедру богословия, старик, профессор Гейм, с ужасом говорил: „Пришел конец великому русскому университету“. В гимназиях и школах катехизис преподавали для формы и для экзамена, который постоянно начинался с закона божия».)

Что же касается самого Лермонтова, то он в эти годы был настроен столь еретически, что заподозрить в нем интерес к раннехристианской символике, а тем более тонкостям «минейной» службы в день его ангела никак невозможно. Вот как мыслил и рассуждал о боге и о вселенной Михаил Юрьевич Лермонтов в годы своей студенческой юности:

«Друг мой! нет другого света... есть хаос... он поглощает племена... и мы в нем исчезнем... нет рая — нет ада... люди брошенные, бесприютные создания».

И еще — в «Странном человеке»:

«Бог! бог! во мне отныне к тебе нет ни любви, ни веры!»

С образами «разновидных облаков» связано и еще одно автобиографическое признание Лермонтова:

И после их на небе нет следа,  
Как от любви ребенка безнадежной,  
Как от мечты, которой никогда  
Он не верял заботам дружбы нежной.

Итак: несмотря на тесноту и плотность «домашнего круга», на заботы и оборону бабушки, то есть на полное отсутствие условий для одиночества, — мучительное чувство одиночества, мечты, которые не веряются «заботам дружбы нежной», ибо никто не понимает и «никто не умеет обращаться с этим сердцем».

В глубокой тайне держит десятилетний Лермонтов и свои страсти — от самых близких скрывает, да так удачно! Никому и в голову не приходит, что резвый мальчик в курточке, сшитой домашним портным, мучается над загадкой сердца человеческого...

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду?»

Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная,

хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано!.. Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату. Я не хотел говорить об ней и убегал, слыша ее название (теперь я забыл его), как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснил другим тайну, непонятную для меня самого. Я не знаю, кто была она, откуда, и поныне, мне неловко как-то спросить об этом: может быть, спросят и меня, как я помню, когда они позабыли; или тогда эти люди, внимая мой рассказ, подумают, что я брежу; не поверят ее существованию — это было бы мне больно!.. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность — нет; с тех пор я ничего подобного не видал или это мне кажется, потому что я никогда так не любил, как в тот раз. Горы Кавказские для меня священные!.. И так рано! в десять лет!.. о, эта загадка, этот потерянный рай до могилы будут терзать мой ум!.. иногда мне странно, и я готов смеяться над этой страстью! Но чаще — плакать».

Словом, тому, что говорит Шан-Гирей о состоянии души Мишеля, доверять никак нельзя. Но о внешней стороне жизни Лермонтова, особенно в тарханскую пору, когда она, строго очерченная «домашним кругом», вся была на виду, по его воспоминаниям мы можем судить с достаточной точностью.

Аким Шан-Гирей застал в Тарханах 1825 года нечто вроде ребячьей вольницы, жадной до нехитрых деревенских развлечений.

На святки — ряженые, на пасху — яйца крашеные. Катали яйца в парадной зале — Мишель по обыкновению проигрывал... На семик и троицу — игрища в лесу; и господа, и дворовые — все вместе. Поварам забота — такую ораву накормить-напоить! Зимой на прудах — кулачные бои: стенка на стенку, дворовые против деревенских. Причем Мишель, как отмечает его кузен, увидев, что его любимец, садовник Василий, вышел из ледового побоища с рассеченной губой, расплакался. Бывали и у них, детей, снежные баталии: с обледелыми ядрами, с крепостями, облитыми водой...

Ну, и конечно — салазки. Гору, как и крепости, устраивали: такой высоты, чтоб душа замирала, в равнинных Тарханах не было.

Из снега выделявали не только крепости. «Мишель был мастер делать из талого снегу человеческие фигуры в колоссальном виде».

Снег («летучий, серебристый и для страны порочной слишком чистый»), по всей вероятности, был первым материалом, преодолев сопротивление которого Лермонтов обнаружил в себе художника.

Заметила это и бабушка. В классной новенькой комнате появились акварельные краски и цветные воски. Специального учителя, разумеется, не взяли, но, видимо, без советов придворного мастера живописных дел не обошлось, и очень скоро «Мишель и акварелью рисовал довольно порядочно, и лепил из крашеного воску целые картины». Сначала — переводил в воск гравюры из книжки об Александре Македонском, населяя восковые композиции слонами и колесницами, украшенными фольгой и стеклярусом.

Руки у Лермонтова вообще были ловкие, годные к тонкой и тщательной работе. Однажды, к примеру, он смастерил бисерный ящик для своей троюродной сестры — Катюши Шан-Гирей.



Потребность делать что-то руками сохранилась у него до конца жизни. В 1841 году, летом, за неделю до дуэли, на которой поэт был убит, пятигорская военная молодежь решила устроить бал по подписке. Выбрали место — грот Дианы. Лермонтов принял в подготовке к увеселению самое активное участие. Его квартира стала чем-то вроде оформительского цеха.

Один из участников этого предприятия Лев Арнольди, сводный брат черноокой Россети, вспоминает:

«Мы намеревались осветить грот... для чего наклеили до 2000 разных фонарей. Лермонтов придумал громадную люстру из трехъярусно помещенных обручей, обвитых цветами и ползучими растениями».

Начав с копирования и поделок, юный мастер быстро осознал необходимость работы с натуры. Аким Шан-Гирей и спустя чуть ли не три четверти века не забыл, как удачно вылепил его братец «охоту за зайцем с борзыми», которую им однажды довелось видеть. Не исключено, правда, что охота эта — по выразительности — ничем не уступала сражению при Арабелах или переходу через Граник.

В смежной с Пензенской Саратовской губернии в пору детства поэта проживал некто Росславлев, дворянин, владелец нескольких тысяч душ. Уже известный нам А. Фадеев застал его почти бедным человеком, но в начале 20-х годов, то есть тогда, когда Лермонтов и Аким Шан-Гирей жили в Тарханах, Росславлев был еще в состоянии удовлетворить главную свою страсть — страсть к охоте, которой он предавался «с неудержимым увлечением и в самых обширных размерах, в продолжение многих лет своей жизни». «Росславлев, — передает Фадеев рассказы саратовских старожил, — держал громадную псарню, множество псарей, и его выезд на охоту представлял зрелище в роде средневекового переселения народов. Со всеми своими псарнями, псарями, верховыми лошадьми, огромным обобом всяких запасов, всех вещей, с многочисленной компанией приятелей, любителей охоты, он не довольствовался одной Саратовской губернией, но объезжал все соседние, добирался до Оренбургских степей и пропадал в охотничьих разъездах по несколько месяцев. Так продолжалось, пока хватило состояния, двух или трех тысяч душ, и кончилось вместе с ними».

Трудно предположить, чтобы Арсеньева, несомненно осведомленная о существовании саратовского чудака (под Саратовом у Столыпиных, как я уже упоминала, было несколько имений, в том числе и у ее любимого брата — Афанасия, в ту пору саратовского предводителя дворянства), не воспользовалась даровым представлением, чтобы развлечь загрустивших с наступлением осени мальчишек...

По старой тарханской традиции, еще Михайлом Арсеньевым заведенной, устраивались в Тарханах и домашние спектакли. Только теперь заводилами — и режиссерами, и актерами — стали сами дети; взрослых изгнали в партер.

В дни премьер Елизавета Алексеевна не могла справиться с собой — была печальна, и даже по случаю детского праздника не изменяла заведенной со дня смерти Марии Михайловны «форме одежды» — вечному своему трауру: черное платье да белый, без лент, чепчик. Но к детям была добра и ласкова, и не только не сердилась, когда они слишком уж веселились, а наоборот — радовалась и их веселости, и своей победе над безутешным горем: добилась-таки своего — открыла дом свой Жизни, молодой, беспечной, здоровой. Себе во всем отказывала — готова была и без чаю обой-

тись — на будущее сэкономила, а для детей ничего не жалела: лучше в тесноте, чем в пустоте.

Со всей округи сверстников внука собрала: сосед из Пачелмы — Коля Давыдов, два брата Юрьевых, двое маленьких князей Максютых (все дальние родственники) да зятев племянник Погожин-Отрашкевич. Этого издалека привезли, из-под Тулы. Маша перед смертью просила: нету родного брата — пусть с двоюродным Мишей вместе растут. Наезжали и пензенские Столыпина со своими выводами... Дом битком набит — шум, хохот, возня, шалости.

Тарханские дворовые девки, состарясь, охотно рассказывали любопытствующим:

«Уж так веселились, так играли, что и передать нельзя. Как только она, царство ей небесное, Елизавета Алексеевна-то, шум такой выносила».

Перехитрила-таки Елизавета Столыпина злыдню-судьбу. Мишину хворость, от хворой матери доставшуюся, и ту — осилила. Вольный деревенский воздух. Вольная жизнь. Опять же и воды кавказские, горячие да пахучие — от золотухи природной и следа не осталось.

Аким Шан-Гирей застал брата совершенно здоровым и, по его утверждению, не видел серьезно больным на протяжении пятнадцати лет дальнейшей жизни. Потому и удивила строгость, с какой в Тарханах выполнялись предписания домашнего врача: утром по весне — черный хлеб с маслом и кресс-салатом.

Лермонтов, конечно, хворал; в его послужных списках множество рапортов об отпусках по болезни, но, видимо, умудрялся использовать отпуска не по прямому назначению; верно и то, что его недомогания, за редким исключением, не вызывали тревоги у близких, даже у бабушки.

Исходя из свидетельства Шан-Гирея, мы вправе предположить, что Елизавета Алексеевна не обременяла внука науками: в 1825 году в Тарханах было только два учителя — французский и греческий; по-немецки Мишеля учила Кристина Осиповна, полубонна, полунянька.

От греческого Мишель, как вспоминает Еким, наотрез отказался; он и в дальнейшем, в отличие от Пушкина, не проявлял особого интереса к античности. Да и трудно было ожидать, что грек — ремесленник, выросший в Турции и с успехом обучавший тарханских крестьян выделке собачьих шкур, мог воспылнить воображение своих воспитанников.

Госпожа Арсеньева, конечно, понимала, что задерживает внука в недорослях, но медлила с отъездом из деревни, лечила его уязвленную сиротством душу — долгим-долгим детством, теплом и уютом домашним.

Нам, людям другой эпохи, с нынешними понятиями о воспитании, заботы и усилия Арсеньевой кажутся нормой, однако во времена Лермонтова это было, скорее, счастливым исключением из общего всем правила. Сошлюсь на запись в дневнике А. Вульфа: «Странно, с каким легкомыслием отказываются у нас матери (я говорю о высшем классе) от воспитания своих детей; им довольно того, что могли их на свет произвести, а прочее их мало заботит. Они не чувствуют, что лишают себя чистейших наслаждений, не исполняя долга, возложенного на них самой природой, и отдавая детей своих на произвол нянек, оттолкнув их таким образом от себя, они винят детей в неблагодарности, не находя в них любви к себе. Мы везде видим, как преступления против природы наказуемы бывают своими собственными следствиями; так и здесь: в те лета, когда страсти начинают в людях ослабе-

вать и они вследствие физических причин начинают искать покоя, тогда, пресытаясь суетными наслаждениями рассеянной жизни, ищут они утешения в кругу своего семейства. Но что они там находят? Вместо детской любви холодное почтение и чаще равнодушие, если не что-нибудь худшее, и, не сознаваясь в собственной вине своего несчастья, ропщут на судьбу и на детей. Вот что мы видим всякий день, если заглянем в домашнюю жизнь наших бояр, где мы найдем и причины нашей дурной нравственности и невежества».

Кроме «правдивого описания того, что происходило в детстве человека, интересующего настоящее время» — так уточнил жанр своих мемуаров Шан-Гирей — да нескольких деталей, сообщенных Святославом Раевским, существует и еще один подробный рассказ о тарханской жизни поэта — П. К. Шугаева (отрывки из этого сочинения уже цитировались).

В принципе рассказанное П. Шугаевым не противоречит ни тому, что заметил и запомнил Шан-Гирей, ни тому, что передал первому биографу Лермонтова его старший друг Святослав Раевский. (Уроженец Пензы, Раевский бывал в Тарханах в интересующее нас время.) Однако и Шан-Гирей, и Раевский — люди не просто хорошо относящиеся и к Елизавете Алексеевне Арсеньевой-Столыпиной, и к внуку ее. Они, несомненно, были озабочены тем, чтобы не вспомнить ничего такого, что могло бы дать повод к злоречию.

П. Шугаев свободен от этого предрассудка. Он собирает и печатает все, что рассказали ему семьдесят с лишним лет спустя и тарханские старожилы, и пензенские обыватели, и окрестные помещики — все, кто мог что-нибудь да сказать по интересующему автора «Колыбели замечательных людей» вопросу.

Опубликованные впервые в конце века заметки П. Шугаева перепечатаны с некоторыми сокращениями в сборнике «Лермонтов в воспоминаниях современников» и, следовательно, стали достоянием широкого читателя.

В комментариях о «Колыбели...» сказано уклончиво и осторожно: «Возможно, что кое-какие подробности, сообщаемые Шугаевым, не полностью соответствуют действительности». И это естественно: комментатор может с уверенностью опровергнуть факт только в том случае, если у него имеется антифакт. Антифактов нет и у нас, однако мы все-таки можем подвергнуть сообщаемые П. Шугаевым сведения психологической экспертизе и таким способом выяснить степень их достоверности.

По Шан-Гирею: Елизавета Алексеевна, хотя и не скрывала страстной привязанности к внуку, не обходила своим вниманием и остальных обитателей «детской республики» в селе Тарханы: «со всеми была ласкова и внимательна».

По Шугаеву: с согласия и по требованию бабушки не только деревенские мальчишки, одетые в военное платье, дабы составить потешное войско, вроде того, «которое было у Петра во время его детства», но и взятые в дом барчуки должны были беспрекословно подчиняться капризам и причудам маленького деспота; пример же послушания, утверждает Шугаев, подавала вдовствующая императрица Тарханская — стремглав кидалась приказы да указы его исполнять, — раньше, чем гвардейцы потешного войска, и охотнее, чем они.

Дыма без огня не бывает. И все-таки: если бы деспотизм тарханского наследного принца действительно был столь несимпатичным, а унижение

рядовых членов гостеприимного дома настолько явным, вряд ли бы Николай Юрьев с такой охотой и в дальнейшем пользовался гостеприимством Арсеньевых: детские обиды не забываются.

Даже тезка «наследника» — Михаил Погожин-Отрашкевич и тот и о тарханском пятилетии (1820—1825), и о двоюродном брате своем сохранил самые приятные воспоминания.

К свидетельствам Погожина-Отрашкевича можно относиться с доверием, поскольку он, сын родной сестры нелюбимого Арсеньевой зятя, должен был бы в первую очередь подвергнуться пыткам унижения.

По словам Погожина-Отрашкевича, Лермонтов учился прилежно, «имел особенную способность и охоту к рисованию, но не любил сидеть за уроками музыки», «в нем обнаруживался нрав добрый, чувствительный, с товарищами детства был обязателен и услужлив, но вместе с этими качествами в нем особенно выказывалась настойчивость». Той же обязательности, верности данному слову требовал он и от своих товарищей.

Вот характерный эпизод, показывающий, как рано проявились в характере Лермонтова и постоянство воли, и не по-детски серьезное отношение к долгу: «...пример его настойчивости обнаружился в словах, сказанных им товарищу своему Давыдову. Поссорившись с ним как-то в играх, Лермонтов принуждал Давыдова что-то сделать. Давыдов отказывался исполнить его требование и услышал от Лермонтова слова: „Хоть умри, но ты должен это сделать“».

«Для забавы Мишеньки, — сообщает также Шугаев, — бабушка выписала из Москвы маленького оленя и такого же лося, с которыми он некоторое время и забавлялся; но впоследствии олень, когда вырос, сделался весьма опасным даже для взрослых, и его удалили от Мишеньки; между прочим, этот олень нанесли своими громадными рогами увечья крепостным, которые избавились от него благодаря лишь хитрости, а именно не давали ему несколько дней сряду корма, отчего он и пал, а лося Елизавета Алексеевна, из боязни, что он заразился от оленя, приказала зарезать, и мясо употребить в пищу, что было исполнено немедленно и в точности».

Сомнительно, чтобы бережливой Елизавете Арсеньевой пришла в голову такая сумасбродная затея! Да и кому в Москве она могла сделать столь экзотический заказ? Скорее всего, лось или олень, если они и были, что тоже сомнительно, — ибо никто из очевидцев, бывших в ту пору детьми, их не помнит, — подарены кем-нибудь из окрестных любителей домашних зоопарков. Но что несомненно: бабка Лермонтова ни за что не позволила бы ни оленю, ни лосю разгуливать на свободе, ведь своими рогами и копытами звери могли нанести увечье не только ее внуку и крепостным, но и мальчишкам, за которых она отвечала — и перед их родителями, и перед своей совестью.

Но это мелочи. А вот факт посерьезней.

«Когда Мишенька стал подрастать, — продолжает П. Шугаев, — то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору. Иногда бабушка делалась жестокою и неумолимою к провинившимся девушкам; отправляла их на тяжелые работы или выдавала замуж за самых плохих женихов, или даже совсем продавала кому-либо из помещиков».

Факт слишком важный, и посему рассмотрим его по частям.

«Разврату» в своем доме Елизавета Алексеевна действительно не терпела: это было не в ее правилах. Приехав в 1835 году в Тарханы и обнаружив, что, в результате почти семилетнего отсутствия хозяйки, дворня совсем «распустилась», она немедленно приняла меры по наведению порядка в девичьей и передней. Вскоре после своего приезда Арсеньев писал в Петербург:

«Девки, молодые вдовы замуж не шли и беспутничали, я кого уговорила, кого на работу посылала и от 16 больших девок 4 остались и вдова. Все вышли замуж. Иную подкупила, и все вошло в прежний порядок».

Меры, принятые Арсеньевой, были вызваны, разумеется, не только заботами о нравственном климате своего владения, но и чисто экономическими соображениями: беспутная девка что телка яловая — ни приплода, ни дохода (каждая зафиксированная в «ревизской сказке» крепостная душа — двести рублей ассигнациями при залоге). Это — во-первых. Во-вторых. Из Тархан Арсеньева увезла внука в 1827 году, когда тому не исполнилось и тринадцати лет. Приезжали они сюда и летом следующего, 1828-го, но ненадолго. Зная, как панически боялась бабка за здоровье Мишеля, трудно допустить, чтобы она по своей воле могла преподнести такое сомнительное лекарство от деревенской скуки, как подкупленную благосклонность деревенских магдалин к едва вышедшему из младенческих лет отроку! Да и в дальнейшем Елизавета Алексеевна, даже если бы и хотела, была совсем не в состоянии предоставить в распоряжение Мишеньки крепостной гарем. При приезде в Москву долго не могла найти подходящее помещение, ютилась на птичьих правах в домах московских родственников — людей многодетных и весьма щепетильных в вопросах нравственности и пристойности. Первый свой дом, в котором можно было держать сразу несколько «красивых горничных», не стесняя себя элементарными удобствами, вдова Арсеньева сумела снять лишь в 1830 году. Но к той поре Михаил Юрьевич в услугах бабушки по сей щекотливой части уже не нуждался. Крайняя Москва кишмя кишела молодыми девами, готовыми продать единственное свое богатство — красоту... Судя по таким стихам, как «Прелестнице», «Девятый час, уж темно», Лермонтов не упустил возможность пополнить свой опыт, как, впрочем, и все молодые люди его лет и его круга.

Александр Герцен вспоминает:

«Были и вовсе не платонические шалости, — даже такие, которые оканчивались не драмой, а аптекой. Но не было пошлых интриг, губящих женщину и унижающих мужчину, не было *содержанок* (даже не было и этого подлого слова). Покойный, безопасный, прозаический, мещанский разврат, разврат по контракту, миновал наш круг.

— Стало быть, вы допускаете худший продажный разврат?

— Не я, а вы! То есть не *вы* — вы, а вы — все. Он так прочно покоится на общественном устройстве, что ему не нужно моей инвеституры».

Лермонтов не был знаком ни с Герценом, ни с молодыми людьми его ближайшего окружения, но приведенный выше фрагмент из «Былого и дум» вполне может служить и бытовым, и этическим комментарием к его «Прелестнице»: стихи эти — отрицание «мещанского разврата», безопасного и прозаического — во имя «очистительного крещения плоти» и «религии красоты», восставшей против общественного ханжества:

Пускай ханжа глядит с презреньем  
На незаконный наш союз,  
Пускай людским предубежденьем  
Ты лишена семейных уз,  
Но перед идолами света  
Не гну колена я мои,  
Как ты, не знаю в нем предмета  
Ни сильной злобы, ни любви.  
Как ты, кружусь в веселье шумном,  
Не чту владыкой никого,  
Делюся с умным и безумным,  
Живу для сердца своего.

Мы смехом брань их уничтожим,  
Нас клеветы не разлучат,  
Мы будем счастливы как можем,  
Они пусть будут как хотят!

Стихотворение это, дав ему новое название — «Договор», Лермонтов слегка переделал в 1841 году. Уже это свидетельствует, что и в его «неплатонических шалостях», как и в опыте Герцена и его друзей, не было ничего такого, о чем люди, выйдя из юности, не могут вспомнить без отвращения.

Пунктуальности ради надо признать, что в тарханской хронике действительно был момент, когда Елизавета Алексеевна, дабы удержать Мишеньку подле себя как можно дольше, вполне могла прибегнуть к проверенному в домашнем быту русских дворян средству от деревенской скуки. Я имею в виду приезд Лермонтова в Тарханы зимой 1836 года — уже после производства в офицеры.

Но тут-то у нас против шугаевского факта имеется антифакт: собственноручное письмо Михаила Юрьевича Святославу Раевскому, в котором отпусник, запертый в Тарханах зимней непогодой, сообщает другу с приятным в гусарской среде цинизмом, что не может этим средством воспользоваться, ибо «девки воняют».

И, наконец, последнее — самое важное.

По сведениям, обнаруженным Шугаевым, Елизавета Алексеевна отдавала горничных, оказавшихся в интересном, или, как говорили в ту пору, в «известном положении» — по вине ее собственного внука — замуж за крепостных или даже продавала куда-то — «в розницу»...

Подобные случаи встречались в крепостном быту, но только не среди порядочных людей, считавших, подобно Столыпину, что жить с чистой совестью не только приятнее, но и удобнее.

Взять хотя бы дальних соседей Арсеньевой — саранских помещиков Струйских.

У Николая Еремеевича Струйского и жены его Александры Петровны было несколько сыновей; от одного из них, Леонтия, в 1804 году солдатская дочь Аграфена родила мальчика. Струйский-младший, пожалуй, непрочь был и жениться: уж очень хороша была «солдатка», и, судя по его дальнейшему поведению, молодой барин имел к ней «влеченье — род недуга». Александра Петровна (старик Струйский к тому времени успел умереть) не позволила, достаточно ей хлопот и со старшим наследником — Юрием: мало того, что прижил младенца от рабыни, так еще и усыновить его желает — законным порядком. И усыновит: своеволен. А на Леонтия нажать можно — восковой...

Несмотря на гнев и несоизволение, госпожа Струйская ни внука незаконного, ни девку провинившуюся, мать его, в крепостном состоянии не остави-

ла. Аграфену выдали замуж за купеческого сына — Ивана Полежаева (вместе с вольной бумагой и солидным приданым: и белье, и посуда, и деньги, дабы молодые могли дом купить). И к венчанию не опоздала барыня, благословила «сноху».

После таинственного исчезновения купеческого сына — Ивана Полежаева — Леонтий Аграфену обратно забрал. Мать и слова поперек не сказала. Подрос внук — в Москву отправила, в гимназию, и не с крепостными — отца родного в провозатые определила.

Поэт Александр Полежаев тяготился двусмысленностью своего положения — это общеизвестно. Но, думается, двусмысленность и проистекающая из нее тягость создавались не только выше изложенными обстоятельствами. Обстоятельства были хотя и двусмысленные, но уж очень обычные. Матерью князя Владимира Одоевского, друга и наставника Лермонтова, была крепостная крестьянка. Я уж и не говорю о многочисленных баронах и баронессах Вревских, прижитых богатым вельможей Куракиным от крепостных одалисок. Один из этих Вревских был приятелем Лермонтова, за другого — благополучно, не испытывая неловкостей, вышла замуж Евпраксия Вульф — та самая Зизи, с которой связано блистательное двустышие в «Евгении Онегине»:

Подобных талии твоей,  
Зизи, кристалл души моей...

Двусмысленное происхождение (отец — дворянин, мать — пленная турчанка) не помешало Василию Андреевичу Жуковскому стать учителем и наставником царских детей; на незаконной дочери князя Вяземского был женат и Николай Михайлович Карамзин...

Нет, не сомнительности своего происхождения стыдился Александр Полежаев. Быть сыном, пусть незаконным, знатного барина (Струйские вели родословную от Шуйского-князя) было ничуть не зорно. Зорно быть сыном каторжника... Вскоре после того, как Леонтий Струйский привез сына в Москву на ученье, его за убийство дворового человека лишили дворянства и сослали в Сибирь. Несмотря на скандал, опозоривший почтенный род, Струйские продолжали заботиться о Сашке: и в университет устроили, и до конца курса довели.

Словом, Струйские очень даже помнили, что мальчик, носящий фамилию Полежаев, на самом-то деле — Струйский; Полежаев хотел бы об этом забыть: приличнее было считать отцом невесть куда сгинувшего купчика, чем человека, лишённого чинов и дворянства за дикое, зверское убийство!

Разумеется, для того чтобы добиться для детей, рожденных в «незаконном сожителстве», дворянского достоинства, надо было усилия приложить.

Но Куракин — добился. Ермолов — тоже. (В пору своего владычества на Кавказе у А. П. Ермолова было три туземные жены, с которыми наместник заключал «кебин», то есть брачное соглашение по шариату. Разумеется, в разное время. Хотя в отношении женщин «генерал седой» и придерживался, как утверждают очевидцы, «мусульманских вкусов», но не до такой степени, чтобы заводить гарем.)

У Елизаветы Алексеевны не было, конечно, таких заслуг перед отечеством, в уважение к которым власть придерживающие позволили бы себе «переступить через закон», а у ее дерзкого внука — тем паче. Но ведь жив был еще Мордвинов, а он, хоть и не в прежней силе находил-

ся, но и по имени своему, и по связям — вполне мог сладить подобное дело.

Перед Мордвиновыми, правда, Елизавета Алексеевна робела, тушевалась. И откуда робость бралась? Хозяин — прост, хозяйка и того проще, и обстановка под стать: ни гардин, ни ковров, ни безделушек. Да, видно, не так проста простота, как кажется. Недаром портретик адмиральши, когда та еще в девицах была, самому Лафатеру, кумиру Мишенькиному, посылали. И написал кудесник швейцарский: «Sur ce front se peignent la noblesse, la candeur et la pureté» \*.

Однако и робость преодолела, и гордость осилила, когда за Прасковью Крюкову, подругу задумешную, хлопотать пришлось. Два раза была: не удалось с сенатором о деле поговорить. «Один раз не приняли, другой его не видела». «Впредь опять была», но и тут не повезло: Пушкин прибыл... До Прасковьи ли Мордвиновым? Пришлось через Николеньку, племянника старшего, действовать, дабы комиссию, на себя припяту, исполнить.

Так ведь тут, с Крюковой, о простой тяжбе дело шло. А если бы внука касалось — внука, к которому «по свойственным чувствам» «неограниченную любовь и привязанность» имела, — не только сенатора, Сенат бы на ноги подняла! Нет, не бросила бы Елизавета Алексеевна дитя малое на произвол судьбы. Не оставила бы в рабстве и в завещании не забыла. Не по воле своей — после смерти Мишеньки — на земле задержалась. Четыре года, четыре месяца и еще один день — как в гробу прожила — властью божией задержалась, дабы земное исполнить, и прах дорогой в родной земле упокоить, и памятник поставить, и в церкви, в честь двух Михайлов воздвигнутой, благолепие навести.

Четыре года томилась в безнадежности одиночества и о младенце, от внука зачатом, не вспомнила? Неужто сердцем суше соседки саранской была? Красавицы Струйской, и мужем, и детьми избалованной? А была бы — как мог Лермонтов, при живом и законном отце испытывший всю горечь безотцовщины, такое позволить? Он, с его презрительным отношением к людским предубеждениям да к узам семейственным?

И все-таки клеветы, собранные Шугаевым, кое о чем свидетельствуют. И сорок с лишним лет спустя не забыли пензенского края обыватели оскорбления, нанесенного им старухой Арсеньевой: на свой лад жила — не так, как все. И с внуком своим золотушным носилась, что с торбой писаной. И надо ж такому случиться? Заморыш в великие люди вышел! И тут обошли их Столыпины, воистину — отродье сатанинское. Недаром картинка есть, с разрешения синода писанная: лик его дьявольский — среди грешников, в геенне огненной! Весь как есть! Люди верные сказывали, своими глазами видели — в селе Подмоклево, в храме тамошнем. Не может ошибки быть!

Вот тебе, гордячка тарханская! Ты его — внука Михайлу — в чин архангельский записала, с Саваофом рядом поставила, и святым воинством оборонила, и херувимчиков раб твой по куполу распустил — все исполнил по приказу твоему человек твой, к живописному делу способный.

Да не за тобой, за нами, за ничтожеством нашим, слово последнее.

---

\* На этом лице читается благородство, простодушие и чистота (фр.).



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Мне нужно действовать,  
я каждый день  
Бессмертным сделать бы желал...*

И так, и этак раскидывала Елизавета Алексеевна — не сходилась пасьянс: ни воспитание на широкую ногу, ни деревенский университет не по средствам ей, недоступно по дороговизне. Была бы подмосковная!.. Подмосковные, и при средних достатках, без казенных заведений обходились. Сговаривались домами, скидывались родством, глядишь: при одном богатом семействе — и свои собственные, и чужие дети воспитание получают, в самых широких размерах. А там — и в полк. Из гнезда домашнего да в уланы, плохо ли?

К той поре даже до уездных «простаковых» дошел смысл знаменитого указа 1762 года. Те из помещиков, кто осмелится пренебречь обязанностями, возложенными государством на дворянское сословие; не уклоняться от службы, но с ревностью в оную вступать, не меньше и детей своих с прилежностью обучать «благопристойным наукам», будут если и не де юре, то де факто лишены и сословного достоинства...

Обучать, однако, можно было по-разному, и большинство, как и положено большинству, не желало тратить на этот предмет слишком много: ни денег, ни усилий.

Как правило, нанимался гувернер, а чаще гувернантка (это было много дешевле), знавшие только свой родной, то есть французский, язык, что не мешало воспитателям брать на себя преподавание и других «благопристойных наук».

Под руководством полуневежественного ментора мальчики и обучались дома до шестнадцати лет, в счастливом случае — при содействии отца или матери. Естественно, свободного времени при такой вольной программе оставалось предостаточно, поэтому много гуляли, ездили верхом, учились плавать, стрелять из ружья, из пистолета. По достижении шестнадцатилетия их определяли в кавалерийский полк; в пехотные шли наследники «недостаточных помещиков», если, конечно, родителям не удавалось устроить детей еще в малолетстве в кадетский корпус. Гвардия была почти недоступной: требовались не только средства, но и связи в Петербурге.

На пансион раскошеливались немногие, да и то не на полный курс: самое большее года на два. Некоторые поступали в университет, но опять-таки не для штатской, ученой карьеры: университетский диплом сокращал трехгодичный срок юнкерства до шести месяцев.

Но вообще-то, в большинстве, университетов чурались: здесь было «смешение сословий», и военная служба для дворян путем юнкерства считалась более нормальной карьерой, чем гимназия и университет,

«уважались только заведения, исключительно основанные для воспитания благородных детей» (Г. Головачев).

Экономить на Мишенькином образовании Елизавета Алексеевна не желала, на чем другом — пожалуйста, но только не на науках; в столыпинском кругу слишком серьезно относились к обязанностям дворянства — сословия, на которое по замыслу и «петровской реформы порядков», и «екатерининской реформы умов» (В. Ключевский) была возложена миссия просвещения и воспитания огромной, темной — «немытой» России.

Но куда за учеьем ехать? В Петербург ли? В Москву?

Наталья к Петербургу склоняет, и зять, Григорий Данилович, в ту же сторону глядит: со слов сына, Алексея Григорьевича, гусара лейб-гвардейского, столицу расхваливают. Елизавета Алексеевна колеблется. Дорога жизнь в столице, а за другими тянуться надобно. Не вытянуть ей Петербурга, даже с помощью Аркадия не вытянуть. Там — видно будет, а пока — нет. Пока примерялась, Аркадий умер. Оставил на вдову семейных. Хорошо, Мордвинов-тесть жив — выдюжат.

После Бунта и вове от мысли о Петербурге отказалась: чисто новая метла метет, все сусеки обшарила. В Москве покойнее будет: от царя подальше, сусеков побольше; в Питер-городе жизнь напросвет видна, а в Москве — укромна. Особняком дома стоят, «населенцы» особняком глядят, каждый — на особенный лад выламывается...

В декабре Дмитрий письмо прислал, о Мишиных успехах справлялся. В пансион московский отдавать, мол, надобно, да не тяни, Лиза, прием с девяти годов, а ему уж тринадцатый пошел, как бы в переростках не оказался...

Елизавета Алексеевна отписала не мешкая, ответ, с советом согласный. И образ святой послала — каким матушка, умирая, ее, дочь старшую, благословила; сердцем чуяла: оборона брату нужна.

Опоздала оборона: помер Дмитрий. 3 января помер.

Тяжело пережила утрату Елизавета Алексеевна. Если б не Маша, племянница, умом бы верно рехнулась. По мужу — не плакала. Дочь — молча похоронила. И кончину Аркадия тишком перемогла, в силе была. А тут обессилела, в голове шумит, ноги каменные — старуха. В 52 года — «старуха Арсеньева»...

Весной полегчало. В Москву собралась: Апалиху никак нельзя упустить. Дороговато, не по земле, за красоту надбавка, да торговаться нельзя: перебьют. Деньги, конечно, имеются, но деньги на науку отложены, на науку и истрачены будут. Опять же судачить начнут: вот, де, прибеднялась, прикидывалась, а сама племяннице, не задумываясь, 38 тыщ выложила! Судейские горазды болтать. От наговора далеко ли до сглазу? Незачем любопытным в чужой кошелек нос совать. Как все поступают, так и она поступит: заложит часть именья в Опекунский совет. 190 душ ревизских. По 200 ассигнациями за душу. Копейка в копейку; а долг пускай на себя Шан-Гирей берет: вроде не ей, тетке, а казне должны. Но как деньги-то дешевы стали! Тарханы покойный Михайла за 58 тыщ сторговал. Так то Тарханы! А нынче за Апалиху — дача, не именье — 38 просят.

Не имела прежде никаких дел с Опекунским советом госпожа поручица вдова Арсеньева, без его услуг обходилась: там одолжит, здесь

перехватит, дороже за гречу спросит, на чае да кофее сэкономит — вот и выкрутилась. Приданое дочкино зятю выплатила, ни рубля не истратив на черный день отложенного... А в Москву все одно надо: посмотреть да прикинуть, прицениться, оглядеться...

Шутка ли — на старости лет к Москве привыкать, в горожанки выходить?!

Съездила Елизавета Алексеевна в Москву, как раз на коронацию угодила.

О коронации еще в апреле поговаривать стали, потом на июнь перенесли. Но тут вдовствующая императрица, тетка госпожи Арсеньевой, скончалась — опять отложили торжества...

А в июле, с заговорщиками покончив, заспешили; дабы поскорее изгладить тягостное впечатление от казни, толкам глупым и пересудам конец положить.

В Москве засуетились. О ту пору свидетели коронации Екатерины в живых были; в твердой памяти и те находились, кто коронавание Павла и Александра помнили. Но такой суматохи и такой пышности еще не было!

Двор и гвардия прибыли к двадцатым числам июля. Остановились, по обычаю, в Петровском дворце. И лишь через несколько дней, в золотых каретах, к Кремлю двинулись. Обочь дороги войска растянулись; для зрителей помосты соорудили.

Николай, выигравший в наследственной лотерее российскую корону, желал, чтоб подданные его могли в подробностях рассмотреть лик повелителя. Рассмотреть и запомнить. В отличие от Константина, отрекшегося, и от младшего, Михаила, статью до императорских кондиций не дотянувшего, государь был и представителен, и молод, и ростом неординарен: выше толпы на голову.

Словом, товар был таков, что его приятно было рекламировать. И рекламировали.

«За несколько дней до торжества по улицам начали разъезжать герольды в своих богатых нарядах, останавливались на площадях, на перекрестках, трубили в трубы, читали повестку и раздавали объявления о дне коронации».

Москвичи, оставив дома, переселились на улицы, благо погода стояла отменная. Уж на что антимонархически настроены были юный Герцен и его молоденькая кузина Татьяна Пассек, — и те, к явному неудовольствию старика Яковлева, вольтерьянца и скептика, распатриотились: каждый день в Кремль бегали, наблюдали за приготовлениями. А в Кремле уже не теснота — давка, особенно перед дворцом, часами стоят, гадая, выйдет ли государь. Дождались. И умилились. Николай Павлович на балкон вместе с братьями вышел: Константин, старший, справа; Михаил, меньшой, слева. Толпа изошла от восторга. Императрица, говоря, перепугалась: а что если восторг — бунтом, как прошлым декабрем, обернется?

Наконец день наступил.

Все колокола разом, вслед за Иваном Великим, как в светлое воскресенье, возликовали.

Короновали, рассказывала Елизавета Алексеевна, три митрополита: Серафим Петербургский, Евгений Киевский, ну и Московский — Филарет.

Сама не видела — куда мне в толчею и давку? В зеваки — зачем? Вечером Мещериновы, однако, из дому вытащили — на иллюминацию поглядеть. Людей в даровой театр отпустили, а сами прогуляться вышли. Все огнем горело: и стены кремлевские, и сады, и Иван Великий пылал.

А уж потом балы начались: и при дворе, и у главнокомандующего, и у послов. Юсупов всех перещеголял — в парадиз Архангельское превратил. Верно, об заклад побился, что самого Потемкина перещеголяет.

Ну, и для народа устроили. Но тут, как водится, одно безобразие вышло.

И быков зажарили, и рога им раззолотили, и фонтаны из вин смастерили, а пивных бочек накатили — хоть пирамиду строй.

Сам хозяин праздник открыл. Для него павильон отдельный сообразили: то ли ложа оперная, то ли спальня танцовки на богатом содержании.

Подняли флаг. А народ как кинется — мигом все растащили: пиво выдули, фонтаны винные высосали. Государыня, при виде неблагообразия такого, лик веером прикрывала. Долго не задержались, в золотые кареты переместились. А толпе и этот миг вечностью показался — на павильон накинулись: всю материю отодрали, из-за клочков дрались, помосты и те разломали. Орут: «Наше, сказано, налетай, братцы, бери даровщину!» А уж фокусники, ворISHки ловкие, тут как тут — по карманам шарят, разве углядишь, кто тебя по бокам жмет? Людей-то почитай за 100 тысяч столпилось! А сколько серег из ушей повырывали — звери да и только. Как разошлись, растоптаных в смерть разыскали.

А ввечеру фейерверк жгли — театр небесный устроили, денег кучу извели! Что им тыщи? Не свои, небось, — казенные.

Конца коронационных излишеств Елизавета Алексеевна не дождалась — двор до осени в Москве оставался, но обстановку уяснила: не обойдется без последствий шестидесятидневное представление с участием императорской четы и золотых карет.

Так и вышло: квартиры вздорожали ужасно, да и припасы жизненные чуть ли не вдвое. Сперва думали: временно; ан нет, к зиме цены, конечно, поубавились, сникли, но до прежних не дошли — супротив прежнего в полтора раза! Не только цены — быт перевернулся: в роскошь Москва ударилась — и в отделке, и в убранстве домов, и в экипажах, ну, и в туалетах, конечно. Дома-то по-прежнему, абы в чем, а уж в бальных — такие глупости завелись! Одними шляпками состояние расстроить можно!

Вот так-то: бедному жениться, ночь коротка...

Ну ничего, как-нибудь. Одно ясно — своего дома по нынешним временам не купить: за развалюху у черта на рогах — 30 тысяч. При таком жилье да с ее-то ногами свой выезд нужен, а уж это не по карману. Поблизости от пансиона квартиру искать надо, в арбатской округе, к своим поближе: и Столыпина, и Верещагины, и Поливановы к заарбатским уютам, к переулкам да липам кривым приохотились. Ну и ладно. Ей на Садовой не пожилось — место открытое, шумное, и богатеев окрест многовато — понастроили парадизов; в заарбатье сподручнее: и по душе, и по средствам.

И еще одно исполнила: навестила вдову Дмитрия, по случаю траура в Средниково оставшуюся...

Хороша столыпинская подмосковная. С размахом строил Всеволож-

ский, вельможа екатерининский, с размахом и вкусом: не усадьба — картинка, на старинный лад писанная, все по местам расставлено — и красоте не тесно, и пользе не вред. Дом на горе, к дому липы ведут, обочь аллеи, службы; скотная и конюшенная. Для себя строил — чужим досталась: проигрался вельможа. И покатился колобок — из рук в руки, из рук в руки, трех владельцев переменяло Середниково, пока наконец в столыпинском кулаке не оказалось...

Усмехалась сквозь слезы тайные дочь пензенского откупщика, въезжая по липовой аллее в хоромы вельможные, вверх возок забирал, и липы сорокалетние, в самый возраст вошедшие, над ним помавали — наша берет!

В покоях, однако, оробела, даже оторопь взяла, дурой, деревенщиной себя почувствовала — ни ступить, ни молвить не умеющей...

Но перемогла робость — Екатерина Аркадьевна ничего не заметила.

Удачно съездила вдова-поручица Арсеньева — и к жизни пригляделась, и деньги привезла.

Не прозевали Шан Гирей Апалиху. Теперь и Тарханы без надзора хозяйского оставлять не так боязно; с Павла Петровича, мужа Марии, толку немного — «военная косточка», не на земле родился, не при земле в возраст входил. А Марья присмотрит — столыпинской закваски женщина: везде поспекает. Да и как не поспеть? Дети один за другим родятся, а доходов — пенсия штабс-капитанская...

Осенью Шан-Гирей перебрались в свои владения — Акима Елизавета Алексеевна в Апалиху не отдала: мать на сносях, и с младшими хлопот хватит. А без него Мише в войну играть не с кем: Николка Давыдов от войны отлынивает, с ним мастерить — рисовать, клеить, лепить хорошо, а в войне без Акима не обойтись.

Миша к троюродному привязался — покровительствует. Двоюродного не жаловал, даром что одноклассник. До Кавказа еще разговаривали, а воротились — как не росли вместе. Она, Елизавета Алексеевна, и та взгрустнула, когда зять — племянника, Авдотьи сестры своего сына, забирать приехал — в кадеты увез. Как-никак, а пять лет растила. А Мише — хоть бы что — не было брата. Может, к отцу ревнует? Хорош Юрьев племянник, в лермонтовскую породу мальчишка пошел: лицом приятен, и сложен стройно, но ума обыкновенного, и характера заурядного. Куда Авдотьиному Мише супротив нашего? Наш — весь в затеях, что елка в игрушках, и каждую надо до ума довести — ни одного дела по дороге не бросит! Да разве поймешь внука? С виду и боек, и резов, и в шалостях удержу не знает: хочу да и только, вынь да положь, а как задумается... Вот так и Маша задумывалась, и муж покойный. На тебя смотрит — в себя глядит.

Что же он там, в себе, видит?

Вероятно, еще летом 1826-го Елизавета Алексеевна договорилась с Мещериновыми учителей для подготовки мальчишек в пансион на паях брать: и ей, и им выгодно, у них трое, у нее трое, расход пополам. Поначалу, конечно, с одним внуком приедет, но после и Колю Давыдова привезет, и Екима прихватит. Пускай друг с дружкой соревнуются: ученью от конкуренции — польза.

Мещериновы, прямые родственники Елизаветы Алексеевны (отец

семейства — дядька родной, брат материн), приехавшие, как и Арсеньева, в Москву из степных краев дать воспитание детям, жили на Сретенке. К Мещериновым Арсеньева и прилепилась, когда осенью, в конце августа 1827 года, переехала в Москву насовсем.

Художник Меликов, подкинутый в семейство Мещериновых своим знаменитым родственником Павлом Меликовым — героем Бородина и попечителем Лазаревского института восточного — вспоминает:

«Мещериновы и Арсеньевы жили почти одним домом. Елизавета Петровна Мещеринова, образованнейшая женщина того времени, имея детей в соответственном возрасте с Мишей Лермонтовым — Володю, Афанасия и Петра, с горячностью приняла участие в столь важном деле, как их воспитание, и по взаимному согласию с Е. А. Арсеньевой решили отдать их в Московский университетский пансион. Мне хорошо известно, что Володя (старший) Мещеринов и Миша Лермонтов вместе поступили в 4-й класс пансиона».

Меликов оставил нам два прекрасных портрета — Елизаветы Столыпиной-Арсеньевой и внука ее, к сожалению, словесных: будущему живописцу в ту пору было около девяти лет; однако глаз художника в «постановке модели» уже чувствуется:

«Е. А. Арсеньева была женщиной деспотического, непреклонного характера, привыкшая повелевать; она отличалась замечательной красотой... и представляла из себя типичную личность помещицы старого закала, любившей при том высказывать всякому в лицо правду, хотя бы самую горькую».

Любопытное свидетельство: прожив полвека в дурнушках, Елизавета Алексеевна к старости перешла в разряд красавиц и притом — «замечательных». Меликов, наверное, слегка, а может быть, и не совсем слегка преувеличивает, но, видимо, и в самом деле к пятидесяти годам недостатки внешности, смолоду портившие, — и крупный рост, и степенность, и румянец, грубый и простящий, вдруг оказались к лицу. А седина, белый, без лент, чепчик да черное простое платье восполнили и еще один «изъян» — неумение и нежелание одеваться «по моде»... Черта эта тоже была родовой; во всех Столыпиных, даже тех, кто достигал высот государственных, оставалось нечто непроходимо провинциальное — упорное сопротивление светскому вертопрашеству...

Разумеется, случались и исключения: друг и вечный спутник Лермонтова Алексей Аркадьевич Столыпин-Монго был, по мнению света, истый денди.

Однако Лермонтов, умевший прозревать сущность сквозь наружность, оставил свидетельство, не совпадающее с общим мнением. Я имею в виду характеристику Алексея Столыпина в поэме «Монго»:

Монго — повеса и корнет,  
Актрис коварный обожатель,  
Был молод сердцем и душой,  
Беспечно женским ласкам верил  
И на аршин предлинный свой  
Людскую честь и совесть мерил.  
Породы английской он был —  
Флегматик с бурными усами,  
Собак и портер он любил,  
Не занимался он чинами,  
Ходил немый целый день.

Носил фуражку набекрень;  
Имел он гадкую посадку:  
Неловко гнулся наперед  
И не тянул ноги он в пятку,  
Как должен каждый патриот...

Из этого портрета никак не вымотришь истого денди...

А вот замечание, что аршин, которым флегматик Монго мерил людскую совесть и честь, был «предлинным», очень любопытно. Думается, длина этого аршина и сближала Лермонтова с «повесой», она же была и той особой метой, по которой мы узнаем в нем человека столыпинского рода...

Но и Алексей, и его старший брат Николай, дипломат и комильфо, были тем самым исключением, которое только подтверждало правило: как правило, Столыпины не любили ничего блестящего — и в прямом, и в переносном смысле...

Моды же молодости Елизаветы Алексеевны, пришедшейся на закат екатерининского века, требовали блеска. Блеска и шика, противного суровому нраву дочери Алексея Емельяновича Столыпина. И противны, и не к лицу. Иное дело — белый, без лент, чепчик!..

И все-таки не эти возрастные сдвиги так резко изменили впечатление, какое в почтенные свои годы вдова поручица Арсеньева стала производить на окружающих. Значительность облику характер придал: перестала природный свой нрав скрывать Елизавета Алексеевна, отказалась от роли вдовицы, сбросила личину. Сперанский и тот обманулся, ничего, кроме «кротости и терпения», не увидел. А теперь и мальчик Меликов и непреклонность, и привычку повелевать, и безапелляционность враз разглядел.

Кем была госпожа Арсеньева прежде?

Женой нелюбимой при непутевом муже. Вдовой самоубийцы, на позор и осмеяние выставленной. Тюремщицей при больной и несчастной дочери. Сквалыгой при никудышном зяте. И вот дотерпелась до торжества: внук в бабке души не чает. И нужна, и любима. Любое слово к месту. И каждая забота в благодарность. «Милая бабушка» — этому и впрямь мила. Уж и пушок над губой пробивается, а не стыдась, не украдкой чувства свои проявляет: «Зная вашу любовь ко мне...»

Как не похоронить?

И хорошела Елизавета Алексеевна, хорошела, валяжилась да вельможилась, сглазу не опасаясь, гордилась внуком.

Мужем не довелось погордиться, и дочь честолюбия ее тайного и материнского, личного, и родового, столыпинского — не утешила: росла неприметной и замуж против ее воли выскочила.

Зато Мишенька...

Скрипач-итальянец — не нарадуется, студент-математик — не нахвалится, и Зиновьев, историк, от питомца в восторге: «Чудные обещания будущности». Так и сказал.

Такого не потеряешь в толпе сверстников! Непригляден, конечно, а среди Столыпиных-младших — особенно. И «Григорьевичей», и «Дмитриевичей» — как на заказ делали; и про сирот Аркадия — сказки сказывают. А ее некрасив, чего уж скрывать, и растет плохо, а не проходят мимо — оглядываются.

«В детстве наружность его невольно обращала на себя внимание:

приземистый, маленький ростом, с большой головой и бледным лицом, он обладал большими карими глазами, сила обаяния которых до сих пор остается для меня загадкой. Глаза эти, с умными... ресницами, делавшими их еще глубже, производили чарующее впечатление на того, кто бывал симпатичен Лермонтову. Во время вспышек гнева они были ужасны. Я никогда не в состоянии был бы написать портрета Лермонтова при виде неправильностей в очертании его лица, и, по моему мнению, один только К. П. Брюллов совладал бы с такой задачей, так как он писал не портреты, а взгляды (по его выражению, „вставить огонь глаз“) (М. Меликов).

Воистину: награда за долготерпение.

Прилежен. Усидчив. Серьезен. В Тарханах почти ничего не читал. От греческого — отказался. Марья Акимовна музыке учить было стала — ерзает за фортепьянами да в окно глядит: как там без него бойницы в стене крепостной пробивают? Не осилил письма нотного. А как прибыли в Москву, как почувствовал: обскакали его Мещериновы, закусил удила — не оторвешь от книжек.

Вечером улучит часок — воски вытащит: и мастер кукольный, и декоратор. А ночью запрется, свечи жжет...

Верещагины из Федорово вернулись, на гулянье, в сады звали — отказался. Мещериновых, тех и приглашать не надо — скок в коляску, а ее капризник: некогда.

Утром раненко Зиновьев пришел. На исторический урок питомца увел — Москву по частям рассматривать, книгу каменную по слогам читать. Елизавета Алексеевна тем временем в «чуланчик» Мишенькин заглянула — на подоконнике письмо незасургученное. В Апалиху, к тетке.

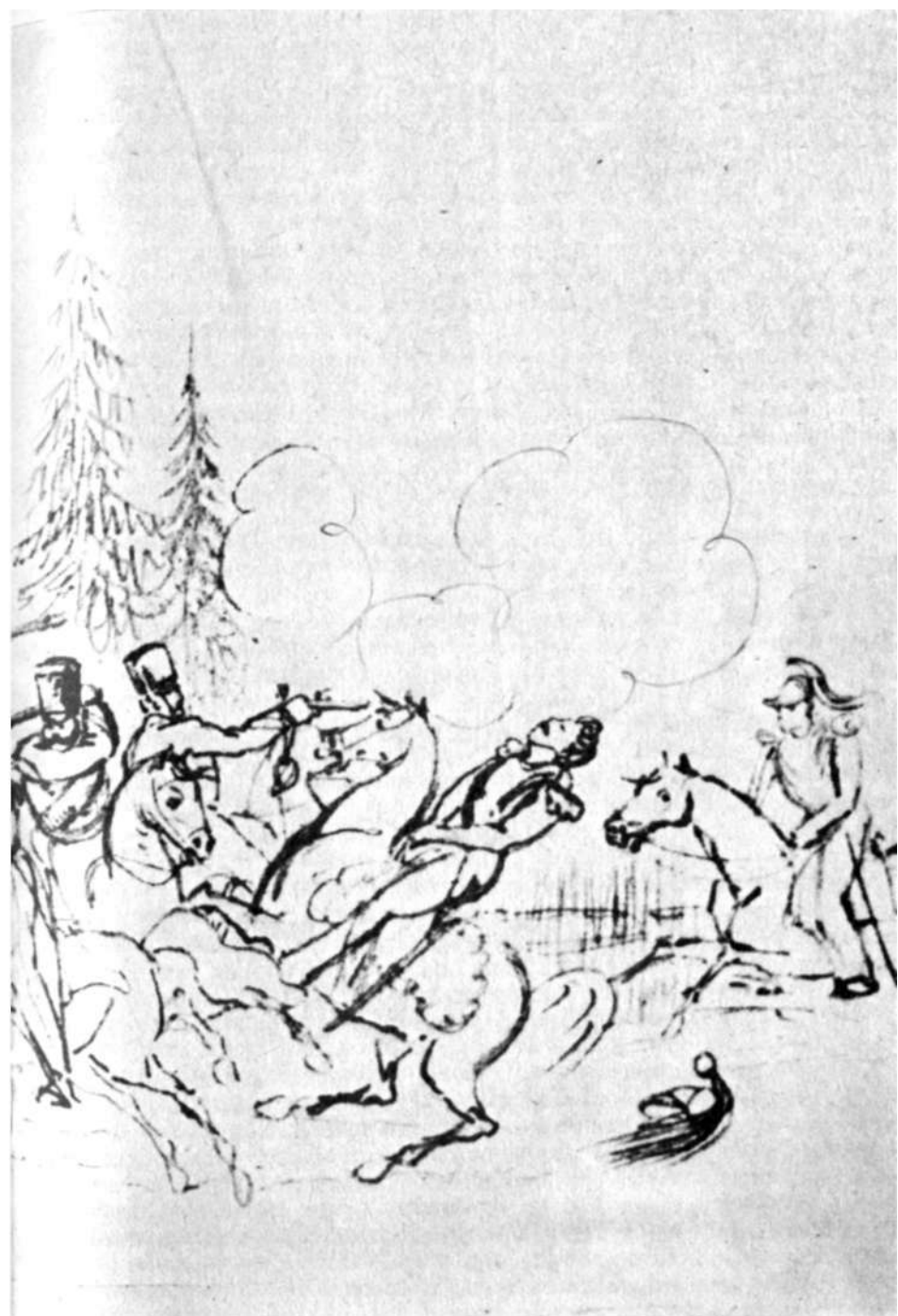
Уезжая, обещался: не реже чем раз в две недели писать. Сегодня полмесяца как приехали. Точен. А ведь не учила: слово, мол, держать надобно. От мужа — требовала, и дочь — гоняла, все попусту. Внуку, опытом наученная, волю дала — будь как будет. Так он сам на себя ношу взвалил, сам себя запрягать обучился...

«Милая тетенька.

Наконец, настало то время, которое вы столь ожидаете, но ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лени, но оттого, что у меня не будет время. Я думаю, что вам приятно будет узнать, что я в русской грамматике учу синтаксис и что мне дают сочинять; я к вам это пишу не для похвальбы, но, собственно, оттого, что вам это будет приятно; в географии я учу математическую; по небесному глобусу градусы, планеты, ход их, и прочее; прежнее учение истории мне очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры, мой учитель говорит, что я еще буду их рисовать по полгода; но я лучше стал рисовать; однако ж мне запрещено рисовать свое. Катюше в знак благодарности за подвязку посылаю ей бисерный ящик моей работы. Я еще ни в каких садах не был; но я был в театре, где я видел оперу «Невидимку», ту самую, что я видел в Москве 8 лет назад; мы сами делаем театр, который довольно хорошо выходит, и будут восковые фигуры играть (сделайте милость, пришлите мои воски). Я нарочно замечаю, чтобы вы в хлопотах не были, я думаю, что эта пунктуальность не мешает; я бы приписал к братцам здесь, но я им напишу особливо; Катюшу же целую и благодарю за подвязку.







Прощайте, милая тетенька, целую ваши ручки; и остаюсь ваш покорный племянник.

М. Лермонтов».

«Я думаю, что эта пунктуальность не мешает»...

Арсеньева мысленно подчеркнула эту фразу: ох, как мешала ей в жизни ее собственная пунктуальность! Михаил Васильевич в тихую ярость приходил, дочь глаза опускала, чтобы мать не разглядела насмешки, так ведь она сквозь веки видит. Зять — не скрываясь, губы кривил и брови соболями к вискам начесанным вздергивал...

Еще раз перечитала бумагу — и еще одну фразу отметила:

«Сделайте милость, пришлите мои воски». С торжеством отметила! Сестрицы пугали, какое пугали, стращали: избалуешь — на шею сядет, об себе думает, тебя ни в грош не ставит. А он об восках, в Тарханах забытых, беспокоится, всерьез ее жалобы на расходы московские принимает!

По младости доверчив или по деду Михайле? И так всегда: заговорит — Арсеньев, за дело примется — Столыпин...

Перечитаем и мы первое из дошедших до нас писем Михаила Юрьевича.

Известно, что летом 1827 года двенадцатилетний Лермонтов побывал в отцовском селе Кропотово Ефремовского уезда Тульской губернии.

Об этом известно из самого верного источника — приписки поэта к стихотворению «К гению»: «Напоминание о том, что было в ефремовской деревне в 1827 году — где я во второй раз полюбил 12 лет и поныне люблю».

О том же эпизоде Лермонтов вспоминает в «Автобиографической записке» 1830 года: «Я однажды (три года назад) украл у одной девушки, которой было семнадцать лет, и потому безнадежно любимой мною, бисерный синий снурок; он и теперь у меня хранится. Кто хочет узнать имя девушки, пускай спросит у двоюродной сестры моей. Как я был глуп!»

Двенадцатилетний мальчик и семнадцатилетняя девушка, к тому же приходившаяся кузиной, — какое неравенство! И какая драматическая коллизия, тем более, что у мальчика пылкий и суровый нрав: любовь-развлечение, любовь-забава не по нем.

Но сколько ни вчитывайся в письмо к милой тетеньке, написанное по горячим следам этого события, и намек не отыщешь. Обычное письмо дитяти, ни об чем не имеющего понятия. Что это? Событие — из тех, какие никогда никому не открывают? Привычка утаивать желанья? Неумение выразить словами «сладость безнадежности»? Или врожденная деликатность, подсказавшая «покорному племяннику», что милую тетеньку опечалит «бессвязный язык» полудетских страстей, тот отроческий язык, который Герцен так метко назвал «жаргоном возмужалости»? Цитируя, по ходу движения сюжета, свою отроческую переписку с Ником (Огаревым), автор «Былого и дум» редактирует выдержки из писем друга; его смущает «натянутасть», «книжность» их стилистической манеры с ее «неустоявшейся восторженностью» и «нестройным одушевлением». И он невольно, но причисывает их, хотя и утверждает,

что «крайности одушевления» естественны «в возрасте теоретического возмужения и практического невежества».

В ранних стихах Лермонтова и в некоторых из заметок той поры, в «Моем завещании», например, мы можем отыскать множество примеров и неустоявшейся восторженности, и нестройного одушевления. Но в письмах, даже в записке к пансионскому приятелю Поливанову, относящейся к периоду бурного увлечения поэта Натальей Ивановой, нет и следов «натянутой книжности». И стихи, и заметки в Записной книжке делаются для себя, а письмо — поступок; необходимость строгого разделения чувства и поступка Лермонтов осознал очень рано, еще в ребячестве вменив себе в правило: не обременять близких людей своими тайными муками.

Человек, полностью отвечающий за свои поступки, явственно виден в процитированном выше письме к Марии Шан-Гирей. И милая бабушка, и милая тетенька верят в него и не должны разочароваться в своих ожиданиях. Ради них, любимых, он готов «сжать свои чувства», но не из «недоверчивости» или «гордости», как его Печорин, а из истинной, сердечной благодарности за деятельную любовь и заботы неусыпные.

Кончилось детство, а вместе с ним и расточительно-беспечное отношение ко времени. «Ежели я к вам мало напишу, то это будет не от моей лени, но оттого, что у меня не будет время».

Отныне у него никогда не будет времени, несмотря на то, что он очень скоро научится «удваивать его» (если воспользоваться выражением В. Ключевского).

Мне нужно действовать, я каждый день  
Бессмертным сделать бы желал, как тень  
Великого героя, и понять  
Я не могу, что значит отдыхать.

...Мне жизнь все как-то коротка  
И все боюсь, что не успею я  
Свершить чего-то!

Уже известный нам Моисей Меликов, расставшийся с Лермонтовым в ту пору, когда тот с увлечением лепил из крашеного воска сцены никогда не виденных им сражений да мастерил вместе с мальчишками Мещериновыми театр марионеток, встретился с ним после десятилетней разлуки. Встреча произошла в Царском Селе, где Моисей Егорович, своекоштный пансионер Академии художеств, делал наброски с натуры.

Лермонтов «был одет в гусарскую форму. В наружности его я нашел значительную перемену. Я видел уже перед собой не ребенка и юношу, а мужчину во цвете лет, с пламенными, но грустными по выражению глазами, смотрящими на меня приветливо... Михаил Юрьевич сейчас же узнал меня, обменялся со мною несколькими вопросами, бегло рассмотрел мои рисунки, с особенной торопливостью пожал мне руку... Заметно было, что он спешил куда-то, как спешил всегда, во всю свою короткую жизнь».

Ни разу не позволил себе Лермонтов отдохнуть и в свой первый московский год. С музыкой, русским языком, географией и математикой

он справился без особого труда. Хуже обстояло с литературой. А. Ф. Мерзляков, дававший Лермонтову и братьям Мещериновым частные уроки, требовал от учеников не только знакомства с литературными новинками, но и основательного знания классических текстов — и новейших (Шиллер, Гете), и древних, античных.

Шиллера Мишель одолел быстро: немецким владел не хуже, чем русским, благодаря стараниям мамушки, Христины Осиповны; Шекспира проглотил для Мерзлякова — по многочисленным французским переложениям. Труднее было с «антиками». Пришлось сделать усилие — «хоть умри, но ты должен это сделать»; А. Ф. Мерзляков только что выпустил отдельным изданием свои переводы из греческих и латинских авторов и посему был особенно раздражителен, если не встречал в питомцах почтительного интереса к излюбленному им предмету.

А для русских литературных новинок — зная, что в пансионе, в который предстояло держать испытания, преобладающею стороною была именно российская словесность, — Лермонтов уже по собственной инициативе завел отдельную тетрадь, куда, не надеясь на феноменальную память и не считаясь с дорогим, драгоценным, бесценным временем, переписал их собственноручно. Сам сшил тетрадь, сам и обложку смастерил и со свойственной ему пунктуальностью оформил:

«Разные сочинения принадлежат М. Л. 1827 года, 6 ноября».

Еким Шан-Гирей, приехавший в Москву осенью 1828 года, с удивлением обнаружил на книжных полках братца большую серию русской поэзии от Ломоносова до Пушкина. Год назад Мишель знал о существовании отечественных талантов по хрестоматиям; к августу 1828-го они были уже не просто прочитаны от корки до корки, но и проштудированы.

Еще до поступления в пансион, привезенный летом 1828 года в Тарханы на отдых от усиленных занятий, Лермонтов на досуге избрал и свой способ ускоренного освоения основ русской версификации: написал поэму «Черкесы», точнее, составил из чужих стихов, хранившихся в его памяти, словно из готовых частей разобранных поэтических конструкций.

Тут не только Пушкин, но и И. Дмитриев, и И. Козлов, и К. Батюшков, и даже Байрон, правда, пока еще взятый из десятых рук — русских переложений с французских переводов! Переписав «Бахчисарайский фонтан» Пушкина, переписав в буквальном смысле слова, он принимается за перделку его «Кавказского пленника», даже названия не изменив! В той же манере: то несколько отступая от оригинала, то почти дословно копируя его, Лермонтов переписывает и другие поэмы Пушкина...

Исследователи лермонтовского творчества потратили уйму времени, чтобы определить, откуда взят тот или иной «блок» в ранних поэмах Лермонтова.

Подводя итоги этих разысканий, Б. Эйхенбаум, в широко известном сочинении — «Лермонтов. Опыт историко-литературной оценки» (1924) — доказывая, что в поэзии Лермонтова нет «подлинной органической конструктивности», что «внимание автора направлено не на

создание нового материала», а на «сплачивание готового», следующим образом охарактеризовал его юношеские поэмы: «Упражнение в склеивании готовых кусков». Тот же метод — склеивание! — только в более тонком варианте исследователь видит и в творчестве Лермонтова зрелого периода.

Но дело-то в том, что Лермонтов, в период создания «коллажных» поэм, и не думал, не подозревал даже, что сочиняет свое! Переписывая и переиначивая, он не заимствовал, а изучал. Брал уроки стихотворного ремесла, русского языка, пластики, живописи, гармонии — словом, учился искусству поэтической композиции и тайнам сюжетосложения, но по своей, а не мерзляковской методе! (Мерзлякова Мишель недолголюбивал: Мерзляков был ученый педант. А. М. Миклашевский, соученик Лермонтова сначала по пансиону, а потом и по юнкерской Школе, живо запомнил, «как на лекциях русской словесности заслуженный профессор Мерзляков принес... в класс только что вышедшее стихотворение Пушкина „Буря мглою небо кроет“ и он, как древний классик, разбирая это стихотворение, критиковал его, находя все уподобления невозможными, неестественными, и как все это бесило тогда Лермонтова».)

Б. Эйхенбаум точен в определении и приема изготовления текста — «склеивание», и технологии «склейки»: «Иногда тексты совпадают буквально, иногда произведены переделки — текст подлинника развернут вставками или разнесен в разные места».

Однако, повторяю, все это не было творчеством, равно как и использованием чужого материала... Придуманная форма самообучения стиховому ремеслу не имела precedентов. И не могла служить precedентом, ибо упражнение подобного рода возможно было лишь в лермонтовскую эпоху, точнее, в эпоху его ранней юности, когда поэмы писались по строго соблюдаемым правилам. Лермонтов эти правила изучал, тренируя свою способность мгновенно, на лету, при работе не над своим текстом, отбраковывать неудачные, натянутые выражения. Оставлялось лишь то, что годилось для вторичного использования, и одновременно ставился интереснейший эксперимент: сможет ли он собрать из этих типовых деталей нечто связанное? (Так в русских театрах той поры собирали декорации из того, что было «на складе».)

Б. Эйхенбаум, в числе прочих, сравнивает два фрагмента — из поэмы И. Дмитриева «Освобождение Москвы» и из экспериментального сочинения тринадцатилетнего Лермонтова «Черкесы».

Сравним их и мы.

И. Дмитриев:

Вдруг: стогны ратные сперлись —  
Метутся, строятся, делятся,  
У врат, бойниц, вокруг стен толпятся;  
Другие вихрем понеслись  
Славянам и громам на встречу.  
И се — зрю зарево кругом,  
В дыму и в пламе страшну сечу!  
Со звоном сшибся щит с щитом —  
И разом сильного не стало!  
Ядро во мраке зажужжало,  
И целый ряд бесстрашных пал!  
Там вождь добычею Эреве;  
Здесь бурный конь, с копыем во чреве,  
Вскочивши на дыбы, заржал,

И навзничь грянулся на землю,  
Покрывши всадника собой;  
Отсюда треск и громы внемлю,  
Глушащи скрещет, стон и вой.

М. Лермонтов:

Начальник всем полкам велел  
Собраться к бою, зазвенел  
Набатный колокол: топятся,  
Метутся, строятся, делятся;  
Ворота крепости сперлись.  
Иные вихрем понеслись  
Остановить черкесску силу  
Иль с славою вкусить могилу.  
И видно зарево кругом;  
Черкесы поле покрывают,  
Ряды, как львы, перебегают;  
Со звоном сшибся меч с мечом;  
И разом храброго не стало.  
Ядро во мраке прожужжало.  
И целый ряд бесстрашных пал,  
Но все смешалось в дыме черном.  
Здесь бурый конь с копьем вонзенным,  
Вскочивши на дыбы, заржал,  
Сквозь русские ряды несется;  
Упал на землю, сильно рвется,  
Покрывши всадника собой.  
Повсюду слышен стон и вой.

Оценивая работу тринадцатилетнего мальчика над текстом классика, Б. Эйхенбаум пишет: «Характер переделок — совершенно ясный: Лермонтов отбрасывает все то, что звучит как архаизм: „И се зрю“, „громы внемлю“ и т. д.».

На мой взгляд, работа была куда более сложной, чем удаление из текста архаических рудиментов. Прежде всего, автор коллажных «Черкесов» меняет систему рифмовки — за счет увеличения парных рифм, что несомненно увеличивает динамизм, стремительность поэтического ритма и шире — «походки стиха». Во-вторых, сразу выделены и сохранены строки, так сказать, безусловно, удавшиеся, «крепкие»: «Ядро во мраке зажужжало», «Метутся, строятся, делятся», «И целый ряд бесстрашных пал», «Покрывши всадника собой». В-третьих, Лермонтов устраняет погрешности против истины положений. Дмитриев, описав рукопашную схватку, дает следующую концовку: «И разом сильного не стало». Лермонтов исправляет: «И разом храброго не стало», справедливо рассудив (для этого у него уже имелся солидный опыт потешных рукопашных), что в этом роде боя больше всего рискует не самый сильный, а самый храбрый, то есть отчаянный.

Но интереснее всего переделка, которой подвергся самый выразительный эпизод картины — поведение раненого коня. У Дмитриева конь с копьем во чреве вскакивает на дыбы. Лермонтов, воссоздав «в уме» картину, замечает ошибку: ранить коня в живот брошенным копьем можно лишь в тот момент, когда конь уже «вздыбился». И он устраняет несуразность: «Бурый конь с копьем вонзенным, вскочивши на дыбы, заржал». Вносит он в эпизод и еще одну деталь. У Дмитриева раненая лошадь падает навзничь, «покрывши всадника собой». Лермонтов, уже к 13 годам отличный наездник, знает, что конь может подмять под себя сброшенного всадника, и то лишь в случае, если, упав, начнет сильно «рваться»!

И вот что еще нужно иметь в виду. В 30-е годы XIX века на проблему подражания смотрели иначе, чем теперь. Перед русским литератором русская литературная теория той поры ставила задачу: дополнить отечественную словесность, дать ей то, в чем она отстала от словесности других народов. Цель — изобретение новых форм изящного. Но это отнюдь не исключает заимствования, при условии удачной перекomпоновки и приспособления к отечественным нуждам. «Если художник худо соединил материалы, — утверждал Владимир Одоевский, — то смело переделывайте его творение: такое подражание равняется изобретению». Это — во-первых. Во-вторых: даже подражая и заимствуя, Лермонтов «изобретал», и настолько по-лермонтовски, что подражания оказались неподражаемыми. Этот парадокс тонко отметила Анна Ахматова: «Он подражал... Пушкину и Байрону, зато всем уже целый век хочется подражать ему. Но совершенно очевидно, что это невозможно, ибо он владеет тем, что у актеров называется „сотой интонацией“. Слово слушается его, как змея заклинателя: от почти площадной эпитафии до молитвы. Я уже не говорю о его прозе. Здесь он обогнал самого себя на сто лет».

Написанную летом 1828 года первую свою поэму Лермонтов оформил как рукописное издание. Однако, вспоминая впоследствии о начале своей поэтической работы («Когда я начал марать стихи в 1828 году [в пансионе]»), о «Черкесах» не упоминает, и не по забывчивости (как и его Печорин, Михаил Юрьевич был «странно создан»: никогда ничего не забывал).

Умение сочинять, как и навык в рисовании контуров, были необходимым требованием для поступающих в Московский благородный пансион, во всяком случае, для тех, кто собирался и конкурсные испытания выдержать с блеском, и курс кончить с отличием. А Лермонтов, в пору своего отрочества, на иных условиях пребывание в пансионе себе не представлял... Несмотря на тайные мечты о всемирной славе, в первые годы московского житья, у его честолюбия была вполне конкретная и не такая уж великая цель.

Прежде всего надо поступить в пансион, а это было не так-то легко. Несмотря на очень скромное помещение — крашенные полы, зеленые скамейки в аудиториях и мало удобные дортуары, заведение пользовалось блестящей репутацией, упроченной за ним в течение многих лет: курс был лицейский, и выпускные воспитанники получали, в зависимости от прилежания, чины 10, 12 и 14 классов, с университетскими правами. В лермонтовскую пору пансион был переполнен до такой степени, что поступить туда полным пансионером было почти невозможно — за неимением вакансий. Провинциальные дворяне, не надеявшиеся, что их отпрыски сдадут вступительный экзамен с надлежащим блеском, срочно разыскивали московских родственников, согласных приютить их мальчишек, если тем удастся пройти хотя бы в полупансионеры. Лермонтову выходило послабление: Елизавета Алексеевна для того и перебралась в Москву, чтобы не отдавать внука на полный пансион.

Однако Лермонтову надо было не просто выдержать вступительные испытания — надлежало: в присутствии экзаменационной комиссии отчитаться в полном знании программы за первые три младших класса



(оказаться среди переростков Лермонтов, разумеется, не желал). Таков был минимум. Затем: продолжая, вдобавок к пансионским, брать частные уроки, — выйти в первые ученики, по примеру двоюродного деда Дмитрия Алексеевича Столыпина. Имя Дмитрия Столыпина было выгравировано на золотой доске, висевшей в актовом зале. Между именами первых учеников красовалось много знаменитостей — и тех, что уже достиг к 1828 году славы; В. Жуковский, А. Грибоедов, и тех, кому еще предстояло прославиться: Федор Тютчев, Владимир Одоевский...

Мериться славой ни с автором «Горя от ума», ни с автором «Людмилы» и «Светланы» Дмитрий Столыпин, конечно, не мог. Но в пансионских пределах известность только что умершего брата Елизаветы Алексеевны была ничуть не меньшей. По его книге — «О фортификационном профиле» — здесь читали лекции; она пользовалась столь высоким авторитетом, что в 1827 году один из воспитанников пансиона перевел ее с французского и преподнес попечителю московского учебного округа с посвящением:

«Руководствуясь похвальными отзывами почтеннейших наставников моих по части военных наук, о Фортификационном профиле, сочинении Д. Столыпина, я занялся переводом сей книги на русский язык и исполнил сие с тем большим удовольствием, что сочинитель оной воспитывался в Московском университетском пансионе...»

Чтобы осуществить намеченный план, надо было сдавать с «отличными успехами» не только обязательные предметы, но и в факультативных не отставать. Главным среди факультативных «искусств», преподаваемых в пансионе, как уже указывалось, была литература. Вовсе не стремясь сделать из своих воспитанников профессиональных поэтов, преподаватели старались возбудить в них вкус и охоту к литературной журналистике. Рождалась массовая отечественная периодика, спрос читающей публики на русские журналы и альманахи был огромным; предложение пыталось не отстать от спроса: периодические издания с самыми причудливыми названиями — «Амфитрион», «Соревнователь», «Мнемозина» и т. д. — так и сыпались.

Сыпались и, увы, слишком быстро осыпались: не хватало ни опытных издателей, ни профессионально подготовленных журнальных работников. А так как среди преподавателей и пансиона, и университета было несколько литературных журналистов, на свой страх и риск осваивающих новый в России род «литературной карьеры», то, оставаясь де факто обычным учебным заведением, своего рода филиалом университета, пансион в начале 20-х годов стал чем-то средним между нынешним Литературным и Полиграфическим институтами, то есть заведением, дававшим навыки и переводческого, и издательского, и оформительского ремесла — тем, разумеется, кто проявлял склонность и интерес к подобного рода занятиям.

Благородный пансион при Московском университете открыт в 1779 году. Литературно-практическое направление обучения, какое в скором времени стало для него традиционным, самым тесным образом связано с деятельностью Н. И. Новикова:

«В продолжение 10... лет, — писал в «Воспоминаниях о Н. И. Новикове и его времени» В. Ключевский, — издательская и книгопродавческая деятельность Новикова в Москве вносила в русское общество новые

знания, вкусы, впечатления, настраивала умы в одном направлении, из разнохарактерных читателей складывала однородную читающую публику, и сквозь вызванную ею усиленную работу переводчиков, сочинителей, типографий, книжных лавок, книг, журналов и возбужденных ими толков стало пробиваться то, с чем еще незнакомо было русское просвещенное общество: это — *общественное мнение*...

Типографщик, издатель, книгопродавец, журналист, историк литературы, школьный попечитель, филантроп, Новиков на всех этих поприщах оставался одним и тем же — сеятелем просвещения».

В один год с пансионом соратник Новикова И. Шварц образовал при университете учительскую семинарию, через три года — переводческую или филологическую, куда приняли сразу шестнадцать студентов, а также — «Собрание университетских питомцев», нечто вроде литературного объединения.

Все эти общества после ареста Новикова были закрыты, но опыт его деятельности укоренился в стенах Благородного пансиона; дух Новикова и в лермонтовские времена не выветрился из скромных аудиторий этого заведения.

Один из однокашников Лермонтова по университетскому пансиону вспоминает:

«Начальство поощряло занятия воспитанников сочинениями и переводами вне обязательных классных работ. В высших классах ученики много читали и были довольно знакомы с тогдашнею русскою литературой... Мы зачитывались переводами Вальтера Скотта, новыми романами Загоскина, бредили романтической школой того времени, знали наизусть многие из лучших произведений наших поэтов. Например, я твердо знал целые поэмы Пушкина, Жуковского, Козлова, Рылеева («Войнаровский»), В известные сроки происходили по вечерам литературные собрания, на которых читались сочинения воспитанников в присутствии начальства и преподавателей. Некоторыми из учеников старших классов составлялись, с ведома начальства, рукописные сборники статей в виде альманахов (бывших в большом ходу в ту эпоху) или даже ежемесячных журналов, ходивших по рукам между товарищами, родителями и знакомыми. Так и я был в одно время «редактором» рукописного журнала «Улей», в котором помещались некоторые из первых стихотворений Лермонтова (вышедшего из пансиона годом раньше меня); один из моих товарищей издавал другой журнал «Маяк» и т. д. Мы щеголяли изящною внешностью рукописного издания. Некоторые из товарищей, отличавшиеся своим искусством в каллиграфии... мастерски отделявали заглавные листки, обложки и т. д.»

Лермонтову, бравшему домашние уроки у преподавателей пансиона, все это было, разумеется, известно. Поэтому, не удовлетворяясь обязательной программой, он уже загодя начинает пробовать свои силы и в литературных занятиях, причем по унаследованной — по стольпинской линии — гибкости натуры именно в том направлении, какое особо поощряется в Благородном пансионе: «Черкесы» — пробное сочинение как бы на редакционно-издательское отделение; рукописный журнал «Утренняя заря» — испытательная работа «по полиграфической части»!

Что до стихов, какие Лермонтов сочиняет для домашнего журнала, так это пока еще дань необходимости. Если есть обложка, то должна

быть и начинка. Коля Давыдов, давний, с тарханской поры, напарник во всякого рода рисовальных и театральных затеях, на ее изготовление не способен, точно так же, как и остальные члены «редколлегии», включая любезного братца Екима. А у него, Мишеля, уже есть некоторые навыки: написал же он либретто по пушкинским «Цыганам» для им же сочиненной «оперы» и еще несколько драматических этюдов для театра восковых кукол. Отсюда и распределение ролей: Лермонтов — «авторский актив», Коля Давыдов — «главный редактор и оформитель»...

Аким Шан-Гирей, один из первых читателей «Утренней зари», пишет в своих воспоминаниях:

«Журнала этого... вышло несколько номеров, по счастью, перед отъездом в Петербург все это было сожжено и многое другое при разборе старых бумаг».

Согласиться с приговором Шан-Гирея мы никак не можем. Пусть в сделанных на скорую руку, по уже имеющимся литературным образцам, сочинениях тринадцатилетнего Лермонтова и в самом деле нет ничего выдающегося, все равно быстрота, с какой он освоил этот вид литературной работы, — удивительна. Но еще удивительнее другое: воля к преодолению новых, не возникавших прежде трудностей, воля и упорство, которые враз, без раскочки обнаруживаются в бабушкином баловне, выросшем «в развращающей обстановке помещичьей праздности», «ужасно способствующей капризному развитию» (А. Герцен).

Иван Аксаков, первый биограф Ф. Тютчева и муж его дочери, задавшись целью не просто изложить известные ему факты жизни и деятельности знаменитого тестя, но и поразмыслить на его примере об «участи талантов на Руси», так сформулировал основную идею очерка:

«Проследить, по возможности, самое развитие этой многоодаренной природы, — соотношение ее особенных психологических условий с условиями бытовыми, общественными, историческими; ту взаимную их связь и зависимость, которая создала, определила и ограничила ее жизненный жребий».

Особенные психологические условия, послужившие первоначальной средой развития Тютчева, почти до буквальности сходны с теми, какими был ограничен жизненный жребий Лермонтова в пору его деревенского, слишком долгого и беспечального, благодаря стараниям милой бабушки, детства:

«В этой-то семье родился Федор Иванович. С самых первых лет он оказался в ней каким-то особняком, с признаками высших дарований, а потому тотчас сделался любимцем и баловнем бабушки... Это баловство, без сомнения, отразилось впоследствии на образовании его характера: еще с детства стал он врагом всякого принуждения, всякого напряжения воли и тяжелой работы... Баловницей Тютчева являлась сама его талантливость. Скажем, кстати, что ничто вообще так не балует и не губит людей в России, как именно эта талантливость, упраздняющая необходимость усилия и не дающая укорениться привычке к упорному, последовательному труду. Конечно, эта даровитость нуждается в высшем, соответственном воспитании воли, но внешние условия нашего домашнего быта и общественной среды не всегда благоприят-

ствуют такому воспитанию; особенно же мало благоприятствовали они при той материальной обеспеченности, которая была уделом образованного класса в России во времена крепостного права».

Как и Тютчев, Лермонтов — любимец и баловень бабушки; как и в Тютчеве, рано обнаруживается в нем талантливость самого широкого диапазона («Мишель был счастливо одарен способностями к искусствам», А. Шан-Гирей) — обстоятельство, если брать правило, упраздняющее необходимость усилий. Тот же оранжерейный климат — «домашний круг», созданный заботами Елизаветы Алексеевны, где все, как вспоминает учитель Михаила Юрьевича А. Зиновьев, «было рассчитано для удовольствия внука».

Разумеется, Елизавета Арсеньева, урожденная Столыпина, следуя семейственным установкам, делала все, чтобы развить природную даровитость Мишеньки, но о том, что способности нуждаются в высшем и ответственном воспитании воли, что, несмотря на талантливость, и даже именно в связи с ней, в ребенке необходимо сознательно и последовательно «укоренять привычку к упорному и последовательному труду», она вряд ли догадывалась. Так далеко ни ее здравый смысл, ни прозорливость не заглядывали. Она даже элементарных педагогических правил по отношению к своему баловню не соблюдала: ни в чем ему не отказывала! А может, потому и не отказывала, что прозревала в нем работника — в недетском упорстве, в настойчивости, с какой внук стремился «к совершенству», мастера из крашеных восков фигурки и украшая их стеклярусом? Работника, способного и к самовоспитанию, и к самоограничению, и к тяжелому, требующему долгого и ровного напряжения труду? Уже в младенчестве все эти качества, природой заложенные и по младшим братьям милые, — видела? Уже тогда понимала, что внука, и балуя сверх меры, нельзя избаловать, нельзя испортить потворством органическую потребность действовать!

Задолго до Ивана Аксакова об участии талантов на Руси задумался родоначальник русской изящной словесности Николай Михайлович Карамзин. В 1802 году, вскоре по вступлении Александра I на престол, автор «Истории Государства Российского» опубликовал знаменитую статью: «Отчего в России мало авторских талантов?».

«Если мы предложим сей вопрос иностранцу, — не без горечи иронизировал Николай Михайлович, — особливо французу, то он, не задумавшись, будет отвечать: „От холодного климата“».

Сам автор видел причину беды «в обстоятельствах гражданской жизни россиян» и, хотя явно надеялся на либеральные порывы юного Александра, был слишком трезв, чтобы ожидать коренных перемен. Что же касается перемен малых, изменяющих поверхность и не затрагивающих глубин, оживления книжной торговли, например, то их он заметил сразу и сразу понял: если издательское дело двинется, у русской книги, а значит, и у русского литератора появятся кое-какие перспективы. В свете этих новых, пусть малых, но реальных перспектив Карамзин, как лицо ответственное — еще бы: невенчаный король русской изящной словесности, ее мэтр и законодатель — и искал ответ на извечно-русский вопрос: «Что делать?». Надобно, — убеждал Николай Михайлович Карамзин властью своего авторитета и силой личного примера, — используя благоприятный период, «когда сердца наши под крот-

ким и благотельным правлением юного монарха покойны и веселы», научиться находить «неизъяснимую прелесть в трудах ума». «Работа, — настаивал „патриарх“, — есть условие искусства; охота и возможность преодолевать трудности есть характер таланта. Бюффон и Ж. Ж. Руссо пленяют нас сильным и живописным слогом: мы знаем от них самих, чего им стоила пальма красноречия!

Теперь спрашиваю: кому из нас сражаться с великою трудностью быть хорошим автором, если и самое счастливое дарование имеет на себе жесткую кору, стираемую единственно постоянною работою? Кому из нас десять, двадцать лет рыться в книгах, быть наблюдателем, всегдашним учеником, писать и бросать в огонь написанное, чтобы из пепла родилось что-нибудь лучшее?»

К тому времени, как Лермонтов, «из детских вырвавшись одежд», остро осознал необходимость действовать и притом в сфере «высших интересов», надежд на благоприятные перемены в гражданской жизни россиян почти не осталось. Лермонтов знает это и тем не менее готов сражаться «с великою трудностью быть хорошим автором»...

Выросший за «розовыми шторами» барского особняка, единственный наследник и общий баловень, освобожденный привилегиями рождения и неусыпными заботами родственников от всех земных забот, то есть фактически обреченный на ничегонеделанье, он ощущает в себе «силы необъятные» и такое постоянство воли, необходимое для деятельной жизни, какому мог бы позавидовать даже честолюбец образца Жюльена Сореля! И это в николаевской-то России, где поощрялся лишь один вид деятельности — имитация ее! Где единственным «спасением» было «ничтожество», то есть полная атрофия «высших интересов»! Это обстоятельство Лермонтов, как свидетельствует его «Монолог» (1829), принял к сведению очень рано:

Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.  
К чему глубокие познанья, жажда славы,  
Талант и пылкая любовь свободы,  
Когда мы их употребить не можем?

\* \* \* \* \*  
Как солнце зимнее на сером небосклоне,  
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго  
Ее однообразное теченье...  
И душно кажется на родине,  
И сердцу тяжело, и душа тоскует...

Фатальное сознание обреченности не остановило Лермонтова. Его «фатализм» был особой, сугубо лермонтовской складки. Он не исключал, а включал в себя сомнение (кто знает наверное, убежден ли он в чем или нет?), а значит, не отменял ни решительности, ни правила, которому Лермонтов, как и его Печорин, твердо следовал на протяжении своей недолгой жизни; «Ничего не отвергать решительно и ничему не веритьяся слепо». Не отверг он и возможности употребить с пользою для отечества и глубокие познанья, и талант, и даже любовь к свободе...

Впрочем, в данном случае действовал, выбирал и решал столько же расчет, сколько и инстинкт самосохранения. Утверждение это может показаться парадоксальным, но лишь до тех пор, пока мы не сопоставим его со следующим, явно автобиографическим, рассуждением из «Героя нашего времени»:

«...Тот, в чьей голове родилось больше идей, тот больше других действует; от этого гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума, точно так же, как человек с могучим телосложением, при сидячей жизни и скромном поведении, умирает от апоплексического удара».

Идей в голове у Тютчева рождалось, по-видимому, ничуть не меньше, чем у Лермонтова, и умом он обладал, как свидетельствуют знавшие его, и сильным, и твердым, и деятельным. Было в его натуре так же, как и у Лермонтова, и тоже с избытком, еще одно качество, без которого поэтически настроенный человек никогда не станет «эхом целого народа», — сверхреактивность, или, как говорили в XIX веке, «почти женская раздражительность нервов» «со всеми ее мгновенными вспыхивающими призраками и самообманом» (И. Аксаков).

А следовательно, и тут, и там было и противоречие между трезвостью и твердостью ясного и точного ума и воспламененностью воображения — свойство, с житейской точки зрения, странное и даже неудобное, но для поэта драгоценное.

Вот что думал об этом предмете Евгений Баратынский:

«Истинные поэты потому именно редки, что им должно обладать в то же время свойствами, совершенно противоречащими друг другу: пламенем воображения творческого и холодом ума поверяющего».

Противоречивость природы, или «состава души», очень тонко подметил в лице Лермонтова замечательный физиономист Иван Тургенев, видевший поэта на каком-то великосветском балу:

«В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от этих больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовался с выражением почти по-детски нежных и выдававшихся губ».

Общим был и любимый учитель по русской литературе — Семен Раич, «человек в высшей степени оригинальный, бескорыстный, чистый, вечно пребывающий в мире идиллических мечтаний, сам олицетворенная буколика, соединявший солидность ученого с каким-то девственным поэтическим пылом и младенческим незлобием...»

В ту пору, когда Лермонтов обучался в пансионе, Раич вел там занятия по практическим упражнениям в российской словесности, а до этого прожил несколько лет в доме Тютчевых в качестве наставника будущего поэта.

Однако при сходных «биографических предпосылках», тонкой восприимчивости и «воспламененности воображения» «сильный ум» у Лермонтова действовал заодно с на редкость сильной волей, а у Тютчева — «со слабодушием» «при бессилии воли», доводившим, как свидетельствует его зять, «до немощи».

Больше того: для Федора Ивановича Тютчева поэзия была чем-то вроде дилетантского отклонения от основной профессии, Лермонтов же родился профессионалом, несмотря на то, что сочинять стал сравнительно поздно (в 1828 году), да и потом долгое время, практически до 1835 года, писал для себя. Писал — как ведут дневники: из потребности к самопознанию.

В расчете на широкого читателя он начал работать только после 1837 года, когда необыкновенный успех стихов на смерть Пушкина возвел его в ранг поэтической звезды первой величины...

Однако за совершенством элегии, в которой так чудно соединились три главных лермонтовских дара; сила, пламенность и нежность, — стоит воистину титанический труд.

Труд и сердцем выверенная убежденность:

...ум мой не по пустякам  
К чему-то тайному стремился,  
К тому, что обещал нам бог  
И что б уразуметь я мог  
Через мышления и годы.

При всем своем артистизме Лермонтов был «работник», «вечный работник» на троне русской поэзии...

Мало того, развитие многоодаренной натуры Тютчева, в силу стечения обстоятельств, происходило так, что в стихи «преображалась» (если употребить есенинское слово) лишь часть его жизни, тогда как Лермонтов отправился по этой дороге — «целиком»...

В эссе «Нечто о поэте и поэзии» К. Батюшков, чьи «Опыты в стихах и в прозе» были, по свидетельству Шан-Гирея, настольной книгой юного Лермонтова, писал:

«Дар выражать и чувства, и мысли свои давно подчинен строгой науке... Но самое изучение правил, беспрестанное и упорное наблюдение изящных образцов — недостаточны. Надобно, чтобы вся жизнь, все тайные помышления, все пристрастия клонились к одному предмету, и сей предмет должен быть искусство. Поэзия, осмелюсь сказать, требует *всего человека*. Я желаю... чтобы поэту предписали особенный образ жизни, пиитическую *диэтику*: одним словом, чтобы сделали науку из жизни стихотворца... Первое правило сей науки должно быть: живи, как пишешь, и пиши, как живешь».

Лермонтов был первым великим русским поэтом, кто принял как «вызов року» то правило творческого поведения, какое сформулировал Батюшков... И речь его всегда была такова, как и его жизнь...

Нераздельность поэзии, личности, жизни высоко ценил в Лермонтове Б. Пастернак, посвятивший памяти Лермонтова одну из лучших своих книг — «Сестра моя — жизнь» (1917). Сорок лет спустя он так мотивировал смысл этого посвящения:

«Пушкиным началась наша современная культура... наше современное мышление и духовное бытие. Пушкин возвел дом нашей духовной жизни, здание русского исторического самосознания. Лермонтов был его первым обитателем. В интеллектуальный обиход нашего века Лермонтов ввел глубоко независимую тему личности, обогащенную впоследствии великолепной конкретностью Льва Толстого, а затем чеховской безошибочной хваткой и зоркостью к действительности. Но тогда как Пушкин объективен, достоверен и точен, тогда как Пушкин позволяет широчайшие обобщения, все творчество Лермонтова проникнуто его личностью и его страстью... Пушкин глубоко реалистичен и служит как бы проводником высшего творческого начала. Лермонтов — живое воплощение личности... Влияние на него Байрона бесспорно, под его обаянием находилась тогда чуть не половина Европы. Однако то, что мы ошибочно принимаем за лермонтовский романтизм, в действитель-

ности, как мне кажется, есть не что иное, как стихийное, необузданное предвосхищение всего нашего... субъективно-биографического реализма и предвестие поэзии и прозы наших дней. Я посвятил „Сестру мою жизнь" не памяти Лермонтова, а самому поэту, как если бы он еще жил среди нас, — его духу, до сих пор оказывающему глубокое влияние на нашу литературу. Вы спросите, чем он был для меня летом 1917 года? — Олицетворением творческого поиска и откровения, двигателем повседневного творческого постижения жизни».

Желание автора «Опытов в стихах и в прозе» до сих пор не осуществлено: наука из жизни русского стихотворца не создана. Но тот, кто возьмет на себя этот труд, не сможет обойтись без сравнения итогов жизни двух гениальных русских поэтов — Тютчева и Лермонтова.

Федор Иванович Тютчев. 1803—1872. И тоненькая книжка лирических стихотворений. Да, «наш патент на благородство», да, «томов премногих тяжелей», но все-таки — одна-единственная...

Михаил Юрьевич Лермонтов. 1814—1841. И целое собрание сочинений: стихи, поэмы, романсы, драмы... Конечно, среди публикуемых и в академических, и в обычных четырехтомниках поэта есть произведения, для печати не предназначавшиеся; немало и таких, которые автор не успел довести «до совершенства». Но и эти получерновые тексты интересны нам не только как лабораторные опыты гения.

«Может быть, тот вид, в котором лежат его стихи перед нами, не представляет их окончательной редакции, и автор предполагал еще подвергнуть их дальнейшему отбору и шлифовке. Однако след гения, оставшийся в них, так велик, что именно он, этот дух, проникающий их, придает последнее совершенство, более, может быть, значительное, чем если бы автор имел больше времени позаботиться об их внешности».

Стихи, лежавшие перед Пастернаком, принадлежат современнику Лермонтова грузинскому поэту Н. Бараташвили, но все сказанное о них может быть отнесено и к «Демону», и к «Сказке для детей», и «Сашке», и даже к более ранним произведениям Лермонтова. Вот что писал об этих, по общепринятой мерке несостоявшихся, шедеврах Белинский:

«Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, „Боярину Орше" и т. п. (не говорю уже о „Демоне"): это не „Руслан и Людмила", тут нет ни легкокрылого похмеля, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура, — нет, это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это „с небом гордая вражда", это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Все это детски, но страшно сильно и *взмашисто*. Львиная натура! Страшный и могучий дух! Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать. Я только вчера кончил переписывать его «Демона», с двух списков, с большими разнищами, — и еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание. Трудно найти в нем и четыре стиха сряду, которых нельзя было бы окриковать за неточность в словах и выражениях, за натянутость в образах... но — боже мой! — что же перед ним все антологические стихотворения Майкова или самого Анакреона, да еще в подлиннике?»

Но мы слегка опередили события: ни в 1827-м, ни в 1828-м Лермонтов еще не знал, что он «авторский талант». Были лишь «охота и возмож-



ность преодолевать трудности», причем трудности вполне обыкновенные, соразмерные возрасту. Да и охота была столько же личной заслугой, сколько генетически обусловленной «любовью к труду»: все-таки и в нем, внуке бонвивана Арсеньева и сыне не способного ни к какому серьезному занятию капитана Лермонтова, текла столыпинская кровь — деловая и дельная, с резко выраженным волевым элементом. Была также непостижимая «умам посредственных людей» жажда совершенства и неизвестно чем поддерживаемая вера: жизнь, которую он ведет, существование, ищущее, но не находящее «великой цели», — «в покорности незнания», в «рамках ничтожества» — не истинное его назначение...

Когда б в покорности незнания  
Нас жить создатель осудил,  
Неисполнимые желанья  
Он в нашу душу б не вложил,  
Он не позволил бы стремиться  
К тому, что не должно свершиться,  
Он не позволил бы искать  
В себе и в мире совершенства...

А кроме того, в этой черноволосой, с белым странным клоком над высоким лбом, слишком большой для невеликого роста голове рождалось слишком много идей, пока, повторяю, еще вполне ребяческих, однако властно и сильно побуждающих к действию...

И все-таки первую свою идею: окончить пансион так, чтобы его имя оказалось на золотой доске среди самых замечательных имен его отечества, Лермонтову осуществить не удалось.

1 сентября 1828 года родной внук гвардии поручицы вдовы Елизаветы Арсеньевой, после соответствующего испытания в науках, был зачислен в четвертый класс — полупансионером.

Первый барьер взят. Казалось бы: можно сделать передышку. Но Лермонтов не позволил себе расслабиться. Воспользовавшись тем, что занятия в пансионе велись по индивидуальным программам, за шесть месяцев он осилил годовой курс: 21 декабря 1828 года Лермонтов аттестован как второй, ученик (подвели ненавистная латынь и русская грамматика) и переведен в пятый класс.

Полупансионеры должны были являться на занятия к восьми часам утра и распускались лишь к шести вечера. После шести открывался «пансион на дому». Несмотря на протесты бабушки, боявшейся, что «Мишенька надорвется», Лермонтов берет дополнительные уроки по немецкой литературе, рисованию, музыке, русской словесности, а главное, усиленно занимается английским, чтобы догнать опередивших его однокашников. Московский пансион — единственное в ту пору учебное заведение в России, где преподавание классических языков велось на европейском уровне. Уровень был довольно высок. Один из воспитанников, сын провинциального чиновника, за полный, шестилетний срок обучения настолько хорошо овладел английским, что на торжественном акте 1830 года произнес свою речь — об особенностях стиля и творений Мура — на языке оригинала...

Англичанина — мистера Винсона — Елизавете Алексеевне пришлось «взять в дом» — учиться «по билетам» Мишель не желал: по его плану, нужно было овладеть позарез необходимым ему языком в несколько

месяцев. Бабушке пришлось раскошелиться. Винсон был из дорогих: 3 тысячи в год и на всем готовом, включая помещение (для англичанина с русской женой сняли отдельный флигель).

Но деньги были затрачены не впустую. Винсон не стал мучить питомца ни учебными текстами, ни тонкостями фонетическими. Быстро сообразив, что «редкий язык» нужен его воспитаннику не для того, чтобы блеснуть «в важном споре» английским словом, учитель сразу дал ему Байрона, и очень скоро, буквально к концу 1829 года, Мишель, как свидетельствует Шан-Гирей, стал свободно его понимать. От Байрона перешли к Муру, затем к поэтическим произведениям Вальтера Скотта. Тратить все поднимающееся и поднимающееся в цене время на то, чтобы в совершенстве «изъясняться» по-английски, Лермонтов не считал нужным.

Видимо, по ускоренной программе шли и внеклассные занятия музыкой и рисованием.

В декабре, после экзаменов по обязательному курсу (юриспруденция, богословие, математика, естествознание, физика, военное дело), следовали испытания в искусствах:

«Михайло Лермонтов... на скрипке аллегро из Маурерова концерта» (весь концерт в ту эпоху исполняли самые искусные виртуозы).

Продолжаются и уроки живописи, в дополнение к школьным рисовальным классам.

Год назад Лермонтов рисовал лишь «контуры». Зимой 1828-го с удовлетворением и не без гордости он сообщает в Апалиху:

«Скоро я начну рисовать с (buste) бюстов... какое удовольствие!

...Александр Степанович мне показывает также, как должно рисовать пейзажи».

Александр Степанович Солоницкий — художник с дарованием ниже среднего, но педагог опытный и модный, был приглашен Елизаветой Алексеевной по совету Мещериновых — в семейственном кругу по-прежнему с наибольшим почтением относятся к живописным талантам внука Лизы Столыпиной.

В декабре 1829-го Лермонтов — «с весьма хорошими успехами» — сдал экзамены за пятый год обучения и весной следующего, 1830-го, на торжественном акте по случаю одиннадцатого пансионского выпуска отмечен как первый ученик.

Еще несколько месяцев — и прости-прощай, достопочтенный пансион! В неполные шестнадцать лет он человек с высшим, университетским образованием!

Прощай, пансион, здравствуй, взрослая жизнь!

Екатерина Александровна Сушкова, с которой Лермонтов поделился первой своей победой, утверждает, что Мишель, рассказывая ей о торжественном акте, признался, «как бы хотелось ему попасть в *люди*, а главное, никому в этом не быть обязану, кроме самого себя».

Выражение «попасть в люди» наверняка перевод лермонтовской мысли на бально-птичий язык мисс Блэк-айз, но сути мадмуазель Черноокая, судя по всему, не переврала, только поняла ее по-своему. «Выйти в люди» в обычном смысле слова, то есть получить образование, воспитание и возможность сделать ту или иную служебную карьеру так, чтобы никому не быть обязанным, Лермонтов, разумеется, не мог, ибо всем, чего он достиг к

1830 году, уже был обязан стараниям милой бабушки. На эту «стартовую площадку» ему помогли взобраться; однако дальше и выше, а главное, совсем по другой траектории, предстояло лететь одному.

Я рожден, чтоб целый мир был зритель

Торжества иль гибели моей...

На таких «высотах» всемогущество Елизаветы Алексеевны кончалось. Оборона ее беззаветной преданности и любви оказывалась бессильной. Все, что могла старуха Арсеньева, — так это «соломки подостлать», если падать начнет. Только как угадать, где и когда сорвется?

Пансиона Михаил Юрьевич Лермонтов не окончил — ушел по собственному желанию из последнего — выпускного — класса.

Этому неожиданному решению предшествовало знаменательное событие.

Пансион без предупреждения посетил император Николай. Один, без свиты. Во время перемены ученики всех возрастов, пользуясь свободой нравов привилегированного заведения, устремились из классных комнат в широкий коридор, мигом обратив его в зал для гимнастических упражнений...

Ни надзирателей, ни педагогов нигде не было видно: по заведенному порядку, в момент «рекреаций» предоставлялась «полная свобода жизненным силам детской натуре», а так как специального спортивного помещения, ввиду тесноты, не было, воспитатели предпочитали не показываться в коридоре.

Один из очевидцев события Дмитрий Милютин, в будущем — военный министр, много, кстати, сделавший для демократизации и осовременивания армии, а в ту пору — воспитанник пансиона, вспоминает:

«Можно представить себе, какое впечатление произвела эта вольница на самодержца, привыкшего к чинному, натянутому строю петербургских военно-учебных заведений. С своей же стороны толпа не обратила никакого внимания на появление величественной фигуры императора, который прошел вдоль всего коридора среди бушующей массы, никем не признаный, — и, наконец, вошел в наш класс, где многие из учеников уже сидели на своих местах в ожидании начала урока. Тут произошла... комическая сцена: единственный из всех воспитанников пансиона, выдавший государя в Царском Селе, — Булгаков узнал его и, встав с места, громко приветствовал: „Здравия желаю вашему величеству!“ — Все другие крайне удивились такой выходке товарища; сидевшие рядом с ним даже выразили вслух негодование на такое неуместное приветствие вошедшему «генералу»... Озадаченный, разгневанный государь, не сказав ни слова, прошел далее в 6-й класс и только здесь наткнулся на одного из надзирателей, которому грозно приказал немедленно собрать всех воспитанников в актовый зал. Тут наконец прибежали, запыхавшись, и директор и инспектор, перепуганные, бледные, дрожащие. Как встретил их государь — мы не были уже свидетелями; нас всех гурьбой погнали в актовый зал, где с трудом, кое-как установили по классам. Император, возвратившись в зал, излил весь свой гнев и на начальство наше, и на нас с такою грозною энергией, какой нам никогда не снилось. Пригрозив нам, он вышел и уехал, и мы все, изумленные, с опущенными головами, разошлись по своим классам. Еще больше опустило головы наше бедное начальство. На другой же день уже заговорили об ожидающей нас участи; пророчили упразднение нашего пансиона».

Пока педагоги и надзиратели собирали воспитанников в актовый зал,

Николай, не любивший даром терять императорское время, осмотрел и дортуары. В одной из спален было несколько заболевших. Государь приказал одному из них раздеться и самолично осмотрел белье — на беду, оно оказалось неудовлетворительным.

Г. Головачев, оказавшийся свидетелем этой сцены, на всю жизнь запомнил выражение лица высочайшего ревизора: лицо человека, разгневанного прежеде, чем был отыскан предлог для гнева.

Историческая ревизия произошла 11 марта 1830 года. А ровно через две недели (надо отдать должное административной энергии и Главного Администратора, и его «управленческого аппарата») последовал высочайший Указ правительствующему Сенату о преобразовании благородных пансионов и при Московском, и при Петербургском университетах в обыкновенные гимназии...

Дмитрий Милютин полагает, что гнев императора был вызван тем неблагоприятным впечатлением, какое произвела на самодержца пансионская вольница. Думается, это не совсем так. Шалости во время «рекреаций» не только дозволялись, но и поощрялись Николаем. Воспитанник «малолетнего» кадетского корпуса, так называемого Александровского, расположенного в Царском Селе, в непосредственном соседстве с летней резиденцией императорской фамилии, утверждает, что кадеты с разрешения и благословения государя допускались в дворцовый сад и бегали и играли там «без всякого стеснения». Больше того, Николай Павлович Романов сам играл с ними!

«В расстегнутом сюртуке ложился он на горку, и мы тащили его вниз или садились на него плотно друг около друга; и он встряхивал нас, как мух».

А однажды произошел такой эпизод.

Ревизуя Пензенскую губернию, Николай Павлович, по причине бедственного состояния российских дорог, вывалился из коляски и сломал руку. Перелом долго не срастался. Наконец лубки были сняты, и государь, довольный и выздоровлением, и смотром Александровского корпуса, оказавшегося «выше всяких похвал», был весел и пожелал попробовать силу выздоровевшей руки. Для этого он сам поставил кадет в строй, велел держаться на ногах как можно крепче, потом толкнул ближайшего больной рукой, «и вся шеренга повалилась».

Кадеты были в восторге: сам государь играл с ними, точно так же, как они со своими оловянными или бумажными солдатиками!

Шалости, в которых Николай I уличил воспитанников Благородного пансиона, конечно, несколько отличались от тех, что «вменялись в обязанность» маленьким солдатикам государя. И все-таки обнаруженные высочайшим лицом «беспорядки», включая несвежее белье и спертый воздух в дортуарах, — были поводом, а не причиной императорского гнева. Это подтверждают и воспоминания Г. Головачева. В 1830 году их автор был еще слишком мал, чтобы разобраться в мотивах странного поведения царя-батюшки, однако ему довелось присутствовать при вторичном закрытии пансиона.

Согласно высочайшему Указу оскандалившийся пансион был преобразован в Первую гимназию, в результате чего единственная в Москве городская гимназия стала именоваться Второй. Однако пансионский педагогический коллектив, смирившись для видимости и с упразднением их заведе-

ния, и с лишением привилегий, то есть диплома, приравненного к университетскому, в учебных курсах продолжал придерживаться по возможности и прежнего направления, и прежней, повышенной в сравнении с обычной гимназической, программы. При первом удобном случае пансион самовосстановился, правда, под другим названием — Дворянский благородный институт и в другом, куда более престижном помещении — в бывшем доме Пашкова (впоследствии — Румянцевский музей, ныне — Библиотека имени В. И. Ленина).

Здание было великолепным; светлые изящные комнаты, обитые дубовыми панелями, никакого стеснения в бытовых апартаментах; чистота, порядок, комфорт — русский Кембридж, да и только! «Представительнее этого заведения, — пишет Головачев, приглашенный в Институт в качестве преподавателя географии, — найти невозможно, и опала, поразившая его, не может быть объяснена беспорядком... но заранее принятым решением, что заведению следует положить конец».

Действительно: ни беспорядков, ни даже следов их в пансионе, перелицованном в начале 40-х годов в Дворянский институт, Николаю обнаружить не удалось, если не считать ученика, которому, по настоянию врачей, вместо стола со скамьей, поставили в класс конторку: ученик сей был не совсем здоров, а главное — «ростом почти с государя».

Мальчик за конторкой Николаю не понравился: всем подданным императора всея России надлежало быть значительно ниже его. Николай Павлович гордился своим ростом — единственной чертой сходства, доставшейся ему от великого «пращура» — Петра I.

Однако расценить сей казус природы как нарушение он все же не осмелился и волю гневу не дал: пробыл недолго, обошел только классы, говорил тихо, и хотя раздражения не скрывал, «разгона» не устроил. И тем не менее: по прошествии нескольких месяцев Дворянский институт был закрыт.

Московский Благородный пансион, возникший на волне просветительской деятельности Новикова, и унаследовавший его традиции Дворянский институт выпускали не проста вольнодумцев, они производили «умников». Умников Николай не терпел — у него было нечто вроде аллергии на чересчур умных людей.

Петр Первый, пращур, задышался от «недостатка ума» в ближайшем своем окружении, «набирал нужных ему людей всюду, не разбирая звания и происхождения, и они сошлись к нему с разных сторон и из всевозможных состояний» (В. О. Ключевский).

Екатерина, бабка, льстила Уму, Павел-отец побаивался, брат Александр — заискивал и презирал, а он, Николай, был убежден: горе от Ума, и потому: горе Уму! Качество это перешло и к наследнику. Князь Петр Долгоруков, рассуждая о причинах, позволивших бездарнейшему однокласснику Лермонтова по юнкерской школе князю Барятинскому (он учился так плохо, что, несмотря на связи, состояние и т. д., — был выпущен из гвардейской школы — не в гвардию, а в армию, при примерном поведении и более чем гвардейском экстерьере) сделать блистательную карьеру, важнейшей считает дружбу его с цесаревичем, который «во всю свою жизнь боялся и терпеть не мог людей умных... ему чрезвычайно под руку пришлось в Барятинском ограниченность ума и отсутствие познаний, соединенные с внешним лоском и тою светскою эlegantностью, которая на некоторое время может служить прикрытием бездарности и внутренней пустоты».

В отличие от старшего своего сына Николай Павлович столь открыто ненависти к умникам не проявлял, особенно в молодости. Пушкина, как известно, прежде, чем нарядить в камер-юнкерский мундир, одарил титулом «умнейшего человека России»... И вот еще какое обстоятельство надо учитывать. Со школьной скамьи, с «Былого и дум», по Герцену, затвержен нами наизусть образ Николая: «Он был красив, но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развита за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза».

Портрет выразителен и, по существу, точен, но при этом слишком, я бы даже сказала, чересчур контрастен. Хотя Герцен и уверяет, что именно таким запомнил императора во время его коронации, то есть в 1826 году, думается, это не совсем так. Вряд ли четырнадцатилетний мальчик, убежавший из дома, чтобы вместе со своей кузиной поглазеть на государя, обладал столь беспощадной остротой зрения! Да и портрет ли это? Скорее, собирательный образ русского самодержавия, которому для наглядности дана резко, почти плакатно вылепленная маска Николая, гениальная политическая карикатура на личного врага: «Остриженная и взлызистая медуза с усами».

К Александру I, которого Пушкин, к примеру, ненавидел до судорог, тот же Герцен более чем снисходителен:

«Лицо его было приветливо, черты мягки и округлы, выражение лица усталое и печальное... Если наружная кротость Александра была личина, — не лучше ли такое лицемерие, чем наглая откровенность самовластья?»

Ни Пушкин, ни Карамзин так не считали.

Приведем свидетельство людей, лично ни от Александра, ни от Николая не потерпевших:

Петр Долгоруков об Александре I:

«Был... весьма хитрым и лукавым, но ума самого недалекого; твердых мнений, коренных убеждений он никогда не имел, но, впечатлительный от природы, он весьма легко увлекался то в одно, то в другое направление, и увлечения его носили на себе отпечаток какого-то жара, какого-то мнимого энтузиазма. Вообще, в характере его было много женского: и в его искусной вкрадчивости, и в любезности, можно сказать, обаятельной, и в его удивительном непостоянстве. В годах первой юности своей, отчасти под влиянием рассказов о Швейцарии наставника своего Лагарпа, отчасти от омерзения, внушенного ему подлостью и низостью царедворцев русских... Александр I питал какие-то стремления полуреспубликанские, впрочем, смутные и неясные... Имея страсть рисоваться, страсть, всегда им сохраненную, он в письмах к некоторым близким людям... поговаривал о желании... отречься от престола и вести жизнь тихую в скромном уединении, поговаривал об этом тем охотнее, что хорошо знал, что фразы эти останутся фразами и что престол от него не уйдет».

Маркиз Кастельбажак, французский посол в России, о Николае I:

Император Николай Павлович «государь чрезвычайно эксцентричный. Его трудно вполне разгадать: так велико расстояние между его хорошими качествами и его недостатками. Внушая страх и уважение окружающим его, он в то же время надежный друг и своей сердечной нежностью нередко уподобляется молодой романтической женщине, хотя иногда наряду с этим

чувством обнаруживает необыкновенную суровость и неумолимость при малейшей с чьей-либо стороны ошибке. Его прямоту и здравомыслие иногда помрачались лестью царедворцев и союзных государей и заставляли его впадать в непростительные ошибки... Он признателен к тем, кто ему доверяет, и обижается, если ему не доверяют; очень чувствителен, не скажу к лести, но к одобрению его действий».

Приведенные характеристики не исчерпывают, конечно, сложности предмета, но они дают человеческое — в рамках житейских — объяснение и «Стансов» Пушкина, и предсмертного — к Николаю — письма Н. М. Карамзина.

Автор «Истории Государства Российского» был щепетилен до крайности, при жизни Александра ни разу не напомнил ему, что император, пожаловав его в «придворные историографы», «позабыл» назначить ему жалованье. А вот Николаю, обманутый его прямоту, признался, что находится в самых стесненных обстоятельствах, настолько стесненных, что не может позволить себе рекомендованную врачами поездку в Италию. Николай откликнулся тотчас. Как о личном одолжении просил Карамзина разрешить ему, императору, «озаботиться способом устроить поездку», больше того, уже сверх просьбы, по собственной инициативе, осмотрел находящуюся в Царском Селе казенную дачу Карамзиных и, найдя оную в удручающем состоянии, отдал распоряжение о срочном ремонте, о чем сообщил Николаю Михайловичу. Если бы не подпись, удостоверяющая, что письмо написано Николаем Павловичем Романовым, — его вполне можно было бы принять за отчет «управляющего делами»:

«Покуда я быв здесь, привел в порядок ваше летнее квартирование в надежде, что пригодится».

Словом, Николай I был способен, хотя и «вчуже», но уважать «отечественные дарования». И тем не менее: дух русского двора, где «бездарность составляет лучшую из рекомендаций» (П. Долгоруков), создался и закрепился именно при нем!

Вторичное закрытие пансиона произошло в 1848 году. Восемнадцать лет назад, в 1830-м, у Николая Павловича, кроме уже указанного мотива для особого нерасположения к «заведению», были и другие, не столь значительные, но очень даже чувствительные.

Дети виднейших людей империи не узнали своего императора в лицо! А должны были узнать! Даром что ли государь демонстрировал себя всей Москве и съехавшейся на коронационные смотрины провинции в течение целых двух месяцев? Шестьдесят суток потеряно — отрезано от государственных трудов — и даром? Над каждым учебным столом недоросля дворянского, над колыбелью каждой должен висеть его лик, растиражированный во множестве стараниями типографий, и частных и государственных! Дабы врезаться, вкочаниться в память с младенчества! И не в самолюбии было дело, а в идее: подданные должны знать в лицо своего повелителя; хотя и в самолюбии тоже: несмотря на мужественную внешность, Николай был мелочно, почти по-женски самолюбив...

И все-таки уязвленное самолюбие определило лишь форму действия; само же действие продиктовано было куда более серьезными мотивами. Николай уже разработал стратегический, долгодействующий план гонения на «вольнодумную» Москву. Неурочная, не объявленная заранее ревизия университетского пансиона была началом, первым пунктом этого плана.

Ни пансионское начальство, ни пансионеры, ни родители их в марте 1830-го об этом не догадывались.

Их испугало то, что лежало на поверхности: необыкновенный пансион приравнен к обыкновенной гимназии!

Гимназии, как и университеты, принадлежали к числу бессловных учебных заведений, а значит, гимназическое начальство, в результате перемены положения, по закону имело право на «телесные наказания», то есть на обуздание свободы детских нравов посредством розог. Чтобы дать некоторое представление о том, каким образом в лермонтовское время осуществлялся сей воспитательный акт, приведу выдержку из воспоминаний А. Жемчужникова, получившего образование в Первом кадетском корпусе (среди военных заведений общеармейской ориентации Петербургский кадетский корпус занимал самое привилегированное положение, находясь под непосредственным контролем и попечительством Николая I):

«Каждый понедельник в нашей роте происходила экзекуция: кого за дурной балл, кого за шалости или непослушание... Секли целыми десятками или по восьми человек, выкликая в первую, вторую и т. д. смену, в последовательном порядке... Рекреационная зала была громадная и посередине ее в понедельник утром стояли восемь или десять скамеек (без спинок)... Тут же стояли ушаты с горячей соленой водой, и в ней аршина в полтора розги, перевязанные пучками. Кадеты выстраивались шеренгой, их раздевали или они раздевались... один солдат садился на ноги, другой на шею и начиналась порка с двух сторон; у каждого из этих солдат были подмышкой запасы пучков, чтобы менять сбившиеся розги на свежие. Розги свистели по воздуху... Свист, стон — нельзя забыть... Помню неприятный до тошноты запах сидевшего у меня на шее солдата и как я просил, чтобы он меня не держал, и как судорожно прижимался к скамье. Маленькие кадеты изнемогали от страха и боли, мочились, марались и их продолжали сечь, — пока не отсчитают назначенное число ударов. Потом... выносили по холодной галерее в отхожее место и обмывали. Нередко лица и платья секущих солдат были измараны и обрызганы этими вонючими нечистотами. Случалось, что высеченного выносили на скамье в лазарет».

Чтобы ее Мишеньку вынесли из-под розог в лазарет замаранного вонючими нечистотами? Такого Елизавета Алексеевна не только допустить — и представить себе не могла!

16 апреля 1830 года Михаилу Лермонтову было выдано свидетельство в том, что он, после обучения в старшем отделении высшего класса бывшего Московского благородного пансиона, «разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, с похвальным поведением и весьма хорошими успехами», по его собственному прошению, от пансиона уволен.

Дело было, конечно, не только в розгах, точнее, в призраке розог... С преобразованием пансиона в обыкновенную гимназию механически уничтожились и права, которые он давал кончившим полный курс. Год, проведенный в его стенах, на этих условиях, превращался — в глазах Лермонтова — в потерянный год.

Пришлось круто менять план жизни.

21 августа 1830 года на правлении Московского университета слушалось следующее заявление:



«Родом я из дворян, сын капитана Юрия Петровича Лермонтова; имею от роду 16 лет; обучался в Университетском благородном пансионе... ныне же желаю продолжать учение мое в императорском Московском университете, почему Правление оного покорнейше прошу, включив меня в число своекоштных студентов нравственно-политического отделения, допустить к слушанию профессорских лекций».

Не правда ли, какой неожиданный для воспитанника заведения, где преобладающей стороной была филология, выбор? Но может быть, Михаила Лермонтова перестала интересовать словесность? Ничуть! Уже написаны строки:

Боюсь не смерти я. О нет!  
Боюсь исчезнуть совершенно.  
Хочу, чтоб труд мой вдохновенный  
Когда-нибудь увидел свет.  
(1830, майя, 16 число)

Сделан не только выбор, но и творческий ориентир найден:

Я молод; но кипят на сердце звуки,  
И Байрона достигнуть я б хотел...

И тем не менее: не историко-филологическое, а нравственно-политическое?

Почему?

Прежде всего потому, видимо, что университет, в рамках историко-филологического отделения, был уже практически окончен в пансионе. Во всех отношениях было выгоднее использовать университетские годы по назначению, то есть для самоусовершенствования, избрав малоизвестную область знания. Однако Лермонтов, учитывая свои способности к точным наукам, мог предпочесть, подобно, скажем, Александру Герцену, математику или астрономию. А он выбрал юриспруденцию, хотя до весны 1830-го ничто не предвещало, что политика, потеснив все остальные интересы, резко вырвется вперед! Значит, объяснение следует искать в обстоятельствах лета 1830 года.

Павел Христофорович Граббе, просвещенный военный, в бытность Лермонтова на Кавказе командующий войсками Кавказской Линии и Черномории, а кроме того, слегка поэт и немного философ, оставил в своей «Записной книжке» за декабрь 1830 года такую заметку:

«Славный конец войны с Турциею, внимание Европы на себя обращавший, был как бы сигналом новых переворотов на Западе ея. Между тем как торжество победоносной России внезапно омрачилось появлением Cholera Morbus, быстро принявшей, несмотря на противодейственные меры, свое направление на Север к обеим столицам, печальные известия о насильственной перемене династии во Франции... народное восстание в Бельгии против короля своего; переворот в правлении столь мирной и счастливой Саксонии; шайки поденщиков и черни, появившиеся и опустошающие некоторые области Германии; возмущение в Мюнхене... и разные другие известия заставляют бояться для Европы времен смутных...»

Павел Граббе, косвенно причастный к декабризму и в отношениях с близкими к нему людьми более чем либеральный, а кроме того, вполне смелый (он, например, в течение всей своей жизни был в

переписке с опальным Ермоловым), в более общих, не касающихся его непосредственных профессиональных забот вопросах от официальной точки зрения если и отклонялся, то не слишком далеко. Но и для него, как видно по заметке в «Записной книжке», в 1830 году политика выдвинулась на первое место, и он весь как бы напрягся в ожидании важных для *всей Европы происшествий*...

Заметка Граббе характеризует настроения людей среднего поколения. Что касается молодежи, воспитанной, точнее, самовоспитавшей себя на Шиллере и «потаенной» русской поэзии (от пушкинской «Вольности» до «Войнаровского» К. Рылеева), — то у нее от политического «коктейля» лета 1830-го головы закружились! (В предисловии к сборнику «Русская потаенная литература» Н. Огарев писал: «Наступило время пополнить литературу цензурованную литературой потаенной, представить современникам и сохранить для потомства ту общественную мысль, которая прокладывала себе дорогу, как гамлетовский подземный крот, и являлась негаданно то тут, то там, постоянно напоминая о своем присутствии и призывая к делу. В подземной литературе отыщется та живая струя, которая давала направление и всей белодневной, правительством терпимой литературе, так что только в их совокупности ясным следом начертится историческое движение русской мысли и русских стремлений».)

Одушевление было так велико, что даже последовавшая за революциями холера — беда и смерть, имевшие бессрочный пропуск в людской дом, соединились в их памяти с чем-то торжественным!

«В 1830, — вспоминает А. Герцен, — в августе, мы поехали в Васильевское, останавливались, по обыкновению, в радклифовском замке Перхушкова и собирались, покормивши себя и лошадей, ехать далее... как какой-то человек, скакавший верхом, дал знак, чтоб мы остановились, и форейтор Сенатора (младший брат отца А. Герцена. — *А. М.*), в пыли и поту, соскочил с лошади и подал моему отцу пакет. В этом пакете была *Июльская революция!* Два листа „*Journal des Débats*“, которые он привез... я перечитал сто раз, я их знал наизусть... Славное было время, события неслись быстро... Бельгия вспыхнула... какое-то горячее, революционное дуновение началось в прениях, в литературе... Романы, драмы, поэмы — все снова сделалось пропагандой, борьбой. Тогда орнаментальная, декоративная часть революционных постановок во Франции нам была неизвестна, и мы все принимали за чистые деньги. Кто хочет знать, как сильно действовала на молодое поколение весть июльского переворота, пусть тот прочтет... Гейне... Тут нет поддельного жара: Гейне тридцати лет был так же увлечен, так же одушевлен до ребячества, как мы — восемнадцати. Мы следили шаг за шагом за каждым словом, за каждым событием, за смелыми вопросами и резкими ответами, за генералом Лафайетом и за генералом Ламарком, мы не только подробно знали, но горячо любили всех тогдашних деятелей, разумеется радикальных, и хранили у себя их портреты...»

Нельзя сказать, чтобы одушевление, охватившее Герцена и его друзей в связи с революционными «извержениями» в Европе, совсем не захватило Лермонтова. Втянутый в политические дебаты, обож-

женный разгоряченной атмосферой вулканического лета, он пишет памфлет на Карла X — «Ты мог быть лучшим королем»...

Подстегиваемый самолюбием, уязвленный тем, что среди политических толков, в обществе, главной темой всех разговоров стала политика, в которой он чувствовал себя, мягко говоря, не совсем компетентным, Лермонтов, видимо, и выбрал нравственно-политическое (юридическое) отделение университета. Если для Европы наступает эра большой политики, когда политикой становится все — и личная жизнь, и литература, — он должен встретить ее во всеоружии полного — совершенного — знания всех политических наук!

Из нашего далека видно: Михаил Лермонтов и без погружения в тонкости общественно-экономических наук, благодаря врожденному дару — предощущения истины, — вернее, чем многие его современники, почувствовал самое горячее звено в раскаленной цепи событий...

Восемнадцатилетний Герцен выхватывал прямо из огня каштаны — сначала французских и западноевропейских, а затем и польских событий. И холера русская, и русские холерные мятежи прошли фактически мимо его сознания. Даже политически подкованный, благодаря опыту юности, Павел Граббе и тот отнес слухи о начавшихся на русском юге «чумных возмущениях» к числу разных других известий. Лермонтов сразу же выделил самое важное в русских обстоятельствах событие; больше того, предсказал, предугадал, увидел в нем «обещания недалекой будущности», хотя у него-то были все основания отнести к холерным бунтам, как к факту узко-семейственного масштаба.

Летом 1830 года в Севастополе во время чумного бунта был убит военный генерал-губернатор Николай Алексеевич Столыпин.

В эссе «Памяти Т. Н. Грановского» В. Ключевский высказал интересную мысль: есть что-то общее в судьбах тех русских людей, кто надеялся на улучшение русской действительности путем обуздания ее «безмерности» и ее «хаоса» — «мерой и порядком»:

«В 1855 г. Грановскому случилось увидеть портрет Петра Великого, писанный с мертвого... Его поразило выражение бледного лица на фоне красной подушки. „Верхняя часть божественно прекрасного лица запечатлена величавым спокойствием... Но жизнь еще как будто не застыла в нижней части лица. Уста сжаты гневом и скорбью; они как будто дрожат. Целый вечер смотрел я на это изображение человека, который дал нам право на историю и едва ли не один заявил наше историческое призвание“. Теперь, спустя 50 лет по смерти Грановского, можно еще представить себе скорбный облик, с каким он ушел из жизни, подобный посмертному облику любимого им Петра, можно представить его в сонме таких же обликов, таких же теней гнева и скорби: Кавелин, думавший, что с освобождением крестьян все в России изменится к лучшему, С. М. Соловьев, веривший, что восстающий от времени до времени русский богатырь вынесет Россию на своих плечах... и много, много других, менее видных людей. Все это были люди меры и порядка, надеявшиеся на улучшение действительности, и все они были обмануты в своих надеждах. Каждый независимый русский общественный деятель таит в себе хотя бы малую крупичку Петра Великого, своего духов-

ного родоначальника, и каждый уходит с той же печатью гнева и скорби на сомкнутых устах».

Николай Алексеевич Столыпин, растерзанный взбунтовавшимися солдатами, без сомнения, принадлежал к той же когорте. Как и Грановский, он считал своим духовным родоначальником Великого Петра, по петровским заветам и в петровском духе написана уже упоминавшаяся его книга — «Отрывки из записок военного человека», из нее же извлечена фраза, характеризующая отношение Столыпиных к деятельности Петра: «Куда мы ни взглянем, где ни ступим внутри нашего отечества, везде находим следы его трудов, его попечений... его гения...»

Не нужно иметь слишком богатое воображение, чтобы представить, с какой горечью и с каким недоумением, получив известие о трагической гибели Николая Столыпина, перечитывал Лермонтов его книгу — такую прекраснодушную, такую несовместимую с реальностью, несмотря на ум и опыт автора! Исполненную такого чистого, наивно-го доверия к солдату, такой веры в то, что при разумном, благородном, не унижающем его человеческое достоинство отношении и он может чувствовать себя равноправным членом «полкового гнезда»!

Желательно, размышлял Столыпин, чтобы начальники полков всячески способствовали тому, чтобы люди сделали связь между собою, чтобы в каждом полку и эскадроне завелось, так сказать, гнездо... чтобы «каждый солдат полюбил честь полка своего», ибо «история полка и память подвигов, им совершенных... также действует на всех членов, как память добродетелей предков наших на каждого из нас...»

«Надлежит, — утверждал Столыпин, — со всеми жителями и проходящими обращаться кротко, остерегаясь огорчить их неуместной грубостью...»

Казалось бы, у шестнадцатилетнего подростка были все основания разразиться гневной филиппикой против «неразумной черни», против «немытой России».

И мы бы вполне поняли и извинили его гнев. Но Лермонтов пишет «Предсказание»:

Настанет год, России черный год,  
Когда царей корона упадет;  
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,  
И пища многих будет смерть и кровь;  
Когда детей, когда невинных жен  
Низвергнутый не защитит закон;  
Когда чума от смрадных, мертвых тел  
Начнет бродить среди печальных сел,  
Чтобы платком из хижин вызывать,  
И станет глад сей бедный край терзать;  
И зарево окрасит волны рек:  
В тот день явится мощный человек,  
И ты его узнаешь — и поймешь,  
Зачем в руке его булатный нож:  
И горе для тебя! — твой плач, твой стон  
Ему тогда покажется смешон...

«Предсказание», судя по положению текста в черновой тетради, написано после 16 мая и не раньше 15 июля 1830 года.

16 мая, как свидетельствует помеченное этим числом стихотворение «Боюсь не смерти я», автор еще очень далек от политических

страстей, он весь, целиком, в раздумьях, мечтах и планах, связанных с литературной карьерой. И вдруг в его мир, уютный и домашний, в его сугубо личные стихи, как шаровая Молния, при ясном еще, здесь, над самой головой, небе врывается грозное «Предсказание». Это-то дает нам почти твердую уверенность: толчком к его написанию послужила именно смерть двоюродного деда Лермонтова. Николай Столыпин был убит 3 июня; официальное известие о его смерти опубликовано в «Московских ведомостях» за 12 июля, неофициальное же было получено гораздо раньше — расстояние между Крымом и Москвой вести столь взрывчатой важности преодолевали менее чем за десять суток...

Однако есть в этой вещи детали, заставляющие предполагать, что Лермонтову, в момент написания, было известно и еще одно происшествие.

Получив сообщение о смерти брата — третьего за четыре с небольшим года! — Елизавета Алексеевна решила ехать на богомолье в Троице-Сергиеву лавру, с тем чтобы там отслужить молебен по убиенному.

Поездка была намечена на 14 августа; сороковины Елизавета Алексеевна считала днем интимным и поминальное песнопение заказала в своей, привычной, по жительству, церкви. Фанатичной богомолкой госпожа Арсеньева никогда не была, но ее жизнелюбию нужна была разрядка — сильная внешняя деятельность. Точно так же поступила она, кстати, и в марте горестного 1817-го (после смерти дочери). Забрав внука, уехала в Киев, к святым местам, чтобы исповедаться и причаститься в Киево-Печерской лавре.

Погода в августе установилась прекрасная, и идея паломничества в Троице-Сергиеву лавру увлекла многих любителей и любительниц модных «религиозных поездок». (У прогулки в Загорск — что-то вроде религиозной экскурсии — была своя обязательная программа: отправлялись пешком, но прихватывали повозку; в лавре осматривали древности, в том числе и богатейшую ризницу; гвоздь программы — могила Годунова. На обратном пути, уже в повозке, заезжали в Мытищи: здесь любовались знаменитым водопроводом, снабжавшим в ту пору всю Москву превосходной, родниковой водой. Родники, или ключи, в числе около сорока, находились на огромном, необычайно зеленом лугу. Особым приспособлением воду «собирали в одно место», направляли по каменному желобу, а потом, уже в трубах, она доходила до Москвы.) Готовились долго, с пристрастием расспрашивая тех, кто уже успел совершить эту «чудную прогулку», о впечатлениях и условиях. Что до дорожных условий — удобства в ночлежных домах, меню в дорожных трактирах — все оставалось, как и в прежние годы: ни хуже, ни лучше. А вот на дверях одного из трактиров некто, назвавшийся «вторым Рылеевым», сделал следующую надпись:

«Скоро настанет время, когда дворяне, сии гнусные сластолюбцы, жаждающие и сосущие кровь несчастных подданных, будут истреблены самым жестоким образом и погибнут смертью тиранов». Не открыв имени, автор «предсказания» оставил четкую политическую самохарактеристику: «Один из сообщников повешенных и ссыльных в Сибирь». К надписи, оставленной «вторым Рылеевым», была

прибавлена приписка: «Ах! если бы это свершилось. Дай господи! Я первый возьму нож».

Лермонтов, судя по стихотворению «Предсказание», знал, уже загодя, до богомолья, о крамольном диалоге между двумя неизвестными на стене дорожного трактира...

Уцелел ли этот диалог к тому времени, как госпожа Арсеньева и ее внук в компании веселой родственной молодежи двинулись к лавре, мы не знаем. Никто, кроме Екатерины Сушковой, не оставил описания этого события. В интерпретации же мадмуазель Черноокой, считавшей себя крайне «набожной», путешествие в Загорск выглядело так:

«...До восхождения солнца мы встали и отправились пешком на богомолье; путевых приключений не было, все мы были веселы, много болтали, еще более смеялись, а чему? Бог знает! Бабушка (Е. А. Арсеньева. — А. М.) ехала впереди шагом, верст за пять до ночлега или до обеденной станции отправляли вперед передового приговлять заранее обед, чай или постели, смотря по времени. Чудная эта прогулка останется навсегда золотым для меня воспоминанием».

У нас есть основания не доверять мемуаристке: Екатерина Александровна была очень близорука и в прямом, и в переносном смысле. Горесть, в которой пребывала «старушка бабушка», сочла, к примеру, печалью по брату, погибшему вместе с Грибоедовым в Персии, то есть два года назад... При таком рассеянном внимании — где ей было заметить каракули на дверях трактира или запомнить толки об них?

«Предсказание», записанное «юным пророком» с голоса «второго Рылеева», сбылось очень скоро: «чума» неуклонно и неудержимо двигалась с юга на север, оставляя за собой «печальные села», опустошенные города и отчаяние... В конце лета, вскоре после «чудной поездки» в лавру, страшная гостья заявила и в московский «предел».

А за ней — по пятам, не отставая, а порой и опережая ее, двигался русский «чумной» бунт, «бесмысленный и беспощадный»...

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

*Какие были его намерения, опасения и надежды, известно только богу, но, по-видимому, он готов был сделать решительный шаг, дать новое направление своей жизни.*

Судя по тому, что стихотворение «Чума в Саратове» написано 15 августа 1830 года, то есть во время путешествия в Троице-Сергиеву лавру, «мышление» Лермонтова было занято образом явившейся в русский предел чумы. Не страхом перед ней, а предчувствием трагических коллизий, какие внесет в московскую уютную жизнь страшная гостья.

Чума еще где-то там, на Средней Волге, а Лермонтов уже встретил ее строчкой почти шекспировской чеканки:

Чума явилась в наш предел...

Но это все происходит внутри. На поверхности — бурное, всем видимое увлечение Катенькой Сушковой.

Петербургская шеголиха, слегка презиращая московских подруг за «ужасную безвкусицу» их нарядов, играет в «львицу». Лермонтов охотно подыгрывает ей, благо в руках у него прекрасный сценарий: «Записки» Т. Мура о Байроне, где так подробно и так трогательно описана безнадежная любовь 16-летнего поэта к 18-летней мисс Мери Чаворт. («...Увлечение Байроном в летние месяцы 1830 г. как бы наложилось на юношескую влюбленность Лермонтова в Сушкову и окрасило собою весь цикл посвященных ей стихов. Это явление гораздо сложнее, нежели просто литературное подражание; это попытка самопознания и целенаправленного формирования собственной личности», А. Глассе.) Лермонтов Сушкову видит насквозь — ее эгоизм, ее самовлюбленную сосредоточенность на собственной персоне, сверхчувствительность ее самолюбия. Он-то видит, а она — нет; она-то уверена: шестнадцатилетний «косолапый мальчик» в детской курточке увлечен до ослепления и блеском ее чудных глаз, и совершенно незаурядной красотой и обилием смоляных волос! Волосы — предмет особой гордости мисс Блэк-айз, и она не упускает случая обратить на них всеобщее внимание.

«За ужином... — вспоминает Екатерина Александровна, — побилась об заклад с добрым старичком... что у меня нет ни одного фальшивого волоска на голове, и вот после ужина все барышни в надежде уличить меня принялись трепать мои волосы, дергать, мучить, колоть, я со спартанской твердостью вынесла всю эту пытку и предстала обществу покрытая с головы до ног моей чудной косой. Все ахали, все удивлялись, один Мишель пробормотал сквозь зубы: „Какое кокетство“».

Ей бы задуматься о своем триумфе, вызвавшем брезгливую реплику

влюбленного в нее подростка, — куда там! Катишь Сушкова напрочь лишена способности видеть себя со стороны; умение перепроверить самооценку мнением посторонних — не входит в число ее добродетелей...

Как я уже упоминала, 1 сентября 1830 года в правлении Московского университета слушалось донесение членов приемной комиссии, экзаменовавшей абитуриента Лермонтова в науках, требуемых от вступающих в университет.

Донесение было благоприятным, решение комиссии — положительным, Елизавета Алексеевна торопила портного, добиваясь от мастера, чтобы студенческий сюртук — этакое безобразие с малиновым воротником — сидел на внуке как можно приглядней; Мишель с утра до вечера торчал у Верещагиной, засыпая ее петербургскую подругу мадригалами в байроническом духе. Катишь со дня на день должна была отбыть в Петербург, близость разлуки подливала огня и чернила, словом, все шло так, как и следовало идти... А в один из начальных дней сентября, натянув на себя первое свое не партикулярное платье (синее «форменное сукно», «две вышитые золотом петлицы»), с головой, занятой Байроном, стихами и самоуверенной петербуржанкой, — какая прекрасная натура для изучения заурядной женщины! — Лермонтов отправился на университетскую лекцию...

По счастливой случайности, один из «юридических» студентов, отличавшийся крайне бережливой памятью на все, что касалось его юности, оставил описание помещения, занимаемого в 1830 году нравственно-политическим отделением. Это дает нам возможность, следуя за одетым в синее с малиновым слегка сутулым молодым человеком, войти вместе с ним в аудиторию и увидеть ее почти его глазами:

«Аудитория политического факультета, помещавшегося тогда во втором этаже старого здания, направо от парадного входа с заднего двора», имела «три комнаты, окнами на задний двор: переднюю, зал или собственно аудиторию, а за ней еще комнату для прогулки студентов... В аудитории было три отделения скамеек... по шести или по семи в каждом отделении, устроенных амфитеатром, так что на последние скамьи едва с трудом можно было взобраться».

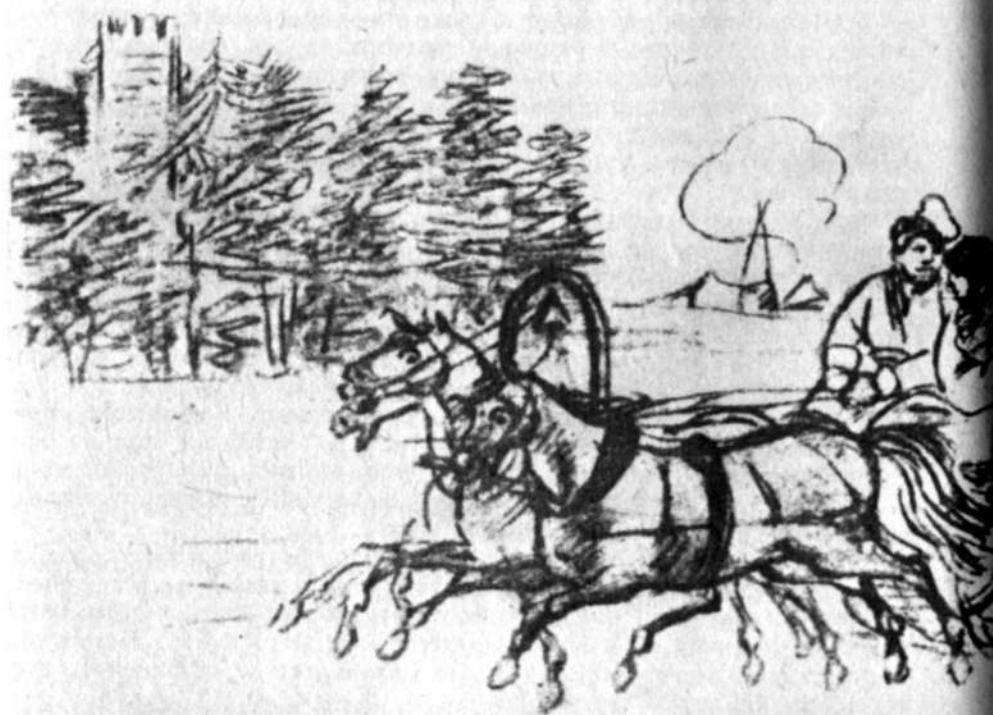
Судя по воспоминаниям другого однокашника Лермонтова, Вистенгофа, Михаил Юрьевич с самого начала облюбовал именно эти последние скамьи, — куда с таким трудом можно было взобраться. Аудитория никогда не была набита до отказа, галерка пустовала, то есть принадлежала ему одному...

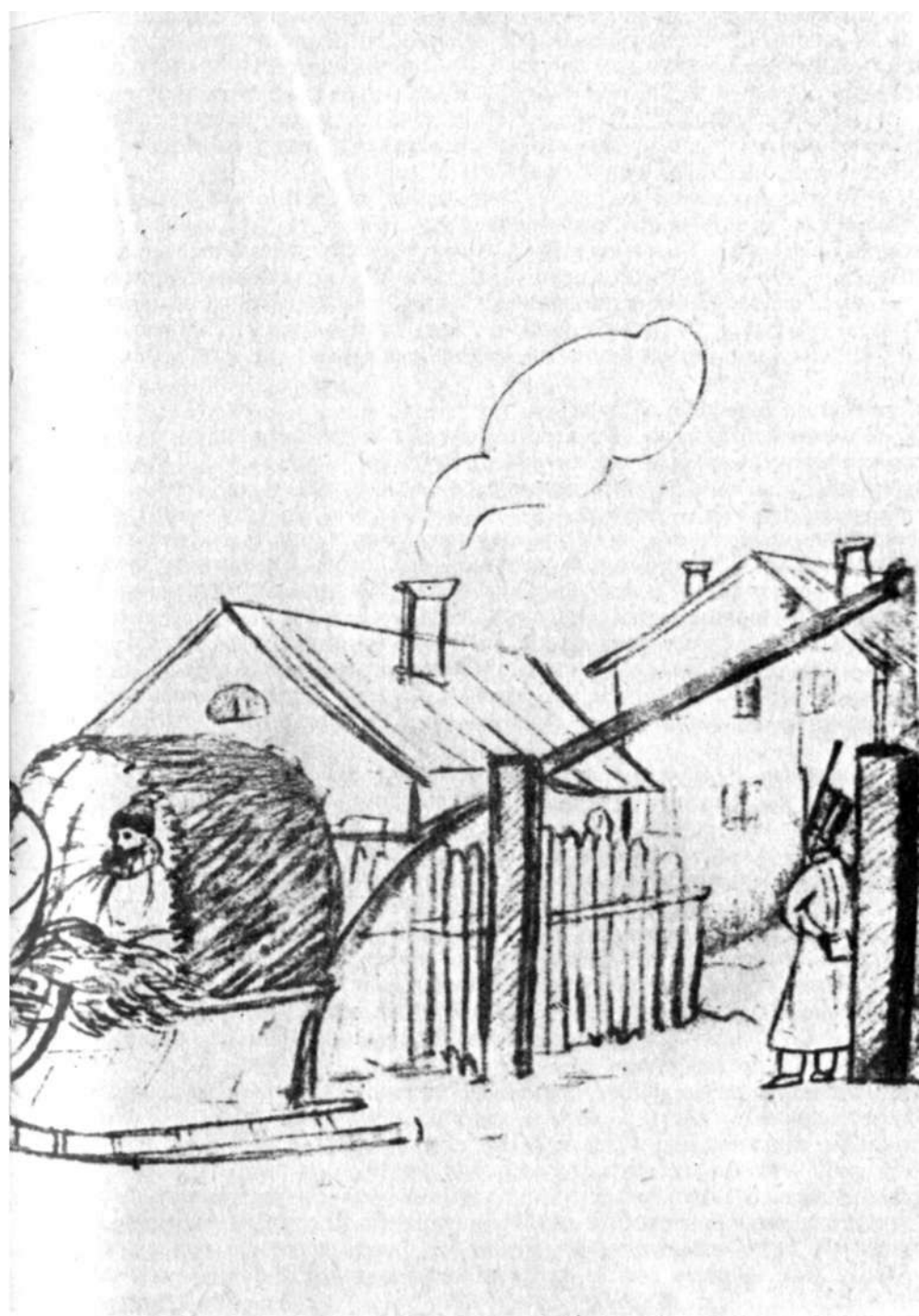
Впрочем, кроме помещения да лиц двух-трех профессоров в сентябре 1830 года Лермонтов толком ничего и рассмотреть не успел. На лекциях один из студентов политического отделения, того самого, куда решением высочайшей комиссии зачислен Михайла Лермонтов, почувствовал дурноту. Его тут же отправили в университетскую больницу. На другой день он умер.

Пораженные внезапною заболеванием и скоротечностью смерти, товарищи кинулись в морг — посмотреть тело, и тут впервые увидели воочию лик холеры морбус:

«Он исхудал, как в длинную болезнь, глаза ввалились, черты были искажены» (А. Герцен).







Началась паника: холера пришла в город раньше, чем жители были официально предупреждены о ее приходе. Слухи ходили и прежде, но болезнь двигалась капризно, то останавливаясь, то перескакивая, и в какой-то момент благодушным москвичам стало казаться, что беда обойдет, помилует «святой город». Холера несла с собою равенство — не отличая знатных от безродных, нищих от богачей...

Один из очевидцев вспоминает:

«Только и слышались слова: мор, зараза, эпидемия, холера морбус (последнее *морбус* выговаривалось почему-то с особенным ужасом), только и толковали о мерах против странной гостьи, начались окуривания хлоровую известью, везде появились деготь, чеснок, перец в самых разнообразных видах; все ходили как потерянные и все, кому только возможно было, выбирались из Москвы... Начальство решило распустить учебные заведения, а также рабочий народ...»

И начался великий исход.

Уже известный нам Головачев, соученик Лермонтова по пансиону, на всю жизнь запомнил это «бегство от смерти»:

«Мы... выехали из Москвы посреди многочисленных повозок и нагруженных телег, тянувшихся рядом с нами. За заставой меня поразила невиданная мною прежде масса пешеходов, двигавшихся друг за другом по насыпи по обе стороны дороги с мешками, кульками и сапогами в руках. Все это были мастеровые, распущенные хозяевами впредь до прекращения холеры, то есть на неопределенное время. Двигался весь этот люд в глубоком молчании... Тетушка уверяла нас, что шествие напоминало Двенадцатый Год, но было еще мрачнее; тогда хлопотали, суетились, а тут все двигались как обреченные на смерть, хотя и в том, и в другом случае спасались от смерти...»

Елизавета Алексеевна из Москвы не уехала. На первый взгляд, это кажется странным, ведь «все, кому только возможно было, выбирались из Москвы».

Выбраться Арсеньевой было, конечно, нелегко: своего экипажа нет, извозчики выезжать соглашались неохотно и цены заламывали несусветные. Но средства у Елизаветы Алексеевны имелись, случай был крайний, а в крайности Арсеньева хоть и не переставала считать деньги, но и тратила их, не жалея, да и Середниково — под боком. Может быть, просто не успела или испугалась кордонов, которыми, вскоре после официального объявления о заразе, окружили Москву? Вряд ли — в опасности Столыпины решали скоро и действовали расторопно.

Вероятнее всего, со свойственным ей здравомыслием рассудила: Середниково — монастырь хоть и хороший, да чужой; туда со своим уставом не сунешься, а здесь, в теремке арбатском, все в ее руках: и кухня, и место отхожее, и грязь у девок под ногтями. Прикинула, поразмыслила, взвесила все «за» и «против» и распорядилась: ворота затворить, ставни закрыть и никого — ни под каким видом — не принимать. И дворовым из дома строго-настрога выходить запретила. А яму выгребную и место отхожее хлоровую известью два раза на

день заливать приказала, посуду же со щелоком мыть и в кипятке варить; хлеб не из булочной брать, а самим ставить.

Прежде за провизией повар ездил, но повару в нынешних серьезных обстоятельствах Арсеньева не доверяла. Вызвала к себе, в кабинет, дядьку Мишеля, Соколова Андрея; ему «казну» вручила, ему одному и право дала: раз в неделю покидал Соколов осажденную чумой крепость, на рынок, не входя в контакт с извозчиками, пешком шел за куриями живыми... Кроме супа с позапрошлогодними, из Тархан еще привезенными, сухими грибами, да курицы жареной, да хлеба из тарханской же, дохолодной муки, — никто в течение трех месяцев ничего в рот взять не смел. Ни молока, ни сметаны, ни огурцов, ни яблочка.

Полы в людской и на кухне и те с хлоркой мыли. От чесночного духа в голове дым стоял. Мишель попробовал взбунтоваться, да бабушка так посмотрела...

Впрочем, «холерную диету» он переносил легко; даже на пользу пошло: похудел, вытянулся. Единственное, в чем покорный внук позволил себе нарушить введенный милой бабушкой режим, — это ставни; в его мезонине они — единственные в доме — день и ночь были открыты. Елизавета Алексеевна, поворчав вначале, махнула рукой: в то, что холера передается через зараженный воздух, она напрочь не верила и ставни держала на запоре не от заразы — от ужаса; смертные фуры разъезжали по пустынной Москве, по всем улицам и переулкам ее... Всех хватало: и больных, и пьяных. Стук фур, в ночи особенно, гулок был, ставни утишали его.

«Ведомости» приходили обкуренные. Прикрываясь тонким платком (еще в девичестве собственноручно вышитым: на белом батисте — герб родовой, стольпинский), Елизавета Алексеевна внимательно изучала сведения о заразе. Все смешалось: и вздор, и дельное! Среди прочих запрещений и такое было: «Запрещается предаваться гневу, страху, утомлению, унынию и беспокойству духа». Елизавета Алексеевна усмехнулась, но отложила листок. Взяла с комода лечебник, залистанный за тридцать-то лет, из Тархан, в числе самых нужных вещей, захваченный. Господина Бухана творение, «славнейшего в нынешнем веке врача». И в шкатулке среди деревенских рецептов порылась. Девку крикнула, приказала из кладовки узелок с травами нести.

Вечером весь дом успокоительный чай пил. И внука заставила.

Девочкам утром добудиться нельзя было, а на Мишеньку не подействовало — опять до рассвета свечи жег...

Впрочем, ни уныния, ни утомления и тем паче страха Елизавета Алексеевна за Мишенькой не примечала. Наоборот: весел, возбужден и выглядел довольным тем, что судьба подарила ему «отпуск по случаю холеры морбус»! Освобожденный от обязательных занятий, он наконец-то, не зная, что «значит отдыхать», сочинил свое: первую настоящую драму «Люди и страсти», первый опыт «творческого постижения жизни» и «субъективно-биографического реализма».

Загнанный карантинном на верхотуру арбатского домика, Лермонтов мужественно сражался с «мыслью», не желающей «выражать себя» «холодной буквой».

...Холерные фуры оставляли на вымытой дождем брусчатке длинные полосы переулочной грязи, врачи, вызванные к занемогшим, не подходили к кровати, стоя в дверях, указания давали. Город казался пустынным, покинутым «населенцами». Однако пустота была лишь маскировкой: Москва сражалась с холерой. Сраженьем командовал сам губернатор, князь Дмитрий Васильевич Голицын. Человек образованный и благородный, но, как выражались в ту пору, «слабого характера», он вдруг ожил. И откуда в этом сибарите энергия взялась?

Московский главнокомандующий холерой оказался чуть ли не единственным русским администратором, не поддавшимся панике. Не ограничиваясь официальными мерами, Голицын сумел поднять на борьбу с заразой «московское общество». «Составился комитет из почтенных жителей — богатых помещиков и купцов. Каждый взял себе одну из частей Москвы. В несколько дней было открыто двадцать больниц, они не стоили правительству ни копейки, все было сделано на пожертвованные деньги. Купцы давали даром все, что нужно для больниц, — одеяла, белье, теплую одежду... Молодые люди шли даром в смотрители больниц, чтоб приношения не были наполовину украдены служащими. Университет не отстал. Весь медицинский факультет, студенты и лекаря... привели себя в распоряжение холерного комитета; их разослали по больницам, и они остались там безвыходно до конца заразы. Три или четыре месяца эта чудная молодежь прожила в больницах ординаторами, фельдшерами, сиделками, письмоводителями — и все это без всякого вознаграждения и притом в то время, когда так преувеличенно боялись заразы» (А. Герцен).

К концу декабря, вместе с морозами, холера стала ослабевать. Однако последний холерный бюллетень («Ведомости о состоянии города Москвы») вышел только 6 марта 1831 года.

Но Москва не стала дожидаться официального окончания мора. Соскучившись по жизни, устав от диеты, накинута на запрещенные во время эпидемии лакомства. В Охотном ряду, как и прежде, предприимчивые купцы принялись торговать и вишней владимирского засолу, и огурцами нежинскими. Появился и заморский товар: белый виноград в сафьяновых бочонках, каштаны свежие, сельди голландские, «килька с духами».

Холерные бюллетени еще продолжают сообщать, сколько человек занемогло холерой, сколько выздоровело, сколько еще перемогают хворь, а Москва живет вовсю. Ей уже и цветы понадобились! Есть спрос, есть и предложение. В оранжерее на Тверской, в Леонтьевском переулке все, кому вздумается, могут приобрести: и гиацинты разных колеров, и «нарцисы», и розаны английские, и левкой, и лакфиоли, и даже померанцевые деревья в цвету, — все это «в полном виде и по сходной цене».

Открылись и кухмистерские. А в кухмистерских: духовая солонина, разложенная по кадочкам в своем рассоле, «с труфелем и без труфелю», и слоеные паштеты с фаршированными рябчиками, и крепкий бульон из разной дичи, и зайцы паровые, томленные, в сметане со сливочным маслом и «духами», и поросята такого же приготовления...

В январе 1831 года возобновились занятия в университете.

В «Московских губернских ведомостях», в номере за 10 января, помещено следующее объявление:

«Императорский Московский университет, с разрешения начальства, чрез сие объявляет, что как в Университете, так и в подведомых ему московских учебных заведениях, имеет открыться ученье с 15 января сего года».

Далее следовало обозрение лекций за первый, прерванный холерой, семестр.

Обозрение это имеет смысл процитировать, ибо оно дает представление о курсах, какие должен был прослушать Михаил Юрьевич Лермонтов, если бы примерно через полтора года, в середине 1832-го по собственному желанию, не покинул стены славного заведения.

Петр Терновский — Догматическое богословие; Лев Цветаев — Римское гражданское право; Николай Сандунов — Российское практическое производство дел гражданских и уголовных; Семен Смирнов — История Российского законодательства и «разные роды дел и порядок, коим проводятся дела гражданские и уголовные», а также «порядок судопроизводства в губерниях и областях, на особых правах состоящих»; Измаил Щедринский — Статистика государства Российского и других знатнейших европейских государств; Михаил Погодин — История средних веков и История Царства Польского; Дмитрий Васильевский — Политическое право и дипломатия; Васильев — Политическая экономия; Малов — Гражданское право и История римского законодательства.

Уже простой перечень дисциплин, какие предстояло усвоить одержимому идеей самоусовершенствования юноше, наводит на мысль, что он несколько ошибся в своем выборе. Но если бы дело было только в этом! Даже не нужная Лермонтову юриспруденция, как свидетельствуют воспоминания Якова Ивановича Костенецкого, преподносилась студентам на крайне низком уровне. Это отлично сознает даже провинциал Костенецкий. Каково же было воспитаннику пансиона, привыкшему заниматься по индивидуальным программам да еще и не ставившему перед собой цели стать профессиональным юристом!

Впрочем, существует, видимо, какая-то несовместимость между юриспруденцией и литературной одаренностью: юридический факультет не смогли окончить, кроме Лермонтова, и Лев Толстой, и А. Н. Островский — все трое больше двух лет пытки юридическими абстракциями не выдержали...

По свидетельству Костенецкого, Петр Терновский, преподававший, кроме догматического богословия, еще и церковную историю, был человек кроткий и ничего сверх того, чтобы студенты внимательно слушали и отвечали по «лекциям», не требовал. Цветаев излагал Римское право по своей книжке, только что изданной. Книжечка была тоненькой, профессор «упирал» на термины, гордясь тем, что многие из них были внедрены в русскую юриспруденцию его стараниями; читал же кратко, сухо, а главное — ограниченно, то есть «без всякого философского разбора прав человека» и «критического

исследования». Сандунов, уже очень пожилой человек, часто болел, редко бывал на лекциях, в результате чего курс его — Российское практическое судопроизводство — студенты знали плохо, хотя в обществе Сандунов был известен как отличный юрист, знаток своего предмета. Возможно, он даже вполне понимал главные недостатки тогдашнего судопроизводства, но, будучи ординарным профессором императорского университета, обязан был почитать закон святыней и не считал возможным выражать перед студентами личное о нем свое мнение.

Кроме Сандунова, Русское гражданское право (теорию) читал С. Смирнов, но делал это совершенно формально, бубнил, не отрываясь от собственного сочинения — огромной (in quarto) книги, давным-давно им составленной. В судопроизводстве (практическом, не теоретическом), по слухам, он, как и Сандунов, был «дока», в остальном же полный невежда...

Остальные были еще хуже: политэконом Васильев — «какое-то злобное существо... Он читал лекции очень медленно, почти диктовал их и требовал, чтобы студенты записывали и потом учили их наизусть, так что как бы кто ни хорошо знал его лекции, но если на экзаменах излагал их своими словами, то получал низкие баллы».

Статистик (Щедринский), напротив, так хорошо создавал свое невежество в Статистике, что был уверен: никакие усилия не заставят студентов слушать его лекции...

В этой ординарной массе — ординарных и экстраординарных профессоров — Яков Костенецкий выделяет двоих: Василевского, преподавателя политического права и дипломатии, и Погодина. Но Василевский, при всей своей оригинальности, был плохим педагогом и никудышным лектором. О Михаиле Погодине Яков Костенецкий отзывался уважительно: «Он первый дал нам понятие о критической стороне истории, о существовании летописей и других исторических источников, и разбирал, и объяснял с поразительной для нас ясностью».

Но это — мнение Якова Костенецкого, наивного юноши из глубокой малороссийской провинции. Вряд ли оно совпадало с мнением Михаила Юрьевича; Лермонтова наверняка не устраивали растянутые на целый учебный год импровизации Погодина на тему: «Происхождение варягов на Руси». Но дело даже не в том, что тема лекций была слишком уж далека от современности, от тех вопросов, какие трудная русская современность задавала русской истории, но еще и в подходе Погодина к истории. Вот что пишет по этому поводу В. Ключевский:

«Погодин был профессор из крестьян... Среда или природа несомненно наделила его историческим чутьем... Тонкое осязание помогло Погодину ощупывать узлы в нити нашей исторической жизни; но он не умел их распутывать... Деятельность, неправильно направленная, парализует самое себя. Популярный профессор — без курса. Деятельный издатель — без публики. Публицист — без политической программы. Драматург и соперник Пушкина — без искры поэтического дара. Составитель огромной коллекции рукописей, не заглянувший хорошенько ни в одну из них».

Наибольший интерес для Лермонтова, и не только для него одного, представляла обещанная «Московскими ведомостями» История Царства Польского: в ноябре 1830-го в Польше началось восстание, газеты были переполнены сведениями самыми противоречивыми; погодинский курс мог привлечь самый живой интерес, но курс, и именно ввиду его актуальности, отменили...

Пришлось изучать «польский вопрос» по «Московским ведомостям». Это было нелегко.

Вот характерный образец (в номере от 28 января 1831 года).

Положение в Польше:

Страх и смятение после отречения Хлопницкого: «Кажется, что все идет быстрым шагом к совершенному безначалию. Честные граждане страшатся новых неистовств... В сохранении личной безопасности надеются только на народную стражу. Многие особы желали бы выехать из Варшавы, но не могут получить паспортов. Помещики разорены поборами всякого рода... Ценность сделанных донине поборов почитается равной сумме трехгодичных налогов. Для утишения ропота и устранения неудовольствия употребляются угрозы, насилия и прочие средства ужаса... Вот каким образом преступные зачинщики Польской революции хотят восстановить свое отечество и обезопасить его благоденствие!»

Еще через несколько номеров к сведению публики (читай — в назидание!) сообщается: «Гнусный поступок четырех офицеров Самогитского гренадерского полку, умертвивших начальника своего, капитана Чалова, и перешедших к польским мятежникам. В числе их находился и прапорщик Сузин. Ныне сообщается по Высочайшей воле во всеобщее известие похвальный подвиг двоюродного брата его, отставного подпоручика Сузина. Сей офицер, уроженец Гродненской губернии, служил в том же полку и по болезни был уволен от службы в январе минувшего года. С чувством крайнего прискорбия и справедливого негодования он узнал о злодейском поступке своего родственника и немедленно подал просьбу об определении его в действующую армию, дабы ревностною службою изгладить пятно, фамилии их нанесенное, и кровию своей запечатлеть верность свою Престолу и Отечеству, искупить имя свое от всеобщего презрения. Государь император, снисходя на таковое прошение Сузина, Высочайше повелел определить его в третий егерский полк». 27 января 1831 года «Ведомости» опубликовали Манифест, составленный по правилам высшей патетики:

«Повелеваем нашим верным войскам идти на мятежников. Россияне! в сей важный час... мы извлекаем меч за честь и целость Державы нашей! Да благословит... бог оружие наше...»

Герцен и молодые люди его круга приняли восстание в Польше восторженно:

«Это уже недалеко, это дома, и мы смотрели друг на друга со слезами на глазах... Мы радовались каждому поражению Дибича, не верили неудачам поляков, и я тотчас прибавил в свой иконостас портрет Фаддея Костюшки».

Правда, Герцен и его друзья — «радикалы», однако у нас есть доказательства, что и в массе своей московские университетские студенты отнеслись к польским событиям с сочувствием и любопытством, подогре-



тым запрещением погодинского курса. В воспоминания, написанные много лет спустя, внесены, разумеется, определенного рода коррективы, но тогдашнее состояние, судя по всему, описано правдоподобно.

Как же отнесся Михаил Лермонтов к этой уже почти «домашней», уже внутри Российской империи «взорвавшейся бомбе»?

Неужели оказался «правее» массы студентов, руководствовавшихся состраданием к угнетенным? Вряд ли. Тем более что в столыпинском кругу не было характерных для многих помещиков западных губерний антипольских настроений...

Среди стихотворений Лермонтова, созданных в 1830 году, в год революций, существует отрывок, который исследователи никак не могут, не прибегая к той или иной форме допущения, истолковать. Вот эти стихи.

Опять вы, гордые, восстали  
За независимость страны,  
И снова перед вами пали  
Самодержавия сыны,  
И снова знамя вольности кровавой  
Явился, победы мрачный знак,  
Оно любимо было прежде славой:  
Суворов был его сильнейший враг.

По содержанию фрагмент вернее всего отнести именно к польским событиям, но этому противоречит дата: восстание в Польше началось в ноябре, а стихи написаны на листке, имеющем авторскую помету: 10 июля (1830). Мнением большинства исследователей отрывок трактуется как отклик на революцию во Франции. Однако и эта версия противоречит реалиям текста. Первые известия о парижском возмущении дошли до Москвы в августе, и возмущение началось 16—18, а не 10 июля. Неясно также, какое отношение имеют к событиям во Франции «самодержавия сыны», да и Суворов вряд ли может быть назван злейшим врагом французской «вольности». К тому же, на это событие Лермонтов уже откликнулся — памфлетом на Карла X,

Короче: если проставленное рукой автора число — 10 июля — не является датой французской революции, то почему бы не отнести стихи к Варшавскому восстанию, ведь в их содержании нет ни одного момента, который противоречил бы такому предположению? Лермонтов мог записать текст на оставшейся чистой странице — под датой задуманного, но не состоявшегося стихотворения. Месяц июль 1830 года был месяцем его остро литературной влюбленности в мадмуазель Сушкову, и каждый день того июля, в Середникове, куда обладательница фантастических волос приезжала ежедневно, был поводом к еще и еще одному посланию... Так почему же не предположить, что в этот день между молодыми людьми произошло нечто, что Лермонтов отметил, со свойственной ему пунктуальностью, — датой. А стихи не написались, поскольку вполне вероятно, что именно в этот день в Середникове стало известно: в редакции «Московских ведомостей» уже получено официальное сообщение о смерти Николая Алексеевича Столыпина...

Можно привести и еще одно гипотетическое объяснение не отвечающей содержанию даты: Лермонтов сознательно «спрятал» новые стихи в старой тетради и, может быть, в то самое время, когда после маловской истории, по свидетельству Николая Поливанова, ожидал «строгого наказания», а значит, по тогдашнему порядку, и полицейского осмотра бумаг.

Маловская история общеизвестна в интерпретации Герцена. Но существует и другой вариант — уже знакомого нам Я. Костенецкого. По художественной выразительности, остроте характеристик текст Костенецкого, безусловно, уступает «Былому и думам», но зато превосходит его точностью в деталях и оттенках. И это понятно: для Герцена и Маловское, и Сунгуровское дела — преданья юности далекой; для Костенецкого — самое яркое событие жизни, в силу этого и запомнившееся подробнее, и сохранявшееся в памяти с большой тщательностью.

Поэтому есть смысл перечитать общеизвестный факт по Костенецкому.

Экстраординарный профессор, Михаил Яковлевич Малов, читал на политическом отделении Теорию гражданского и уголовного права: курс «был смесью отрывков из разных иностранных теоретиков», то есть «чистой чепухой без системы и идеи».

На лекциях его, однако, было довольно тихо: Малов побаивался студентов, избегал делать им замечания, и они спокойно занимались каждый своим делом.

И вдруг тихий Малов, после того, как его перевели из экстраординарных — в ординарные, резко изменил стиль поведения: он, как говорится, «возгордился», из тишайшего сделался «самовластным». Аудитория, естественно, возмутилась и решила, сговорившись, проучить «зазнайку».

Спокойно, по обычаю, выслушав более часа «чистой чепухи», минут за десять до звонка выбранные лица в разных концах аудитории стали демонстративно громко шаркать ногами. Малов изумился, попробовал «воздействовать» — не помогло: шарканье стало всеобщим, и профессор... струсил, смалодушничал, стал просить вошедших в раж студентов «пожалеть» его! Несмотря на азарт, массы устыдились — уж очень жалок был новоиспеченный «ординарный профессор»! Но Малов не оценил великодушия. Воспользовавшись наступившей тишиной, стал насмешничать: зачем, де, перестали, продолжайте! Этого разгоряченные молодые люди уже не смогли вынести, повскакали с мест, затопали, стали колотить чем попало о спинки передних скамеек — словом, устроилась, и как-то сама собой, настоящая «демонстрация». Малов выбежал из аудитории под яростные крики: «Вон! Вон! Вон!» Кто-то даже запустил ему вслед фуражку...

На этом не кончилось. Самые отчаянные кинулись на улицу и продолжали преследовать не успевшего натянуть на себя шубу профессора с гиканьем, словно зайца... Гнались долго, почти до Тверской, и только тут, утомившись и «спустив пары», отстали... А успокоившись, испугались, сообразив, чем это может грозить, и не нашли ничего лучшего, как, составив «причинную и объяснительную записку», отправить ее к попечителю университета князю Сергею Михайловичу Голицыну. Записка была глупостью, и опасной, ибо свидетельствовала о действии «скопом», что по законам того времени квалифицировалось как преступление. «Маловцев» спас Малов, вернее, трусость, помноженная на глупость: перепугавшись, он дал показание, что его освистали, когда он читал «о монархической власти в России». Это чистое вранье, уличить в котором почтенного профессора было до смешного легко, так как «административный кондукт» — специальный журнал, где точно и загодя указывалась тема каждой лекции, фиксировал: читалось нечто о «брачных союзах». Кроме того,

показание Малов направил не университетскому начальству, а через его «голову» — шефу жандармов. Скандал в результате этого стал тотчас известен государю, и Николай потребовал от Сергея Михайловича Голицына объяснения. И попечитель университетский, и начальство, недовольное глупым и подлым поступком Малова, да еще и обнаружив из «журнала», что донос был ложным, решили использовать уже упомянутое покаянное письмо студентов.

Короче, Николаю донесли, что студенты действительно «произвели шум» на лекции господина Малова, но что политической манифестации не было, а было лишь недовольство — такими-то и такими-то качествами данного преподавателя (качества Малова были расписаны подробно и искусно, с учетом брезгливостей высочайшего арбитра).

Николай отреагировал на донесение по-николаевски: Малова удалить, зачинщиков наказать. Малова с облегчением удалили, но прежде попросили назвать «зачинщиков обиды». И тут вконец растерявшийся Михаил Яковлевич сделал третью глупость: объявил, что дело затеяли «лентяи», а так как все ленивцы были у него на заметке, он и перечислил их поименно. Начались допросы и расследования, а в результате выяснилось: ленивцев к делу не притянешь по простой, но весьма уважительной причине: они не присутствовали на скандальной лекции. Но приказ был, и его надо было выполнять: стали вызывать всех подряд. Судя по всему, вызывали и Лермонтова. Правда, лекция была не на его курсе, а он держался особняком, не входя ни в одно товарищество. Костенецкий, один из главных зачинщиков истории, относился к этому «аристократу» недоброжелательно и вряд ли стал посвящать неприятного ему человека в подробности заранее разработанного плана антимальовской «революции». Но так как вызывали всех и допрашивали всех, значит, допрашивали и его. Видимо, в один из этих дней он и вписал в альбом Н. Поливанова тревожные стихи:

Послушай! Вспомни обо мне,  
Когда законом осужденный...

Маловский шум произошел 16 марта 1831 года; стихи помечены 23 марта.

Допросы (студенты «запирались», не называя никого) шли несколько дней, хотели пойти виниться настоящие инициаторы истории, но их не пустили: это были бедные, без средств и связей молодые люди, расправиться с ними ничего не стоило. Наконец было принято «соломоново решение»: пусть возьмут на себя вину добровольцы — из тех, за которыми и знатная родня, и связи.

Вызвались шестеро, среди них Андрей Оболенский, сын Калужского губернатора, Михаил Розенгейм, близко знакомый с князем Сергеем Голицыным, и Александр Герцен, принадлежащий (по отцу И. Яковлеву) к высшим аристократическим кругам Москвы. (В «Былом и думах» А. Герцен писал: «В России люди, подвергнувшиеся влиянию... мощного западного веяния, не вышли историческими людьми, а людьми оригинальными. Иностранцы дома, иностранцы в чужих краях, праздные зрители, испорченные для России западными предрассудками, а для Запада — русскими привычками, они представляли какую-то умную ненужность и терялись в искусственной жизни и в нестерпимом эгоизме. К этому кругу принадлежал в Москве на первом плане блестящий умом и богатством русский

вельможа, европейский *grand Seigneur* \* и татарский князь Н. Б. Юсупов. Около него была целая плеяда седых волокит и *esprits forts* \*\*, всех этих Масальских, Санти и *tutti quanti* \*\*\*... Старый скептик и эпикуреец Юсупов, приятель Вольтера и Бомарше, Дидро и Касти, был одарен действительно артистическим вкусом. Чтоб в этом убедиться, достаточно раз побывать в Архангельском... Он пышно потухал восьмидесяти лет, окруженный... рисованной и живой красотой. В его загородном доме беседовал с ним Пушкин, посвятивший ему чудное послание, и рисовал Гонзага, которому Юсупов посвятил свой театр. Мой отец по воспитанию, по гвардейской службе и связям принадлежал к этому же кругу...»)

Родня и связи службу свою сослужили: зачинщики — и настоящие, и ненастоящие — отделались трехдневным карцером, в который товарищи «наказанных», пользуясь пристрастием сторожа к «горькому зелью», свободно приносили сыр и дичь, вино и ликеры, паштеты и сигары. Словом, вместо карцера вышел трехдневный «лукуллов пир»: днем спали, пировали ночью, и не вшестером, а большой компанией; после полуночи сторож, уже хмельной в доску, пропускал в карцер всех желающих.

Так и кончилось ничем, если не считать, что «устроители обиды» остались в моральном выигрыше: «Мы Малова прогнали до университетских ворот, а Николай его выгнал за ворота» (А. Герцен).

А тут и сессия началась, осложненная неудовольствием студентов: по случаю холерного отпуска старшекурсникам набавили год. Но к Лермонтову, как и ко всем первокурсникам, это не относилось. Он с отличием сдал все, что положено было сдать, и 18 мая (по старому стилю) благополучно уволился в законный отпуск, предоставив господину ректору снабдить его надлежащими для проезда билетами.

Впрочем, дорога оказалась недалей, и ректорские билеты не понадобились. Началось лето, а с летом — новая любовь. Лермонтов увлекся милой и умной девушкой, дочерью московского драматурга Ф. Иванова и, видимо, настолько пришелся по вкусу ее домашним, что получил приглашение погостить несколько дней в их загородном поместье (недалеко от Москвы, на берегу Клязьмы). Кроме Наташи, у Ивановых была еще одна дочь — Дарья, и их овдовевшая мать была крайне заинтересована в том, чтобы девицы не сучали.

Знаком с сестрами Ивановыми Мишель был, видимо, с весны 1830-го, но затем явилась мисс Блэк-айз, Наташу увезли «на Клязьму», Лермонтова — в Средниково, туда же скоро перекочевала и петербургская очаровательница: имение ее родственников было расположено всего в двух верстах от столыпинских хором, естественно, что обожавшая «общество» и «толпу» Екатерина Александровна и дневала и ночевала у Столыпиных.

С отъездом Черноокой в Петербург роман, спровоцированный ее кокетством и чтением Байрона, «рассосался»; потом началась холера, потом экзамены, и, наконец, сердце освободилось от прозаических забот, чтобы позволить себе влюбиться и, видимо, в самом начале знакомства — с некоторой надеждой на взаимность. Во всяком случае, Наташа Загоскина,

---

\* Большой барин (*фр.*).

\*\* Вольнодумцев (*фр.*).

\*\*\* Всяких других (*ит.*).

героиня драмы «Странный человек», списанная, по общему мнению, с Натальи Ивановой, говорит Арбенину:

«Я сама вам теперь признаюсь, что вы, ваш характер, ваш ум сделали на меня сначала довольно сильное впечатление...»

Надежда оказалась иллюзорной: Наталье Федоровне Ивановой летом 1831-го исполнилось 18 лет, следовательно, была она «девицей на выданье» — таким московским розаном, который ее маменьке не терпелось сбыть в хорошие руки, «в полном виде и по сходной цене». С этой иллюзией Лермонтов расставался мучительно, куда мучительней, чем с декоративной несчастной влюбленностью в мадмуазель Сушкову, что не мешало ему с необычайной интенсивностью переплавлять дорого доставшийся сердечный опыт в литературу.

Впрочем, лето, так счастливо и молодо начавшееся, очень скоро осложнилось обстоятельствами, мало способствовавшими предельной сосредоточенности на любовных терзаниях. Отец, Юрий Петрович, тяжело болел. В начале 1831 года он составил духовное завещание сыну... Наряду с необходимой, деловой частью («Долгом почитаю объяснить теперь тебе мою волю» относительно сельца Любашевки, Кропотово тож) духовная содержала отцовский наказ, а также исповедь: чувствуя, что жить осталось недолго, Юрий Петрович решился высказать свое мнение о причинах «жесточайшей распри» между ним и тещей:

«Тебе известны причины моей с тобой разлуки, и я уверен, что ты за сие укорять меня не станешь. Я хотел сохранить тебе состояние, хотя с самою чувствительнейшею для себя потерей, и бог вознаградил меня, ибо вижу, что я в сердце и уважении твоём ко мне ничего не потерял.

Прошу тебя уверить свою бабушку, что я вполне отдавал ей справедливость во всех благоразумных поступках ее в отношении твоего воспитания и образования и, к горести моей, должен был молчать, когда видел противное, чтобы избежать неминуемого неудовольствия.

Скажи ей, что несправедливости ее ко мне я всегда чувствовал очень сильно и сожалел о ее заблуждении, ибо явно она полагала видеть во мне своего врага, тогда как я был готов любить ее всем сердцем, как мать обожаемой мною женщины!..»

И далее:

«Хотя ты еще в юных летах, но я вижу, что ты одарен способностями ума, — не пренебрегай ими и всего более страшись употребить оные на что-либо вредное или бесполезное: это *талант*, в котором ты должен будешь некогда дать отчет богу!.. Ты имеешь, любезнейший сын мой, доброе сердце, — не ожесточай его даже и самую несправедливостью и неблагодарностью людей, ибо с ожесточением ты сам впадешь в презируемые тобою пороки...»

Судя по этому документу и по написанной Лермонтовым в конце предыдущего, 1830 года, драме «Люди и страсти», завещание было не началом, а завершением откровенного — уже не между дитятей и мужчиной, а между двумя взрослыми людьми — разговора.

Документально зафиксированы лишь два приезда Лермонтова-отца в Москву в интересующий нас период: в феврале 1830-го и в апреле 1831-го. Но даже если допустить, что в течение года отец с сыном больше не виделись, у нас нет никаких оснований отвергать вероятность переписки; слова же Юрия Петровича о том, что сын одарен не только способностями ума,

но и талантом, а главное, тревога по поводу его душевного состояния — ожесточения «несправедливостью и неблагодарностью людей», дают возможность предположить, что Лермонтов-старший был в курсе литературных предприятий Лермонтова-младшего, включая драму «Люди и страсти». (Первое среди юношеских произведений поэта, где он дает полную волю ожесточению, и притом, ожесточению, направленному не на абстрактное «мировое зло», а на людей ближайшего — семейного окружения.)

Цель у Юрия Петровича была самая благородная. Мягко, деликатно намекнуть сыну: жизнь слишком сложна, чтобы судить ее с не знающим оттенком максимализмом. Однако объективно он, что называется, подлил масла в огонь: благородство его позиции усиливало в глазах Лермонтова несправедливость «несправедливостей» со стороны милой бабушки! Раньше все было просто: отец виновен, а бабушка права. А оказалось: нет ни правых, ни виноватых, ибо все равно и правы, и виноваты.

По-видимому, несмотря на скрытность внука, Елизавета Алексеевна догадывалась о разладе, что происходил в его душе, и со свойственным ей благоразумием на целое лето увезла Мишеньку в Средникиво. Разлученный самовластием бабушки с предметом своей печали (смертельно больной отец) и предметом своей любви (Наташа Иванова), Лермонтов чувствует себя настолько одиноким, настолько чужим в комфортабельном столыпинском «гнезде», что ему приходит в голову идея: «Написать записки молодого монаха 17 лет. С детства он в монастыре; кроме священных книг не читал. Страстная душа томится. Идеалы...» Чем отличается та оранжерейная жизнь, какую он ведет, от монастырской?! Жизнь, защищенная от жизни прочнее, чем крепостной стеной, заботами бабушки! Впрочем, кроме сугубо личной, у Михаила Юрьевича была, точнее, могла быть и еще одна причина дать себе такое задание.

В 1830 году в Петербурге вышла замечательная книга «Историческое обозрение Сибири». Ее автор Петр Словцов — человек, о котором должны были знать и помнить в семье Столыпиных. Однокашник и друг Сперанского по Главной Александро-Невской семинарии, Словцов, за дерзкую, исполненную яковинских мыслей проповедь, произнесенную в 1793 году в главном соборе Тобольска по случаю бракосочетания Александра Павловича (тогда еще цесаревича), был схвачен как государственный преступник и посажен в тот же застенок, где до него побывали Пугачев, Радищев и Новиков. Затем он был заточен в Валаамов монастырь, «в глухом углу» Ладожского озера. Ему грозили пострижением в монахи. Словцов писал стихи. Вот какое послание отправил он из заточения Сперанскому, с которым в то время был близок Аркадий Алексеевич Столыпин:

Сижу в стенах, где нет полдневного луча,  
Где тает вечная и тусклая свеча,  
Я болен, весь опух и силы ослабели...

Смерть Екатерины II спасла валаамского узника от пострижения. Некоторое время он жил в Петербурге, приобрел в чиновничьем мире известность благодаря необыкновенным способностям. Ему покровительствовал Сперанский; как и Аркадий Столыпин, Петр Словцов входил в число деловых людей, на которых опирался все-

сильный в ту пору канцлер. Однако Александр не забыл дерзкой проповеди, произнесенной тобольским вольнодумцем в день его бракосочетания, и при первом же удобном случае удалил Словцова из столицы — сослал в Сибирь. Вскоре та же участь постигла и М. Сперанского. Сперанский был не только другом и покровителем Аркадия Столыпина. В бытность пензенским губернатором, он вошел в дружеские отношения с родственниками Аркадия Алексеевича, принимал участие в судьбе Лермонтова, бывал в Тарханах.

Из Пензы его перевели в Сибирь, и там он снова встречался со Словцовым. Судя по всему, «Историческое обозрение Сибири» вышло не без его протекции.

Но если даже допустить, что Лермонтов не слышал истории заточения молодого Словцова в Валаамов монастырь, что мало вероятно, он должен был быть в курсе тех сведений, какие приносили путешественники по русскому северу.

«Остров Соловецкий... Монастырь на нем — один из древнейших в России... Замечательно при монастыре отделение, где содержатся государственные преступники. Они ссылаются сюда на бессрочное заточение... Ныне сих несчастных сорок человек — между прочим, два студента Московского университета за участие в заговоре против государя. Недавно один из заключенных, [А. С.] Горожанский, сосланный в монастырь за соучастие с декабристами, в припадке сумасшествия убил сторожа. Каждый из заключенных имеет отдельную коморку, чулан, или вернее, могилу: отсюда он прямо переходит на кладбище. Всякое сообщение между заключенными строго запрещено. У них ни книг, ни орудий для письма. Им не позволяют даже гулять в монастырском дворе. Самоубийство и то им недоступно, так как при них нет ни перочинного ножика, ни гвоздя. И бежать некуда — кругом вода, а зимой непомерная стужа и голодная смерть, прежде чем несчастный добрался бы до противоположного берега».

Приведенная выдержка взята из «Дневника» А. В. Никитенко, с которым Лермонтов познакомился еще до ссылки на Кавказ, то есть в те самые годы, когда был написан второй вариант истории молодого монаха — поэма «Боярин Орша»...

Но все эти бури происходят в глубине его творческой жизни, в тайне от обитателей громадного середниковского дома...

Верный принятому правилу: никого не допускать в свой внутренний мир, — Лермонтов отлично ладит с кузенами и кузинами. А с маленьким сыном Дмитрия Алексеевича, Аркадием (отцом будущего премьер-министра), несмотря на солидную разницу лет (Мишелю — 17, Аркадию — 10), даже подружился — на почве любви к таинственным ночным приключениям: то сов пугают, то попа в мыльне. Для своего десятилетнего «дядюшки» Лермонтов, вспомнив старое уменье, смастерил настоящий рыцарский костюм (себе, разумеется, тоже): и латы, и мечи, и шлем. В таком виде и путешествовали по развалинам за Чертовым мостом...

В популярной биографической литературе о Лермонтове принято писать, что Средниково было чем-то вроде «осиного гнезда», где сына безродного пехотного капитана только терпели из уважения к горестям и сединам его бабушки. Вряд ли это соответствует истине:

слишком дорожила вдова Арсеньева душевным покоем Мишеньки, чтобы подвергать его гордость такому испытанию. Да и сама была достаточно горда и самостоятельна, чтобы позволить себе четыре лета подряд гостить в доме, где ее принимали из милости!

Тут не в сословных или имущественных неравенствах дело, а в разном составе души. Чем плотнее «обжимал» Лермонтова «стольпинский круг», тем болезненней сознавал он себя *иным*: листком, оторванным от иного родословного дерева, тем чаще оказывался в мечтах далеко-далеко — среди округлых холмов и поросших вереском пустошей легендарной прародины — Шотландии. И снаряжая Аркадия для сражения со страшными совами, и натягивая на себя картонные рыцарские доспехи, он еще играл и в свою отдельную поэтическую игру — игру в Шотландию:

Зачем я не птица, не ворон степной,  
Пролетевший сейчас надо мной?  
Зачем не могу в небесах я парить  
И одну лишь свободу любить?

На запад, на запад помчался бы я,  
Где цветут моих предков поля,  
Где в замке пустом, на туманных горах,  
Их забвенный покоится прах.

На древней стене их наследственный щит  
И заржавленный меч их висит.  
Я стал бы летать над мечом и щитом,  
И смахнул бы я пыль с них крылом,

И арфы шотландской струну бы задел,  
И по своду бы звук полетел;  
Внимаем одним, и одним пробужден,  
Как раздался, так смолкнул бы он.

Но тщетны мечты, бесполезны мольбы  
Против строгих законов судьбы.  
Меж мной и холмами отчизны моей  
Расстилаются волны морей.

Последний потомок отважных бойцов  
Увядает средь чуждых снегов;  
Я здесь был рожден, но нездешний душой...  
О! Зачем я не ворон степной?..

Свою родословную по отцу, как утверждает дальний родственник поэта задонский помещик Иван Николаевич Лермонтов, Михаил Юрьевич знал плохо. И это не удивительно: обедневшим Лермонтовым было не до «преданий старины глубокой». Впрочем, и сам Николай Иванович не слишком осведомлен в этом вопросе. Он-то, видимо, и уверил поэта, когда тот присылал к нему за гербовой родовой печатью, чтобы вырезать себе такую же, что русские Лермонтовы происходят от испанского герцога Лермы, который, после «воздвигнутого им гонения на мавров», был изгнан из Испании и поселился на земле шкоттов и пиктов (в Англии), где жил в бедности и «утратил герцогское достоинство».

Но это произошло позднее. В 1831 году поэту была известна, со слов отца, другая, и, как оказалось впоследствии, более правдоподобная версия: фамилия Лермонтовых происходит от шотландских Лермонтов. Ничего конкретного Юрий Петрович сообщить не мог,



ибо не располагал сведениями, касающимися семейной родословной, далее 18 столетия. Его отец, Петр Юрьевич, вскоре после рождения сына, продал родовое имение в Костромской губернии и купил Кропотово, в надежде, что переезд с бедных северных земель в Черноземье поможет ему поправить состояние. Видимо, при переезде, а может, и раньше, Лермонтовы растеряли «архив»; утрачены были даже документы о «благородном происхождении», в результате чего Лермонтову-отцу, чтобы сын мог попасть в пансион, пришлось обращаться в вотчинный комитет за соответствующей — удостоверяющей — справкой.

Выводить свой род от знатного выходца из земель заморских среди русских дворян считалось хорошим тоном; если такового предка не было, его изобретали, отыскивая в фамилии тот или иной иностранный корень. Бестужевы, например, чтобы не отстать от других, выдавали за основателя своей фамилии англичанина Гавриила Беста, якобы въехавшего в Россию в начале XV века...

Однако в случае с Лермонтовым легенда оказалась исторической реальностью.

Вот о чем говорят документы (по книге В. Сторожева «Родоначальник русской ветви Лермонтовых»):

1613 год. Летом этого года стольники князь Дмитрий Черкасский и Михаил Бутурлин отправлены были «промышлять над черкасами и литовскими людьми»; воеводы заняли Вязму и Дорогобуж, подступили 9 августа под Белую и взяли ее 5 сентября, выдержав сильную вылазку «бельских сидельцев» (тех, что были в Белой, то есть осажденных). Среди этих «сидельцев» было не менее 60 человек английских выходцев, шотландцев и ирландцев, состоявших на польской службе; они вышли из Белой «на государево имя» и таким образом очутились в рядах московских войск, которые московское правительство с большой охотой пополняло иноземцами. Среди них было несколько Георгов. Один из них и есть родоначальник Лермонтовых — Георг Лермонт.

Выехал он «на государево имя» в «шляхтичах» и получал кормовых денег по 3 рубля 20 алтын в месяц. В большой схватке под Можайском 29 июля 1618 года, когда отряд боярина Лыкова и Григория Валуева отбил от Можайска королевича Владислава и гетмана Ходкевича с польскими, литовскими и немецкими людьми, Георг Лермонт значился прапорщиком и уже после похода «бил челом» о 12-рублевом жалованье. Осенью 1618 года Лермонт был уже в Москве в отряде стольника и воеводы князя В. С. Куракина и в ночь на 1 октября дрался у Арбатских ворот во время приступа королевича Владислава на Москву. К январю 1619 года Лермонт — поручик в роте въехавших вместе с ним иноземцев. Рота эта называлась «шкотской» (то есть шотландской).

Прожив почти 6 лет в Московском государстве, Лермонт не потерял связи со своими шотландцами, вместе с ними ходил в походы, хлопотал в пользу семей погибших в этих походах товарищей.

Сначала иноземцы жили колониями, ячейками, обучали военному делу русских (поручик Лермонт был знатоком в «рейтарном» деле), и

их деятельность подготовляла почву для будущих военных реформ Петра Великого. Затем начался процесс обрусения.

Сохранилась челобитная поручика Георга Лермонта «с товарищами», в которой он исчисляет их службы, не щадя головы и крови, в интересах московского царя. В ней заключена просьба «поверстать» их поместными и денежными окладами. Это значит, что из кормовых иноземцев, то есть временно-наемных солдат московской армии, они желали превратиться в московских служилых людей — дворян, привязанных к государству землей, а по земле — службою.

Челобитная была уважена, и Георг Лермонт получил землю возле города Галича, под Костромой. Поместье состояло из девяти маленьких, вроде хутора, деревень.

Георг Лермонт погиб под Смоленском в 1634 году, оставив трех сыновей: Вильяма, Андрея и Петра.

Следы первых двух теряются, а у Петра было два сына: Петр и Евтихий. Их отец перешел в православную веру. Это упрочило положение внуков Лермонта, и они закончили свою службу стольничеством. От Евтихия-стольника и ведет свой род Михаил Лермонтов.

Существует мнение, что царь Михаил Романов подарил земли Лермонту. Это неверно. Георг получил их «на поместном праве», т. е. как служилый человек. Получение поместья было не подарком, а правом.

Перед тем как наложить резолюцию на челобитную, поданную шотландцем, Михаил Романов повелел:

«Расспросить всех челобитчиков и переписать, кто из них на Москве хочет остаться и кто похочет вернуться в свою землю». Смысл этого дополнительного замечания таков: поверстают, т. е. наделят поместьями, только тех, которые пожелают остаться в Москве, остальные пусть довольствуются «кормовыми деньгами».

Пожелавших остаться, или, как писали тогда, «быть на Москве», оказалось 47 человек. Их и поверстали «по службе» и «по отечеству» в конце 1619-го или в начале 1620 года.

«Грамота» от 1 августа 1620 года была направлена галицкому воеводе Петру Семеновичу Лутохину. В ней указано, что капитан Яков Шав, поручик Георг Лермонт, прапорщики Ян Фарфор, Ян Вуд «испомещены» в Галиче под Костромой, где находились, кстати, и наследственные земли (вотчина) царей династии Романовых.

Всех этих подробностей, повторяю, Юрий Петрович уже не знал; соответственно не знал и его сын. Отсюда крайне туманный образ прапоины и не менее туманный образ предка: «отважный боец». И вызван был интерес к родословной не реально-житейскими потребностями — дабы утереть нос Столыпиным! В этом-то плане бедным муромским дворянам нечем было гордиться перед бедными же костромскими помещиками; да и не это ценилось в столыпинском кругу, не эфемерная древность фамилии, а, по петровской традиции, — личное достоинство и личные возможности и клана в целом, и каждого его члена в отдельности. Увлечение Лермонтова Шотландией связано было с увлечением Байроном, поисками сходства собственной биографии с биографией своего идола. «Отстав» от Байрона, Лермонтов отыскал себе другого предка — герцога Лерму —

в шиллеровском «Доне Карлосе». Некоторое время он даже подписывал этой фамилией — Лерма — и письма, и стихи; по некоторым сведениям, и запрос в Мадридский исторический архив посылал, уж очень хотелось заполучить занесенного в высший Литературный гербовник «Родоначальника»!

Предок — по испанской линии — оказался мнимым, в этом Лермонтов убедился самолично.

А между тем у него были все основания гордиться своими предками как раз по этой — внесловной линии. Много лет спустя, после гибели поэта, исследователи обнаружили в русском архиве составленную внуками Георга Лермонта поколенную роспись рода Лермонтовых. В ней, в частности, говорится следующее:

«А в Шкотской земле родственнику нашему дано. В лете от Р. Х. 1057 прямова наследника Шкотские земли Милколумбуса (т. е. Малькольмуса. — А. М.) изгнал тиран Макбетус и отца Милколумбусова Данкануса третьяго тем именем исгубил. И Милколумбус, получивши приятство у англинскава короля Эдвардуса, что он повелел ему всяких людей принимати, которые похотят с ним ийти доставати его природнава королевства. И с ним Милколумбусом поехали многие породные люди Английские земли, и Французские земли, и иных земель, и ему помогли того тирана Макбетуса побити и королевство его Шкотскую землю ему очистили. И он за такие их службы пожаловал вотчинами, а Лерманту дано в вотчину господинство Парси, которым господинством и ныне владеют наследники его. А свидетельствуют о том Гектор Боецыев, Яганус Леслеуст и иные летописцы и кроники».

Георг Лермонт покинул родину примерно в то время, когда всей Англии стала известна горестная история короля «Данкануса третьяго», обманутого коварным Макбетусом, но не по старым «кроникам», а по модной трагедии короля драматургов — Шекспира. И тем не менее внуки Георга-шотландца ссылаются на более солидные источники: «кроники» Гектора Боецыева — так в их доморощенном переводе звучит фамилия известного Гектора Боэция (1470 — около 1500) — и на историю Шотландии Леслеуста, то есть Лесля (1526—1593).

Историческая традиция долго считала сведения, сообщаемые Боэцием, поэтической выдумкой; позднейшие исследования установили: несмотря на фантастические «инкрустации», основу хроники составляют народные шотландские предания, то есть история в форме народного эпоса.

Изложив известный нам по Шекспиру сюжет, Боэций рассказывает, что Малькольм, сын Дункана, по обычаю предков короновался в Сконе, 25 апреля 1061 года. Затем он созвал общий парламент в Форфере и там одарил вельмож, державших его сторону, причем особенно щедро тех, чьи отцы были убиты «узурпатором трона». Среди одаренных землею воинов назван и Лермонт.

По данным Лесля, Лермонт, хотя и участвовал в походе Малькольма против Макбета и в самом деле помог ему вернуть «прародное королевство», по происхождению не был шотландцем; в числе нескольких английских вельмож он добровольно последовал за Малькольмом I

в Шотландию, вместе с шотландцами подвергался величайшим опасностям, за что и был щедро вознагражден.

Имя Лермонта не попало в шекспировскую художественную хронику; поколенная роспись, составленная внуками «отважного бойца», пылилась в русских архивах, шотландских хроник Лермонтов, естественно, не читал и, преклоняясь перед Шекспиром, так никогда и не узнал, что в толпе героев, вызванных воображением гения из исторического забвения, среди не названных, но реально существовавших в окружении короля Малькольма рыцарей были и его предки!

А по иронии судьбы, как раз в это самое время, когда Лермонтов, пытаясь понять причину своей «нездешности», мечтает о Шотландии, по ее легендарным холмам гуляет вечный путешественник — турист по своей, а не казенной надобности, А. И. Тургенев и в свойственной ему, точной в деталях и растрепанной по стилю, манере описывает то самое место, где почти 800 лет назад Малькольм одарял своих сподвижников:

«Место, где происходил этот раздел земель, и до сих пор носит название *Omnia terra* (вся земля), потому, что Малькольм II раздал здесь все наследственные земли в Шотландии, или *Boot-hill* (сапожный холм), от обычая, по коему вассалы, в знак подданства... владельцу, подносили сапог земли с своих поместий, для получения инвеституры от монарха. Муррай сказывал, что предание полагает, что холм сей составиля от накопившейся земли, в сапогах нанесенной».

Советский писатель О. Горчаков, заинтересовавшийся шотландскими предками великого поэта, установил, что в середине семнадцатого века одна из дочерей Джеймса Лермонта вышла замуж за сэра Вильяма Гордона.

А дальше произошло следующее (цитирую публикацию О. Горчакова):

«Лет через полтора года после того, как Лермонты породнились с Гордонами, 13 мая 1785 года на Екатерине Гордон женился пятый барон Байрон, отпрыск древнейшего норманского рода Бурунов, ставшего позднее французским родом Биронов, а затем и английским родом Байрона. В 1788 году родился гениальный поэт Джордж Гордон Байрон. Таким образом, породнились два рода и два великих поэта — Лермонтов и Байрон. Когда Байрону было 26 лет, в Москве у Красных ворот родился его родственник — Михаил Юрьевич Лермонтов. Всю свою жизнь наш поэт не подозревал, что состоит в свойстве со своим кумиром».

В альбоме «кавказской» племянницы госпожи Арсеньевой Марии Хастатовой-Шан-Гирей сохранилась запись, сделанная рукою Марии Михайловны: «Любить — вся моя наука». Редкостный этот талант — дар любить сильно, пламенно и нежно — мать передала сыну. И тем не менее занять всего себя — и ум, и сердце, и мышление только одной этой наукой Лермонтов никогда не умел: «демон поэзии», овладевший им, властно выталкивал его из «соловьиного сада» в действительную жизнь, чтобы там, в самой гуще «существенности» он нашел средства выполнить свою писательскую миссию: постигнуть «течение века».

А век тек, и время выходило из берегов, и прорывало устроенные

долгим общежитием плотины, и сокрушало в неожиданных водоворотах, в пучинах и омутах все, что могло смуть...

Одной из самых хитрых политических загадок, какие задало страннотекущее время студенту второго года нравственно-политического отделения, были восстания в Новгородских военных поселениях.

Поселения в районе Новгорода, устроенные вскоре после окончания наполеоновских войн, по замыслу Александра I, должны были решить сразу множество проблем; избавить крестьянство от обременительных рекрутских наборов, а правительство от разорительных расходов на содержание армии в мирное время, не обрекая тех, кому выпал солдатский жребий, на безбрачие, а главное — иметь армию, которая, с одной стороны, не стоила бы ничего, а с другой — всегда бы находилась в состоянии боевой готовности.

Новгородские и старорусские поселения отнюдь не первый опыт в этом роде.

В пору наместничества на Кавказе Ермолов устроил несколько «солдатских деревень», выписав из России нужное число невест и наделив новобранцев землей. А еще раньше князь Потемкин, по мнению одного из современников, гениальный политический деятель почти петровского масштаба, присмотревшись к быту теркских казаков, щедро раздавал под полковые хозяйства жирные, непаханные южные черноземы...

Но и Ермолов, и Потемкин превращали солдат в крестьян, то есть если и не уничтожали «неволю», то облегчали ее. Новгородская затея, наоборот, одним росчерком пера «венчанного деспота» обратила в «пехотных истуканов» огромное количество свободных землепашцев!

Да и человек, в ведение которого переходил проект, ни в чем не походил на Потемкина и Ермолова: Аракчеев годился лишь в исполнители буквы Приказа; ни в натуре, ни в характере, ни в складе его грубого, прямолинейного ума не было средств, которые могли бы как-то увязать Идею и конкретные местные обстоятельства. А обстоятельства были сложными. Прежде всего, выбранная под поселения земля была слишком бедной, неплодородной. Здешние крестьяне, хотя и практиковали хлебопашество, никогда не смотрели на этот вид работ как на основную. Хлеб, даже в самые урожайные годы и в самых достаточных семействах, кончался уже к началу декабря. Однако смысленные новгородцы находили выход из положения: занимались извозом, продавали в Петербург, благо почти под боком, и сено, и дрова, и телят, и домашнюю птицу, и рыбу, словом, были настолько изворотливы, что при скудных доходах с хлеба жили, как говорилось в то время, порядочно.

И вот этих вольных и привыкших надеяться лишь на себя промысловых людей посадили на скудную землю, землю, которая не могла прокормить и их самих, теперь же вдобавок, должна была обеспечить жизненными припасами еще и нахлебников: на тысячу человек поселян приходилось, по проекту, два действующих батальона, то есть еще 2 тысячи ртов. Инженер Мартос, на долю которого выпала тяжкая задача — под началом Аракчеева претворять нежизнеспособную идею в жизнь, при первом же знакомстве с положением пришел к выводу, что затея с поселением — «дурачество», и притом опасное; «пожрет миллионы, расстроит жителей, озлобит их против правительства» и даже сделает из них «непримиримых врагов».

Новгородцы попробовали протестовать, точнее, вразумить царя-батюшку: перехватив «царский поезд», кинулись государю и государыне в ноги;

«Прибавь нам подать, требуй из каждого дома по сыну на службу, отбери у нас все и выведи нас в степь: мы охотнее согласимся, у нас есть руки, но не тронь нашей одежды, обычаев отцов наших, не делай нас всех солдатами».

(Мартос был непосредственным свидетелем этой сцены и ручается за подлинность ее.)

Не казня и не милуя, а лишь досадуя за задержку, их величества продолжили свой путь к Москве. Глас народа оказался гласом вопиющего в пустыне.

Аракчеев и его команда работала не покладая рук, что не мешало при случае и «погреть руки»; Александр не жалел средств и был слишком брезглив, чтобы унижаться до ревизий, и в скором времени недалеко от Петербурга возникло «чудо»: «идеальное государство», точь-в-точь такое, каким представлял себе император идеальное государство.

Екатерина II не любила своего единственного сына и старалась как можно реже видеть его; вид Павла напоминал о неприятном: матушка-государыня была в некотором роде «узурпаторшей» и восседала на троне вроде бы и законно и в то же время — при взрослом и даже уже немолодом сыне — и не совсем законно. А кроме того, сын оскорблял ее эстетическое чувство. Иное дело внук. Внук уже в колыбели «был прекрасен, как ангел». Не долго думая, бабка приказала перенести колыбель принца в свои покои. Там, разлученный и с родителями, и братьями-сестрами, Александр и вырос: баловнем царственной бабки. Государыня не спускала с него глаз — и в прямом и в переносном смысле: внук был всегда при ней и поминутно услаждал взор, да и сердце радовал, ибо царевич был любознателен, кроток и со всеми обходителен.

Не зная, как выразить любовь к детяти своего выбора, Екатерина засыпала его «цацками», и притом самыми причудливыми. Благо нашелся в ее царстве-государстве человек, способный мастерить чудodelки, достойные принца. Это был Николай Львов — архитектор, поэт, умница и игрушечный мастер впридачу. Игрушки он делал в колоссальном виде — фрегаты, замки и прочее...

Мальчик вырос, похоронил Великую бабку, походил некоторое время в цесаревичах, пока уверенные и сильные люди не задушили его странного отца, стал императором, проехался по побежденной Европе в ореоле победителя Наполеона, потучнел, полысел, поблек, но игрушки любить не перестал.

Его пращур, Петр, «Россию поднял на дыбы»; его брат, Николай, хотел навести в России порядок. Александр не любил думать обо всей России — велика слишком, и путешествий по империи избегал, разве что в самых крайних случаях решался на внутренние вояжи.

Вот и устроил ему Аракчеев игрушку — почти под самым Петербургом! Игрушка выглядела великолепно:

«Более ста тысяч душ было одето и обрито по-полувоенному. В сельском хозяйстве и в образе жизни был введен порядок, совершенно отличный от привычного... Строгая дисциплина была введена даже в частную жизнь крестьян; были предприняты громадные работы, сооруже-

жались колоссальные каменные здания, словом, внешний вид поселений представлял такую перемену, что, казалось, что она была произведена мановением волшебного жезла. Вместе с крестьянами был поселен армейский корпус, и несколько лет спустя новгородские поселения представляли собой картину самого великолепного порядка, изобилия и стройной жизни, дотоле невиданной» (Д. П. Рунич).

Особенно хороши были дороги: все обсажены деревьями, причем и мостики, и канавы — одинаковой формы. Ни в одной деревне, приписанной к поселениям, не осталось курной избы, исчезла даже солома с крыш. Прибавьте к этому идеально обработанные поля: при каждой полосе — дощечка с именем хозяина. Лучший хозяин немедленно отмечаем — его тут же производили в унтер-офицеры; все — и срок жатвы, и пора сенокоса, определялось приказом!..

Переведены были не только курные избы и неизбежная грязь на вязких северных землях; искоренены были и пьянство, и воровство. Идеальному Новгородскому микроцарству не грозили ни неурожай, ни падеж скота: казна немедленно восполняла ущерб. Словом, существование, сравнительно с прежней вольницей, было скучным, но зато гарантированным.

Инженер Мартос предрекал поселениям скорую гибель, утверждая, что новгородский мужик, которого осчастливили по барской воле, не выдержит насилия над его природой... Инженер был настолько уверен в бредовити затеи, что бросил службу, которую любил «до иступления». До такой степени мучила этого, петровской задумки, специалиста мысль, что он исполняет должность, противную убеждениям.

Очень выразительна фраза, которой ненавистник Аракчеева обрывает свое повествование: «Я бросаю перо и оканчиваю мои Записки».

«Брошенные» 1 августа 1818 года «Записки» инженера-капитана Мартоса были случайно обнаружены любителем русских древностей в Ярославле, в куче негодных рукописей, и опубликованы в «Русском архиве» Бартневым...

Инженер-капитан Мартос, подогреваемый отвращением к Аракчеву — «человеку, который столь марает имя гражданина, что превышает всех негодных из самых негодных, о коих повествует нам История», преувеличил недолговечность затеянного Александром «дурачества»: поселения худо-бедно, хотя и весьма обременительно для казны, просуществовали до 1831 года, то есть почти 13 лет. И вдруг механизм дорогостоящей игрушки сломался.

В связи с восстанием в Польше, в начале 1831 года, войска, стоящие в поселениях, были двинуты к границе, причем в двухбатальонном составе: «поселенные» батальоны, состоявшие в основном из местных жителей, новгородцев, остались на местах, из них к весне была составлена особая армия, штаб которой находился в Старой Руссе.

11 июля 1831 года в Старорусском уезде появились одиночные признаки возмущения. Одной из первых жертв долго тлевшего под пеплом огня восстания оказался некий священник Паров. Били его дубинкой. По лицу. И до тех пор, пока не образовалось, как свидетельствует очевидец, «одно кровавое пятно». Обвинение же, предъявленное жертве самосуда, было более чем туманным: за то, де, что держал сторону господ, а с крестьянами — «высокомерен».

Затем в одном из поселений вблизи Старой Руссы вспыхнул уже настоящий бунт, как бы сигнал к мятежу: весть разлетелась по округе с нереальной быстротой; по утверждению современника, страшные убийства были совершены в один и тот же день, в один и тот же час в местах, расположенных друг от друга на расстоянии «двух переходов».

Вот как описывает некто П. П. Карцев то, что произошло 13 июля в селе Перегино, центре 12 округа. В этот день у начальника округа, человека семейного и гостеприимного, по случаю именин были гости. В конце обеда в окна стали заглядывать поселяне. Один из офицеров встал из-за стола, чтобы узнать, в чем дело, — ему тотчас топором разрубили голову. Пораженные хозяева, находясь, видимо, в состоянии шока, оставались на своих местах. Не прошло и минуты, как несколько поселян впрыгнули в зал через окна, другие — вбежали в незапертые двери и началось избиение. Убиты были все до единого офицеры, и притом самым зверским образом. Лишь избитые до полусмерти доктор, хозяйка дома с дочерью и жена еще одного офицера были оставлены в живых — для допроса. Полуживого доктора поволокли к аптеке и заставили пить подряд все лекарства, в доказательство того, что в них нет «холеры».

Не щадили ни женщин, ни детей. Одну из офицерских жен, избитую до синевы розгами, несмотря на последние дни беременности, привязали за косу веревкой к лодке и поволокли к реке...

При явной стихийности возмущения, восставшие действовали словно бы по одному плану: нападали внезапно, убивали всех подряд. Разумеется, полной идентичности все-таки не было, некоторые офицеры успевали скрыться, другие оказывали сопротивление...

Особенно впечатляюще выглядел «штурм» Старой Руссы, в которой, как я уже упоминала, находился штаб армии. У повстанцев — ничего, кроме топоров и камней, но среди защитников города — свои: знакомые, односельчане, а то и родственники, а они вооружены. Еще не решившись на штурм, мужики мирно переговаривались с солдатами. Все это выглядело столь странно, что командующий армией, Леонтьев, никак не мог решиться отдать приказ стрелять. Один из артиллерийских капитанов решил действовать сам, но получил удар по голове. Ободренные этим случаем, поселяне кинулись на мост, солдаты делились с ними оружием, офицеры пытались остановить их, напоминая «о святости присяги», но тут же были заколоты. Генерал Леонтьев был также изрублен.

Один из мятежников, во время грабежа генеральской квартиры, надел его мундир, ордена и ленту, вывел из конюшни генеральскую лошадь и, держа в руках свернутый в рулон лист пустой бумаги, разъезжал по деревням, объявляя народу, что прислан государем с приказанием уничтожить дворянство.

Офицеры, кадровые, профессиональные, растерялись до такой степени, что не знали, на что решаться: полки были в половинном составе и притом — из рекрутов, взятых из местных же крестьян. Случай со штурмом Руссы показал, что они абсолютно ненадежны. Впрочем, нашлись и решительные, например, командир 5 карабинерного батальона. Его батальон не останавливался в деревнях; при подходе к деревне полковник Толмачев разбивал лагерь и высылал «послов», из старых, не местных солдат с требованием выдать такое-то и такое-то количество



припасов и с угрозой: в случае неисполнения — поджечь деревню. Благодаря такой тактике, он благополучно прошел через мятежные районы, правда, предусмотрительно приказав вынуть кремни из ружей у молодых солдат, тех, что были родом из новгородских мест. Так он дошел до мятежного Перегино, но там уже и не пахло мятежом. На жителей напал страх, ужас перед содеянным — им, по их утверждению, не давали уснуть доносившиеся с кладбища стоны «убиенных», и теперь они сами уходили в леса, спасаясь от «голосов». На всякий случай Толмачев расставил по окрестным помещичьим усадьбам посты из карабинеров во избежание новых эксцессов. Но массовых возмущений уже не было.

В середине августа из Петербурга прибыл граф Орлов, высший полицейский чин в государстве, в будущем — преемник Бенкендорфа на посту шефа жандармов, и началось по показаниям новгородского Бонапарта, то бишь полковника Толмачева, успевшего снять первое дознание, расследование причин возмущения.

Признанных зачинщиками забили кнутом, остальных сослали на каторжные работы. Через суд и расправу прогнали одну треть деревень, оказавшихся в «черте бунта».

Расправа длилась до самой зимы. Карающая десница и та «устала», ведь карать надо было не только новгородцев, но и возмутителей спокойствия западных губерний...

4 октября 1832 года Николай I через «Санкт-Петербургские ведомости» поставил своих подданных в известность, что «для скорейшего покрытия забвением беспокойств, волновавших в минувшем году Западные губернии, мы признали за благо тем из жителей сих губерний, кои не принадлежав к числу зачинщиков и главных возбудителей возмущения, действовали более по обольщению и злым внушениям, нежели по преднамеренному умыслу, явить новые знаки нашего милосердия, а с тем вместе принять меры к возможному уменьшению числа и ускорения хода дел, от мятежа возродившихся».

Итак, бунт был подавлен, точнее, исчерпал свою ярость прежде, чем правительство приняло серьезные меры для его подавления; военные поселения приведены к порядку, а через некоторое время практически устранены. А загадка, заданная новгородским возмущением, осталась...

Те, кто не привык заглядывать слишком глубоко под поверхность событий, утверждали, что виною всему было лишение свободы, которое никогда не забывается народом. Но почему возмущение произошло не тотчас после того, как вольных хлебопашцев и предприимчивых промышленников превратили в «военных рабов», а столько лет спустя?

Другие уверяли, что причина, как и в прочих случаях, — страх холеры. Но и это предположение не разгадывало загадки: ни в новгородском округе, ни в старорусском не было зафиксировано ни одного смертного случая холеры. Правда, холера свирепствовала в Петербурге, а среди столичных жителей было много новгородцев, ходивших, как и в прежние времена, на заработки в столицу. После объявления холерного карантина они, бросив Петербург, вернулись на родину и принесли с собой вести о страшной хвори и о врачах-отравителях. Панику, принесенную беженцами из холерной столицы, раздували нелепые распоряжения местного начальства. Например, в каждой деревне приказано было

заготовить впрок несколько гробов и вырыть несколько могильных ям. Не нужно много воображения, чтобы представить, что подобная «предохранительная мера» могла будоражить куда сильнее, чем случай конкретного заболевания!

Пытались отыскать подстрекателя, главаря мятежников, но и такого не оказалось, если не считать шутовской пародии на Емельку Пугачева, мужика, нарядившегося в генеральский мундир и именем царствующего императора возмущавшего крестьян. Не отыскав главаря среди «исконных россиян», пустили слух, что подстрекали к смертоубийствам поляки, тайно проникшие сквозь холерные кордоны. Слух не подтвердился.

Что касается мудрецов, те были убеждены; всему виною слишком жаркое лето. Лето 1831 года и вправду выдалось необыкновенное: сенокос и жнива совпали, мгла стояла в раскаленном воздухе, болота горели, «часов с трех дня солнечный диск представлял резко очерченный желто-красный круг без лучей»... В народе говорили, что все это не к добру, а старики уверяли, что такое случилось «перед французом»...

Новгород был узловой станцией на тогдашнем тракте Москва-Петербург, весть о бунте достигла Москвы почти с телеграфной быстротой...

По установившейся литературной традиции созданная в первой половине, а судя по всему, в июле 1831 года, поэма Лермонтова «Последний сын вольности» (о Вадиме Храбром, предводителе восстания новгородцев против князя Рюрика) считается продолжением и развитием характерной для поэзии декабристов темы древнего Новгорода и новгородской вольницы. На мой же взгляд, есть все основания объяснить возникновение новгородской темы в творчестве Лермонтова не литературными влияниями, а реальными событиями лета 1831 года. И по содержанию, и по форме поэма эта, написанная по каноническому образцу, очень далека от действительности, и герои ее не похожи на новгородских мужиков, знойным летом 1831 года напомнивших России, что в них еще жив дух былой вольницы. Но это уже вопрос техники: написать иначе поэму о народном возмущении 17-летний Лермонтов еще не может, а тема мучает, не отпускает его...

Известно, что по дороге в Петербург, в 1832 году, Лермонтов задержался в Новгороде. Там написан широко известный фрагмент:

Приветствую тебя, воинственных славян  
Святая колыбель! Пришлец из чуждых стран,  
С восторгом я взирал на сумрачные стены,  
Через которые столетий перемены  
Безвредно протекли, где вольности одной  
Служил тот колокол на башне вечевой,  
Который отзвонил ее уничтоженью  
И столько гордых душ увлек в свое паденье!..  
— Скажи мне, Новгород, ужель их больше нет?  
Ужели Волхов твой не Волхов прежних лет?

Стихи не закончены, но ответ напрашивается отнюдь не отрицательный, особенно если учесть, что Лермонтов посетил «святую колыбель» славянства в то время, когда еще не утихли стоны новгородцев, наказанных «за миг вольности»...

Вполне вероятно, что именно поэтому стихи и не окончены, у Лермонтова были причины не оставлять в своих бумагах ничего предосудительного...

О том, что Лермонтов не любопытства ради разглядывает лица встречаемых мужиков, а изучает их, свидетельствуют и зарисовки, сделанные по дороге из Москвы в Петербург; «Тройка, выезжающая из деревни», «Постоялый двор», «Отдых под деревом».

Однообразие тематики выдает сосредоточенность на «единой мысли» — на мысли о «мощном человеке», о мужицком бунте, о тайных пружинах его!..

Большинство лермонтоведов склоняется к тому, что первый роман Лермонтова «Вадим» создан уже в Петербурге, в юнкерские годы. Однако Т. Иванова полагает, что работать над ним Михаил Юрьевич начал еще в Москве. И в этом предположении есть резон. О работе над романом, уже ей известным, Лермонтов сообщает Марии Лопухиной в одном из первых писем из Петербурга: «Пишу мало, читаю не больше, мой роман становится произведением, полным отчаяния; я рылся в своей душе, чтобы извлечь из нее все, что способно обратиться в ненависть, и в беспорядке излил все это на бумагу...» (28 августа 1832 года).

Ни в последние месяцы перед отъездом из Москвы, ни в первое время пребывания в Петербурге у Лермонтова практически не было времени, чтобы, наряду с «Вадимом», затеять еще один роман; кроме того, слова автора, что ему приходится из собственной души извлекать все, что способно обратиться в ненависть, совершенно точно отвечают замыслу «Вадима». Это роман о ненависти; его тема — ненависть, его главная проблема — ненависть (народа — к помещикам), и та единственная страсть, которой одержим главный герой, — тоже ненависть...

Но какое отношение имеет произведение из времен Пугачевского бунта к кровавым событиям в новгородских и старорусских поселениях? А самое прямое! Под влиянием злободневных событий ожили, став актуальными, вписались «в течение» века и рассказы бабушки, личный опыт совпал с опытом прежних времен — этого было уже достаточно, чтобы задуматься над «тайными причинами», породившими и «пугачевский год», и новгородский «июль»!

На мой взгляд, прямым ответом на всеобщее недоумение, вызванное долгим терпением поселенцев и видимой немотивированностью мятежного взрыва, является авторская сентенция из «Вадима»:

«Люди, когда страдают, обыкновенно покорны; но если раз им удалось сбросить ношу свою, то ягненок превращается в тигра: притесненный делается притеснителем и платит сторицею — и тогда горе побежденным!»

В том же «Вадиме» находим пока еще приблизительный, к тому же закамуфлированный реалиями XVIII века ответ и на тот вопрос, который Лермонтов задал себе сам в своем «Предсказании»: «В тот день явится мощный человек, и ты его увидишь и поймешь, зачем в руке его булатный нож»:

«В XVIII столетии дворянство, потеряв уже прежнюю неограниченную власть и способы ее поддерживать, не умело переменить поведения».

В «Вадиме» же есть очень глубокое размышление о психологии толпы, о механизме ее мгновенного возмущения — сюжет, также извлеченный из опыта «текущего века»:

«Народ, столпившийся перед монастырем, был из ближней де-

ревни, лежащей под горой; беспрестанно приходили новые помощники, беспрестанно частные возгласы сливались более и более в один общий гул, в один продолжительный, величественный рев, подобный беспре-рывному грому в душную летнюю ночь... картина была ужасная, отвратительная... но взор хладнокровного наблюдателя мог бы ею насытиться вполне; тут он понял бы, что такое народ; камень, висящий на полугоре, который может быть сдвинут усилием ребенка, но, несмотря на то, сокрушает все, что ни встретит в своем безотчетном стремлении... тут он увидал бы, как мелкие самолюбивые страсти получают вес и силу оттого, что становятся общими; как народ, невежественный и не чувствующий себя, хочет увериться в истине своей минутной, поддельной власти, угрожая всему, что прежде он уважал или чего боялся, подобно ребенку, который говорит неблагопристойности, желая доказать этим, что он взрослый мужчина!»

Короче, уроки, преподаваемые отпущенному на вакации студенту нравственно-политического отделения Университетом Жизни, были столь серьезны, а его собственные мыслительные усилия, направленные на творческое освоение этих уроков, — столь значительны, что императорский университет с его догматической, не имеющей ничего общего с жизнью «наукой» утратил в глазах Лермонтова всякий смысл.

В том, что его расчет оказался ложным, что ни политика, ни юриспруденция в том виде, в каком ее преподносили господа «Щедринские — Сандуновы — Маловы», не нужны ему, что отсиживание положенных лекционных часов и зубрежка юридических терминов — пустая трата времени, он убедился уже и на первом курсе. Но тогда еще действовала инерция — навыки прилежания, воспитанные пансионом.

За лето Лермонтов так быстро и внезапно повзрослел, что, видимо, без особого труда освободился от полудетского самолюбивого желания: всегда и всюду быть в первых учениках, дабы порадовать близких отличными успехами и отменным прилежанием. К тому же и в его личной жизни, в которой так долго не случалось ничего действительно значительного, произошли два события. Они сорвали с души остатки «детских одежд».

1 октября 1831 года в своем сельце Кропотово скончался Ю. П. Лермонтов. Умер, не успев проститься с сыном. Михаил Юрьевич едва успел на похороны.

Ужасная судьба отца и сына  
Жить розно и в разлуке умереть.

При жизни отца вопрос о вине вставал лишь по отношению к отцу. Не стало его, и сын понял, что не только отец виновен перед ним, но и он — перед отцом. Пришел его черед молить о прощении и даже оправдываться:

...Я ль виновен в том,  
Что люди угасить в душе моей хотели  
Огонь божественный, от самой колыбели  
Горевший в ней...

Разлуку с тем, кто «дал ему жизнь», Лермонтов всегда переносил болезненно, хотя старался не показывать этого. Ведь еще с отроческих лет его девизом стало: «Страдать без всяких признаков страдания». Но, видимо, лишь после 1 октября 1831 года он смог посмотреть на семейную драму не со своей, а с отцовской стороны.

С этой точки зрения отказ от сына ради блага сына выглядел не расчетом разума, а подвигом самопожертвования. Высшим проявлением человеческого духа.

Ты свершил свой подвиг, мой отец...

Вторым событием переломного 1831 года была любовь. Влюблялся Лермонтов и раньше. В Катишь Сушкову. В Натали Иванову. Но то, что произошло с ним в год первого взрослого горя, не походило на прежние увлечения.

Аким Шан-Гирей вспоминает:

«Будучи студентом, он был страстно влюблен... в молоденькую, милую, умную, как день, и в полном смысле восхитительную В. А. Лопухину; это была натура пылкая, восторженная, поэтическая и в высшей степени симпатичная. Как теперь помню ее ласковый взгляд и светлую улыбку; ей было лет 15—16; мы же были дети (Аким Шан-Гирей четырьмя годами младше Лермонтова. — *А. М.*) и сильно дразнили ее; у ней на лбу чернелось маленькое родимое пятнышко, и мы всегда приставали к ней, повторяя: „У Вареньки родинка, Варенька уродинка“, но она, добрейшее создание, никогда не сердилась...»

Лермонтов несколько раз рисовал свою «мадонну». Однако из всех ее портретов самыми выразительными оказались словесные. Первый — в драме «Два брата».

Пьесу эту он написал после мимолетной встречи с Варварой Александровной в декабре 1835 года, спустя полгода после ее внезапного и странного замужества, в завьюженных Тарханах, отрезанный снежными заносами от всего света, один на один со своей безутешной потерей:

«...Ее характер мне нравился: в нем я видел какую-то пылкость, твердость и благородство, редко заметные в наших женщинах... что-то первобытное, допотопное, что-то увлекающее... я был увлечен этой девушкой, я был околдован ею; вокруг нее был какой-то волшебный очерк; вступив за его границу, я уже не принадлежал себе».

Кроме этого, так сказать, импрессионистского, существует и еще один портрет В. Лопухиной также в костюме и гриме княгини Лиговской. Он очень тщательно и, на первый взгляд, слишком уж холодно прописан, но и тщательность, и пунктуальность (отсюда впечатление холодности) — не от отношения к «модели», а от стремления понять когда-то ясную, как день («было время, когда я читал на ее лице все движения мысли так же безошибочно, как собственную рукопись»), а теперь, после замужества, непонятную — спрятавшуюся «в себя» женщину:

«Княгиня Вера Дмитриевна была... 22 лет, среднего женского роста, блондинка с черными глазами, что придавало лицу ее какую-то оригинальную прелесть и таким образом, резко отличая ее от других женщин, уничтожало сравнения, которые, может быть, были бы не в ее пользу. Она была не красавица, хотя черты ее были довольно правильны. Овал лица совершенно аттический и прозрачность кожи необыкновенна. Бесперывная изменчивость ее физиономии, по-видимому несообразная с чертами несколько резкими, мешала ей нравиться всем и нравиться во всякое время, но зато человек, привыкший следить эти мгновенные перемены, мог бы открыть в них редкую пылкость души и постоянную раздражительность нерв, обещающую столько наслаждений догадливому

любовнику. Ее стан был гибок, движения медленны, походка ровная. Видя ее в первый раз, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что эта женщина с характером твердым, решительным, холодным, верующая в собственное убеждение, готовая принести счастье в жертву правилам, но не молве. Увидевши же ее в минуту страсти и волнения вы сказали бы совсем другое — или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать». Оба портрета, несомненно, очень близки к натуре. Сходство подтверждают стихи, посвященные Лопухиной в 1831 году. А главное, ее поэтический образ, созданный в стихотворении, написанном в начале 1832 года:

Она не гордой красотою  
Прельщает юношей живых,  
Она не водит за собою  
Толпу вздыхателей немых.

Однако все ее движенья,  
Улыбки, речи и черты  
Так полны жизни, вдохновенья,  
Так полны чудной простоты.  
Но голос душу проникает,  
Как вспоминанье лучших дней,  
И сердце любит и страдает,  
Почти стыдись любви своей.

Однако верен только портрет; обстоятельства же, хотя и они «списаны с натуры», несколько изменены (способ тот же, что и в «Странном человеке»), перетасованы, как карточная колода! Так, романтические отношения между Верочкой Р. и Жоржем Печориным завязываются весной, во время паломничества в Симонов монастырь; им предшествует длительный период простого приятельства, когда Жорж, привыкнув видеть Верочку слишком уж часто, «не замечал в ней ничего особенного».

Лермонтов же познакомился с Варварой Лопухиной, сестрой друга своего Алексея, в самом начале ноября 1831 года, то есть поздней осенью, и, судя по всему, влюбился сразу же, с первого взгляда. Это подтверждает сделанная через месяц, в день святой Варвары, запись в дневнике поэта: «Вечером, возвратясь. Вчера еще я дивился продолжительности моего счастья. Кто бы подумал, взглянув на нее, что она может быть причиною страданья?» Тот же срок — месяц (от первого сильного впечатления до разгара взаимного чувства) — называется, кстати, и в «Княгине Лиговской»:

«Визиты делались чаще и продолжительнее, по короткости обоих домов они не могли обратить на себя никакого подозрения; *так прошел целый месяц*, и они убедились оба, что влюблены друг в друга до безумия».

Документально точен, видимо, и такой эпизод романа: «У Жоржа была богатая тетушка, которая в той же степени была родня и Р—вым. Тетушка пригласила оба семейства погостить к себе в Подмосковную недели на две, дом у нее был огромный, сады большие, — одним словом, все удобства. Частые прогулки сблизили еще более Жоржа с Верочкой; несмотря на толпу мадамов и детей тетушки, они как-то всегда находили средство быть вдвоем: средство, впрочем, очень легкое, если обоим этого хочется».

Богатая тетушка — Екатерина Аркадьевна Столыпина; Подмосковная

с огромным домом и большими садами — Средниково, Лермонтов и Лопухина там и в самом деле гостили в начале лета 1832 года...

А вот дальше опять вступает в действие закон ножиц: усложнив, в угоду литературным правилам, начало романа, Лермонтов по той же причине упрощает дальнейший ход его. Согласно романтической версии, захваченный своим чувством, Жорж на экзамены не явился, уверив маменьку, что испытания в науках отложены еще на три недели и что он все знает. Обман, естественно, открылся. Маменька разгневалась. Созвала расширенный семейный совет, и этим чрезвычайным комитетом было решено: «сдать» легкомысленного сына и племянника в юнкера, где его «пришколят и выучат дисциплине».

Как и Жорж Печорин, Лермонтов на «испытания в науках» (проводившихся с 16 мая) не явился, но, судя по всему, неявка на экзамены не была тайной для Елизаветы Алексеевны. Дисциплинарное нарушение допущено с полного ее согласия; потому и не явился Мишенька на экзамены, что на их маленьком семейном совете уже решено: не дожидаясь конца сессии, подать прошение об увольнении.

Экзаменационная сессия кончалась 18 июня; а к 1 июня 1832 года Лермонтов написал заявление об уходе — с просьбой снабдить его надлежащим свидетельством для перевода в Санкт-Петербургский императорский университет.

В качестве общепринятой бытует такая версия: на репетиции экзаменов по риторике Лермонтов, обнаружив, с одной стороны, начитанность сверх программы, а с другой — незнание лекционного материала, вступил в пререкания с экзаменатором. В николаевские времена это было недопустимой дерзостью. Пришлось объясняться с администрацией. После объяснения в списке студентов против его фамилии и появилась угрожающая помета: «посоветовано уйти».

Вряд ли это предположение соответствует сложности создавшейся к лету 1832 года ситуации.

Если б дело было только в пререканиях и недостаточно почтительном поведении на репетициях, вызвавшем административное неудовольствие, Елизавета Алексеевна, пользуясь связями, вполне могла бы замять неприятность. Не помешало же Герцену его участие в маловской истории и наказание, за то понесенное, благополучно кончить курс, пользуясь охранной грамотой хотя и не совсем законного, но все же аристократического происхождения.

Но стоило ли это делать? Прежде всего, Арсеньевой уже было ясно: Миша потерял интерес и к «лекционному материалу», и вообще к наукам нравственно-политического направления. Направление его ума явно переместилось — куда? Этого Елизавета Алексеевна еще не знала, но то, что Московский университет выпал из Мишенькиного жизненного плана, очень даже чувствовала...

Можно было, конечно, усостыжить внука, упросить: ну, что ему стоит, с его-то памятью, с дарованиями, несмотря на отвращение, для диплома дотянуть скучный курс. С пансионом неудача вышла, и с университетом загвоздка.

Не стала ни просить, ни советовать.

Еще зимой приметила: Миша слишком уж, не в меру, увлечен младшей лопухинской дочкой, а она им. Девочка Елизавете Алексеевне

правилась; в ней так же, как и в брате ее старшем, Алеше, задушевно Мишенькином друге, основательность натуры чувствовалась: и брат, и сестра — не из тех, кто влюбляется впопыхах и в одночасье. Но это-то и пугало: ежели так и дальше пойдет, ничего не останется как жениться. При всем своем благоразумии, Елизавета Алексеевна не могла предоставить внука женатым — даже на милой Лопухиной!

Ни слова, ни взгляда неодобрительного, ни намек на неудовольствие себе не позволила, так затаилась, что даже внука обманула: в твердой уверенности пребывал, что милую бабушку ничуть не заботят перемены в его душевной жизни. Она и в самом деле радовалась, видя внука счастливым и оживленным. Ни в мыслях, ни в молитве ночной, тайной, не погрешила против союза невинного. И все-таки: не ко времени эта страсть, не ко времени. Вот если бы вдруг, не по воле ее, а само собой расстроилось, беспричинно и безгорестно, — и для девочки черноглазой, и для внука ненаглядного — с облегчением бы вздохнула...

Вскоре посерьезней беда замаячила: в университете, и как раз на Мишенькином отделении, аресты начались. Тайное общество открыли; хватают всех без разбору, и вправду замешанных, и по наговору. Мыслимое ли дело, почти полгода в казармах мальчишки сидят, а в чем вина — сам комендант генерал Стааль объяснить не может!

Через верных людей навела справки — «образ мыслей, противный настоящему правлению».

Да если за это хватать начнут, ее внука тут же притянут! И без допроса обойдутся: полистают тетради — и прощай, воля!

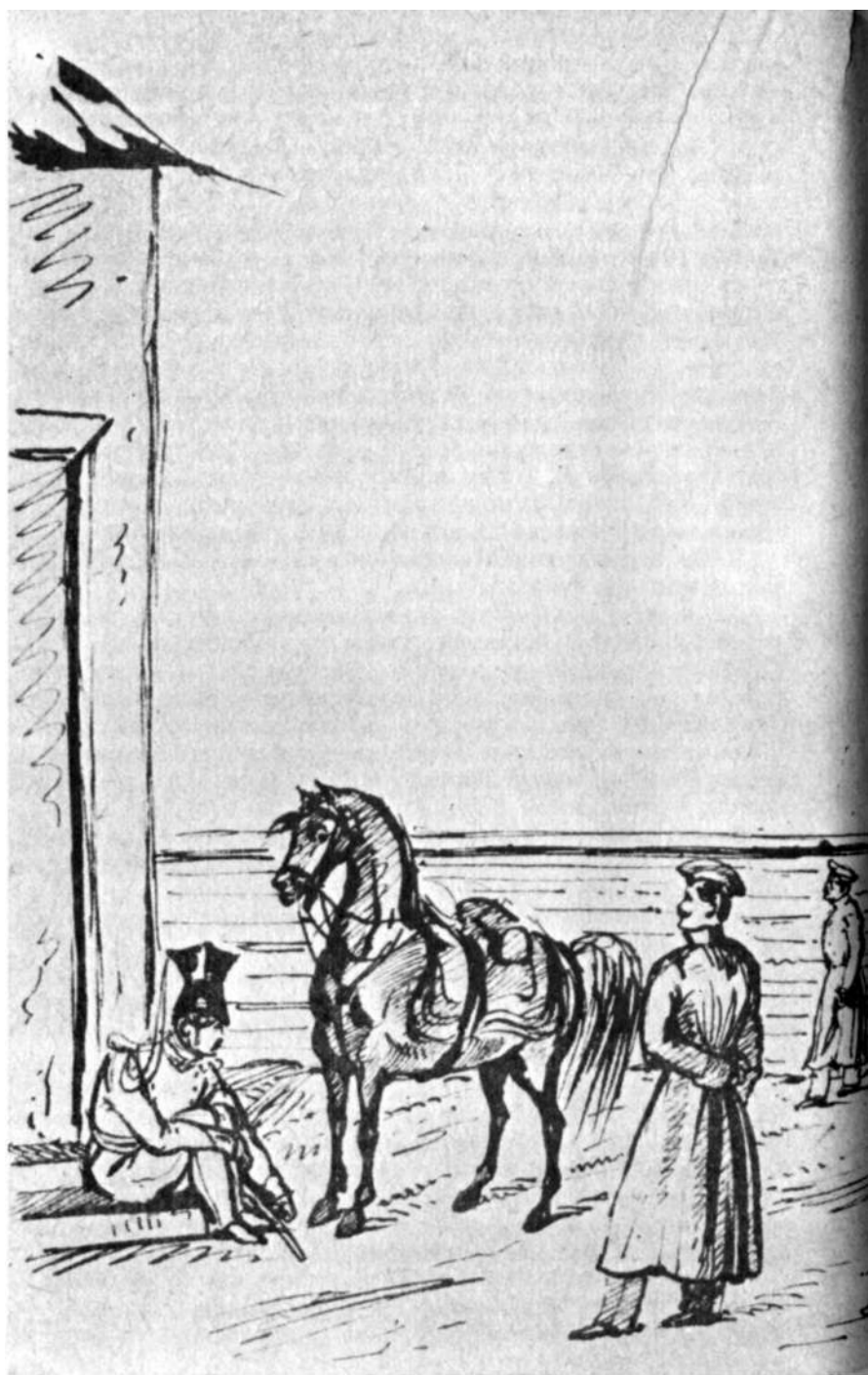
Убегать надо! Из безопасного — Москва самым что ни на есть опасным местом сделалась! А в университете — самое пекло! Мальчишка Струйских, конечно, сам виноват — отец за разврат потерпел, и сын в него. У Мишеньки список поэмки полежаевской запретной увидела, не дал — не для женщин, говорит, писано. Не дал, сама взяла, от корки до корки прочла и успокоилась: сеятель разврата, а не поэт, а за такое по закону наказание полагается. Государь, конечно, погорячился, но наказать надо было. Нет, полежаевский случай Елизавету Алексеевну сильно не испугал — это был *совсем другой случай*. И маловскому шуму, не в пример иным родителям замешанных в обиде студентов, Арсеньева большого значения не придавала; шалость и есть шалость.

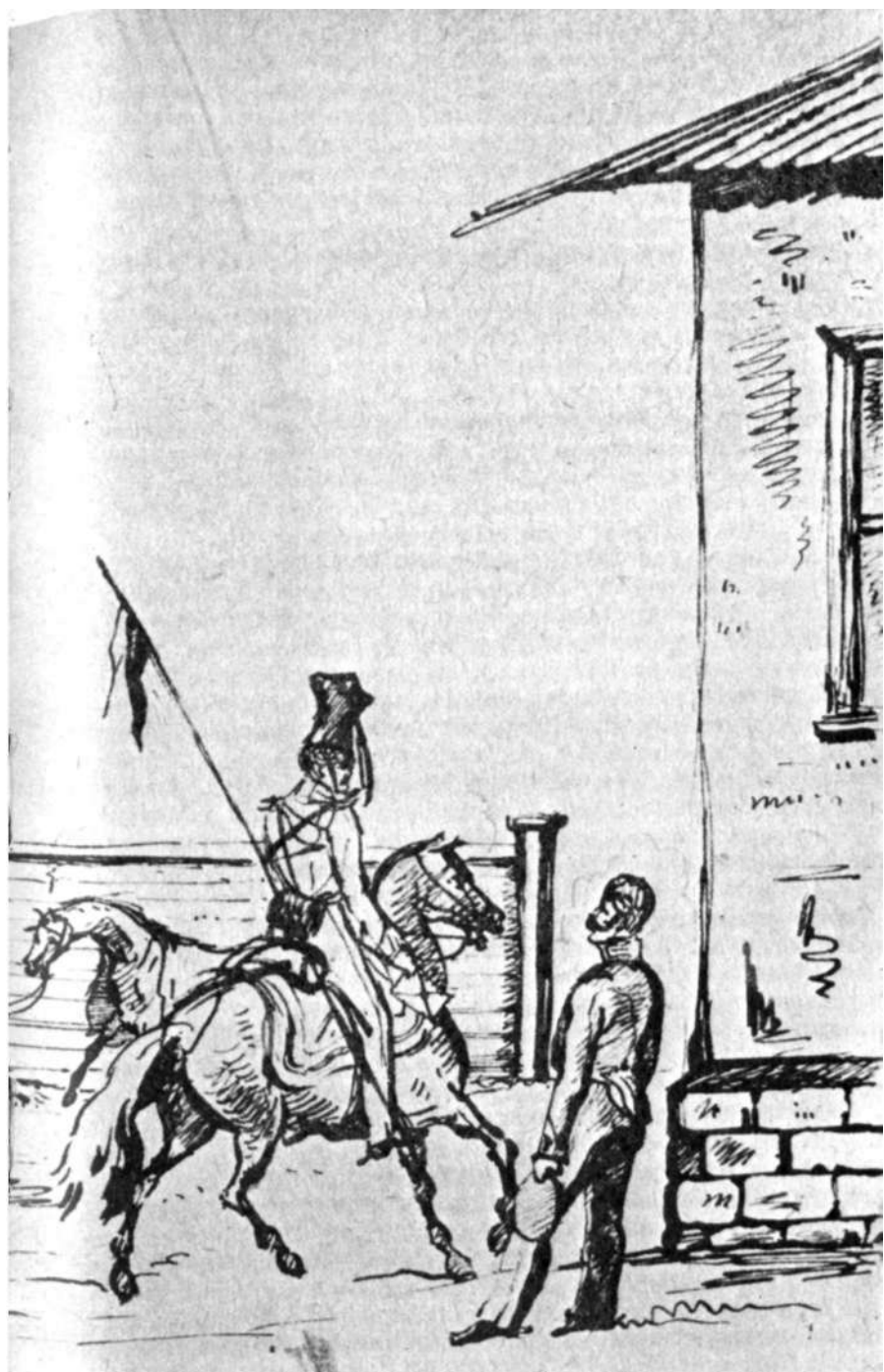
А как стали про Сунгурова да напарника его Гурова слухи ходить, сон потеряла. И чем дольше длилось непонятное дело, тем тверже укреплялась госпожа Арсеньева в решении своем; увозить Мишу из Москвы надобно, и чем скорее, тем лучше.

А. Герцен утверждает, что Николай возненавидел Московский университет с Полежаевской истории. Однако, отдав в «солдаты» сначала автора «Сашки», затем Костенецкого с товарищами, уничтожив братьев Критских и отправив самого Герцена и членов его кружка в административную полуссылку за сен-симонизм, «не занимался более этим рассадником разврата, благочестиво советуя молодым людям, окончившим курс в лицее и в школе правоведения, не вступать в него».

Как я уже упоминала, Николай даже через 18 лет не забыл о существовании, пусть в перелицованном виде, неугодного ему университетского пансиона. И репрессии в университете были не просто следствием разгневавшей его полежаевской истории.







Николай гневался не только на московские учебные заведения, он ненавидел Москву и боялся Москвы.

Здесь все отрицало его, начиная с московского владыки — Филарета. Сам же автор «Былого и дум» рассказывает, что император был настолько взбешен проповедью митрополита по случаю холеры, для которой Филарет «взял текстом, как ангел предложил в наказание Давиду избрать войну, голод и чуму», что примчался самолично в Москву, в зараженный «чумой» город, чтобы отправить самочинца митрополитом в Грузию, то бишь сослать на Кавказ...

С Филаретом царь не сладил, Филарет и после взбучки остался в оппозиции.

«Во имя чего он делал оппозицию, — пишет А. Герцен, — я никогда не мог понять. Разве во имя своей личности. Он был человек умный и ученый, владел мастерски русским языком... умел хитро и ловко унижать временную власть».

В Москве оппозицию, пусть по-домашнему, «во имя своей личности», позволяли себе слишком многие, даже сам генерал-губернатор. «Князь Голицын, — слегка иронизирует Герцен, — любил людей с свободным образом мыслей, особенно если они его хорошо выражали по-французски. В русском языке князь был не силен».

Но и с Голицыным, тем более после холеры, сделавшей его крайне популярным среди москвичей, Николай тоже не мог не считать; посаженный на губернаторство еще Александром I, князь Дмитрий Васильевич просидел «на Москве» практически до самой смерти.

Разделаться с университетом было и проще, и нужнее, тут действовал верный принцип: топить котят, пока слепые...

Сунгуровское дело, известное большинству по «Былому и думам», у А. Герцена очерчено эскизно. И это понятно: ни он, ни его друзья к этой истории непричастны; Александр Иванович даже год спутал, приписав аресты середине 1832-го. На самом деле аресты начались в июле 1831-го и продолжались в течение сентября: среди участников кружка было много провинциалов, разъехавшихся, в связи с ваканциями, по домам.

Меж арестованных оказался и уже известный нам Яков Иванович Костенецкий; следуя за его рассказом, мы можем составить более детальное представление об обстоятельствах этого дела.

Вскоре после отмены погодинского курса Истории Царства Польского среди студентов начались «политические разговоры». Нашлись такие, кого крайне прельщала «идея участвовать в тайном обществе». Тогда-то и объявился некто Сунгуров, человек сравнительно молодой, уже женатый и неопределенных занятий. Стал зазывать к себе на квартиру мыкающихся по общежитиям молодых людей и тут, за чаем, посреди уюта домашнего, стал издали заводить разговоры о том, что тайное общество, основные силы которого уничтожены в 1826-м, все еще существует и что глава его — генерал Ермолов.

В качестве центрального пункта тайной программы выдвигался «польский вопрос».

До дела, даже на уровне составления программы или устава, по примеру разгромленных обществ, не дошло. Да и члены этого кружка-не кружка ничего, кроме туманного интереса к идее сообщества, не выска-

зывали и уж, конечно, и представить себе не могли, что осторожные, всегда по касательной, разговоры во время сунгуровских чаепитий, на которых, кстати, присутствовал и московский обер-полицмейстер Муханов, обернутся крупным политическим делом, таким важным, что им займутся высшие полицейские чины империи и доведут чаевничающих и полупраздно болтающих — до тюрьмы, ссылки, до белой солдатской лямки...

Расследование Сунгуровского заговора длилось необычайно долго, особенно если учесть процитированный выше высочайший указ о сокращении и ускорении хода дел, связанных с польским мятежом. Яков Костенецкий, например, просидел под арестом целых 20 месяцев! Наконец состоялся суд: Сунгурову и Гурову было предъявлено обвинение в заговоре, остальным — «в недонесении». Прошедших по этому делу, в результате столь долгого выявления инакомыслящих, обнаружилось 30 человек.

Решение суда было зачитано в феврале 1833. Сунгурова приговорили к сибирской каторге, его напарника Гурова — к поселению, Костенецкий и его друг Антонович — сосланы на Кавказ (в солдаты). Даже члены комиссии, по свидетельству Костенецкого, включая коменданта Крутицких казарм генерала Стаала, были опечалены и встревожены таким поворотом дела — «Стааль даже плакал».

А. Герцен, знакомый с этой историей со стороны, называет Сунгурова «несчастливым» («Судьба несчастного Сунгурова несравненно страшнее»). Однако Костенецкий, хотя и не совсем уверенно, считает его провокатором, предполагая, что Сунгуров получил от самого Муханова задание: обнаружить среди студентов Московского университета тайное общество (по соображениям III Отделения, *такое* в рассаднике разврата политического непременно должно было существовать). Не обнаружив общества, Сунгуров решил его создать, то ли для того, чтобы угодить начальству, то ли просто пользуясь данными ему полномочиями, и, видимо, настолько превысил их, что от него отделились, наказав строже, чем спровоцированных его доморощенным «шпионством» лжезаговорщиков. Костенецкий твердо помнит, что по требованию Сунгурова была устроена очная ставка с обер-полицмейстером Мухановым и что Муханов от всего отрекся.

Но нас в данном случае интересует не судьба Сунгурова, а влияние затеянного им дела на судьбу Михаила Юрьевича Лермонтова.

А. Герцен очень точно передает атмосферу университета после ареста Костенецкого, Антоновича и других: «Мы все лихорадочно ждали, что с нами будет... Буря, ломавшая поднимавшиеся всходы, была везде... Мы не то что чуяли ее приближение — а слышали, видели и жались теснее и теснее друг к другу».

Тягостное ожидание продолжалось почти два года. Доведенные этой психической пыткой до растерянности, попавшие под допрос могли назвать и действительно называли имена людей просто знакомых, просто замеченных в общении, даже формальном, с «заговорщиками».

Елизавета Алексеевна, потерявшая в подобной ситуации любимого брата, гордость и опору (как я уже упоминала, Дмитрий Алексеевич скорострительно скончался от разрыва сердца в связи с арестами по делу 14 декабря), рисковать внуком не хотела, тем более, что главный

герой этой темной истории Костенецкий был действительно знаком с Михаилом Юрьевичем. А кроме того, по «несходчивости характера» у внука среди студентов образовалось слишком много недоброжелателей. А что если кто-нибудь из них?..

Как намекнуть Мишеньке про свои опасения? Но он вдруг сам заговорил о Петербурге, объявив, что в университет не вернется.

Елизавета Алексеевна не стала ожидать перемен в настроениях внука: начала срочно собираться.

18 июня 1832 года решением Правления Лермонтову было выдано свидетельство, что он, по его прошению, из Университета уволен. А в начале августа Арсеньева с внуком уже покинула столицу.

Судя по тому, что первые — августовские — письма Лермонтова из Петербурга в Москву представляют собой развернутые объяснения внезапного отъезда, он уехал неожиданно, поставив и Вареньку, и ее родных, так сказать, перед фактом.

Ссылка на опасности, грозящие в связи с Сунгуровским делом, в качестве главного мотива никак не годилась — и потому, что для Лермонтова это если и был аргумент, то из самых последних, и потому, что бегство, объясненное таким образом, ставило его в неприятное и бестактное положение перед Алексисом, ведь Алексей Лопухин был тоже московский студент, а он спокойно, не нервничая, пережил политическую бурю — так, как переживают слишком надолго затянувшуюся непогоду.

По всей вероятности, при отъезде было пушено в обращение самое простое из объяснений, то, что вошло впоследствии в «Княгиню Лиговскую»: не сдал сессию и, чтобы не терять год, надо попытаться устроиться в Петербургский университет, благо, по слухам, заведение сие не пользуется среди столичной молодежи популярностью, в связи с чем там вечный недобор, а значит, есть надежда уломать ректора без потери в курсе.

Причина была мелкой и годилась лишь для разового пользования. Особенно если учесть, что решение принимает человек, истинно влюбленный! И притом взаимно! Понимая это, Лермонтов делает попытку объяснить «бегство от счастья» более сложными и, следовательно, более уважительными причинами: сочиняет светский отчет о столичных впечатлениях, а в него, как бы между прочим, вкладывает стихи:

Белеет парус одинокой  
В тумане моря голубом!..  
Что ищет он в стране далекой?  
Что кинул он в краю родном?..

Играют волны — ветер свищет,  
И мачта гнется и скрипит...  
Увы, — он счастья не ищет  
И не от счастья бежит!

Под ним струя светлей лазури,  
Над ним луч солнца золотой...  
А он, мятежный, просит бури,  
Как будто в бурях есть покой!

Было над чем задуматься и умной, как день, Вареньке, и ее домашним!..

Даже Мария Александровна, в силу старшинства опекавшая и младшего брата, и сестру младшую, а заодно, ввиду отсутствия надежд на личную жизнь (М. А. Лопухина была горбата и уже сильно немолода — по понятиям тех лет, разумеется), и их друзей, и та призадумалась. Ей явно не понятны мятежи и метания «дорогого Мишеля». В ее глазах поклонник младшей сестры был странным юношей. И в самом деле — разве не странность? Оставить навсегда город, в котором был «безмерно счастлив»? И пусть бы причина была уважительная! Так нет — химера! Он, видите ли, жаждет бури, сам напрашивается на «печали» и «страдания», и это он, милый Мишель, бабушкин баловень, рожденный, в чем уверял совсем недавно, «для вдохновений мирных»!

Не понятый на Молчановке «Парус» был вторым вариантом серьезного объяснения необъяснимого с точки зрения логики и здравого смысла поступка. Первый — Мишель написал перед самым «бегством», но, видимо, не осмелился прочесть при прощании, — и вот теперь, уже из Петербурга, в дополнение к «Парусу», вписывает и эту исповедь в письменный отчет о житье-бытье. Послание, правда, адресовано «по касательной», обращено к Софье Бахметевой, милой и легкой женщине, живущей непонятно на каких правах в доме Арсеньевой. Однако адресат в данном случае не имеет особого значения: кто бы ни получил письмо, читать его будут все, и непременно в лопухинском доме.

Я жить хочу! хочу печали  
Любви и счастию назло;  
Они мой ум избаловали  
И слишком сгладили чело.  
Пора, пора насмешкам света  
Прогнать спокойствия туман;  
Что без страданий жизнь поэта?  
И что без бури океан?  
*Он* хочет жить ценою муки,  
Ценой томительных забот.  
Он покупает неба звуки,  
Он даром славы не берет.

В том же письме, не надеясь, видимо, на поэтические иносказания, Лермонтов делает и еще одно признание, причем по-русски: дабы при переводе не утратился ни единый оттенок смысла:

«...Тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит». («Ничтожный» в данном контексте — обыкновенный.)

Путь из ничтожества был известен. День ото дня мужавший «деятельный гений», подхлестываемый нетерпением сердца, возбуждаемый непрекращающейся ни на минуту работой ума, требовал «пищи», то есть событий, действий, движения, перемен, напряжения душевных сил, страстей и сильных положений — словом, всего того, чего московская жизнь ему не могла дать. Этот «курс» им самим для себя учрежденного университета, в котором он сам был и профессором, и студентом, окончен. Нежно любимая Москва, избаловавшая счастьем, обрекала на вдохновения «кабинетного» свойства. Кабинетный способ постижения жизни Лермонтова не устраивал так же, как «теоретические устремления», разлученные с действительностью. В системе его мышления имели цену лишь те идеи, что были

рождены страстью — «страсти не что иное, как идеи при первом своем развитии».

Правда, по некоторым данным, Лермонтов после выхода из пансиона подумывал о поездке в Германию. Для изучения философии. Но это было два года назад. Тогда, в 1830-м, ему самому еще не вполне ясно, какой идеей обернется новая страсть — «марать пером бумаги лист летучий».

К весне 1832 года все определилось:

...Кто  
Толпе мои расскажет думы?  
Я — или бог — или никто!

Надо было срочно менять судьбу или, как он скажет несколько позднее, в романе «Княгиня Лиговская», «дать новое направление своей жизни»!

О внутреннем состоянии Лермонтова перед этим решительным шагом мы можем судить еще и по явно автобиографическому фрагменту из «Вадима», написанному до отъезда в столицу:

«Его душа еще не жила по-настоящему, но собирала все свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться в вечность...»

Нет, нет, Петербург вовсе не был городом его мечты. Воспетое Пушкиным великолепие не тронуло убежденного москвича. Чтобы убедиться в этом, Лермонтову потребовалось меньше месяца.

Увы! как скучен этот город,  
С своим туманом и водой!..  
Куда ни взглянешь, красный ворот,  
Как шиш, торчит перед тобой;  
Нет милых сплетен — все сурово,  
Закон сидит на лбу людей;  
Все удивительно и ново —  
А нет не пошлых новостей!  
Доволен каждый сам собою,  
Не беспокоясь о других,  
И что у нас зовут душою,  
То без названия у них!..

И тем не менее под ледяной коркой официозной пристойности бешено пульсирует нервоток столичной жизни, в том числе и жизни литературной, жизни, может быть, и пошлой, но напряженно лихорадочной, дающей внимательному наблюдателю множество материала для раздумий, — жизни бездушной, эгоистичной, жестокой, но остро, горячечно современной...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

*Не могу представить себе, какое впечатление произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я — воин.*

Итак, в начале августа 1832 года Лермонтов уже в Петербурге. Со свойственной ему обстоятельностью он тут же начинает изучать новый для него город. «Рассматривает по частям», как когда-то в отрочестве — Москву.

Москва с ее живым и многоликим разнообразием произвела на него, провинциала, выросшего в степной пензенской глуши, впечатление «огромного муравейника»:

«Кипит грязная толпа, блещут ряды лавок, кричат разносчики, суетятся булочники... гремят модные кареты, лепечут модные барыни... все так шумно, живо, не спокойно!»

Смирновой-Россет, убежденной петербуржанке, привыкшей к правильной стройности Петербурга, древняя столица России показалась большой деревней, полной пыли и «каких-то престранных животных», этаким неудобной «несуразностью», архитектурной «нескладностью», усугубленной «разрозненностью общества», «разбросанного поодиночке» — по окруженным садами и службами особнякам.

Лермонтова же, любившего беспокойную, живую и шумную несуразность Москвы, наоборот, привел в уныние петербургский порядок.

Порядок был, действительно, отличительной приметой, я бы даже сказала, идеей Северной Пальмиры (для наблюдения тишины — специальные будки с караульщиками!).

В воскресные дни, до окончания обедни, под страхом сурового наказания и трактиры, и питейные дома, и погребки — словом, все «торговые точки», продающие спиртные напитки, закрыты; по воскресеньям же (какая разница с Москвой!) строжайше запрещены и уличные «представления», а также поющие, танцующие и «заводящие игрища».

Для гуляний и публичных сборищ отведены особые места, и здесь высочайше дозволено: иметь палатки — для продажи чая, кофе и прочих безалкогольных напитков; уличенные в подпольной продаже или потреблении алкогольных немедленно доставлялись в полицейские участки... А на гуляньях и в самом деле «гуляли», то есть чинно и неторопливо ходили, иногда под сопровождение «органов», то есть шарманок, но и это скромное музыкальное нарушение тишины разрешалось лишь днем, до пробития вечерней зори!

Не менее строго, чем пьющие, наказывались курящие: курить в городе сигары запрещалось — и при прогулках пешком, и при проезде



в собственном экипаже. И это в то время, когда курение стало модным даже среди светских женщин! «Лучше балов беседы в пять-шесть человек у камина с сигарой во рту и сердцем наружу». (Из письма А. О. Смирновой-Россет Е. П. Ростопчиной.)

Своеобразие нравственной физиономии Петербурга, так резко отличающее его от Москвы, объяснялось прежде всего тем, что народ, или, как тогда говорили, чернь, в Петербурге в прямом смысле не жил, а зарабатывал, пользуясь тем, что столица представляла «обширнейшие способы промышленности», торговли и ремесла — ей всегда нужны были «и личные труды», и поденные работы. Вот и тянулся сюда на заработки со всей России рабочий люд, из тех, кто посмелей да поспоривстей, кто умел не растрчивать, а приобретать и тем самым мог обеспечить семейства, оставленные на родине, от случайностей неурожая.

Поэтому, несмотря на огромное количество работников, Петербург казался городом «без народа»: не было ни толпы, ни вообще празднующихся. Все — заняты, и настолько, что даже извозчики не тратили дорогое столичное время на «обеденные перерывы»: ели там, где застигал голод, пользуясь услугами расторопных разносчиков, у которых во всякое время можно было спросить и горячие пироги, и блины, и студень, и грибы соленые, и яйца печеные. А жажда одолеет — тут как тут сбитенщики: ташат медные, закутанные чистым белым полотном баклаги. А летом — квас или бруснично-медовый напиток в огромных стеклянных кружках.

Не теряя ни минуты, можно не только наесться, напиться, но и полакомиться. На лотках, на всяком углу — полный ассортимент простонародных десертов: пряники, орехи, свежие ягоды, яблоки — смотря по сезону.

Один из персонажей «Княгини Лиговской», дипломат по профессии, петербуржец по мировоззрению, выражая, видимо, мнение приверженцев новой столицы, утверждает, что в «Петербурге все как нарочно собралось... чтобы дать руку Европе».

До Европы детищу Петра было, конечно, ох, как далеко, и тем не менее здесь все тянулось к Западу. Трудно, к примеру, представить Москву тех времен без прачек, выходящих ранним утром из господских ворот. («Бывало, только прачка молодая с бельем господским из ворот, зевая, выходит»). Провинциальный способ «бытовых услуг» уже не удовлетворял Петербург. Он, по примеру Европы, завел огромную «машинно-паровую прачечную», где мытье производилось «посредством водяных паров и мыльного раствора», «без всякого насильного трения». Белье получалось на дому и доставлялось обратно на дом, по истечении недели, причем, по желанию, стирались раздельно не только «вещи данного семейства», но и каждого лица в отдельности.

Напуганный холерой и скученностью, в какой жил рабочий и мелкочиновный люд в столице, Николай обращал особое внимание на гигиену.

С этой целью выделены были средства на строительство общественных бань, а предпринимателям, взявшим на себя этот подряд, приказано: цены за «пар» брать умеренные — «без отягощения».

Пока Мишенька свое рассматривал, Елизавета Алексеевна, не отставшая в любопытстве от внука, к своему присматривалась, свое прикидывала.

В Москве люди любого чина и звания не брезговали, не считали унижительным прогуляться пешком по хорошей погоде... И людей посмотреть, и себя показать! И в гости можно, не вызывая нареканий, даже при собственном выезде, на своих ногах заявиться. Ходить пешком в Петербурге считалось дурным тоном, почти форменным неприличием. Оттого-то всякий, кто желал «быть несколько замеченным», вынужден был держать экипаж. Экипаж являлся чем-то вроде выставки благосостояния; отсюда и непомерная, большей частью разорительная, не по карману, «роскошь в экипажах» и преувеличенная забота о «красоте городских лошадей».

В Москве жили «домами», в Петербурге — нанимали квартиры, и здесь, как и во всем, чтобы не выпасть из своего круга, строго придерживались определенного статуса. Независимо от доходов, петербуржец, чтобы держаться «на плаву» и не чувствовать себя униженным, снимал помещение, где были: прихожая, столовая, гостиная, спальня, кабинет, девичья, кухня с людской, а также конюшня, сарай для дров и экипажа. Ну и, конечно, погреб.

Такой же необходимостью (дабы не отстать от всех, быть как все) был и джентльменский набор интерьера: паркетные полы, хорошо расписанные потолки, зеркала, мрамор, бронза и последний крик моды: мебель «разноцветных деревьев» — черного, серого, белого, орехового, лилового, красного, да еще и с резьбой и позолотой!

В Москве такие излишности позволяли себе лишь люди с обширными и прочными состояниями, а здесь, в столице, роскошь в убранстве квартир, особенно парадных, гостевых покоев, — сделалась общим правилом.

Все это Елизавета Алексеевна знала понаслышке, но одно дело слышать, и совсем другое — своими глазами увидеть. Увидела и расстроилась: и не по средствам ей, и не по нутру. Но не возвращаться же обратно?

А Миша неутомим: без позволения, не сказавшись, лодку нанял — на море посмотреть...

Как и следовало ожидать, Финский залив не подарил впечатлений, каких жаждало пылкое воображение:

И наконец, я видел море,  
Но кто поэта обманул?..  
Я в роковом его просторе  
Великих дум не почерпнул;  
Нет! как оно, я не был волен:  
Болезнью жизни, скукой болен...

Болезнью жизни — скукой — был болен и августовский Петербург. Дачный сезон еще не кончился. Театральный не начался. Несмотря на «ужасные хлопоты» (нужно нанимать дом, а бабушка больна, нужно нанести визиты столичным родственникам, а они — на дачах), Лермонтов оказался в «преглупом состоянии человека», который «вынужден заниматься не могло. Родственники Арсеньевой были людьми светскими, и внуку ее пришлось волей-неволей окунуться в светскую жизнь. Впрочем, скорее волей, чем неволей, ведь поэт оставил милую Москву не для того, чтобы превратиться в петербургского отшельника!

«Видел я, — пишет он московским друзьям, — образчики здешнего общества: дам, очень любезных, молодых людей, очень воспитанных; все они вместе производят на меня впечатление французского сада,

очень тесного и простого, но в котором с первого разу можно заблудиться, потому что хозяйские ножницы уничтожили всякое различие между деревьями...»

К счастью, первое впечатление — французский сад — оказалось обманчивым. Петербургские вещи Лермонтова — неоконченный роман «Княгиня Лиговская» и драма «Маскарад» — убеждают: поэт сумел-таки «перерывать» весь Петербург и добыть из этой груды все, что было способно обратиться в большую литературу! Но это случилось позднее, три-четыре года спустя, по окончании «первичного накопления» обвинительного материала и мучительной акклиматизации.

Пустела, заболевая скукой, и летняя Москва, но это почему-то не делало ее мертвой. Петербург же, спавший вполглаза, в августе смотрелся некрополем.

Подивилась Арсеньева загадке этой, но, побывав у родственников на дачах, особенно в Павловске, у невестки Веры Николаевны (внука возила показывать), сама же загадку сию и отгадала: Двор составляет в Петербурге все; все вокруг этого центра, ровно карусель, вертится; переместился двор — и замерла карусель, будто часы с боем остановились.

Столичную моду на роскошь — в экипажах, интерьере, туалетах, увеселениях и т. д. — действительно диктовал Двор, и это был один из курьезов николаевского правления, ибо государь мотовства не одобрял и сам, в подражание то ли Петру Первому, то ли Наполеону Бонапарту, придерживался нарочитой, аскетической скромности.

А. Ф. Тютчева, дочь поэта, долгие годы прожившая при дворе двух императоров (сначала Николая I, а затем Александра II), впервые зайдя в личные покои государя сразу после его кончины, была поражена увиденным:

«Император лежал поперек комнаты на очень простой железной кровати. Голова покоилась на зеленой кожаной подушке, а вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди лишений военного лагеря, а не в роскоши пышного двора. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, начиная от обстановки и кончая дырявыми туфлями у подножия кровати».

Разумеется, в этой «строгой простоте» был элемент самого вульгарного лицемерия, но, видимо, не без примеси наивного простодушия.

Князь Мещерский рассказывает в своих воспоминаниях, как император, приглашенный на свадьбу младшего сына Карамзина, Владимира, в качестве посаженного отца, войдя после венчания в дом молодых (Владимир Николаевич сочетался браком с одной из самых богатых невест Петербурга, сестрой графа Клейнмихеля), был так неприятно удивлен пышностью обстановки, что сказал с явным неодобрением: «Если у вас в передней такая роскошь позолоты, ковров и бархата, то что же будет в гостиной?»

И кто знает, чем вызвано было неодобрение? Не воспоминанием ли о строгой простоте той самой Карамзинской дачки в Китайской деревне, какую царь-батюшка самолично осмотрел и, найдя недостаточной, повелел срочно отремонтировать за казенный счет?

Но как бы ни относился сам Николай Павлович «к моде на богатство», императрица Александра Федоровна обожала роскошь и вообще все, что

было молодо, оживленно и блестяще. Женщины непременно должны были быть красивы и нарядны, как она сама, и чтобы на всех было золото, жемчуга, бриллианты, бархат и кружева. «Она останавливала свой взгляд на красивом новом туалете и отвращала огорченные взоры от менее свежего платья. ...А взгляд императрицы был законом, и женщины рядились, и мужчины разорялись, а иной раз крали, чтобы наряжать своих жен, а дети росли, мало или плохо воспитанные, потому что родителям не хватало ни времени, ни денег на воспитание...» (А. Ф. Тютчева).

Царевны в мать пошли, и Николай, со своей железной кроватью, солдатской шинелью, в стоптанных домашних туфлях выглядел комично, хотя вряд ли понимал это; каждый играл в свою игру, только и всего.

Судя по тому, что Елизавета Алексеевна, как вспоминает один из сослуживцев поэта по лейб-гусарскому полку, осмеливалась приезжать к внуку в Царское Село «в старой бренчащей карете и на тощих лошадях» и никто из товарищей Лермонтова не отпускал по этому поводу никаких замечаний, она все-таки сумела сохранить свойственное ей благоразумие даже в обстановке столичного ажиотажа. Но в первые дни даже благоразумие не помогло. Ошеломленная столичными сюрпризами, так расстроилась, так расхворалась «старуха Арсеньева», что внуку пришлось по своим университетским делам одному ездить и без ее присмотра переговоры вести. Не вышло ничего из переговоров: отказался ректор засчитать уже прослушанные Мишенькой курсы. Перемоглась Арсеньева, сама по тому же делу поехала. Да не дошла до ректора: не понравился ей университет здешний.

Здание деревянное, невзрачное — теснота. Какая уж тут наука, мука одна! Не гордясь, расспрашивать стала, хуже оказалось, чем виделось: профессоры, как цыгане, со студентами вместе из одной аудитории в другую бродят, авось, свободная отыщется. Кабинеты не отапливаются, скамеек и тех не хватает. Вот тебе и Европа! В столичном университете извольте слушать курс, на ногах стоя! И еще узнала: не отдают сюда люди порядочные мальчишек своих.

Да и Миша приуныл: на словесном факультете классическую ученость восстановить вздумали! В чем ученость? — спросила. Объяснил: изучать древних, писать на них комментарии, подражать им.

Вот тебе на! Так ведь если б еще всерьез, а то так, видимость: профессор по бумажке читает, студенты тетрадки профессорские, как семинаристы, зубрят.

Бог с ним, с университетом, но год терять ни за что нельзя.

В смущении домой, к Арсеньевым, вернулись. Но от тех какой прок? Приютить, пока квартира подходящая подвернется, накормить, разве-селить анекдотом да байкой занятной — на это они мастера, а чтобы совет дельный дать — руками разводят, к Мордвинову, де, за советом езжайте.

Поехали. Там и решили: лучше юнкерской школы ничего не придумаешь. Туда, через год, как семнадцать стукнет, и Алексея определять решили.

Собираться стали — как бы не засидеть стариков — да мимоездом другой Алексей, Григорьевич, заглянул, он и до дома довел. Дорогой иговорил.

Юнкерская, точнее, «Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров» была создана при Александре I для молодых дворян,

обучавшихся прежде в университетах и частных пансионах и не имевших специального военного образования. Она готовила офицеров гвардии.

Несмотря на двухгодичный срок обучения, это было вполне серьезное учебное заведение. На нем как бы лежал еще отблеск «дней александровых прекрасного начала». Помимо специальных военных дисциплин здесь изучали математику, географию, иностранные языки и судопроизводство. Среди обязательных предметов — даже теория изящной словесности. В этом был определенный смысл. После отмены (в 1762 году) 25-летней военной службы для дворян, вследствие чего дворяне получили возможность выходить в отставку по собственному желанию и практически в любом возрасте, в программу даже сугубо военных школ были введены предметы, которые позволили бы окончившим их стать деятелями и «на мирном поле», «работая на котором дворянство могло сослужить новую службу, нисколько не меньше той, какую оно служило на ратном поле. Крепостные крестьяне бедствовали и разорялись, представленные в отсутствие помещиков произволу сборщиков податей, старост, управляющих, приказчиков, которых само правительство уподобляло волкам. Помещик считался тогда естественным покровителем и хозяйственным опекуном крестьян, и его присутствие рассматривалось как благодеяние для них...» Словом, «обязанность дворянства служить стали рассматривать не только как средство комплектования армии и флота офицерским дворянским запасом, но и как образовательное средство для дворянина, которому военная служба сообщала, вместе с военной, и известную гражданскую выправку» (В. О. Ключевский).

Разумеется, среди военных заведений были разные; в кадетских корпусах, например, куда поступали дети «недостаточных помещиков», образование оставалось сугубо специальным: «недостаточность» привязывала к пожизненной военной службе прочнее, чем правительственные указы.

В гвардейские школы, как правило, шли наследники огромных состояний и владельцы сотен, а то и тысяч крепостных душ. К тому же гвардия, словно балет, имела определенный возрастной ценз: те из гвардейских офицеров, кто не сумел сделать карьеру, после двадцати пяти лет начинали чувствовать себя «стариками» среди 19-летних корнетов и волей-неволей выходили в отставку и возвращались в свои «пенаты»...

Расположена была юнкерская школа в самой аристократической части города, у Синего моста, в огромном здании дворцового типа, принадлежавшем прежде богатому екатерининскому вельможе. Правда, приобретая здание, военное ведомство сочло необходимым, для поддержания сурового стиля, содрать весь внутренний декор, включая и мраморные украшения — колонны, подоконники, ступени лестниц (все это было выломано и передано «кабинету его величества»).

И тем не менее дворец, даже лишенный внутренней отделки, приличествующей дворцу, оставался дворцом. Комфортабельность помещений не шла ни в какое сравнение с теснотой столичного университета. Для Елизаветы Алексеевны это был немаловажный аргумент — ее все еще не покидала тревога о здоровье Мишеньки,

В отличие от милой бабушки Лермонтов, если судить по его письму к Алексею Лопухину, принял решительное изменение в генеральном плане жизни не без колебаний. Письмо, где Михаил Юрьевич высказы-

вал опасения, что военная служба может помешать литературной работе, не сохранилось. Однако отзыв преодоленных колебаний можно расслышать в письме к старшей сестре Алексиса, уже известной нам Марии Александровне. Сообщив, что «весь углублен в математику» (профилирующий предмет на предстоящих экзаменах), Лермонтов пишет:

«Не могу представить себе, какое впечатление произведет на вас моя важная новость: до сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес неблагодарному своему кумиру, и вот теперь я — воин. Быть может, это особая воля провидения; быть может, этот путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть, приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулею в груди — это стоит медленной агонии старика».

Одной из особенностей гвардейского училища было отсутствие единой формы: курсанты носили юнкерский, очень похожий на солдатский, вариант мундира и шинели своего будущего полка; единственная поправка, сделанная для гвардейских юнкеров, — качество сукна: немного тоньше и приличнее, чем солдатское.

Разнообразие цвета и покроя, а пуще всего «дополнений» — разного рода «шнурков и шнурочков» — создавало впечатление пестроты, поэтому между своими в узком кругу военную школу у Синего Моста называли еще и «Пестрым эскадром»:

Лермонтов, нелегко и не сразу решившийся на перемену жизни, и полк, и род военной службы выбрал не колеблясь: лейб-гвардии Гусарский. И, думается, не потому, что Алексей Григорьевич Столыпин был убежденным гусаром и мог привести убедительные — дельные и здравые — аргументы в пользу «лейб-гвардейского».

Между гвардейскими полками, даже столичными, существовала своя иерархия. Самыми привилегированными считались Кавалергардский и Конный. Сюда набирались люди, во-первых, очень богатые, во-вторых, обладавшие «громкими именами», в-третьих, имевшие счастливые внешние данные, а в-четвертых и в главных, — «хорошо знавшие дисциплину».

Лейб-гвардейский Гусарский был попроще. И родословный, и имущественный ценз пониже, и требования к «экстерьеру» помягче, а кроме того, именно в этом полку еще держался, несмотря на близость Двора, «дух товарищества», да и с дисциплиной здесь, по старой гусарской традиции, не так носились, как в прочих гвардейских частях.

Гусар — слово мадыарское, в России первая гусарская часть создана при Петре Первом — из австрийских выходцев, главным образом, сербов. Петр сохранил не только форму, но и величину жалования: «русские гусары» получали те же оклады, какие они имели в Австрии. При Анне Иоанновне гусарские полки, также состоявшие из сербов, валахов, венгров, а кроме того, грузин, использовались, как и казацьи войска, для охраны пограничных территорий.

В смутные времена для обороны своих владений гусарские микроотряды создавали и русские помещики. Так, в переписке П. И. Панина за 1763 год есть сообщение о некоем Леонтьеве, который, «имея перед глазами довольные примеры, сколько в нашем отечестве помещики претерпевают от разбойников, нарядил из своих слуг шесть или восемь человек гусарами».

Что касается лейб-гвардейского, лермонтовского полка, то он был

учрежден в царствование Павла I и некоторое время существовал для украшения военных парадов. Как на серьезный род войск на гусарские части стали смотреть лишь после войны 1812 года; именно в этой кампании гусары обнаружили свои преимущества перед традиционной тяжелой кавалерией: доставляли сведения о неприятеле, несли охрану, проникали в тыл неприятельской армии, перехватывали транспорты, истребляли «магазины» (то есть продовольственные склады), нарушали сообщение и т. д. и т. п.

Стать гусаром или уланом мечтали многие мальчики той поры, особенно те, кто, по стечению обстоятельств, выросли на женских руках.

«Родственник наш, учившийся в пансионе... и приходивший иногда по праздникам к нам, поступил в Ямбургский уланский полк. В 1825 году он приехал юнкером в Москву и остановился у нас на несколько дней. Сильно билось сердце, когда я его увидел со всеми шнурками и шнурочками, с саблей и в четырехугольном кивере, надетом немного набок и привязанном на шнурке. Он был лет семнадцати и небольшого роста. Утром на другой день я оделся в его мундир, надел саблю и кивер и посмотрел в зеркало. Боже мой, как я казался себе хорош в синем куце мундире с красными выпушками! А этишкеты, а помпон, а лядунка... Что с ними в сравнении была камлотовая куртка, которую я носил дома, и желтые китайчатые штаны».

Это написано А. И. Герценом. То же увлечение, только более страстно и болезненно, пережил и его друг, Огарев, примерно в том же возрасте.

В связи с коронационными торжествами дом Огаревых в Москве оказался «охваченным военщиной». Вместе с Двором в Москву заявила гвардия и, следовательно, целая толпа военизированных родственников его отца, охотно бравших сына хозяина «на парады» и парадоподобные представления. Кончилось все это острым «заболеванием» — «мундироманией»:

«Артиллерийский мундир меня привлекал, но верх надо всем взяли уланы. Я грезил себя в уланском мундире... А когда коронация кончилась и полки стали расходиться и я присутствовал при всех отправках в поход, блеск мундиров, туча красивых лошадей, военная музыка — все это меня совсем с ума свело. Я пел наизусть все марши и жаждал быть офицером. Около того времени меня стали учить верховой езде, и я только думал о лошадях и эполетах. Военное настроение пронеслось быстро, но не бесследно; гораздо позже, середь полного совершеннолетия, во все трудные минуты жизни меня охватывала тоска по военной жизни и грезился в ней выход из личной скорби и даже средство политического движения».

«Военная корь» в подростковом возрасте миновала Лермонтова. С детства он был окружен военными и, следовательно, рассказами и разговорами о войне и военном, но это были слишком серьезные, почти ученые разговоры, разговоры о деле, и о деле трудном. Вряд ли они могли раздражить воображение ребенка, чья душа с младенчества «чудесного искала!» Да и позднее, судя по драме «Люди и страсти», где изображен типичный гусар Заруцкий, на все лады расхваливающий гусарское братство («Знаешь, какое у нас важное житье — как бра тья»), —

Мишель воспринимал гусарство чисто внешне — как, может быть, и заманчивую, в силу своей простоты, но чужую, не его, жизнь.

Случайность, точнее, стечение случайностей, привело Лермонтова к тяжелым чугунным воротам юнкерской школы, и он, верный правилу: ничего не отвергать решительно и ничему не доверяться слепо, принял новое направление своей жизни как неизбежность, но при этом, перебрав имеющиеся (в рамках неизбежности) варианты, выбрал тот, что представлялся наиболее целесообразным.

Если уж, по воле providения, суждено ему стать военным, так надо стать дельным военным, научиться и эту работу делать хорошо, а главное, выбрать самый перспективный род войск, перспективный не в плане карьеры, а с высшей точки зрения, с точки зрения военного искусства. И тут у него был отличный советчик — Николай Алексеевич Столыпин. Вот что писал его двоюродный дед в ученом очерке «Об употреблении легкой кавалерии»:

«Мы первые... в кампании 1812 года показали истинное употребление легкой кавалерии и образец партизанской войны. Образовав ее, покойный князь Михаил Ларионович опровергнул наконец всегдашний... упрек, делаемый легкой кавалерии, что она несравненно меньше предпринимает, нежели сколько могла бы сделать. Наша легкая кавалерия в 1812 году... делала больше, нежели можно было даже надеяться...»

И далее:

«Служба в... кавалерии... тем полезнее для всякого хорошего офицера... что беспрестанно употребляется на передовых постах и в отрядах, где офицеры приобретают опытность войны и ежедневно имеют случай отличиться. Одним словом, нет рода службы, в котором в офицерских чинах можно было бы оказать более полезных заслуг...»

При всем своем максимализме, Лермонтов умел смиряться с решением судьбы «без отчаяния и упреков», но это было особое, чисто лермонтовское смирение: не страх перед жизнью, а готовность принять с открытым забралом любой из ее сюрпризов. Знаменитые строки из «Валерика»: «Судьбе, как турок иль татарин, за все я ровно благодарен», — возникли не в минуту «сплина»; нести свой крест «без роптанья» Лермонтов приучил себя с ранней юности...

Он знал, куда идти. Выяснена цель, и точка отправления намечена точно: «Я рожден, чтоб целый мир был зритель торжества иль гибели моей». Но как идти, не ведал и потому со спокойствием стойка доверялся тропе: авось выведет.

Вопрос о поступлении «в юнкера» в принципе решен был еще в августе, но Лермонтов все-таки дал себе время на размышление, ожидая или надеясь, что за этот срок «провидение» отыщет ему какой-либо иной вариант. Родись Лермонтов несколькими годами позже, он мог вполне избежать «оков службы царской». После реформы 1835 года состояние Петербургского университета несколько изменилось, и уже в 1836-м среди петербургской аристократической молодежи появилась даже «мода на университет». В этом году туда поступили князь Лобанов-Ростовский, А. Васильчиков, М. Н. Лонгинов, графы Блудовы — люди ближайшего лермонтовского окружения... Все они были моложе поэта.

Но пока Лермонтов еще свободен. Время принадлежит ему, и он продолжает неумоимо изучать новый для него город, стараясь уловить



самые редкие черты физиономии Петербурга, не пропуская ни одной особенности, ни одной частности.

В начале июля в Петербург был доставлен наконец Александрийский столп. По вступлении на престол Николай объявил, что будет воздвигнут небывалый памятник Александру Благословенному — «великодушному держав восстановителю» — и от него лично, и от признательной России.

30 августа 1832 года, при огромном стечении народа, начался подъем великодержавной глыбы: кроме мастеровых, а их было около 400, в подъеме участвовали 2000 гвардейских солдат, начавших службу при Александре I; они-то и привели в действие 60 подъемных механизмов!

Зрелище было внушительным и в некотором роде символическим: Столп утверждал в глазах подданных незыблемость устоев империи. Через несколько лет, 8 августа 1834 года, состоялось торжественное открытие памятника, который один из журналистов назвал «посланием русского грядущему столетию». Салют продолжался 65 минут, и все это время народ, запрудивший площадь, крестился, переводя глаза с монумента Александру на Николая, стоявшего перед колонной с «уклоненным палашом». По случаю столь знаменательного дня Николай Павлович сам возглавил парад — провел роту дворцовых гренадер мимо Столпа! Строитель и автор проекта Монферран получил от государя пенсию в пять тысяч годовых рублей, Владимира с бантом и единовременное вознаграждение в 100 000 рублей. Если учесть, что все остальные работы по воздвижению монумента производились практически даровой силой, можно считать, что «послание русского грядущему столетию», превосходящее все известные монументы в этом роде, обошлось русскому царю почти что даром.

31 августа произошло и еще одно знаменательное событие: открытие Александринского театра. Наверняка Лермонтов не пропустил и его.

Театр был практически общедоступным: кроме кресел и лож для знати, для зрителей иных сословий имелись нумерованные скамьи, а также галерка: «Александринка» была пятиярусной.

Один из заядлых театралов той поры вспоминает:

«Александринский театр или „Александринка“, или „Кабачок“, как его интимно называли, имел неоцененные преимущества. Хотя и этот театр был императорским, но... этикет был гораздо слабее, чем в остальных. В оперу и в Михайловский военные являлись не иначе, как в мундирах... волочиться было или совсем невозможно или очень дорого... В „Александринку“ военные ездили в сюртуках, можно было поехать после хорошего обеда, шуметь, хлопать и даже шикать. И поволочиться было за кем. Страсть к театру обуяла всех, и „Александринка“ соединяла все кружки. Туда охотно ездили офицеры, и аристократы, и пьяная артель».

Эту особенность нового театра Лермонтов сразу же взял на заметку. В «Княгине Лиговской» владелец трех тысяч душ Жорж Печорин и бедный чиновник Красинский сталкиваются именно в «Кабачке». Это было, видимо, единственное место в столице, где люди, разделенные сословными барьерами, могли придвинуться друг к другу на расстояние, достаточное для возникновения и конфликта, и контакта.

Кончился август. Перевалил за середину сентябрь, «провидение» безмолвствовало, и Лермонтов наконец решился. В день своего восемнад-

цатилетия — 3 октября 1832 года. Дольше колебаться было нельзя: начались вступительные экзамены.

В «Герое нашего времени» Печорин говорит: «Я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает». Черта наверняка автобиографическая... Прекрасно представляя себе в теоретическом плане все сложности, опасности и преимущества службы в «легкой кавалерии», Лермонтов, видимо, не знал, что конкретно ожидает его в юнкерской школе.

Прежде всего выяснилось, что прославленное своими вольностями училище за каких-нибудь полтора года, благодаря стараниям вновь назначенного командира — Константина Антоновича Шлиппенбаха, — оказалось в положении заурядного «кадетского корпуса». Сообщение об этом превращении и сами слова «кадетский корпус» по отношению к школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров принадлежат Ивану Анненкову, брату известного литератора Павла Анненкова, и заслуживают самого полного доверия. А «положение кадетского корпуса» мы можем представить себе, ознакомившись со следующей страницей из дневника приятеля Пушкина Алексея Вульфа:

«Нравственное образование необходимо для человека, который должен сделаться полезным гражданином; могут ли же оно приобрести воспитанники наших кадетских корпусов, брошенные туда отцами своими в самом нежном возрасте?.. Надобно побывать самому в таком корпусе, чтобы иметь понятие о нем. Несколько сот молодых людей всех возрастов... заперты в одно строение, в котором некоторые из них проводят более десяти лет; в нем какой-то особенный мир: полуказарма, полумонастырь, где соединены пороки обоих... Принимаемые без всякого разбора, воспитанники приносят с собой очень часто все пороки, которые встречаем в молодых людях, в праздности вскормленных в кругу своих дворовых людей, у коих они уже успели все перенять, и передают своим товарищам. Таким образом, ежедневно, в продолжение... десятков лет собираются пороки, пока не сольются в одно целое и составят род обычая, закона, освященного временем... и общим примером. Тогда уж ничто не может помочь, никакие меры — исправить такое заведение. Воздух, заключенный в этих стенах, самые стены заражены... Также совсем не заботятся о том, чтобы приохотить молодых людей к учению, отчего те и думают только о том, как бы скорее выйти в офицеры, и бросить книги, полагая, что достигнув эполет, они уже все нужное знают...»

Разумеется, в «кадетский корпус» в буквальном смысле слова юнкерская школа не превратилась и не могла превратиться. И срок обучения куда более короткий: всего два года, — и условия приема другие. Как-никак, училище гвардейской, а не общешармейской ориентации. Нельзя забывать и о высоком уровне экзаменационных требований и преподавания вообще. Тот же Анненков признает, что кадетский дух, насаждаемый Шлиппенбахом, не оказал никакого влияния на «учебную часть». Шлиппенбах был убежден: лицо, занимающееся науками, никогда не может быть хорошим фронтовым офицером, и тем не менее уже сложившуюся традицию — традицию серьезного отношения к наукам как военным, так и общеобразовательным поломать не сумел. Не хватило рвения. К тому же генерал был азартным, запойным игроком-картежником.

Да и внутренний уклад школы, даже с учетом нововведений 1831—1832 годов, все-таки никак не может быть назван монастырским. Юнке-

ров, в отличие от кадетов и лицеистов, отпускали в увольнительные по воскресеньям и праздникам. Впрочем, будущие гвардейцы умудрялись обходить законы и пользоваться услугами столичной цивилизации не только «по красным дням». Один из однокашников Лермонтова вспоминает:

«Обычными местами сходов юнкеров по воскресеньям были Фельет на Большой Морской, Гане на Невском, между двумя Морскими, и кондитерская Беранже у Синего моста. Эта кондитерская (благо расположена в самой непосредственной близости от училища. — *А. М.*) была самым любимым местом юнкеров по воскресеньям и по будням; она была в то время лучшей кондитерской в городе, но главное ее достоинство состояло в том, что в ней отведена была отдельная комната для юнкеров, за которыми ухаживали, а главное, верили им в долг. Сообщение с ней велось в школе во всякое время дня; сторожа непрерывно летали туда за мороженым и пирожками. В те дни, когда юнкеров водили в баню, этому Беранже была большая работа: из его кондитерской, бывшей наискось от бани, носились и передавались в окно подвального этажа, где помещалась баня, кроме съестного, ликеры и другие напитки. Что творилось в этой бане, считаю излишним припоминать, скажу только, что мыться тут не было, а из бани зачастую летали пустые бутылки на проспект». (Господину Беранже, как и всем прочим содержателям «кофейных домов» в Петербурге, предоставлялось право иметь в ассортименте мороженое, лимонад, кофе, фрукты, варенье, конфеты, пирожные, кренделя, а из спиртного — только ликеры. Но судя по тому, что творилось, при содействии содержимого его погребов, в описываемой юнкером Анненковым бане, господин Беранже, в угоду клиентам, нарушал высочайшее предписание.)

Уже по одному этому эпизоду понятно, что воспитанников гвардейской школы не так-то легко было обуздать. Их учителя и наставники слишком помнили о том, что имеют дело со «сливками общества», с золотой — в прямом и переносном смысле — молодежью, а главное — с будущей гвардией. А русская гвардия, институт, учрежденный Петром Первым, — слишком долго чувствовала себя в особом привилегированном положении — ведь это ее силой и волей «и высились, и падали» русские цари (убийство Петра III, убийство Павла)... С этим самочувствием гвардии вынужден был считаться, во всяком случае, в начале своего царствования даже Николай I, несмотря на то, что никогда не забывал о той роли, которую играли именно гвардейцы в заговоре и восстании 14 декабря 1825 года.

И все-таки и Иван Анненков, и первый биограф Лермонтова Павел Висковатов, заставший в живых современников поэта, ничуть не преувеличивали, когда писали о гнете и казарменных порядках, царивших в школе кавалерийских юнкеров и подпрапорщиков. В архиве А Булгакова сохранились письма его сына Константина, учившегося вместе с Лермонтовым — сначала в Московском благородном пансионе, а затем в гвардейском училище. В этих письмах сын постоянно, настойчиво жалуется родителям на школьную «муштру», палочную дисциплину и т. д. В одном письме, написанном, кстати, чуть ли не в последние дни пребывания Лермонтова и Булгакова в школе, Костенька сообщает, что в отместку за обычную «шалость» (юнкера выставили из класса неугодного им учителя) их выпорол, а зачинщика разжаловали в солдаты.

Плакаться балованный сын московского почт-директора не перестал и выйдя в кавалергарды. Его офицерские письма мало чем отличаются от юнкерских — те же слезные жалобы на тяготы военной службы, на утомительность военных сборов, на формализм и т. д. и т. д. ...И это Костенька Булгаков! Весельчак, балагур, всеобщий баловень и любимец, тот самый Костенька, к которому обращен один из иронических мадригалов Лермонтова:

На вздор и шалости ты хват  
И мастер на безделки.  
И, шутовской надев наряд,  
Ты был в своей тарелке;  
За службу долгую и труд  
Авось наместо класса  
Тебе, мой друг, по смерть дадут  
Чин и мундир паяса.

Хотя и считается, что Москва славилась балами и невестами, балов в Москве, кроме «обязательных», в Дворянском собрании, по мнению самих невест, бывало не так уж и много. Во всяком случае, семейства, где давались танцевальные вечера, были наперечет. Как утверждает В. Бухарина, князь Голицын (попечитель Московского университета) «давал балы в исключительных случаях», генерал-губернатор, тоже Голицын и тоже князь — еще реже. Так что все балные затеи и рожденные ими «вихри» страстей вертелись в основном вокруг двух домов: Киндяковых и Пашковых (родных Додо Ростопчиной). Так вот на этих собраниях, у Киндяковых, куда кидалась вся московская молодежь как женского, так и мужского пола, и лидировал Костенька Булгаков. 24 июня 1831 года его отец сообщает дочери:

«К Киндяковым... твой брат играл в игры, любезничал, пел, вторил Бартеновой цыганские песни и очень хорошо». По-видимому, и Мишель не избегал столь популярных собраний; там и присмотрелся к героям и героиням новогодних «экспромтов» — Бартеновой, Бухариной, Ростопчиной, Булгакову...

В случае с последним Лермонтов оказался провидцем. Острословие стало для Булгакова чем-то вроде действительной службы — и притом выгодной: его шутками, его безделками забавлялись не только товарищи по училищу, но и сам командир Отдельного гвардейского корпуса великий князь Михаил! Вообще-то Михаил Павлович, как и его венценосный брат, не очень-то жаловал дух товарищества, что царил в некоторых из вверенных ему полков, особенно в знаменитом лейб-гусарском, куда по окончании школы будет выпущен Михаил Лермонтов. Однако «гусарство» на уровне Костеньки Булгакова — «паяса» в кавалергардском мундире — его вполне устраивало... Во всяком случае, «шут» пользовался его неизменным благорасположением, что впрочем, не избавляло паяца ни от гауптвахты, ни от прочих дисциплинарных взысканий...

Я так подробно останавливаюсь на личности К. Булгакова не только потому, что и сам он, и тип его поведения как нельзя нагляднее характеризуют нравы того общества, в котором Лермонтов вынужден будет существовать и самоутверждаться, — но и потому, что, по наблюдению одного из самых внимательных и объективных свидетелей, именно этот человек оказался главным «соперником» Лермонтова в юнкерской школе: именно с ним поэт вынужден был соревноваться в острогах.

Однако вернемся к Лермонтову, к его первым впечатлениям от юнкерской школы... К сожалению, мы мало что об этом знаем. В отличие от своего «соперника», Лермонтов не позволил себе ни одной жалобы на тяготы юнкерского бытования, кроме шутливой юнкерской молитвы:

Царю небесный!  
Спаси меня  
От куртки тесной,  
Как от огня.  
От маршировки  
Меня избавь,  
В парадировки  
Меня не ставь...  
Еще моленье  
Прошу принять —  
В то воскресенье  
Дай разрешение  
Мне опоздать.  
Я, царь всевышний,  
Хорош уж тем,  
Что просьбой лишней  
Не надоем.

«Юнкерская молитва» да мимоходом оброненная фраза в письме к Марии Лопухиной, где поэт называет юнкерские годы «страшными», — вот и все, что нам известно о внутреннем самочувствии Лермонтова-юнкера. Однако, пользуясь косвенными свидетельствами, мы можем реконструировать кое-какие детали...

Юнкерская «куртка», после приватной одежды и даже в сравнении со студенческим мундиром, была действительно на редкость, до издевательства тесной. Вот как описывает современник Лермонтова этот военизированный «корсет»:

«Признаюсь, первое ощущение, когда я облачился, было весьма жуткое: я был страшно стянут в талье, а шею мою, в высоком (на 4-х крючках) непомерно жестком воротнике, душило... как в тесном собачьем ошейнике. Когда я указал на эти недостатки унтер-офицеру закройщику, то он мне отвечал, что это так по форме должно быть и повел меня к эскадронному командиру на осмотр».

Тяжелым испытанием для пришедших с воли юношей были и «пешие ученья» — выправка и шагистика. Происходили они в манеже, под непосредственным наблюдением какого-нибудь профессора «фронтového дела», знатока по части «учебного шага в три приема». Балетный этот прием был особенно мучителен для кавалеристов, вынужденных поднимать выше головы ногу, затянутую штрипкой и вооруженную огромной металлической шпорой.

Тихим учебным — взад-вперед — шагом юнкеров выматывали до изнеможения, и называлось это — «водить фронтом». Иногда, правда, профессор шагистики останавливал строй и, наслаждаясь властью, давал теоретические советы в роде: «Вы старайтесь всеми средствами и силами, но не упирайтесь на оное».

Маневры производились редко, куда реже, чем показательные смотры. Смотр состоял из церемониального марша, то есть прохождения «Пестрого эскадрона» мимо начальства различными аллюрами, шагом, рысью и в галоп, со строгим соблюдением равнения. Равнение в кавалерии было связано с большими затруднениями: движение одной лошади могло

расстроить строй, и тогда начинали сначала! Все это было и утомительно, и однообразно, и невероятно скучно: в продолжение нескольких часов только и слышались возгласы: «В затылок!», пока наконец каким-то чудом строй не приходил в порядок и главноначальствующий не произнес свой положительный приговор относительно равнения.

О том, как происходили учебные маневры, мы можем судить по письму А. Я. Булгакова; со слов сына он передает дочери, О. Долго-рукой, подробности события, имевшего место в августе 1834 года, то есть незадолго до выпуска:

«Итак, они на маневрах. Государь командовал ими, а неприятелем был Сухозанет. Государь предупреждает быть осторожными, так как неприятель хочет напасть на них врасплох. Всюду расставляют разведчиков; вот Костя стоит передовой надежной стражей в лесу, около большой дороги, ночь была совершенно темная, ни зги не было видно, бедный мальчик, с ружьем на плечах, ждал солнца или смены; что-то двигается, он прислушивается. Человек верхом; он кричит, кто там? и требует пароль. Суди, каково его удивление, когда он узнает Государя, который, видимо, хотел поймать молодого военного в проступке... Костя отрапортовал как следовало, и Государь остался доволен нашим ребенком. У меня мороз по коже... как подумаю, какое несчастье было бы, если бы Его Величество нашел Костю спящим или даже оплошавшим; помимо ареста, он потерял бы расположение монарха. Государь пригласил всех обедать к себе и остался очень доволен маневрами и успехами воспитанников».

Даже если сделать скидку на двойное искажение (письмо, пересказывающее другое письмо), не трудно догадаться, что маневры являлись все той же игрой в «солдатики» и никакого военного опыта не прибавляли. Налицо было явное расхождение между серьезной и дельной теоретической подготовкой, которую вели кадровые военные, имевшие опыт большой войны, и парадными — на уровне вкусов и возможностей «Их Величеств» — практическими учениями.

Однако А. Я. Булгаков отнюдь не преувеличивает: его сыну действительно грозили неприятности, если бы «командующий маневрами» засек «нарушение», ибо сам государь нарушений подобного рода себе не позволял.

В 1839 году, во время больших Бородинских маневров, летом, в невиданную, почти азиатскую жару «государь Николай Павлович стоял верхом на пригорке перед Бородинской колонной, пропуская мимо себя церемониальным маршем, без перерыва, в продолжение 8-ми часов, все двести пятьдесят тысяч... Нельзя было не удивляться его необыкновенной силе и энергии: он стоял все время недвижимым на своем высоком коне, как великолепная статуя древнего рыцаря, не переменяя почти ни разу своего положения».

Николай знал, что делал: его пример действовал. Автор воспоминаний, в ту пору зелененький юнкер, не выдержавший жары и упавший в обморок, был очень обеспокоен тем, что «его полк», показанный на репетиции Паскевичу, проявил себя не с лучшей стороны. Юнкер в ужасе бросился к своему родственнику, опытному военному, и тот успокоил его, объяснив, что все будет иначе, когда уланы попадут в «зону магического влияния государя». Так и случилось. При виде истукана на высоком коне, под палящим

солнцем, на голой равнине, ни разу не переменившего за день положения, кавалеристы воодушевились, подтянулись — и все прошло великолепно!

Как я уже упоминала, воспитанники гвардейской школы отпускались в увольнительные по воскресеньям и праздникам. Но и тут их на каждом шагу подстерегали неприятные неожиданности.

Во-первых, юнкерам не разрешалось ездить в экипажах, в результате чего сами собой отпадали визиты к знакомым и родственникам, жившим в отдалении от училища. Что касается театров, балов и вообще всех общественных собраний, то они были «строжайше запрещены»...

Юнкерская форма очень походила на солдатскую, но юнкера, в отличие от «нижних чинов», выходя на улицу, должны были быть при полном параде, то есть в тяжелом и холодном кивере, а не в фуражке, а главное, при сабле, также весьма тяжелой. Естественно, молодые люди, дабы облегчить себе передвижение пешком и тем самым сэкономить увольнительные часы, пускались на хитрости. Иногда переодевались в штатское платье, порой маскировались под солдатской фуражкой. Начальство, конечно, знало обо всех этих уловках; знал и великий князь, и начиналась игра в кошки-мышки. Время от времени командир Отдельного гвардейского корпуса отправлялся на прогулку, иногда в экипаже, чаще пешком. Прогулка была видом охоты: чем больше задержанных за неисправность в форме одежды удавалось засечь Михаилу Павловичу, тем добрее, довольный собственной проницательностью, он становился.

А на другой день с удовольствием рассказывал о своих трофеях. Приведу для примера опись одного «улова»: офицер в калошах, солдат пьяный, да еще в «расстегнутом виде», унтер-офицер в полу-расстегнутой куртке, гвардейский офицер, подстриженный не по уставу...

И все-таки мы можем с достаточным основанием предположить, что юнкерские годы Лермонтова сделали «страшными» отнюдь не «томительные заботы» строевой службы. При небольшом росте и не идеальной фигуре, Лермонтов был человеком сильного сложения или, как бы мы сказали сегодня, спортивного склада: неутомимым, выносливым, приспособленным к лишениям и тяготам. Но вот на парадировках, несмотря на физическую ловкость (а того, что Лермонтов был крайне ловок в физических упражнениях и крепко сидел на лошади, не отрицает даже его тайный завистник и убийца Мартынов), поэт проигрывал. Проигрывал, ибо не обладал качествами, необходимыми на кавалерийских смотрах: высоким ростом, импозантной внешностью и картинной выправкой — по тогдашним представлениям об искусстве верховой езды, наездник должен был быть красив на лошади...

Время от времени кто-нибудь из юнкеров направлялся в распоряжение шефа гвардейцев, великого князя Михаила Павловича, на жаргоне «Пестрого эскадрона» это называлось «посылать на ординарцы».

Однокашник поэта вспоминает:

«Раз подъезжаем, я и Лермонтов, на ординарцы, к в. к. Михаилу Павловичу; спешились... пока до нас очередь дойдет. Стоит перед

нами казак — огромный, толстый; долго смотрел на Лермонтова (а он был мал, маленького роста и ноги колесом), покачал головою, подумал и сказал: «Неужели лучше этого уroda не нашли кого на ординарцы послать?»

Мы рискуем разминуться с истиной, если допустим, что для восемнадцатилетнего юноши в этом не было ничего мучительного и что он не страдал в глубине души, сознавая, сколько теряет из-за невыгодной своей наружности! Страдал, и еще как! Потому-то и старался взять реванш! В студенческие годы, в Москве, он еще не решался на открытое соперничество с «мастером на безделки». В училище же, где сын московского почт-директора оказался его однокашником, он, что называется, «вышел на арену»... «Перепеть» Костеньку, конечно, не удалось, но, разделив с ним пополам место первого остроумца, Лермонтов, поосвоившись к высшему курсу, стал признанным поэтом и едва ли не лучшим карикатуристом в школе. Для этого пришлось «переучить» и свое перо, и свой карандаш. А главное, перестроить, «переоборудовать» душу на новый, юнкерский — легкомысленный, фривольный, а то и прямо скабресный лад. И Лермонтов пошел на это. Больше того, опередил насмешников, стал первым над собой смеяться, сам ввел себя в юнкерский фольклор под именем циничного, ловкого и сообразительного горбуна Маёшки. Согласно толкованию Е. Ростопчиной, поэт получил это прозвище за внешнее сходство с персонажем карикатур французского художника Ш. Травье (непомерно большая голова при малом росте).

«Задор даровитого юноши, его меткое остроумие... смелый цинизм если не дела, то по крайней мере слова и, наконец, резкость суждений по всем вопросам жизни... — вот из чего слагался... образ Лермонтова-Маёшки», — пишет академик П. Сакулин.

Маёшка стал одним из главных персонажей сначала его юнкерских («Петергофский праздник», «Гошпиталь»), а затем и гусарских поэм («Уланша», «Монго»). Вещи эти, рассчитанные на «своего брата гусара», для печати не предназначались. И тем не менее сбрасывать их с творческого счета поэта было бы непростительной ошибкой. Вот что пишет о них Евдокия Ростопчина: «По выходе из школы он поступил в... один из самых блестящих полков... там опять живость, ум и жажда удовольствий поставили Лермонтова во главе его товарищей, он импровизировал для них целые поэмы, на предметы самые обыденные из их казарменной или лагерной жизни. Эти пьесы, которые я не читала, так как они написаны не для женщин, как говорят, отличаются жаром и блестящей пылкостью...»

Но дело было, конечно, не столько в жаре и пылкости, хотя и в них тоже, сколько в умении импровизировать на сюжеты самые обыденные, с чем раньше Лермонтов явно не справлялся, предпочитая низменным предметам — возвышающий мир вымысла...

Уже после смерти поэта, в 1843 году, его старший друг и наставник, автор знаменитого романа «Русские ночи» князь Владимир Одоевский — художник, обладавший даром предвиденья, напечатал «Психологические заметки», где среди прочих соображений есть и такое:

«...Под каким условием поэзия, или искусство, могут существовать в наше время? Человек не верит и поэзии; вымысла для него недостаточно; „Илиада" ему скучна; он требует от поэзии того, что не находит



в науке, — сущности, словом, науки; ныне поэзия, чтобы достигнуть своей цели — пробудить сочувствие в душе человека, должна встречать человека у порога его дома, заговорить с ним о его домашних горестях, о средствах поправить семейные обстоятельства, о том, что его окружает, словом, о его индивидуальном счастье; для сего поэт должен знать все подробности человеческой жизни, начиная от познаний ума до последней физической нужды! Словом, поэзия должна... обнимать целый мир не в умозрении только, но и в действительности: это инстинктуально понимают поэты нашего времени...»

Владимир Федорович Одоевский, князь и «Рюрикович» по отцу и мужик по матери, крепостной крестьянке, — был удивительным человеком. Князя считали мистиком, а его одолевала жажда положительного знания и, обладая великолепной памятью, он мог бы превратиться, подобно другу своей молодости В. Кюхельбекеру, в живую энциклопедию. Однако — не превратился: сведения, которые всасывал в себя «странный» князь, не лежали мертвой грудой, а трансформировались в оригинальнейшие, для современников большей частью непонятные, идеи. Беллетрист, музыковед, химик, философ, «русский Фауст» был к тому же прирожденным журналистом: это его кропотливому, титаническому труду обязаны «Отечественные записки» успехом: взяв на себя должность ответственного секретаря, Одоевский практически и тащил журнал на себе. Тут был дар, но была и выучка: как-никак, а Владимир Федорович Одоевский окончил с «золотом» Московский благородный пансион; там и «заболел» мыслью возвысить русскую журналистику...

По-редакторски, с учетом реального спроса, смотрел он и на текущую литературу. Лермонтова Одоевский заметил сразу, мгновенно оценив его авторский потенциал, и намертво привязал к своему журналу. Ведь Лермонтов, как практик, был блестящим подтверждением задушевной мысли теоретика Одоевского, то есть тем поэтом, кто инстинктивно чувствовал необходимость «обнять целый мир», не в умозрении только, художником, готовым подчинить всего себя изучению — самому скрупулезному (недаром Одоевский сближает поэзию с наукой) — окружающей сущности, начиная с познаний ума и кончая последней физической нуждой...

В плане этой *великой задачи* по-иному воспринимается и оценивается опыт страшных юнкерских лет. То, что могло оказаться несчастием, обернулось благом: в результате, казалось бы, «ложного» расчета юноша, выросший в оранжерейной обстановке, в московской «теплице», попал в самый омут жизни. Грубой, кичившейся своей грубостью. Невыносимой для «нежной души». Порой и прямо грязной. Но жизнью! Жизнью, которая осознавала и чувствовала себя нормой — прямоезжим трактом, столбовой дорогой, а не окольной тропинкой для одиноких путников...

В этой новой творческой ситуации — поворот к современному человеку и современности — в ином свете предстают и юнкерские поэмы. Да, «демон поэзии» обернулся здесь «мелким бесом», и притом «из самых нечиновных» (так сказано в «Сказке для детей»), но свободная, непринужденная импровизация на темы самые обыденные — новое в творчестве Лермонтова.

До сих пор поэт не мог преодолеть врожденной тяги к высокому, из ряда вон выходящему. Даже списывая вроде бы с натуры, он предпочитал людей, не типичных для данной социальной среды. Однако необыкновенные люди никак не годились в герои блестящего, но ничтожного века.

Для того чтобы разрешить проблему героя в соответствии с требованиями времени, необходимо было разгадать загадку «человека как все». Мало того, именно школа довела до совершенства умение поэта властвовать собой при любых бурях — и тех, что бушевали в его «глубокой, как океан, груди», и тех, что волновали море житейское. Там, в юнкерской среде, закалилась его замечательная выдержка. Первое испытание на выдержку Лермонтов сдал, едва переступив порог новой жизни.

4 ноября 1832 года он успешно выдержал первый и главный экзамен по математике, 14 ноября был зачислен в «Пестрый эскадрон». А менее чем через две недели произошел несчастный случай:

«После езды в манеже, будучи еще, по школьному выражению, *новичком*, подстрекаемый старыми юнкерами», Лермонтов, «чтоб показать свое знание в езде, силу и смелость, сел на молодую лошадь, еще не выезженную, которая начала беситься и вертеться около других лошадей, находившихся в манеже. Одна из них ударила Лермонтова в ногу и расшибла ему ее до кости. Его без чувств вынесли из манежа. Он проболел более двух месяцев...»

А. Меринский, в пересказе которого приведен эпизод (касательно ушиба юнкера Лермонтова лошадью — так значилось в рапорте штаб-лекаря школы), запомнил не совсем точно. Лермонтов проболел куда дольше. Травма была настолько серьезной, что родные начали сомневаться, позволит ли ушибленная, точнее, изувеченная нога продолжить военную службу.

Казалось бы, «само провидение» давало Лермонтову возможность исправить ошибку и поискать более удобный, более перспективный жизненный вариант. Заручиться, например, медицинским свидетельством, оставить школу да и махнуть за границу! Лето провести на водах, поправляя здоровье, а осенью записаться вольнослушателем в какой-нибудь из модных германских университетов (немецким Лермонтов владел совершенно свободно — его мамушкой, то есть чем-то вроде няньки, была немка). Тем более что заграничный вариант давал возможность осуществить задушевную мечту отроческих лет: увидеть туманную Шотландию, зеленые поля и округлые холмы земли его предков!

Елизавета Алексеевна Столыпина была отнюдь не богата, но позволить себе и внуку заграничный вояж, даже достаточно долгосрочный, с образовательной целью — она могла. Во всяком случае, это обошлось бы ей не дороже, чем пребывание внука в гвардии, помноженное на ее собственное столичное житье-бытье (существовать в разлуке с ненаглядным Мишелем Арсеньева не могла).

Но Лермонтов не воспользовался этим подарком судьбы. Не решил себе соблазнительной передышки. К осени 1832 года он уже совершенно твердо знал, что его место здесь, в России, и что смущавшая его «нездешность» («я здесь был рожден, но нездешний душой»)

должна быть разгадана и сопряжена с российскими же обстоятельствами.

В юнкерскую школу Лермонтов смог вернуться лишь к середине апреля 1833 года, за полтора месяца до экзаменов, которые сдал так же, как и вступительные, — более чем успешно, о чем, верный уже сложившейся привычке, не замедлил сообщить Москве, то есть Марии Александровне Лопухиной:

«Я полагаю, что вы будете рады узнать, что я, пробыв в школе только два месяца, выдержал экзамен в первый (то есть высший, последний. — *А. М.*) класс и теперь один из первых...»

Несмотря на зиму, проведенную в постели, без движения и физических упражнений, с успехом выдержал Лермонтов и еще одно испытание — лагерной, бивуачной жизнью... Больше того, эта неудобная, беспоконная и вообще-то нелегкая жизнь, по его собственному признанию, ему даже понравилась. То, что Лермонтов не рисовался, подтверждают и отзывы старых «кавказцев», наблюдавших поэта во фронтовых условиях, и, конечно же, в первую очередь его «Валерик». Я имею в виду первую часть этой маленькой поэмы — нечто вроде монолога в защиту бивуачного образа жизни:

И жизнь всечасно кочевая,  
Труды, заботы ночь и днем,  
Все, размышлению мешая,  
Приводит в первобытный вид  
Большую душу: сердце спит,  
Простора нет воображенью...  
И нет работы голове...  
Заго лежишь в густой траве  
И дремлешь под широкой тенью...

Летом 1833 года, очутившись с двумя юнкерами в одной маленькой палатке, Лермонтов впервые был поставлен перед необходимостью приспособиться к существованию в обществе, и притом в обществе с весьма своеобразными понятиями о правах и обязанностях своих членов. Вот что пишет по этому поводу уже знакомый нам Иван Анненков:

«Тем или другим путем, но общество, или, иначе сказать, масса юнкеров достигала своей цели, переламывая натуры, попорченные домашним воспитанием, что, в сущности, и не трудно было сделать, потому что одной личности нельзя же было устоять противу всех. Нужно сказать, что средства, которые употреблялись при этом, не всегда были мягки, и если весь эскадрон невзлюбит кого-нибудь, то ему было не хорошо. Особенно преследовались те юнкера, которые не присоединялись к товарищам, когда были между ними какие-нибудь соглашения... Предметом общих нападков были вообще те, которые отделялись от общества с юнкерами».

Достаточно самого беглого знакомства с юношескими произведениями Лермонтова, чтобы представить себе, как трудно было этому принципиальному индивидуалисту, потратившему столько ума и воли и в пансионе, и особенно в университете как раз на то, чтобы устоять — против всех, не слиться — со всеми, не уподобиться — массе. Это отчуждение было настолько ярко выражено в его поведении, что не осталось незамеченным сокурсниками. Вот каким вспоминает Лермонтова времен его студенчества П. Ф. Вистенгоф:

«Студент Лермонтов, в котором тогда никто из нас не мог предвидеть будущего замечательного поэта, имел тяжелый, несходчивый характер, держал себя совершенно отдельно от всех своих товарищей, за что, в свою очередь, и ему платили тем же. Его не любили, отдалялись от него и, не имея с ним ничего общего, не обращали на него никакого внимания. Он даже и садился постоянно на одном месте, отдельно от других, в углу аудитории, у окна, облокотясь, по обыкновению, на один локоть и углубясь в чтение принесенной книги, не слушал профессорских лекций».

Естественным было бы предположить, что Лермонтов, которого ни волей, ни характером бог не обидел, и в юнкерской школе займет ту же позицию по отношению к обществу: противопоставит себя — всем. Однако этого не произошло. Его однокашники по «Пестрому эскадрону» вспоминают о нем с разной степенью приязни и понимания. Но ни один не упоминает, подобно Вистенгофу, о «несходчивости» его характера. О попытках отдалиться от общества — тоже нет и речи. Наоборот! В памяти сотоварищей Лермонтов остался человеком — как все. По их утверждению, поэт был одинаково хорош со всеми.

Были ли товарищи Лермонтова столь же хороши по отношению к нему? Вряд ли... Ведь от привычки, даже страсти подтрунивать, и притом отнюдь не мягко, надо всем натянутым, неестественным, фальшивым поэт, безусловно, не отказался. Как и следовало ожидать, задетые его остротами в долгу не оставались. Лермонтову эти словесные перестрелки нравились непритворно. Нравились ли они его партнерам?

Но это мелочь, допускаемая неписаным законом «Пестрого эскадрона». В главном же «Маёшка» — хором, но не сговорившись же? — утверждают бывшие гвардейские юнкера и подпрапорщики выпуска 1834 года, «между товарищами своими ничем не выделялся».

Чем же можно объяснить столь внезапную метаморфозу? Изменением стиля поведения? Почти характера? Безошибочно верной реакцией, скорректированной «инстинктом самосохранения»? Отчасти, видимо, и этим... В университете Лермонтов мог, ничем не рискуя, навлечь на себя неприязнь всего факультета — подчеркнутым равнодушием. Ответное, мстительное невнимание вполне компенсировалось той теплотой, той сердечной заботой, в какую он окунался, едва возвращался после лекций домой, в заарбатский уют... К тому же в Москве у него был свой дружеский круг, куда, кстати, входил и Николай Поливанов (его карандаш сохранил нам и облик Лермонтова в юнкерские годы, и облик их общего быта), и, конечно же, милый Алексис, старший брат Вареньки Лопухиной.

В школе подобный эксперимент становился рискованным. И удобнее, и проще стать таким, как все. Вернее, заставить себя казаться таким, как все. Но для этого надо было, во-первых, как можно глубже спрятать себя настоящего. Во-вторых, половчее подогнать к нестандартной своей внешности, а также сущности — и костюм, и повадки типичного лейб-гусара: остроумного, бесшабашного, пьющего, но не пьянеющего, свято чтущего все обычаи своего полка, вплоть до самых дурацких...

В мемуарах Н. Бурнашева сохранилось несколько эпизодов из гусарской (уже после выпуска из школы) жизни Лермонтова, записан-

ных со слов главным образом дальнего родственника поэта — Николая Юрьева:

«Раз как-то Лермонтов зажился на службе дольше обыкновенного... Наконец решено его было оттуда притащить в Петербург... В одно прекрасное февральское утро честной масленицы я, по желанию бабушки, распорядился, чтоб была готова извозчицья молодецкая тройка... В Царском мы застали у „Майошки" пир горой и, разумеется, всеми были приняты с распростертыми объятиями, и нас принудили... принять участие в балтазаровой пирушке, кончившейся непременно жженкой, причем обнаженные гусарские сабли играли не последнюю роль, служа... вместо подставок для сахарных голов, облитых ромом и пылавших великолепным синим огнем, поэтически освещавшим столовую, из которой эффекта ради были вынесены все свечи и карсели... Булгашка сыпал французскими стишонками собственной фабрикации... а „Майошка" изводил карандаши, которые я ему починивал, и соорудил в стихах застольную песню в самом что ни есть скарпировском роде, и потом эту песню мы пели громчайшим хором... Словом, шла „гусарщина" на славу. Однако нельзя же было не ехать в Петербург и непременно с Мишей Лермонтовым, что было условием бабушки... К нашему каравану присоединилось еще несколько гусар, и мы собрались, решив взять с собою на дорогу корзину с пол-окороком, четвертью телятины, десятком жареных рябчиков и с добрым запасом различных ликеров, ратафий, бальзамов и дюжиною шампанской искрометной влаги... Перед выездом заявлено было „Майошкой" предложение дать на заставе оригинальную записку о проезжающих... в которой каждый из нас должен был носить какую-нибудь вымышленную фамилию, в которой слова „дурак", „болван", „скот" и пр. играли бы главную роль... Булгаков это понял сразу и объявил за себя, что он *marquis de Gloupignon* (маркиз Глупиньон)».

Остальные, естественно, последовали его примеру, с большим или меньшим успехом, причем сам Лермонтов присвоил себе «кличку» Скот Чурбанов. По дороге случилось что-то с одной из лошадей, которых развеселившиеся гусары гнали, забыв о благоразумии. Пришлось остановиться в неотопляемом летнем балагане, дожидаясь, пока наемный кучер приведет коня в чувство. Словом, и окорок, и телятина, не говоря уже о ликерах, оказались кстати. Уничтожив съестное, занялись сочинительством коллективной поэмы, которую записали на выбеленных стенах балагана...

Готовясь к новому летнему сезону, хозяин павильона отремонтировал помещение. «Бессмертная» гусарская поэма, сочиненная в веселую масленичную неделю, пропала бы для потомства, не окажись в шутовской компании Миши Лермонтова. Участие в заурядном приключении гениального поэта заставило Юрьева напрячь память, и он вспомнил несколько строк, впрочем, совершенно бессмысленных и заурядных. Приводить их нет никакого резона. И если я решилась на столь длинную цитату, так только для того, чтобы дать представление о жизни, какой Лермонтов вынужден был жить и в училище, и после, служа в одном из самых блестящих гусарских полков. Жил и делал вид, что эта пошлость и пустота ему вполне по нраву и вкусу! Об истине, о том, с каким трудом давалась Мишелю роль Маёшки, догадывались

немногие. Видимо, даже Юрьев, хотя и не отходил от Мишеля ни на шаг на правах родственника и домашнего друга, не догадывался... А вот добряк Сеницын, этот почти Обломов в кавалергардском мундире, кое-что почувствовал. Во всяком случае, рассказывая Н. Бурнашеву о проделках «безобразника Маёшки», он счел необходимым сделать такое разъяснение (заметьте, разговор идет между юношами, которым еще и двадцати не стукнуло!):

«По его нежной природе, это вовсе не его жанр; а он себе его напускает, и все из какого-то мальчишеского удалства, без которого эти господа считают, что кавалерист вообще не кавалерист, а уж особенно ежели он гусар».

Выбранный Лермонтовым «жанр» в самом деле мало соответствовал его натуре. Это Афанасий Иванович Сеницын заметил и тонко, и точно. Однако выбор диктовался не просто «мальчишеским удалством». Даже желанием выжить в жестокой ко всякой слабости среде, и выжить с минимальными потерями, его не объяснишь. Камуфляж, то есть полное, до уподобления, вживание в роль — а это Лермонтов умел — давал ему возможность влезть в шкуру человека *как все* с тем, чтобы постигнуть его жизнь изнутри.

Для полноты истины к рассказу Бурнашева должно быть сделано небольшое уточнение. Путешествие, подобное описанному, если бы его, что называется, засекли, могло бы дорого обойтись «шалунам». Шеф гвардейцев издавал гневные приказы по куда более ничтожным поводам. Вот одно из его распоряжений, появившееся на свет в связи с происшествием в его любимом, правильном, самом дисциплинированном Кавалергардском:

«В Кавалергардском Ея Величества полку некоторые офицеры играли на улице перед одною из квартир в одних рубашках, будучи окружены толпою крестьянских детей, что я нахожу совершенно неприличным на улице, которая служит проезжею дорогой» (случай произошел во время выезда в лагеря, когда полки расквартировывались по окрестным деревням).

«Гусарство», доведенное до абсурда, в этих условиях становилось чем-то вроде политического движения, сильно, разумеется, искаженного, но тем не менее таившего в себе искру фронды, и притом не личной, а как бы общеполковой: культ «разгильдяйства» был своего рода отместкой за «экзерциргаузный» террор, за балетное направление в военном деле, за мелочность дисциплинарных придинок...

Приказ о производстве Лермонтова в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка, подписанный 22 ноября 1834 года, был приведен в исполнение 4 декабря. В этот день начальник школы, Константин Шлиппенбах, исключив юнкера Лермонтова из «списочного состояния» (в числе нескольких других произведенных), отдал своему казначею распоряжение: сделать соответствующий расчет в артельной сумме и каждого удовлетворить причитающимися деньгами. Причитающаяся (на офицерскую экипировку) сумма была получена, но по назначению уже не могла быть истрачена. И виц-мундир, и гусарская, с белым султаном, треугольная шляпа, и щегольская шинель с непременно бобровым воротником — новенькое, с иголки, от лучшего портного, — все уже

было готово, заказано загодя стараниями бабушки, не верящей, что дожила до такого дня...

...Заказать заказала, и расплатилась не торгуясь, а как глянула на султан, так и вспомнила: уж очень на перья эти несурзные Николай, брат, напал — и стоят дорого, и сбережением, говорил, гусар озадачивают...

В столице — еще ничего, а в походе как? Куда спрятать? Где беречь?.. Ну, раз надо, так надо. И усмехнулась: племянник, Наташин сын, Алексей, про эти самые султаны анекдот сказывал.

...Лейб-гусарам строжайше запрещено было разгуливать по столице в фуражках, только в треуголках с султанами. Что делать? И таскать с собой хлопотно, и испортить жаль: за один такой гребень петушинный 150 рубликов выложить надобно, а попадешь в оперенье этом под хороший столичный дождик — и сушить не надо: сразу выкидывай. Вот и придумали: отыскивали поблизости от станции, куда дилижансы из Царского прибывают, верного человека и устроили у него шляпохранилище. На гвоздях висели треуголки и ожидали хозяев. И вот что интересно: снимал их страж шляпный с гвоздя с ловкостью поразительной и не перепутал ни разу. Не ошибся, не сбился с какого-то своего счета... Гусары покрикивают да поторапливают, шумят, галдят, а он свое дело делает — принимает шляпы, выдает шляпы...

Пусть и Мишенькина повисит на гвозде у сторожа шляпного... И под дождем побывает. Пусть все, как должно идти, идет...

Отмечая новый рубеж в их жизни, Елизавета Алексеевна позволила себе и еще одну трату: дабы запечатлеть внука в новенькой гвардейской форме, заказала Будкину большой, в натуральную величину масляный портрет.

Будкин был живописец более чем средний, из тех, о ком «сказать нечего», однако жил «порядочно», ибо завален был заказами образов и царских портретов.

Заказы шли в основном от казенных заведений: «иконостас», составленный из ликов особ царствующего дома, им полагался по статусу.

Однако и частные люди не только иконы заказывали: желали отдельные подданные апартаменты свои ликами высочайших благодетелей осчастливить. Некоторые — на всякий случай, но большинство — искренне. «Один взгляд государя, — записывает в дневнике уже известная нам Екатерина Александровна Сушкова, — внушает любовь и преданность. Что касается меня, я совершенно счастлива, когда мне случается его видеть...»

Мадмуазель Сушкова была «патриоткой», из тех, кто кричали «ура» и «в воздух чепчики бросали», и тем не менее вряд ли бы даже она осмелилась на столь пошлое выражение верноподданничества, если бы подобного рода эмоции не были общим местом в обществе, которое она обожала, и толпы, без которой жить не могла!

Сделанный вдовой Арсеньевой дорогой заказ старательный Будкин исполнил в срок и вполне профессионально.

Елизавете Алексеевне портрет очень нравился. Ее Мишель выглядел на нем почти по-столяпински. Ничего мечтательного. Ничего чрезмерного. Холодное, волевое лицо. Лицо человека, который может без всякого преувеличения сказать о себе: «Я поступков своих властелин».

До самой смерти портрет находился при ней в Тарханах, а по завещанию — перешел к Афанасию Алексеевичу Столыпину, в самые что ни на есть надежные и верные руки...

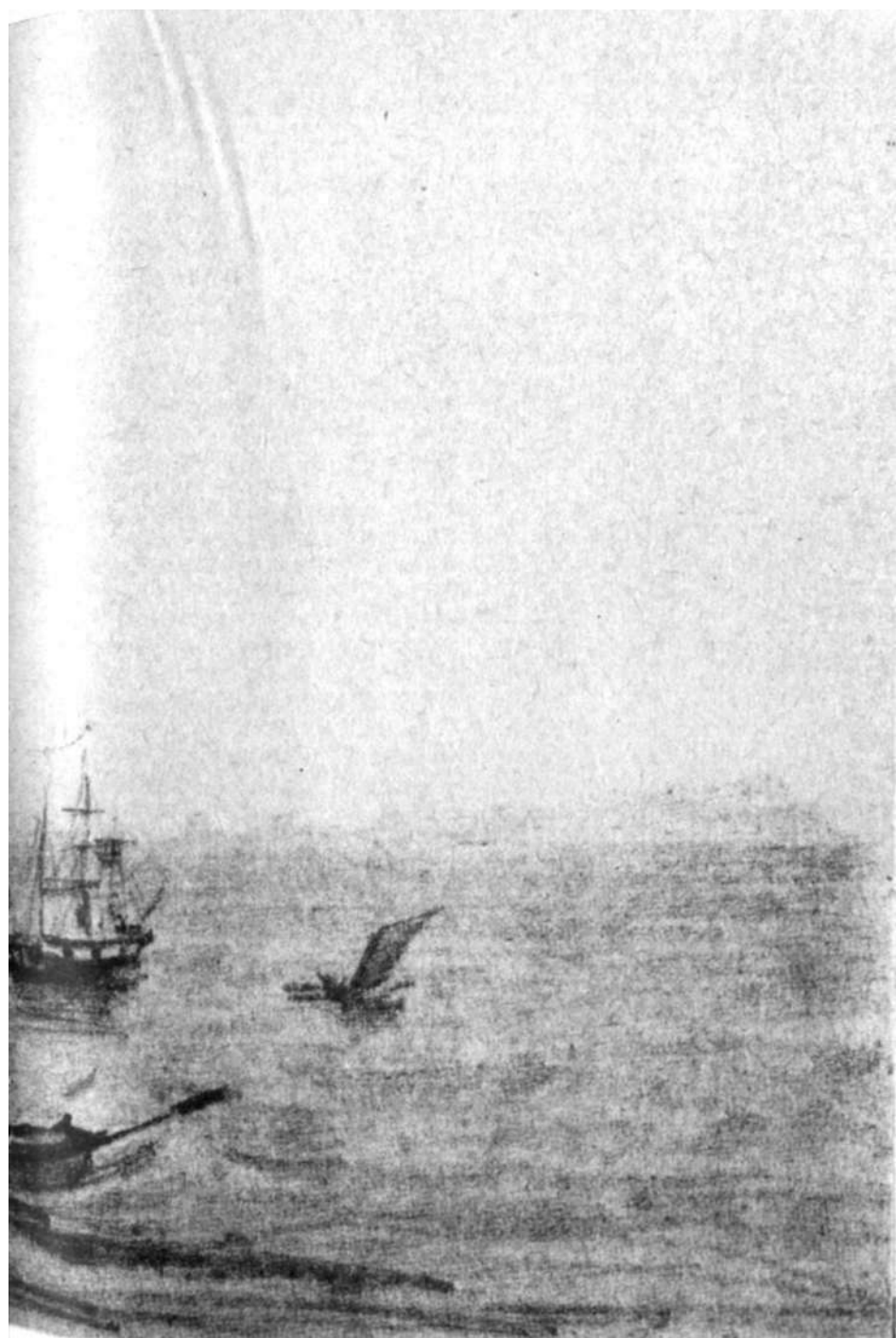
Видимо, перед этой же будкинской работой застал «старуху Арсеньеву» ее «свойственник» Бенкендорф, привезший поздней осенью 1837 года добрую весть — о всемилостивейшем прощении...

Но 4 декабря 1834 года Елизавете Алексеевне хотелось власть наглядеться не на копию — на живого внука... Мишенька не дал «милой бабушке» полюбоваться своим «гусариком»! Не представившись даже полковому начальству (в Царское Село, где был расквартирован лейб-гвардии Гусарский, он явится лишь к 13 декабря), кинулся сломя голову на свой первый петербургский бал. За первым последовал второй, за вторым — третий. Проторчав неделю в Царском, Лермонтов снова приезжает в Петербург. Надвигались рождество, святки, Новый год — «зимних праздников блестящие тревоги». Бальный, маскарадный, театральный сезон был в самом разгаре...

Елизавета Алексеевна не роптала. «Гусар мой, — писала она в канун 1835 года родственнице по мужу Прасковье Крюковой, — по городу рыщет, и я рада, что он любит по балам ездить: мальчик молоденький, в хорошей компании и научится хорошему, а ежели только будет знаясь с молодыми офицерами, то толку не много будет».







## ГЛАВА ШЕСТАЯ

...Резкая критика на современные нравы.

По странному стечению обстоятельств, на первом же петербургском балу Лермонтов встретил свою бывшую пассию — мисс Блэк-айз, Катишь Сушкову, которую не видел с того самого байроновского лета, — более чем четыре года.

За случайной встречей последовали другие. Уже не случайные.

6 декабря 1834 года. Лермонтов на танцевальном вечере у Сушковых.

7 декабря. Лермонтов у Сушковых.

19 декабря. Лермонтов на балу встречает Сушкову (перерыв вызван отлучкой по служебным делам в Царское Село).

21 декабря. Вечер у Сушковых.

22 декабря. Вечером у Сушковых.

23 декабря. Лермонтов и Сушкова на балу.

26 декабря. Лермонтов на балу у петербургского генерал-губернатора П. К. Эссена. Встреча с Сушковой.

О том, что стояло за бальными совпадениями, Лермонтов рассказал в письме к Александре Верещагиной:

«О моем житье-бытье... ничего интересного, если не считать таким начало моих приключений с m-lle Сушковой, конец коих несравненно интереснее и смешнее. Если я начал за ней ухаживать, то это не было отблеском прошлого. Вначале это было просто развлечением, а затем, когда мы поладили, стало расчетом. Вот каким образом. Вступая в свет, я увидел, что у каждого есть какой-нибудь пьедестал: богатство, имя, титул, связи... Я увидел, что если мне удастся занять собою одну особу, другие незаметно тоже займутся мною, сначала из любопытства, потом из соперничества. Я понял, что... S. желая меня *изловить* (техническое слово), легко себя скомпрометирует со мною. Вот я ее и скомпрометировал, насколько было возможно, не скомпрометировав самого себя. Я публично обращался с нею, как если бы она была мне близка, давал ей чувствовать, что только таким образом она может покорить меня... Когда я заметил, что мне это удалось, но что один дальнейший шаг меня погубит, я прибегнул к маневру. Прежде всего, в свете я стал более холоден с ней, а наедине более нежен, чтобы показать, что я ее более не люблю, а что она меня обожает (в сущности, это неправда). Когда она стала замечать это и пыталась сбросить ярмо, я первый открыто ее покинул. Я стал с нею жесток и дерзок, насмешлив и холоден, стал ухаживать за другими и (под секретом) рассказывать им выгодную для меня сторону этой истории. Она была так поражена неожиданностью

моего поведения, что сначала не знала, что делать, и смирилась, а это подало повод к разговорам и придало мне вид человека, одержавшего полную победу; затем она очнулась и стала везде бранить меня, но я ее предупредил, и ненависть ее показалась и друзьям (или недругам) уязвленной любовью. Далее, она попыталась вновь завлечь меня напускною печалью; рассказывала всем близким моим знакомым, что любит меня, — я не вернулся к ней... Когда я увидел, что в глазах света надо порвать с нею, а с глазу на глаз все-таки еще казаться ей верным, я живо нашел прелестное средство — написал анонимное письмо: „М-ле, я человек, знающий вас, но вам неизвестный... и т. д., я вас предупреждаю: берегитесь этого молодого человека М. Л. Он вас соблазнит и т. д.“... Я искусно направил это письмо так, что оно попало в руки тетке. В доме — гром и молнии... На другой день еду туда рано утром, чтобы, во всяком случае, не быть принятым. Вечером на балу я выражаю свое удивление ей самой. Она сообщает мне страшную и непонятную новость, и мы делаем разные предположения, я все отношу на счет тайных врагов, которых нет; наконец, она говорит мне, что родные запрещают ей и говорить, и танцевать со мною: я в отчаянии, но остерегаюсь нарушить запрещение дядюшек и тетушки. Так шло это трогательное приключение, которое, конечно, даст вам обо мне весьма лестное мнение. Впрочем, женщины всегда прощают зло, которое мы делаем другой женщине (сентенция Ларошфуко)».

Приключение описано подробно, я бы даже сказала, с подробностью избыточной для частного письма: скорее, конспект главы из романа, чем изящное светское послание. Однако в нем и намека нет на то, что третьим и очень важным лицом в этой интриге был Алексис Лопухин и что игра, точнее, ее конец происходила на глазах последнего: «милый Алексис» приехал в Петербург 21 декабря, анонимное письмо отослано Сушковой 5 января, в день его отбытия из столицы.

Алексей Лопухин был влюблен в Сушкову.

Согласно версии «Записок», произошло это как бы само собой, без всяких на то усилий со стороны мисс Блэк-айз. Привыкшая к мужскому вниманию, она якобы почти не обращала внимания на молодого человека, который следовал за нею как тень, куда бы она ни ехала: в театр, на гулянье, даже в церковь. (Церковь мадмуазель посещала регулярно, ибо считала себя «набожной».)

Официального предложения Алексей Лопухин (в «Записках» фигурирующий под именем Леонида) не делал, но неоднократно наводил на этот предмет разговор, осведомляясь у очаровательницы, не слишком ли он молод, чтобы жениться, и даже, как уверяет Екатерина Александровна, решился переговорить со своим отцом. Отец не отказал, но захотел познакомиться с будущей невесткой. Екатерина Александровна заробела, знакомство не состоялось.

Мадмуазель Сушкова, обладавшая некоторым литературным даром, в ранней юности вела дневник. Но известные мемуары писались по памяти: дневниковые заметки либо потерялись, либо были уничтожены ее родными. Сохранился лишь дневник за 1833 год, и он рисует несколько иную, чем «Записки», картину.

В мае 1833 года Екатерина Сушкова приехала в Москву в сопровождении петербургских родственников. Повод для визита был основательным: ее кузина, Додо Сушкова, выходила замуж за самого богатого жениха России — молодого графа Ростопчина. Москва только и говорила, что о предстоящей свадьбе. Тетки, как язвит в дневнике Катишь, совсем потеряли голову от бриллиантовой перспективы.

Свадьба была блестящей, и молодые казались счастливыми.

А накануне, согласно версии петербургской Сушковой, между кузинами состоялся откровенный разговор, и Додо якобы сказала: «Представь себе, Catherine, вся Москва завидует моей участи, моим бриллиантам, а какой у меня будет кабинет: просто игрушечка».

Все было: и бриллианты, и кабинет, и конфеты знаменитой тогда фабрики «Реномэ», которые юный граф выписывал для юной графини из Петербурга по неслыханной цене: 25 рублей серебром за каждый картонаж.

Да только недолго наслаждалась Додо элегантностью своего кабинета...

7 марта 1834 года, менее чем через год после «бриллиантовой» свадьбы, А. Я. Булгаков писал дочери, сообщая не без ехидства:

«Граф Андрей уезжает на днях в деревню и увозит Додо, которая в отчаянии. Вот тебе и блестящая свадьба, и именно этого недостает, так как бриллианты, алмазы, все это заложено, и представь себе, что этот Андрей, такой ничтожный и спесивый, Настолько глуп, что всюду говорит, что ему не на что жить и он должен уехать, зарыться в деревню. Додо только что не плачет: что я буду делать в деревне. Я умру от скуки с моим мужем, который только и будет делать, что спать да курить, она до того дошла, что сказала: ах, я была бы более счастлива, сосланная в Пензу. Каково! Вот тебе и богатства несметные».

Помните эпизод из повести Ростопчиной «Чины и деньги», где героиня объясняет отвергнутому за бедность возлюбленному причину своей «измены»: «Я не могла противиться — мне грозили деревней, Костромой, заточением... бог знает чем!»

Судя по Пензе, ссылкой в которую грозили Додо ее тетки, если она откажет бриллиантовому жениху, сославшись на то, что уже «дала слово» молодому Голицыну, этот аргумент не выдуман — ни в повести, ни в письме почт-директора. В остальном же Булгаков слегка преувеличивает: желаемое явно опережает действительное. До окончательного разорения семейственного, когда граф Андрей вынужден был отправиться служить в Иркутск, а дочерям, как бедным родственницам, стала оказывать покровительство богатая тетка, Евдокия Петровна, к счастью, не дожила. Тетка, кстати, та самая Александрина Пашкова, которой Додо когда-то на радостях подарила свое приданое: небольшое хозяйство в окрестностях Москвы с громадными оранжереями. В сравнении с баснословным состоянием жениха оранжереи казались безделкой. Состояние улетучилось, как дым, а оранжереи приносили солидный и верный доход.

Не был полным ничтожеством и младший сын «неистового губернатора»; просто он, как и многие наследники шальных состояний, «принадлежал к числу тех русских людей, которые решительно не

знали, что с собой делать, и потому делали то, что попадалось под руку...».

Граф Андрей Федорович Ростопчин собирал картины, открыл даже первую в Москве общедоступную галерею, куда хлынули толпы народа: дворяне, купцы, духовные, даже крестьяне...

Кроме того, Ростопчин-младший страстно любил книги. Б. Модзалевский, написавший его биографию, утверждает: «Не будь Ростопчин так богат в молодости, из него бы выработался усердный библиограф или историк прошлого нашей родины, которым он несомненно интересовался...»

Что касается «бриллиантов», какие и к свадьбе, и в дальнейшем — «по торжественным дням» — дарил Додо ее супруг, то и они сослужили добрую службу.

У Андрея Федоровича был странный род скупости. Он бросал деньги бог весть куда и на что, но при этом в отношениях с домашними придерживался строгих правил: выдав Евдокий Петровне крупную сумму на личные расходы (500 тысяч), он раз и навсегда отказался платить по ее счетам. А деньги графине были нужны, и не только на туалеты. Все свои гонорары она отдавала Владимиру Одоевскому — на благотворительные общества, между тем как у самой на руках постоянно висело несколько бедствующих семей, а позднее, и множество «московских гениев в крайности».

Ее дочь, Лидия, свидетельствует:

«По смерти моей матери все футляры (с драгоценностями) оказались пустыми. Драгоценности были заложены в ломбарде, а деньги розданы московским литераторам».

Разумеется, в мае 1833-го никто и предвидеть не мог подобного разворота событий, и Екатерина Александровна заболела от зависти. А чтобы вылечиться, нацелилась на молодого Лопухина. Даже тетки и те были смущены откровенностью, с какой поднатореляя в «искусстве страсти нежной» племянница кокетничала с мальчишкой, «у которого на губах молоко не обсохло». Но Сушкова уверенно шла к своей цели: Лопухин, не заметивший обладательницу уникально-черных глаз на свадебном балу у Додо, к осени был совершенно покорен и, главное, связан обязательством жениться.

Ничего более существенного мадмуазель добиться не смогла: Алексею было всего 19 лет, и он целиком зависел от отца. С тем и уехала восвояси. А тут из Персии вернулся давний ее обожатель — Хвостов, и она совсем уж было махнула рукой на «лопухинский вариант». И вдруг фортуна сделала реверанс: старик Лопухин скоропостижно умер, и Алексис-Леонид оказался наследником солидного состояния и хозяином собственной судьбы.

По просьбе Алексея Сашенька Верещагина написала мисс Блэк-айз, что Лопухин любит ее. Сушкова восприняла осторожный «относительно сердечной склонности» запрос как официальное предложение и тут же дала формальное согласие — «стала считать себя его невестой и успокоилась насчет своей будущности». Единственной предосторожностью, какую подсказал мадмуазель ее многолетний опыт охоты на женихов, была просьба к Сашеньке: ничего не говорить родным Лопухина.

Итак, Алексей Лопухин ехал в Петербург с самыми серьезными намерениями, то есть для того, чтобы сделать Екатерине Сушковой официальное предложение, а об этом в Москве никому, кроме Верещагиной, не было известно. В том, что сестры и родственники не одобряют этого шага, Алексис, похоже, не сомневался. Видимо, о планах друга ничего не знал и Лермонтов, во всяком случае, до вечера 4 декабря. Как свидетельствует сама Сушкова, главной темой их бального разговора был именно Алексей Лопухин. Подробностей будущая госпожа Хвостова не приводит. Но зная ее характер, ее плохо управляемое тщеславие, трудно предположить, что она смогла удержать в секрете столь выгодную для нее новость. До приезда Лопухина оставалось почти двадцать дней. И в эти двадцать дней Лермонтов успел сделать все, чтобы его друг мог воочию убедиться, что же представляет собой избраница его сердца. Правда, как утверждает А. Глассе, ссылаясь на позднейшие признания как самой Сушковой, так и подруг Верещагиной, инициатива расстроить брак принадлежала последней. Думается, это не соответствует истине. Доказательство тому — уже процитированное письмо Лермонтова к Верещагиной. Меньше всего оно похоже на отчет о выполненном поручении! Наоборот! Все те подробности, которые могли бы навести ее на мысль, что к случившемуся он, Лермонтов, что называется, руку приложил, из текста тщательно изъяты. Там, где нужно открыться, Лермонтов закрывается: «Не могу сказать вам, как все это пригодилось мне; это было бы слишком долго и касается людей, которых вы не знаете...» Типичный образчик психологического шифра, где все надо читать наоборот. Лермонтов потому и не рассказывает, для чего пригодилась ему «игра с Сушковой», что это касалось, и притом самым серьезным образом, людей, которых Сашенька Верещагина знала слишком хорошо, — Алексиса и сестер Лопухиных.

Словом, именно это письмо, чья подспудная цель — представить «приключение» так, будто Алексей Лопухин не имеет к нему никакого отношения, — верное доказательство, что и план, и исполнение принадлежали самому Лермонтову, что он сам, по собственной инициативе, без подсказки умной кузины, «отбил» Сушкову у Алексиса, заставил ее отказать выгодному жениху, а в день отъезда написал упомянутую анонимку.

В пользу этой версии свидетельствует, кстати, и день, в который встретились будущие герои «Княгини Лиговской» — Лермонтов-Печорин и Сушкова-Негурова. 4 декабря — день святой Варвары, день именин Вареньки Лопухиной. Встреча с Сушковой не могла об этом не напомнить, даже если предположить, что новоиспеченный лейб-гусар в выпускной суматохе позабыл священную для него дату. Но это маловероятно. Память, так же, как и любовь, и скорбь, и надежда, была подданной «грозного духа», и ее власть над сердцем не зависела от выкладок ума и доводов рассудка.

Этот день рыцарю святой Варвары, пусть пленному, пусть «законному», словно в «каменный панцирь», в «червонный ментик», необходимо было ознаменовать подвигом в честь «дамы своего сердца». А в распоряжении пленного рыцаря было только пространство бальной залы. Это определило и форму, и план подвига, на

первый, поверхностный взгляд, банального и пошлого, но человеческого и даже благородного, если отвлечься от внешнего и следить лишь за ходом и чередованием внутренних мотивов и побуждений. Ведь Лермонтов видел Сушкову насквозь:

«Эта женщина — летучая мышь, крылья которой зацепляются за все встречное... есть что-то такое в ее манерах, в ее голосе грубое, отрывистое, надломленное, что отталкивает». Понимал также, что Алексею, не вмешайся он, Лермонтов, в его matrimониальные планы, не выпутаться: дядьям засидевшейся девицы очень хотелось их повенчать, сбить с рук «теряющий свежесть товар». Следовательно, прекрасно представлял, во что превратилась бы жизнь милого ему семейства, не говоря уже об Алексисе, если бы эта холодная, тщеславная, грубодушная женщина вошла в их дом на правах хозяйки!..

Слухи о том, что у Миши Лермонтова роман с мисс Блэк-айз, долетели до Москвы с необычайной быстротой. В период зимних праздников количество путешествий из Петербурга в Москву и из Москвы в Петербург резко увеличивалось.

Лермонтов счел необходимым объясниться с Марией Александровной Лопухиной, а через нее — с Варварой. Впрочем, приключение с m-lle S. в данном случае, скорее, предлог, точнее, повод для исповедального послания.

23 декабря 1834 года Лермонтов отправил в Москву, Марии Лопухиной, такое письмо:

«Любезный друг! Что бы ни случилось, я никогда не назову вас иначе; ибо это значило бы порвать последние нити, связующие меня с прошлым, а этого я не хотел бы ни за что на свете, так как моя будущность, блистательная на вид, в сущности, пошла и пуста. Должен вам признаться, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что из меня никогда ничего не выйдет со всеми моими прекрасными мечтаниями и неудачными шагами на жизненном пути; мне или не представляется случая, или недостает решимости. Мне говорят: случай когда-нибудь выйдет, а решимость приобретется временем и опытностью!.. А кто порукою, что, когда все это будет, я сберегу в себе хоть частицу пламенной, молодой души, которою бог одарил меня весьма некстати, что моя воля не истощится от ожидания, что, наконец, я не разочаруюсь окончательно во всем, что в жизни заставляет нас двигаться вперед? Таким образом, я начинаю письмо *исповедью*, право, без умысла! Пусть же она послужит мне извинением: вы увидите, по крайней мере, что, если характер мой изменился, сердце осталось то же. Лишь только я взглянул на ваше последнее письмо, как почувствовал упрек, — конечно, вполне заслуженный... Я теперь бываю в свете... для того, чтобы меня узнали, для того, чтобы доказать, что я способен находить удовольствие в хорошем *обществе*... Ах! я ухаживаю и вслед за объяснениями в любви говорю дерзости... Вы думаете, что за это меня гонят прочь? О нет! напротив: женщины так уж сотворены. У меня появляется смелость в отношениях с ними. Ничто меня не смущает — ни гнев, ни нежность; я всегда настойчив и горяч, но сердце мое холодно... Не правда ли, я далеко пошел!..



И не думайте, что это хваставство... этим ничего не выиграю в ваших глазах. Я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; потому что вы одна меня пожалеете, не унижая, так как и без того я сам себя унижаю. Если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал... О, как бы я желал опять вас увидеть, говорить с вами: мне благоворны были бы самые звуки ваших слов. Право, следовало бы в письмах ставить ноты над словами, а теперь читать письмо то же, что глядеть на портрет: нет ни жизни, ни движения; выражение застывшей мысли, что-то отзывающейся смертью!..

...Мне бы очень хотелось с вами повидаться: простите, в сущности, это желание эгоистическое; возле вас я нашел бы самого себя, стал бы опять, каким некогда был, доверчивым, полным любви и преданности, одаренным, наконец, всеми благами, которые люди не могут у нас отнять и которые отнял у меня бог!»

Лермонтов, как мы видим, уверяет М. Лопухину, что послание его — исповедь, но исповедь исключает дипломатию, а лермонтовское послание — верх дипломатического искусства. Ведь ему нужно найти слова, чтобы объяснить необъяснимое: почему он, Лермонтов, сам, по своей воле, отказывается от всех тех благ, какие сулило ему «возвращение на Молчановку»: от любимой, от счастья, от всего того, что не могут отнять люди, в том числе, и от себя прежнего — доверчивого, полного; любви и преданности, такого, каким он, судя по письму, все еще оставался там, внутри, под маской «веселого маленького гусара» по прозвищу Маёшка...

Тут и не захочешь, а вспомнишь, вслед за Блоком, о необходимости расшифровывать Лермонтова:

«Когда роют клад, прежде разбирают смысл *шифра*, который укажет место клада, потом «семь раз отмеривают» — и уже зато раз и навсегда безошибочно «отрезают» кусок земли, в которой покоится клад. Лермонтовский клад стоит упорных трудов».

Чтобы отмерить безошибочно, необходимо найти ключ к шифру. На мой взгляд, им является юношеская «Молитва» Лермонтова, точнее, ее концовка:

От страшной жажды песнопенья  
Пускай, творец, освобожусь,  
Тогда на тесный путь спасенья  
К тебе я снова обращусь.

Лермонтов отнюдь не из подражания общепринятому поэтическому политесу называл Варвару Александровну Лопухину «мадонной». Любовь к ней, в чисто человеческом плане, была спасением. И как ни были суровы обстоятельства, стоявшие между ними: молодость Мишеля, нерасположенность родных Варвары Александровны к нему как жениху, — они были все-таки преодолимы. Возможность счастья отнимали у Лермонтова и в самом деле не люди и их претензии, а именно «бог», то есть высшая сила, которой угодно было наделить его «страшной жаждой песнопенья». И он не мог ее обменять, даже если бы и захотел, ни на одно из земных благ. Даже на союз с девушкой, к которой тянулось все лучшее, что было заложено в его существе.

Сложность заключалась в том, что Лермонтов в канун рождества 1835 года, несмотря на тайный договор с «демоном поэзии», меньше чем когда-либо был уверен в себе. Он отнюдь не преувеличивает, когда признается Марии Лопухиной в том, что не знает, сможет или нет реализовать заложенный в нем дар гениальности. Или случай не представится, или не хватит решимости. Мы-то теперь, более чем полтора века спустя, знаем: и случай представился, и решимости хватило. Но в ту тревожную декабрьскую ночь, покрывая «бумаги лист летучий» решительным и четким почерком прекрасного рисовальщика и мысленно представляя себе, что происходит в это время в милой Москве, на Молчановке — всю эту, знакомую ему по опыту московской жизни, предрождественскую суету, с которой так прочно, с детства, связывался образ простого счастья, — он ведь и в самом деле не знал, на что конкретно меняет любовь. Может быть, на пустые мечтания? На химеру? Или, что еще страшнее, на дешевое холостяцкое гусарство и недорогие лавры гвардейского барда?

Через несколько лет, весной 1839 года, поздравляя Алексиса с рождением первенца, Лермонтов сделает другу такое признание: «Ты нашел, кажется... ту узкую дорожку, через которую я перепрыгнул, и отправился целиком. Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме и поминай как звали, да еще будут ли поминать? Я похож на человека, который, отведав от всех блюд разом, сытым не наелся, а получил индигестию, которая вдобавок, к несчастью, разрешается стихами».

Не правда ли, знакомый по «Молитве» мотив: «тесный путь спасения» — «узкая дорожка», которую Лермонтов сознательно, волевым усилием перепрыгнул? Хотя уже тогда — и готовясь к прыжку, и в самый момент прыжка — знал, что это — единственный путь, ведущий к земному счастью, правда, при условии, если искатель счастья может отправиться по «узкой дорожке», по «тесному пути спасения» — *целиком...*

Но вернемся в предрождественскую ночь 1834 года...

Лермонтов не случайно упоминает в письме к М. Лопухиной о нотах, которые надо бы ставить над стесненными «холодной буквой» словами: ему так хочется убедить дорогую Мари, а через нее и мадмуазель Барб не судить об его истинных чувствах по внешнему поведению! И этим как-то повлиять... нет-нет, не на окончательное решение относительно Варвары — такую ответственность Лермонтов взять на себя не может, ведь он уже отступился, отказался, перескочил через спасительную тропинку!.. Но хотя бы отсрочить решение ее судьбы до его отпуска, который все откладывается и откладывается, до приезда в Москву... Пусть хотя бы до тех пор все останется по-прежнему! Пусть ничто не переменится на Молчановке! Эта мольба об отсрочке, о великодушии — безрассудна, безумна и находится в вопиющем противоречии со всем тем, чего автор дипломатического послания с такой волей и выдержкой добивается... И тем не менее в этом противоречии нет ничего необъяснимого, если рассматривать его не с точки зрения здравого смысла, а как одну из тех «загадок», на которые столь щедр «грозный», «чуждый

уму» дух. Вспомните эпизод из «Героя нашего времени», когда Печорин, после дуэли, получает прощальную записку от Веры.

«Я как безумный выскочил на крыльцо, прыгнул на своего Черкеса... и пустился во весь дух... по дороге в Пятигорск... Я скакал, задыхаясь от нетерпения. Мысль не заставить уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в сердце! — одну минуту, еще одну минуту видеть ее, проститься... Я молился, проклинал, плакал, смеялся... нет, ничто не выразит моего беспокойства, отчаяния... При возможности потерять ее навеки Вера стала для меня дороже всего на свете — дороже жизни, чести, счастья! Бог знает, какие странные, какие бешеные замыслы роились в голове моей... И между тем я все скакал, погоняя беспощадно... И вот я стал замечать, что конь мой тяжело дышит; он раза два уже споткнулся на ровном месте... Оставалось пять верст до Ессентуков — казачьей станицы, где я мог пересесть на другую лошадь. Все было бы спасено, если б у моего коня достало сил еще на десять минут! Но вдруг, поднимаясь из небольшого оврага, при выезде из гор, на крутом повороте, он грянулся о землю! Я проворно соскочил, хочу поднять его... напрасно... я остался в степи один, потеряв последнюю надежду; попробовал идти пешком — ноги мои подкосились; изнуренный тревогами дня и бессонницей, я упал на мокрую траву и как ребенок заплакал. И долго я лежал неподвижно и плакал горько, не стараясь удерживать слез и рыданий; я думал, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровие — исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк... Когда ночная роса и горный ветер освежили мою горящую голову и мысли пришли в обычный порядок, то я понял, что гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно. Чего мне еще надобно — ее видеть? зачем? Не все ли конечно между нами? Один горький прощальный поцелуй не обогатит моих воспоминаний, а после него нам только труднее будет расставаться».

Тут суть не в сентенции: «гнаться за погибшим счастьем бесполезно и безрассудно». Сентенция принадлежит разуму, уже приведшему мысли в обычный, будничныи порядок, когда сердце опять подвластно уму и воле, и поступками правят твердость и хладнокровие. Суть в том, что происходит с человеком, даже таким, как Печорин — эгоистом и себялюбцем, когда он, силою внезапной, безрассудной и бесполезной страсти, оказывается выброшенным из привычного порядка.

Казалось бы, все другое: и ситуация, и характеры. А механизм внутреннего движения души, вырвавшейся из-под власти рассудка и здравого смысла, тот же, что и в письме к Лопухиной! Чего ему еще надобно? Ведь и так яснее ясного: все конечно между ним и его детской «мадонной»! На что он может надеяться, отступившись, не расплатясь даже за два с лишним года верности и ожидания! Украдкой протянутая рука, быстрый, горький поцелуй? Больше-то не на что? Но вот ведь надеется, хотя бы на это... И напрасно. Он, Лермонтов, жил по одному календарю. А в Москве, на Молчановке — по другому. Мария Александровна была недостаточно догадлива, чтобы правильно прочитать сказанное между строчками, но достаточно разумна, чтобы понять: один прощальный поцелуй

ничего не изменит. Ни в судьбе ее младшей сестры. Ни в судьбе дорогого Мишеля. Господин Бахметев посватался. Его предложение было принято. 25 мая по старому стилю в Москве, на Молчановке, состоялась свадьба Варвары Александровны Лопухиной и Николая Федоровича Бахметева.

По всей вероятности, мы никогда не узнаем, к каким аргументам прибегли родные Варвары Александровны, чтобы получить ее согласие на неравный и ничего хорошего не обещающий ей брак. Но мы имеем полное право предположить, учитывая характер дальнейших отношений Лермонтова и с самой Варварой Александровной, и с семейством Лопухиных, что особенного нажима не было, что решение приняла сама Варенька. Ведь выходя замуж за сорокалетнего, мало интересного Бахметева — человека, который ни при каких обстоятельствах не мог рассчитывать на ее сердце, она сразу всех освобождала: Лермонтова — от каких-либо обязательств, родных — от забот, себя — от соблазнительных надежд на новую встречу и новое чувство.

Замуж шла — как в монастырь уходят: чтобы не нарушить полудетской клятвы, остаться верной единственной на всю жизнь любви. Видимо, и в самом деле была умна. И не только умом умна, но и душою — из тех, «которым рано все понятно», в том числе и про себя самих...

Не понял сути происшедшего, как это ни странно, Лермонтов. Сначала был только шок, вызванный неожиданностью.

Аким Шан-Гирей:

«В это время (дело было весной 1835 года. — *А. М.*) я имел случай убедиться, что первая страсть Мишеля не исчезла. Мы играли в шахматы, человек подал письмо: Мишель начал читать его, но вдруг изменился в лице и побледнел; я испугался и хотел спросить его, что такое, но он, подавая мне письмо, сказал: „Вот новость, — прочти“, — и вышел из комнаты. Это было известие о предстоящем замужестве В. А. Лопухиной».

И встала обида, под которую Лермонтов, моливший о великодушии, пытается подогнать самое невеликодушное из объяснений! Не только сам считает, но и открыто говорит, что брак Лопухиной и Бахметева сладили деньги — «серебро», «милion». И это он, так хорошо знавший, как далека Варвара Александровна от подобных расчетов!

Вот что пишет он Верещагиной, стараясь довести до сведения падшего ангела-хранителя свою оценку «измены» — реакция эта выглядит как разжалование из ангельского чина:

«...госпожа Углицкая... мне также сообщила, что *m-elle Barbe* выходит замуж за г. Бахметева. Не знаю, должен ли я верить ей, но, во всяком случае, я желаю *m-elle Barbe* жить в супружеском согласии до *серебряной* (курсив Лермонтова. — *А. М.*) свадьбы».

Видимо, и письмо-то пишется прежде всего для того, чтобы сделать этот язвительный и во всех отношениях несправедливый намек. Варвара Лопухина, в отличие от Катишь Сушковой, бесприданницей не была. И Лермонтову уже известно, отнюдь не из устных рассказов госпожи Углицкой, что вопрос о замужестве Варвары Лопухиной — не досужая московская сплетня.

Но ему так хочется, чтобы оскорбительный намек дошел до

ушей «изменницы». Ведь он, с его-то умением читать в умах человеческих, прекрасно знает Сашеньку. Знает, что ни добротой, ни сверхщепетильностью она не отличается. На это Сашенькино свойство — на ее коготочки и на злой ее язычок — и рассчитывает Лермонтов. И не понимает, что таким образом выдает себя с головой. Так больно, так опрометчиво бьют только ослепленные болью, помноженной на обиду, когда уже не разобрать — кто виноват, кто сделал ложный или, наоборот, единственно разумный в безвыходном положении шаг... Но тут судил не здравый смысл и справедливость, а чувство невосполнимой — навеки! — потери...

В. Грехнев, автор работы о психологических принципах «Княгини Лиговской», первый подметил весьма своеобразную особенность лермонтовского психологизма:

«Внешние движения персонажа, внешняя логика его поступков уже не опредмечивают (как это было в русской прозе до лермонтовского периода. — *А. М.*) течение человеческих переживаний сколько-нибудь определенно и недвусмысленно... напротив: они маскируют эмоции. Взору доступна лишь обманчиво спокойная «поверхность» душевного потока, глубинные же струи его не выходят наружу. Поступок лишь отдаленно и лишь по контрасту намекает на глубину и силу душевного потрясения. Конкретный ход чувств, психологическая оценка ситуации — все это не восстановимо по ориентирам внешнего действия. Более того, кажется, Лермонтов-художник здесь усиленно подчеркивает расхождение внешнего и внутреннего в человеке, давая понять, что далеко не все в душевном мире личности может быть воплощено однозначным языком внешнего описания».

И далее: «Лермонтовское психологическое описание, если и не разрывает окончательно связи поступка и переживаний, то во всяком случае показывает непрямолнейность этих связей, допуская двойственность истолкования одних и тех же фактов и зависимость их восприятия от позиции воспринимающего субъекта».

Все вышесказанное приложимо и к лермонтовской переписке 1834—1836 годов. По тонкости психологических нюансов письма тех лет не уступают лучшим страницам и «Княгини Лиговской» и даже «Героя нашего времени». Разрабатывая свой метод преобразования житейского факта, Лермонтов проверял, испытывая корреспонденток, достигает ли цели исповедь, маскирующая истинные эмоции, исповедь, где описание поступков не связано с утаенным душевным движением, а только намекает на него, и чтобы разгадать этот намек, от адресата требуется умение читать не просто слова, но и то, что эти слова по тем или иным причинам маскируют...

«Княгини Лиговской», куда почти без изменений войдет «приключение с мадмуазель S.», еще и в помине нет. Однако, сравнивая этот текст с дипломатической перепиской в связи с рискованным приключением, видишь, как напряженно, подгоняя жизнь и не давая ей остыть, Лермонтов выжимает из действительности материал для современного романа! Замысел туманен и различается неясно: непременно о Петербурге, о петербургском обществе, нечто вроде острозлободневной хроники, с критическим уклоном, но при этом

без сатирических выпадов: тонкий психологизм и грубость открытой «обличительности» — несовместны.

Словом, произведение, которое свободно и плавно вписалось бы в его главную Думу — о веке нынешнем, «блестящем, но ничтожном». «Патриотка» Катишь как нельзя лучше годилась в хронику в качестве характеристического лица петербургского общества, не в главные героини, конечно, но годилась. За неимением прототипа, с которого можно было бы списать героя ее романа, в игру включается сам Лермонтов; приключение с мадмуазель S. должно дать автору (он же исполнитель мужской роли) возможность «ощупать беспристрастно свои способности и душу и по частям их разобрать».

Разбирать и рассматривать каждый свой поступок и каждое душевное движение Лермонтов, как мы знаем, приучил себя чуть ли не с младенчества, но в данном случае, может быть, впервые в его жизни, было не вообще ощупывание — в целях самопознания, а рассмотрение себя и в «микроскоп», и в «телескоп» в очень определенной, самой жизнью сработанной для петербургской хроники, ситуации.

Думается, и фраза из письма к Верещагиной: «Не могу сказать как все это пригodiлось мне», — имеет не только бытовой, но и литературный смысл.

Однако о какой петербургской хронике может идти речь, если автор всего как несколько месяцев освободился и от тесной юнкерской куртки, и от короткого — длиною в увольнительную — юнкерского поводка? Его наблюдательность — неутомима, его способность постигать истину в «краткий миг» — уникальна, но существенность, то есть тайна Петербурга, слишком сложна, и пространство, какое надлежит «рассмотреть по частям», не вообще, а применительно к определенному сюжету, чересчур уж обширно; к тому же многие его закоулки недостижимы для гусарского офицера, привязанного — опять привязанного! — родом службы к Царскому Селу!

Пять месяцев гусарской свободы изменили представление Лермонтова о петербургском обществе как о правильном французском саде, где исследователю современных нравов нечего делать:

«Все почти жалуются у нас на однообразие светской жизни, а забывают, что надо бегать за приключениями, чтоб они встретились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или иметь один из тех беспокойно-любопытных характеров, которые готовы сто раз пожертвовать жизнью, только бы достать ключ самой незамысловатой, по-видимому, загадки; но на дне одной есть уж, верно, другая, потому что все для нас в мире тайна, и тот, кто думает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего друга, горько ошибается».

Пять месяцев службы внука в блестящем гвардейском полку истожили сбережения, какие Елизавете Алексеевне удалось сделать, пока Мишенька жил на всем готовом, и деньги требовались в основном на то, чтобы расплачиваться с извозчиками да владельцами кофейных домов.

Корнет лейб-гвардии получал 276 рублей в год. К окладу при-

лагались месячные или рационные: 84 рубля. Если учесть, что мастеровой, живя артельно, мог безбедно, с говядиной и гусем по воскресеньям, прокормить себя на 3 рубля в месяц, император «на хлеб» выдавал своей гвардии более чем щедро. И все-таки жалованье было чисто номинальным: чтобы не отстать от других, Арсеньевой приходилось добавлять не менее десяти тысяч, не считая трат на гусарское обзаведение. Квартира в Царском, правда, была казенной, но ведь нужны и лошади, и экипаж, и кучер, и повар, и слуги...

Один из однопольчан Лермонтова вспоминает, что Михаил Юрьевич часто ночевал у него, так как свою квартиру никогда не топил. Вряд ли это простая халатность. Зима 1834—1835 годов была на редкость великоснежной, вьюги продолжались до весны. 7 апреля (по старому стилю) на Петербург и его окрестности налетела такая метель, что на улицах столицы—при квартальных надзирателях и караульных будках чуть ли не на каждом углу!—погибло несколько десятков человек. Подвоз оказался затруднителен, дрова, и так дорогие в Петербурге, встали в одну цену с мебелью. Неудивительно, что «люди Лермонтова», воспитанные в суровых правилах вдовы Арсеньевой, не зная, когда их барину вздумается нагряться из Петербурга, экономя в обрез заготовленное топливо, не обогревали парадные, господские комнаты...

Итак, вьюжная, снежная весна 1835 года. В Москве, в доме Лопухиных, готовятся к предстоящей свадьбе; в петербургской квартире Арсеньевой—беспорядок и суматоха. Елизавета Алексеевна уезжает в Тарханы: раз служба внука требует денег, значит, необходим и ее личный, пристрастный надзор над ходом хозяйственных дел в Пензенском имении.

Это была их первая разлука. Мишель переносил ее болезненно. «Не могу выразить,—писал он одной из московских кузин, —как меня печалит отъезд бабушки. Перспектива в первый раз в жизни остаться одиноким меня пугает. Во всем этом большом городе не останется ни единого существа, которое бы мною искренне интересовалось».

Совершеннейшим одиночеством отъезд Елизаветы Алексеевны Лермонтову, конечно, не угрожал. При нем оставался уже знакомый нам Николай Юрьев, который, хотя и был прикомандирован к гвардейскому полку, расквартированному в Новгороде, но, по его собственному признанию, большую часть времени проводил в Петербурге. Не имея собственной квартиры, он жил у Арсеньевой, как и Раевский.

Святослав Афанасьевич был внуком подруги ее молодости, и Елизавета Алексеевна посчитала необходимым оказать ему гостеприимство.

Будучи старше Мишеля лет на шесть, Святослав Афанасьевич по окончании университета служил в одном из петербургских департаментов, а свободное время отдавал социально-политическим наукам. По отъезде Арсеньевой он остался «за старшего»: и опекун, и учитель, и нянька! И тем не менее Лермонтов совершенно искренен, жалуясь, что его начал мучить страх остаться одиноким.

Бабушкину же заботу, ее любовь и оборону заменить не могло даже общество умных и расположенных к нему друзей.

Еще тяжелее переживала разлучение Елизавета Алексеевна... А между тем деньги у нее были, и — немалые. По смерти Арсеньевой наследники, кроме Тархан, получили 300 тысяч рублей ассигнациями. Та же сумма имелась в ее распоряжении и при жизни внука. П. Вырыпаев недоумевает: почему, при таком запасе наличных денег, Арсеньева за столько лет не выплатила долг даже в Опекунский совет, те самые 38 тысяч, которые когда-то, в 1826-м, ссудила племяннице своей, Марии Акимовне Шан-Гирей?

Можем и мы задать вопрос: почему не порушила Елизавета Алексеевна своей копилки весной 1835 года, когда после полугодовой службы внука стало ясней ясного: денег не хватает и, чтобы обеспечить житье, надо отправляться в Тарханы и навести там порядок. Казалось бы, чего проще? Чем обречь себя на невыносимую муку разлуки — раскупорить кубышку да пустить в расход лежащие без дела ассигнации!

Не вскрыла. Не пустила в расход. И с внуком тайной не поделилась. Примирилась с необходимостью отъезда. И дорогу перемогла, хотя и с трудом. Почти на целый месяц, по немочи, в Москве задержалась...

Так неужели и тут скупость?

Не скупость — другое. И раньше хворала, а в Петербурге совсем расклеилась: одна хворь отцепится, другая прицепится. Близок конец — вот что поняла вдова Арсеньева. И испугалась. Не за себя — за Мишеньку... С чем останется? Афанасий, конечно, не бросит, и именье на себя возьмет, но ведь и брат немолод, шестой десяток вон когда пошел. А не станет Афанасия...

Страшно думать об этом было, однако думала, внука мыслями о непрочности плоти своей не тревожа: без больших денег нельзя Мишеньку на свете этом одного оставлять. Ну, а пока ноги худо-бедно держат и мысль в ясности пребывает, как-нибудь выкрутимся.

И выкрутилась:

«Милый, любезный друг Мишенька. Конечно, мне грустно, что долго тебя не увижу, но, видя из письма твоего привязанность твою ко мне, я плакала от благодарности к богу... 12 октября получила письмо твое, что тебя не отпускают... посылаю... тебе, мой милый друг, тысячу четыреста рублей ассигнациями да писала брату Афанасию, чтоб он тебе послал две тысячи рублей... надеюсь на милость божию, что нынешний год порядочный доход получим, но теперь еще никаких цен нет на хлеб, а задаром жалко продать хлеб... Я в Москве была нездорова, оттого долго там и прожила, долго ехала... а в сентябре ждала тебя, моего друга, и мне до смерти грустно, что ты нуждаешься в деньгах, я к тебе буду посылать всякие три месяца по две тысячи по пятьсот рублей, а всякий месяц хуже слишком по малу, а может иной месяц мундир надо сшить... лошадей тройку тебе купила и, говорят, как птицы, летят, они одной породы с буланой и цвет одинакой, только черный ремень на спине и черные гривы... домашних лошадей шесть, выбирай любых, пара темно-гнедых, пара светло-гнедых и пара серых...



Как бог даст милость свою и тебя отпустят, то хотя Тарханы и Пензенской губернии, но на Пензу ехать слишком двести верст крюку, то из Москвы должно ехать на Рязань, на Козлов и на Тамбов, а из Тамбова на Кирсанов и Чембар, у Катерине Аркадьевне (то есть в Москве, в московском доме Е. А. Столыпиной, владелицы Середниково. — А. М.) на дворе тебя дожидается долгуша точно коляска, перина и собачье одеяло, может еще зимнего пути не будет...»

И собачье одеяло, и перина пуха легчайшего кстати пришлось, а вот долгуша — не пригодилась; свой первый офицерский отпуск — «на шесть недель в губернии Тульскую и Пензенскую, по домашним обстоятельствам» — Лермонтов получил лишь 20 декабря 1835 года. По зимнему пути, следуя указанным милой бабушкой самым удобным маршрутом, одолел расстояние от Петербурга до Тархан в десять дней, да еще с остановкой в Москве — для выяснения отношений с Варварой Александровной, теперь уже не Лопухиной, а Бахметевой.

В Тарханах Михаил Юрьевич появился перед самым Новым годом — 31 декабря 1835-го.

...Итак, в мае 1835 года Лермонтов впервые оказался один. При всей своей любви к независимости он плохо переносил одиночество: незримое присутствие бабушки было необходимо ему — черта странная и редкая в молодых людях его возраста. И к тому же — не модная. Пушкин, к примеру, едва выйдя из Лицея, тут же завел себе квартиру, пусть почти чулан, но особый, отдельный от родителей.

И все-таки Лермонтов сумел извлечь пользу из этого, в сущности, печального для него обстоятельства. Одиночество помогло «завезть пружину» огромного предприятия.

«Маскарад», в отличие от пробных юношеских пьес, с самого начала предназначался для постановки на театральной сцене. Подразумевался и вполне определенный театр. Александринский.

Конкретность цели. Одиночество, подхлестываемое самолюбием: надо же доказать предавшим его Лопухиным, что и он, их маленький Мишель, способен на нечто большее, чем пописывание стишков! Ведь стишки в ту пору сочиняли все. Даже его двоюродные деды — Столыпины. Сочиняли, а иногда и печатали, правда, в мало-заметных, почти любительских изданиях, похожих на модные альбомы, издаваемые типографским способом.

Нет, стихи, даже опубликованные, как «Хаджи Абрек», но не замеченные ни критикой, ни читателями, ничего не прибавляли, не убавляли, не оправдывали его претензий на исключительную судьбу — тех авансов, какие он выдавал себе, когда писал: «Мой гений веки пролетит».

Иное дело — драма! Разумеется, принятая модным столичным театром! Драма для такой цели — доказать! — годилась как нельзя лучше.

Словом, момент был подходящий. Лермонтов собрался, сосредоточился (он это умел — «утонуть деятельным умом в единой мысли!»). И вот результат: «Маскарад» написан в поразительно короткий срок.

Весной о нем еще и разговору нет, а в октябре Михаил Юрьевич уже представил положенные два экземпляра в драматическую цензуру и господину Гедеонову, управляющему репертуаром петербургских императорских театров.

8 ноября 1835 года рукопись была возвращена цензором для «нужных перемен». На «перемены» ушло чуть более месяца. Лермонтов не просто приписал к имеющимся трем актам четвертый. Он значительно переработал пьесу с учетом как цензурных, так, видимо, и театральных требований. Новый вариант был проще, но сценичней.

Это не спасло драму...

По возвращении из отпуска Лермонтов опять примется за «Маскарад». Перекроит до неузнаваемости. Даст новое название — «Арбенин». И снова сделает попытку поставить его.

Никогда еще Лермонтов не был так настойчив в достижении своей цели: пробиться ценой любых жертв, любых компромиссов, даже прибегая к прямой протекции, на сцену столичного театра...

Тут необходимо разобраться внимательней. Это один из тех моментов в жизни поэта, когда сопоставление фактов, прежде не сближаемых, хотя порознь и общеизвестных, может приоткрыть если и не тайну «лермонтовского клада», то направление, в котором следует «искать».

В нашем нынешнем представлении Михаил Юрьевич Лермонтов — прежде всего поэт и прозаик. «Маскараду», при всех его несомненных литературных достоинствах, не суждено было сыграть крупной или хотя бы заметной роли в истории русской драматургии. Он так и остался пьесой второго плана, уступив пальму первенства «Горю от ума» и «Ревизору». Но тогда, весной 1835 года, раскладка была иной. Во всяком случае, в понимании самого Лермонтова. Уверенней всего он чувствовал себя именно в драматургии. Роман — не складывался («роман мой сплошное мученье»). Лучшая из кавказских поэм — «Хаджи Абрек» — сенсации не произвела. На сенсацию Лермонтов с «Хаджи Абреком» и не рассчитывал. Уже в этой незамеченной поэме внимательный читатель мог бы, конечно, почувствовать нечто специфически лермонтовское. Своего рода «склад», «никому иному не принадлежащий», «особенность», «производящую сильное впечатление» (Н. Огарев). И все-таки в целом вещь мало чем отличалась от типичной «кавказской поэмы»; переложенный звучными и картинными стихами А. Бестужев-Марлинский.

К тому же в мире театра у Лермонтова практически не было ни одного сильного соперника. Репертуар создавали «гречи» и «каратыгины» — авторы однодневок. Переводные пьесы по своим художественным качествам были не лучше отечественных. Причин на то много. И строгость театральной цензуры, не выносящей ничего сильного и выдающегося. И вкусы публики. И плохие переводы, и прочее, и прочее. Большая русская драматургия еще только-только начиналась. Грибоедов погиб. Пушкин писал «Маленькие трагедии» не для сцены. Николай Гоголь весной 1835 года не знал, что скоро станет автором бессмертного «Ревизора».

Словом, в 1835 году «вакансия» первого драматического поэта была «пуста» и Лермонтов в своих стратегических планах это, по-видимому, учитывал.

Не должны мы забывать и вот еще о каком обстоятельстве. Лермонтову, еще не совсем преодолевшему к 1835 году «салонный взгляд на жизнь» (мнение В. Белинского), мир театра был ближе, чем мир журнальной, уже ставшей на коммерческий путь литературы. «Золотая пора просвещенных театралов», заменявших собой и режиссеров, и критику, и профессиональных педагогов (знаменитый князь Шаховской — автор «летучих» комедий и директор первого театрального училища, Павел Катенин — литератор и вечный оппонент Пушкина), кончалась. Однако отношение к театру и вообще к театральному, как к занятию, вполне „прилично-му для человека высшего общества, продолжало бытовать. И не только в образованных слоях богатого дворянства, но и в великосветских аристократических кругах. Театралом, и притом «просвещенным», считал себя даже первый дворянин Российской империи Николай Романов.

Вообще-то у государя было очень мало личного времени: он регулярно вставал на заре, проводил за работой 18 часов в сутки, «ничем не жертвуя ради удовольствия и всем ради долга» (А. Ф. Тютчева).

Но когда он все-таки позволял себе отпуск, в одной из летних резиденций затевались по его инициативе домашние спектакли. Николай, как правило, сам выбирал пьесу, сам назначал актеров (из числа придворных) и, присутствуя на всех без исключения репетициях, поправлял, учил — словом, «брал на себя роль режиссера». По окончании мероприятия «женскому персоналу» вручался «гонорар» — браслеты, серьги, золото и бриллианты, и обязательно с памятной надписью.

А однажды, как вспоминает П. Каратыгин, плодовитый комедиограф и брат знаменитого петербургского премьера, во время представления его пьесы — «Ложа третьего яруса» — при дворе, в Гатчине, император, сев нарочно сбоку, незаметно ушел за кулисы, накинув на себя заранее припасенную серую унтер-офицерскую шинель и под восторженно-умиленный хохот зала явился на сцену квартальным надзирателем...

Маркиз де Кюстин, приехавший в Россию в 1839 году, понаблюдав за бытом императорского семейства и вообще «света», тонко заметил: «Русский двор напоминает театр, в котором актеры заняты исключительно генеральными репетициями».

Страсть Лермонтова к театру была наследственной. Огромный крепостной театр содержал его прадед по матери Алексей Столыпин. Театр был слабостью Михаила Арсеньева. Даже в самоубийстве его — в разгар новогоднего маскарада — есть что-то театральное, словно бы заранее расчитанное на эффект, на «публику».

Актерским даром обладал и Лермонтов. И когда современники, вспоминая о нем, пишут: «В высшей степени артистическая натура», — это отнюдь не метафора. А. Н. Муравьев, например, утверждает, что Лермонтов не рассказывал, а «играл анекдоты». Не пел, как все, а «играл» Михаил Юрьевич и романсы — «говорил их речитативом». Столь необычную для исполнительской практики той поры манеру можно объяснить отсутствием певческого голоса, но голос у Лермонтова был, и притом обработанный правильными занятиями с педагогами. В одном из писем А. В. Верещагина спрашивает: «А ваша музыка? Играете ли вы по-прежнему увертюру „Немой из Портиччи“, поете ли дуэт из „Семирамиды“, поете ли вы его как раньше во все горло и до потери дыхания?»

Уж если Лермонтов мог петь дуэты из опер Россини, то сумел бы и

романсы исполнить — во весь голос. Однако не делал этого. Романсы в его представлении были новеллами или даже маленькими романами, и их следовало не петь, а играть. С учетом именно этой манеры исполнения — речитатив под гитару — написаны и собственные романы-романсы Лермонтова: «Воздушный корабль», «Тамара», «Свидание»...

Перевоплощался Лермонтов не только на сцене, но и в жизни: так легко, так вдохновенно (и не догадаешься, что роль!) играл он и циничного горбуна Маёшку, и веселого беспечного гусара. Не отказывался, кстати, и от участия в любительских спектаклях. Софи Карамзина, дочь знаменитого историка, едва ей представили новую знаменитость — это было уже в 1838 году, — тут же предложила Лермонтову принять участие сразу в двух пьесах. В одной он должен был играть негодянта, во второй — ревнивого мужа.

Спектакль имел успех, хотя Лермонтова на премьере не было (за дисциплинарное нарушение он сидел под арестом), однако на репетициях именно он, по общему мнению, шел «первым номером».

К сказанному выше надо, на мой взгляд, добавить еще такую подробность. Среди первоначальных впечатлений, имевших над Лермонтовым, в силу специфики памяти, огромную власть, самым долгодействующим и самым ранним было впечатление как раз театральное. В четырехлетнем возрасте его взяли на представление модной в те годы оперы «Невидимка». Реакция ребенка оказалась столь острой, что ее не изгладили восемь долгих тарханских лет.

«Невидимка» — первое развлечение, какое позволил себе тринадцатилетний Лермонтов, привезенный в Москву на учебу.

С этой — второй — «Невидимки» и началось его увлечение театром марионеток, для которого Мишель стал сочинять маленькие пьесы. До этого никакой склонности к литературным занятиям в нем не замечали.

Зрелище, поразившее воображение сначала ребенка, а потом и подростка, наверное, и в самом деле производило впечатление. Оно было Зрелищем в прямом, наивном и прекрасном смысле слова: с хорами, балетами, сражениями, а главное, волшебными, сказочными превращениями:

«...Стол, превращающийся в огненную реку; дуб, разделяющийся на две части, из коего вылетает Полель на облаке, мост, по коему проходят черные рыцари чрез всю сцену, который потом разрушается; слон, механически устроенный, натуральной величины, на коем Личардо превращается в разные виды; вырастающая рука Цымбалды; гора, превращающаяся в море, куст, из коего делается грот; храм, занимающий всю широту сцены и спускающийся на облаках с... группюю Гениев и Амуров, позади коего видна прозрачная радуга» и т. д. и т. д.

Время шло. На смену увлечению потешным театром пришли Шиллер и Шекспир... А когда появилась потребность думать и писать о русском и для русских, — Александр Грибоедов.

Один из братьев Муравьевых, Андрей Николаевич, сдружившийся с Лермонтовым в 1834—1835 годах, в книге «Знакомство с русскими поэтами» пишет, что Лермонтов так объяснил замысел своей вещи: «Комедия, вроде „Горя от ума“, резкая критика на современные нравы».

Утверждая в разговоре с А. Н. Муравьевым, что хочет создать на петербургском материале комедию вроде «Горя от ума», Лермонтов, видимо, несколько упрощает идею замысла: кроме острой критики на

современные нравы, в «Маскараде» дан символический образ Петербурга — города, где все вынуждены «скрывать свою настоящую природу». Символическая модель столицы о двух этажах: маскарадная зала в бывшем дворце, открытая всем и каждому, — ее видимая, надземная часть; игорные дома — подполье. «В маскарад» никто не имеет права явиться без маски, но без маски, приросшей к лицу, никто не осмелится войти и в «раззолоченную гостиную», оттого петербургское общество, на взгляд постороннего наблюдателя, и производит в первый момент впечатление подстриженного французского сада.

Это закон всеобщий, ему вынуждены подчиняться и «населенцы» подземного вертепа: если хочешь выиграть, научись прятать свое лицо, надевай другое — вместо своего, но при этом умей разглядеть малейшие оттенки мимики своего партнера, по словам и жестам, не связанным прямо с потаенным душевным движением, — его мысли и намерения. Этот обобщающий образ — образ «замаскированного города» — существует в драме на правах поэтической заставки; он как бы растворен, «утоплен» в тексте. Лермонтов спешит «отделаться стихами» от тех впечатлений, наблюдений, какими благодаря любопытно-беспокойному характеру за полгода «гонки за приключениями» уже переполнен.

В программу зимних праздников, в атмосферу которых окунулся новоиспеченный корнет, входило множество увеселений: санные поездки в знаменитый «Красный кабачок», катанье с русских ледяных гор — все они описаны и воспеты в светских повестях 30-х годов: в «Очерках большого света» Ростопчиной, в петербургских вещах Бестужева-Марлинского.

Но Лермонтов безошибочно выбрал самое «модное» место: дом Энгельгардта, то самое место, где течение века образовало нечто вроде водоворота.

Полемизируя с Фаддеем Булгариным, редактором «Северной пчелы» и идеологом литературы, которую в скором времени начнут называть мешанской, а также с теми из тогдашних писателей-бытовиков, кто видел в свете лишь предмет для благонамеренной сатиры, Владимир Одоевский писал в 1833 году:

«Из слухового окошка, а иногда — извините — из передней вы смотрите в гостиную; из нее доходит до нас невнятный говор, шарканье... лорнеты, поклоны, люстры — и только... Нет, господа, вы не знаете общества, вы не знаете его важной части — гостиных!.. О! если бы вы положили руку на истинную рану гостиных, — не холодный бы смех вас встретил; вы бы грустно замолкли, или бы от мраморных стен понесся плач и скрежет зубов!»

Лермонтов в «Маскараде» сделал именно это: «положил руку на истинную рану гостиных»... Услышал: плач и скрежет зубовой...

А. Ф. Тютчевой потребовалось около десятка лет, чтобы поставить диагноз болезни, которой Двор заразил петербургское высшее общество: «А взгляд императрицы был законом, и женщины рядились, и мужчины разорялись, а иной раз крали, чтобы наряжать своих жен...»

Лермонтов определил петербургский недуг — истинную рану гостиных — куда скорее.

Не имея доступа в те сферы жизни, где мужья могли красть напрямую, он изобразил особый вид кражи — азартную игру и мир азартных игроков.

Закон гласил: «Всякие азартные игры в карты, на деньги и вещи, запрещены под наказанием, которому подвергаются не только промышленляющие игрою, но и лица, способствующие запрещенной игре».

Кроме азартных, не дозволялись орлянка и даже лото, зато были разрешены так называемые коммерческие игры, которые, как полагал закон, ведутся для забавы и препровождения времени, а не в расчете на денежный выигрыш.

Разумеется, и это постановление нарушалось — и безнаказанно — и не где-нибудь, а в непосредственной близости от постоянного местожительства главного «законодателя».

Слухи о том, что где-то ведется крупная игра, носились в воздухе и будоражили гостиные обеих столиц. И тогда кто-нибудь из летописцев светской жизни записывал в дневнике, в целях конспирации не называя игроков полными именами:

«Много говорят о больших суммах, выигранных и проигранных в карточной игре; уверяют, будто А. Р. поплатился 80 тыс., а в городе говорят: 800 тыс., и будто С. П. их выиграл, но это басни, не могу им поверить, так как не знаю, где они играют таким образом, но все эти истории будут иметь печальный конец».

Выяснить, где таким образом играют, частным лицам было, действительно, довольно трудно, но полиция, имея в своем распоряжении раторопных агентов, вроде описанного Лермонтовым в «Маскараде» вездесущего Шприха, прекрасно знала адреса подпольных игорных домов. Знала, но помалкивала, ибо умение держать подобного рода тайны за зубами являлось верным источником «порядочного» дохода.

Одним из примеров того, насколько точно угадал Лермонтов типичную для середины тридцатых годов «светскую болезнь», может служить история князя Андрея Николаевича Вяземского.

В отличие от Евгения Арбенина, женившегося, что называется, «на авось» («чтоб иметь святое право уж ровно никого на свете не любить»), князь Андрей, влюбившись в замужнюю женщину, — выкупил ее у мужа. Муж был «скупенек», а жена много тратила, и, разозлившись на слишком длинный счет из модных лавок, который ему только что пришлось уплатить, он не только согласился на развод, но и взял на себя, правда, за очень крупное вознаграждение, «все вины». Влюбленный «до страсти», князь обладал достаточным состоянием, жена была мила, приглядна и с легким характером. Казалось бы: жить да поживать да детей наживать... А жизни не было: князь играл, княгиня наряжалась; отдаваясь своим склонностям, «мотышка» и «картежник» не знали удержа.

Княгиня Наталья бесперывно меняла квартиры и каждую доводила до максимальной совершенства. Но еще более обожала она «хорошенькие туалеты» и чистосердечно признавалась в этом: «Я скорее буду есть размазну и готова отказать себе во всем прочем, но люблю, чтобы то, что я на себя надеваю, было хорошо».

Квартиры молодым Вяземским приходилось менять не только потому, что княгине быстро надоедала обстановка. Князь играл, и однажды в его доме произошел несчастный случай. Двое игроков, проигравший и выигравший, стали «считаться»; кончились счета печально: выигравший, схватив лежащий на столе кабинетный кинжалец, недолго думая, пырнул противника в бок.

Рана оказалась смертельной, жена убитого подала в суд; но хозяин служил чиновником особых поручений при московском генерале-губернаторе; дело замяли, однако полиция все-таки установила за домом Вяземских слежку. Чтобы избавиться от надзора, князь купил по случаю дачу, принадлежавшую прежде профессиональному игроку. Кроме общего сада и прочих удобств, в доме, построенном по собственному проекту бывшего владельца, оказался «прекрасный потаенный кабинет», в котором крупнейшие московские «карточные промышленники» вели игру.

Знал ли об этом приятном сюрпризе чиновник особых поручений при добрейшем Дмитрие Владимировиче Голицине, когда покупал дачу, или это было действительно счастливой находкой, уловка сильно облегчила ему отношения с московской полицией, но, вы, не отношения в семье. И вовсе не потому, что милая и приглядная княгиня имела что-нибудь против несчастной страсти мужа.

Каждый жил сам по себе и — своим.

Лермонтов усложняет и углубляет типичную картину светского брака: «промышленный игрок» в прошлом, составивший посредством карт крупное состояние, Арбенин «больше не играет»: женился и живет барин, нигде не служа и ничем практически не занимаясь, желая верить, что может быть счастлив внутри семейного круга.

Да и госпожа Арбенина в первых вариантах драмы, в отличие от типичных светских женщин, чья настоящая жизнь была практически «публичной» — театры, выезды, визиты, балы (дома дамы большого света лишь отдыхали, набираясь сил для очередного выезда), хотя и ведет принятый в ее кругу образ жизни, но делает это без страсти и увлечения, подчиняясь обычаю, а не внутренней потребности.

Во всяком случае, именно так оценивают свою семейную жизнь господин и госпожа Арбенины.

Но такова ли она на самом деле?

...В праздный и праздничный вечер супруги, не сговариваясь, не посвятив друг друга в свои планы, оказываются «не в том месте»: Арбенин в игорном доме, а Нина на маскараде у Энгельгардта... Ни постановщики «Маскарада», ни литературоведы обычно не удостаивают вниманием эту подробность, а между тем современникам Лермонтова — зрителям, для которых писалась драма, — она говорила куда больше, чем нам. И для того чтобы понять реакцию Арбенина, взволнованного тем, что его жена была на публичном маскараде без его ведома, необходимо знать кое-какие подробности историко-бытового плана.

В 1828 году Энгельгардт, человек богатый и энергичный, купил построенный самим Растрелли дворец. Через два года памятник старины, «отслуживший свое», превратился в модный доходный дом.

В нижнем этаже: роскошные магазины; в следующих трех — не менее роскошные квартиры, а в большом зале и в прилегающих к нему апартаментах Энгельгардт стал устраивать платные маскарады. Казалось бы, бессловесность увеселения (у Энгельгардта мог появиться всякий, заплативший за входной билет) должна была оттолкнуть особ, принадлежащих к большому свету: великосветских маскарадов и так предостаточно, и притом самых разнообразных...

4 ноября 1830 года Дарья Федоровна Фикельмон — внучка Кутузова,

дочь приятельницы Пушкина Е. Хитрово, жена австрийского посла — записывает в дневнике:

«Утром я была у императрицы по поводу приготовления костюмов для костюмированного бала... Она хотела, чтобы я участвовала в ее кадрили, заимствованной из оперы Фердинанд Кортец».

Бал-балет, задуманный императрицей, был реализован следующим образом. Сначала — стайка розовых и белых «летучих мышей», в их числе — императрица и Долли Фикельмон; затем нечто вроде живой картины: успевшие переодеться «мыши» торжественным кортежем двинулись в банкетный зал... Шествие замыкали Жрицы Солнца. Среди них, кстати, была и московская гостья — пятнадцатилетняя дочь уже известного нам Булгакова, Ольга. Девочка так понравилась царю, что Николай приказал ей снять маску. «Скрытое маской» показалось государю еще более «приглядным»; Ольгу отправили домой переодеться и снова привезли во дворец: император в паре с нею открыл вторую, уже «не маскированную» часть балльного увеселения...

С этого бала и началась светская карьера дочери московского почт-директора. Александр Яковлевич Булгаков был нежным отцом, но «солнечный» успех Ольги внес в естественные отцовские чувства оттенок благоговения; счастливому выигрышу в семейной лотерее история русского быта 30-х годов обязана ценнейшим документом — «Письмами А. Я. Булгакова к дочери О. А. Долгорукой»...

Словом, возможностей обрадовать императрицу лицемерием свежего туалета и одновременно похвастаться обширностью состояния своего супруга, действительной или мнимой, у дам большого света было сколько угодно. Мужьям приходилось раскошелиться: эта «статья расхода» работала на престиж.

В последней редакции «Маскарада» — «Арбенине» (пьеса завершена в октябре 1836) Казарин появляется в полукитайском костюме. Судя по всему, эта деталь внесена в текст с намерением, дабы вплотную придвинуть действие к жизни. Осенью «большой свет» был занят обсуждением спущенной «сверху», из покоев императрицы, идеи грандиозного китайского новогоднего маскарада. Вот что пишет всезнающий А. Тургенев своему постоянному корреспонденту А. Я. Булгакову:

«У нас морозы и балы... к 6 января готовят китайский маскарад во дворце. Графиня Разумовская будет китайской царицей. Венский любезник Пальфи — королем. Графиня сказывала, что искала шелковых кит. материй. У Чаплина по 100 р. аршин. Ей нужно 6 ар., она хотела купить кусок в 7, но Чаплин не соглашается продать менее 60 ар., по 100 р. то есть 6000 руб. на платье, потому что запас у него сделан для полного свадебного аппарата. Увидишь, что царица китайская купит 60 вместо 6».

Идея китайского бала чуть ли не полгода проигрывалась в воображении, и наконец «свет решил»: единообразие китайских костюмов утомительно. Лермонтов поймал и этот момент; оттого-то его герой и появляется в доме Арбениных не в китайском, а в полукитайском костюме!

А. И. Тургенев, которого друзья, полушутя, имея в виду его слабости, называли «симбирским ловеласом», был человеком вполне серьезным и даже принципиальным. Это он, единственный из приятелей и знакомцев Блудова, приставленного Николаем к Следственной Комиссии по делу декабристов в качестве делопроизводителя, не подал тому руки, и не



молчком, а объявив во всеулышание: «Я никогда не подам руки тому, кто подписал смертный приговор моему брату». (Младший брат Александра Ивановича, Николай, был заочно приговорен по делу декабристов.)

Не случайно именно Тургеневу выпал печальный долг — сопроводить тело Пушкина до места захоронения.

Из этой поездки Тургенев вернулся настолько удрученным, что спрятался от света, избежав нескольких обязательных балов, в том числе и «пируэтов у французского посла», куда его «забыли пригласить», думая, что он еще «в монастыре» (то есть в Святых горах. — *А. М.*). Этой ошибке Тургенев особенно рад. И отвечать Булгакову, любопытствующему о подробностях китайского маскарада, перенесенного из-за нездоровья императрицы на 14 февраля, ему не хочется, не то настроение («о бале китайском напишут другие»)… Даже этот светский, «от носка и до виска», человек, чувствует: в китайской увеселительной затее, педантично доведенной до осуществления, несмотря на Смерть Поэта, есть что-то злое и фатальное…

Впрочем, антибальная фронда Александра Ивановича длилась недолго, ведь маскарады продолжались! За неделю до ареста Лермонтова за стихи на смерть Пушкина был маскарад в Благородном собрании, и спустя неделю — еще один. На этот костюмированный масленичный бал, ровно в полночь явился император и, как свидетельствуют письма Тургенева к Булгакову, — «водил маски, кои интриговали его».

…Первый публичный маскарад в бывшем дворце состоялся в начале февраля 1830 года, а 13 февраля жена австрийского посла записала в дневнике:

«Эти маскарады в моде, потому что там бывает император и великий князь, а дамы общества решились являться туда замаскированными».

Одной из дам была сама Долли. Ей удалось, как она уверяет, переговорить и с царем, и с великим князем, не будучи узнанной. Больше того, она убеждена, что и супруг ее, Шарль-Луи, любезничал с нею, не зная, кто она такова. Думается, графиня все-таки преувеличивает свои способности перевоплощаться. Скорее всего, умный Фикельмон, стареющий муж 25-летней красавицы, решил на маленькую хитрость, чтобы угодить жене, к которой, несмотря на солидный супружеский стаж, был, видимо, все еще неравнодушен.

Публика «попроще» платила бешеные деньги за вход в надежде взглянуть на членов императорской фамилии вблизи, подышать с ними, как говорится, одним воздухом; дам высшего света, имевших эту возможность, к Энгельгардту тянуло другое.

Посещения публичных маскарадов были связаны для них с известной долей риска, но риска приятного, «волнующего кровь». Не обычный выезд в свет, а «приключение»!

Одно такое приключение подробно описано в дневнике Фикельмон. Оно дает наглядное представление и об атмосфере в доме Энгельгардта, и о том, чем рисковали дамы света, когда являлись туда «без спутников», «одни», как это сделала жена Арбенина в лермонтовской драме:

«Бал-маскарад в доме Энгельгардта. Императрица захотела туда съездить, но самым секретным образом, и выбрала меня, чтобы ее сопровождать. Итак, я сначала побывала на балу с мамой, через час от-

туда уехала и вошла в помещение Зимнего дворца, которое мне указали. Там я переменяла маскарадный костюм и снова уехала из Дворца в наемных санях и под именем м-ль Тимашевой. Царица смеялась как ребенок, а мне было страшно; я боялась всяких инцидентов. Когда мы очутились в этой толпе, стало еще хуже — ее толкали локтями и давили не с большим уважением, чем всякую другую маску. Все это было ново для императрицы и ее забавляло. Мы атаковали многих. Мейендорф, модный красавец, который всячески добивался внимания императрицы, был так невнимателен, что совсем ее не узнал и обошелся с нами очень скверно. Лобанов тотчас же узнал нас обеих, но Горчаков, который провел с нами целый час и усадил нас в сани, не подозревал, кто мы такие. Меня очень забавляла крайняя растерянность начальника полиции Кокошкина — этот бедный человек быстро узнал императрицу и дрожал, как бы с ней чего не случилось. Он не мог угадать, кто же такая эта м-ль Тимашева, слыша, как выкликают ее экипаж. Кокошкин не решался ни последовать за нами, ни приблизиться, так как императрица ему это запретила. Он, действительно, был в такой тревоге, что жаль было на него смотреть. Наконец, в три часа утра я отвезла ее целой и невредимой во дворец и была сама очень довольна, что освободилась от этой ответственности».

Словом, маскарад у Энгельгардта — не обычный костюмированный бал в узком великосветском и даже полусветском кругу, где все знали друг друга, где, маскируясь, молодая женщина всего-навсего демонстрировала себя, свою красоту, подчеркивая ее особенности необычным нарядом. И у Арбенина были все основания быть недовольным женой, решившейся на сомнительную неосторожность. Ведь для того чтобы осуществить свой план, мадам Арбенина вынуждена прибегнуть к целому ряду хитростей: во-первых, заказать загодя соответствующее платье (в отличие от мужчин, которым было достаточно полумаски или условно-маскарадного головного убора — «венетиано», — дама не имела права появиться у Энгельгардта в обычном бальном туалете), во-вторых, опять же заранее, уговориться с достаточно надежной наперсницей, поскольку нужен был не только костюм, но и место, где можно было бы переодеться, и притом дважды: до маскарада и после.

Арбенин все это знает, вмиг понял, поэтому-то и недоумевает: если Нину тянет в веселый дом на Невском всего лишь полудетское любопытство, то почему бы, в самом деле, не попросить мужа и проводить ее, да и «домой отвезть»?

Печальна не сама неосторожность, а — предосторожности, ей предшествовавшие. Все это и наводит на подозрение, что Арбенин, при всей своей опытности, прозевал, проморгал тот момент, когда из куколки вылупилась бабочка, когда его жена — ребенок, дитя, ангел — превратилась в банальную светскую женщину-даму *как все*, уже успевшую войти во вкус той относительной свободы, какую предоставлял замужней женщине кодекс большого света, уже втянувшись в паркетную войну тщеславий — умирая, не забывает спросить у горничной, к лицу ли нынче была одета...

Короче: Нина совсем не случайно оказывается на праздничном увеселении у Энгельгардта, и подозрения Арбенина, даже если вычестить из сюжета, как театральную условность, пресловутый эмалевый браслет, рождены не мнительностью, а предчувствием неизбежного конца выду-

манного им «рая», в основе которого — знание света и сердца человеческого. Нине реакция Арбенина кажется странной — не светской, неприличной, но она естественна для человека, у которого из всех земных дел — осталось одно: любовь к жене.

Но любит ли Арбенин Нину?

Вроде бы и сомневаться в этом грех. Но вот фраза, на которую стоит обратить внимание. Ее произносит сам Евгений: «Любить... ты не умел». Очень важный момент: такие себялюбцы, как Арбенин и Печорин, любить не умеют, даже если им и кажется, что влюблены до безумия, ибо ничем не умеют жертвовать. Неумение жертвовать — порок общий, болезнь целого поколения, об этом Лермонтов скажет и в «Герое...», и в «Думе», но механизм безлюбивой страсти впервые раскрыт в «Маскараде». Вот как его понимает Казарин, выполняющий, по совместительству, еще и роль отсутствующего автора:

Ты любишь женщину... ты жертвуешь ей честью,  
Богатством, дружбою и жизнью, может быть,  
Ты окружил ее забавами и лестью,  
Но ей за что тебя благодарить?  
Ты это сделал все из страсти  
И самолюбия, отчасти, —  
Чтоб ею обладать, пожертвовал ты все,  
А не для счастья ее.

Коллизия в принципе та же, что и в «Бэле». Печорин жертвует для Бэлы всем — и дружбой, и честью, и жизнью готов пожертвовать, раз уж взбрела ему на ум идея: во что бы то ни стало получить красавицукняжну. И лишь одно звено оказывается утраченным в длинной цепи предприятий ради обладания женщиной: ни разу не задумался Печорин о том, будет ли счастлива Бэла с ним — человеком, чье сердце навсегда останется для нее загадкой?

Неумение Арбенина любить не единственная причина произошедшей драмы. И его появление в игорном доме свидетельствует не просто о том, что ему вдруг, как Печорину с Бэлой, стало скучно с Ниной. Не скука выгоняет Евгения из дому, и притом тайно от жены, а неукротимое желание вновь подышать воздухом «порочной», но зато и свободной «от всех условий света» юности! Нине об этом ничего неизвестно, однако, при всей своей инфантильности, она все же чувствует: в сердце мужа есть тайник, куда ей вход воспрещен... Да и он сам в конце концов признается: «Какой-то дух враждебный меня уносит в бурю прежних дней, стирает с памяти моей твой светлый взор и голос твой волшебный».

Видимо, усилиями того же «враждебного духа», в минуту, когда Арбенин устает бороться с собой, он и оказывается перенесенным из рая в петербургском особняке в подпольный игорный вертеп. Он хочет думать, что это игра случая, но всезнающий Казарин, читающий в душе, судит иначе: «Глядит ягнечком — а, право, тот же зверь... Мне скажут: можно отучиться, натуру победить. Дурак, кто говорит».

Общеизвестно: имена двух героев «Маскарада» — Звездич, Штраль — заимствованы Лермонтовым из повести А. Марлинского «Испытание». Лермонтов, дабы не затруднять читателя, прямо указывает на предмет полемики: люди, изображенные мною, уже знакомы вам, но лишь — формально, поверхностно; глядите, каковы они на самом деле. Герои Марлинского побеждали свою натуру, исправлялись под благодатным

влиянием любви... Лермонтов, отвергая эту простодушную точку зрения, утверждает: натура сильнее добрых намерений, сильнее обстоятельств, даже благоприятных.

Евгению хочется верить, что он ускользнул из своего прошлого, переделал «состав» своей личности, личности игрока, для которого нет ничего недозванного, личности, привыкшей ощущать себя не в бытовом, а в надбытовом измерении — «в измерении Наполеона».

Воспользовавшись сравнением карточной игры со сражением, а игрока, выигравшего или проигравшего крупный куш, — с Наполеоном («Тогда и сам Наполеон тебе покажется и жалок, и смешон»), можно увидеть в Арбенине потенциально «великого человека». Но, думается, это будет искажением авторской мысли. В том-то и состоит «тайна» блестящего, но ничтожного века, что он не создает «наполеонов», не дает ходу людям со слишком сильными страстями, загоняя их в подполье, и прежде всего — в подполье игорных домов. Ведь жизнь постоянного игрока не только манила богатством, не просто обещала возможность составить Или поправить состояние, но и давала выход страстям, создавая иллюзию жизни, исполненной тревог и риска.

Это первая прикидка одной из центральных идей «Героя...»: «Гений, прикованный к чиновническому столу, должен умереть или сойти с ума...»

Николай приковал — к бюрократической конторке — весь интеллектуальный потенциал России...

«Его самодержавие божьей милостью, — пишет А. Ф. Тютчева, — было для него догматом и предметом поклонения, и он с глубоким убеждением и верою совмещал в своем лице роль кумира и великого жреца этой религии... Как у всякого фанатика, умственный кругозор его был поразительно ограничен его нравственными убеждениями... Повсюду вокруг него в Европе под влиянием новых идей зарождался новый мир, но этот новый мир индивидуальной свободы и свободного индивидуализма представлялся ему... лишь преступной и чудовищной ересью, которую он был призван побороть, подавить, искоренить во что бы то ни стало, и он преследовал ее не только без угрызения совести, но и со спокойным и пламенным сознанием исполненного долга... Можно сказать, что Николай I был Дон Кихотом самодержавия, Дон Кихотом страшным и зловредным, потому что обладал всемогуществом, позволявшим ему подчинять все своей фантастической и устарелой теории и попираť ногами самые законные стремления и права своего века. Вот почему этот человек, соединявший с душою великодушной и рыцарский характер редкого благородства и честности... мог быть для России в течение своего... царствования тираном и деспотом, систематически душившим всякое проявление инициативы и жизни... Угнетение, которое он оказывал, не было угнетением произвола, каприза, страсти; это был самый худший вид угнетения — угнетение систематическое, обдуманное, самодовлеющее, убежденное в том, что оно может и должно распространяться не только на внешние формы управления страной, но и на частную жизнь народа, на его мысль, совесть, и что оно имеет право из великой нации сделать автомат, механизм которого находился бы в руках владыки. Отсюда в исходе его царствования всеобщее оцепенение умов, глубокая деморализация всех разрядов чиновничества, безвыходная инертность народа в

целом. Вот что сделал этот человек, который был глубоко и религиозно убежден в том, что всю жизнь он посвящает благу родины».

В этих условиях любой вид независимости, даже во имя собственной личности, любое проявление индивидуальной свободы, включая такое «безнравственное», как нарушение императорского закона о запрещении азартной игры, приобретали оттенок бунта в защиту «инициативы и жизни». В государстве, где было наложено «табу» на «сильную внешнюю деятельность», карточная игра являлась порою единственным средством «не умереть от удара» и «не сойти с ума» — для тех, кто имел несчастье родиться для действия, требующего «напряжения всех душевных сил»!

Как это ни парадоксально, но даже поощряемые и явно любимые Николаем маскарады — и те несли в себе бессознательный элемент протеста против насаждаемого им «автоматизма».

Не случайно же «маскарадный бум» возникает как раз в тот самый момент, когда Николай, у которого вид человека без униформы вызывал раздражение, приказал ввести мундир для придворных дам (нововведение, как известно, настолько возмутило Пушкина, что он счел необходимым отметить его в своих записках). Под указ о дамских мундирах попадали, правда, лишь те, кто был связан с Двором службою; однако вкусы императора накладывали ограничения и на обычный туалет светской женщины, обязывая ее к сдержанности, тогда как маскарад и маскарадное платье позволяли не «прятать», а «открывать» себя! И если принять мысль В. О. Ключевского, что история женщины — это история ее костюма («и у женщины должна быть история и даже своя особая история. Но как узнать ее, по каким хартиям и летописям? А по ее платью... Костюм — это ее летопись, памятник ее дум и чувств и ее хартия»), можно предположить: мода на маскарады, охватившая в 30-х годах петербургское общество, помимо всего прочего, была еще и предвестием «женской эмансипации».

Как и многие общеевропейские общественные движения, идея эта, переместясь в Россию, приобрела несвойственные ей на Западе черты и свойства.

Вот что пишет Т. Пассек, кузина Герцена, о русском и притом «светском» варианте эмансипации. За детскими протестами — мужская одежда, езда верхом в мужском седле, поездки в гости без сопровождающих и т. д. появилась целая когорта женщин из высшего общества, решившихся отстаивать свободу и права женские куда более решительным и экстравагантным способом:

«Из раззолоченных гостиных, из бальных зал выступил целый ряд вакханок в рестораны, где среди шумных оргий, со стаканами шампанского в аристократических руках, презирая все приличия, сбросивши все маски и вуали, в знак презрения к общественному мнению, они подражали разгулу и кутежу мужчин. Новая, зарождающаяся жизнь, как весенний воздух, проникала всюду, не просвещала еще, а опьяняла головы. Под влиянием этого веянья чувствовалась подавленность воли и самобытности; чувствовалось, что есть жизнь другая — и им хотелось этой другой жизни; но какая она вне кутежа, понять не могли и не освобождались, а разнуздывались и доходили не до свободы, а до распушенности. Возмущение их было полно избалованности, каприза, кокетства. Эти

травиаты не пропадут для истории. Они составляют веселую, разгульную, авангардную шеренгу, за которой выдвигается многочисленная шеренга молодых девушек и женщин в простой одежде, с лекциями в руках».

Но это перемещение из гостиных и балльных залов в рестораны и сбрасывание масок произойдет несколько позднее, в начале 40-х годов. Маскарады у Энгельгардта как бы промежуточное звено. Здесь можно было, не рискуя всерьез репутацией, превратиться на несколько вольных часов в «разнузданную вакханку» и считать, что это всего лишь роль, соответствующая выбранному для маскарада платью, как это делает, к примеру, одна из героинь «Маскарада» баронесса Штраль: «Диана в обществе — Венера в маскараде»...

Я вовсе не утверждаю, что двадцатилетний автор «Маскарада», создавая его, заглядывал так далеко в будущее. Но, благодаря гениальной интуиции, он точно обозначил и исток «течения века», и направление этого течения!

Поэтому и драма, созданная как злободневная вещь, оказалась способной со временем — «наращивать» незамеченные, закрытые для современников «смыслы».

И вот еще на какую еретическую гипотезу наводит сопоставление лермонтовского «Маскарада» со светской хроникой 1834—1836 годов... Почему-то никто из занимающихся биографией Пушкина не обратил внимания, что «Маскарад» — трагедия ревности и мести — создавался в то же самое время и в той же самой среде, в которой созревала, медленно, но неуклонно приближаясь к кровавой развязке, и драма Пушкиных. А между тем простое сопоставление этих двух историй — той, что якобы выдумал Лермонтов, и той, какую пережил Пушкин, попавший, подобно Евгению Арбенину, в капкан «глухой ревности», — выявляет так много сближений, и сближений странных, что их не объяснить случайным совпадением. Особенно если учесть, что происходящее в семье Пушкиных было буквально у всех на глазах. «Мы видели, — свидетельствует Дарья Федоровна Тизенгаузен-Фикельмон, — как эта роковая история началась среди нас, подобно стольким другим кокетствам, мы видели, как она росла, увеличивалась, становилась мрачнее, сделалась такой горестной...»

Мог ли Лермонтов, с его страстью к приключениям сердца, остаться в числе тех, кто ничего не видел? Тем более что история началась как раз в ту самую маскарадную зиму 1834—1835 годов, когда гусарский мундир одного из лучших полков открыл Лермонтову доступ в светские гостиные, куда он входил теперь не мечтателем молодым, несостоявшимся архивным юношей, таким полулюбомудром, а художником, чувствующим настоятельную потребность углубления в действительную жизнь, какой бы пошлой и пестрой она ни была! В те самые раззолоченные балльные залы, где постоянно бывали и супруги Пушкины и где пока еще никому не известный — «неведомый избранник» — мог пристально наблюдать за «невинным» романом «самой красивой танцевальной пары в Петербурге» — кавалергарда Дантеса и Натальи Николаевны Гончаровой-Пушкиной. С Пушкиным Лермонтов знаком не был и, следовательно, мог позволить себе крайнюю меру беспокойного любопытства издалека, из неизвестности, из толпы, которое коротким знакомством исключалось как некорректное...

Разумеется, «подобные стольким кокетствам», отношения Дантеса и

Натальи Николаевны не главный объект, на который направлена неутолимая наблюдательность Лермонтова. Ведь и в «Маскараде» князь Звездич — лицо второстепенное... Казарин, смоделировав продолжение интриги, по воле случая завязавшейся в доме Энгельгардта, предсказывает Арбенину: «Несчастье с вами будет в эту ночь...» Несчастье Пушкину мог предсказать и Лермонтов, учитывая его способность «читать в уме»: уж очень непрочным выглядел союз «первого романтического поэта с первой романтической красавицей». Для того чтобы угадать это, достаточно было напряженно и пристально понаблюдать хотя бы в течение одного бального сезона и за Натальей Николаевной, обожавшей, как и Нина, входящие в моду «опасные вальсы», и за ее нетанцующим, как и Арбенин, мужем — с вечным блюдечком мороженого в руке... Мелочь, но явно списанная с натуры...

Мороженое было единственным удовольствием, которое Пушкин получал от балов, где блистала его Наташа. Над этой своей слабостью он и сам подшучивал. Даже в письмах. Так, сообщая жене о дворянском бале в огромном особняке Нарышкиных, на который не поехал, поэт пишет: «Было и не слишком тесно, и много мороженого, так что мне бы очень хорошо было». И еще: «Одна мне и есть выгода от отсутствия твоего, что не обязан на балах дремать да жрать мороженое».

Справедливости ради надо признать, что автор «Маскарада» был не единственным, кто разглядел над этим браком «знак несчастья». Уже знакомая нам Дарья Фикельмон, едва познакомившись с женой Пушкина, совсем юной, еще летом 1831 года записала в дневнике:

«Пушкин к нам приехал... Жена его прекрасное создание; но это меланхолическое и тихое выражение похоже на *предчувствие*... несчастья у такой молодой особы. Физиономии мужа и жены не предсказывают ни спокойствия, ни тихой радости в будущем. У Пушкина видны все порывы страстей; у жены вся меланхолия отречения от себя».

А ведь в 1831 году Наталья Николаевна еще не была «звездой» петербургских балов. Еще по-московскому дичилась. Еще робела. Но дневник свидетельствует, что «Сивилла флорентийская», как не совсем в шутку друзья называли графиню Фикельмон — за странную способность ее логического ума «предугадывать будущее», и на этот раз предугадала правильно...

Но бывал ли Лермонтов на балах, на которых мог видеть господина и госпожу Пушкиных? Бывал. И доказательство тому, пусть не прямое, но все-таки достаточно убедительное — его стихи, обращенные к графине Эмили Карловне Мусиной-Пушкиной:

Графиня Эмилия —  
Белее, чем лилия,  
Стройней ее талии  
На свете не встретится.  
И небо Италии  
В глазах ее светится.  
Но сердце Эмили  
Подобно Бастилии.

Если не белизной, то стройностью талии Наталья Николаевна Пушкина могла поспорить и со «шведской» Пушкиной (*так* — чтобы не путать с женой поэта, называл Эмилию Карловну острослов Вяземский). И действительно, спорила: лилейная Эмилия была главной соперницей На-

талы Николаевны. Это отмечают все без исключения современники. Как относилась госпожа Мусина-Пушкина к госпоже Пушкиной — неизвестно. Зато Наталья Николаевна была настроена весьма воинственно и, несмотря на более чем ограниченные средства (почти бедность), умудрялась «затмевать» соперниц не только красотой и молодостью, но и «убранством»; единственной, кого «жена умного поэта» не могла, при всем желании, перещеголять, была супруга английского посла, но леди «брала» не элегантною, а количеством колониальных изумрудов...

Судя по письму Александра Сергеевича к жене от 14 сентября 1835 года, где поэт спрашивает «ангела Наташу», счастливо ли она воюет со своей однофамилицей, разгар «паркетной» войны приходится на те самые танцевальные сезоны (1834—1835 и 1835—1836 годы), что и события, изображенные в лермонтовском «Маскараде».

Мадригал, подаренный Лермонтовым красавице Мусиной-Пушкиной, написан, правда, позднее. Уже после смерти Александра Сергеевича Пушкина. Однако, как свидетельствует наблюдательный Иван Тургенев, Лермонтов питал к графине «чувство дружелюбное». Отношения подобного рода вдруг, в один бальный сезон, без предыстории не складываются...

Соперничали не только сами красавицы, но и их поклонники. Лермонтов принадлежал к «партии» Эмилии Мусиной-Пушкиной. Тут был, видимо, и неосознанный каприз вкуса, и вполне осознанная неприязнь к женщинам без характера и воображения, к «петербургским льдинкам», не способным на сильное и страстное чувство.

Арапова-Ланская вспоминает:

«Нигде она (Наталья Николаевна Пушкина. — А. М.) так не отдыхала душою, как на карамзинских вечерах, где всегда являлась желанной гостьей. Но в этой пропитанной симпатией атмосфере один только частый посетитель как будто чуждался ее, и за изысканной вежливостью обращения она угадывала предвзятую враждебность.

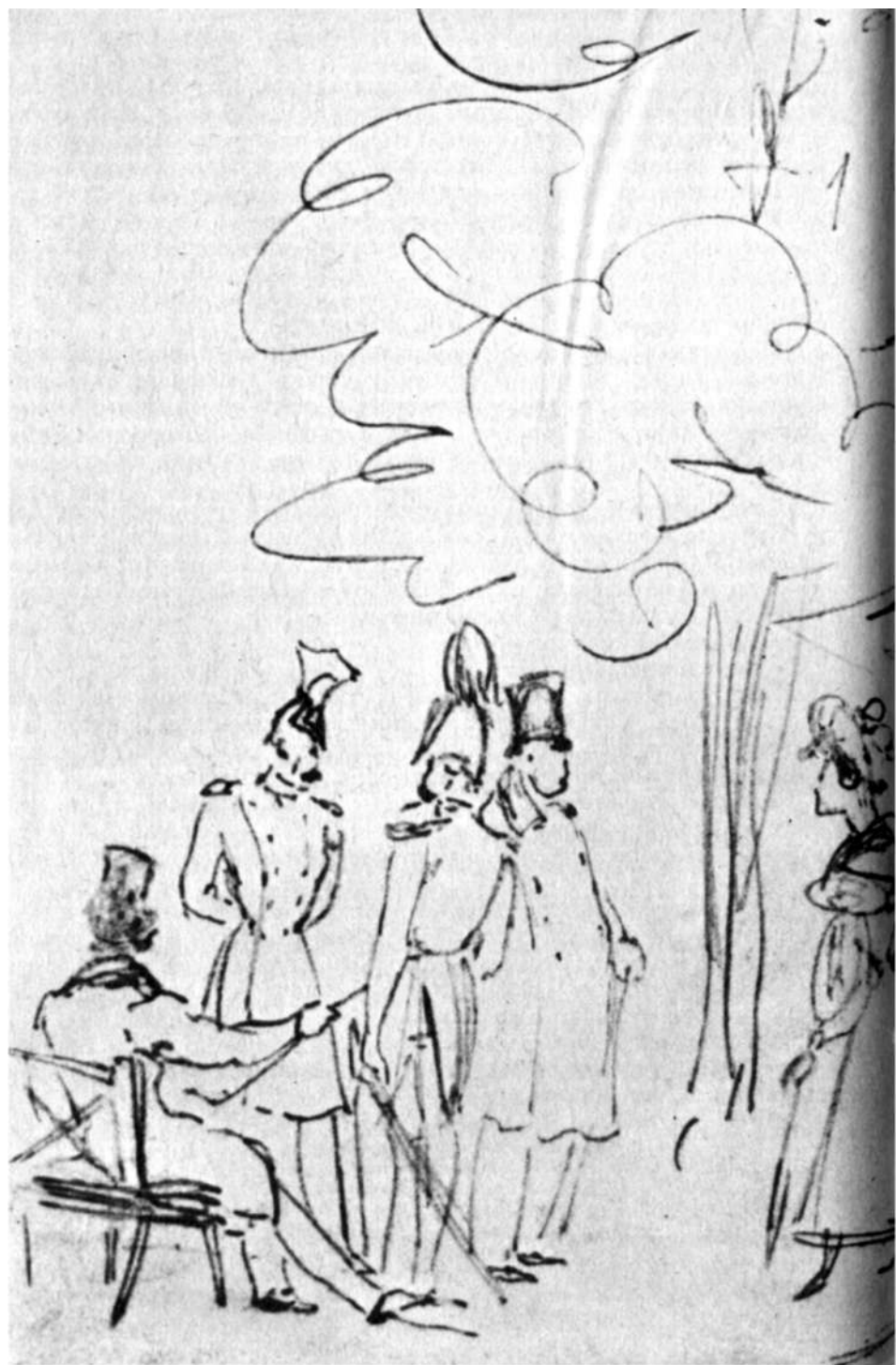
Это был Лермонтов. Слишком хорошо воспитанный, чтобы чем-нибудь выдать чувства, оскорбительные для женщины, он всегда избегал всякую беседу с ней, ограничиваясь обменом пустых, условных фраз».

По всей вероятности, дочь Ланского и бывшей жены Пушкина слегка преувеличивает. Скрытой враждебности не было. Была неприязнь. Убеждение в том, что Наталья Николаевна, при всей ее модно-романтической красоте, не стоит того, чтобы из-за нее страдал и погиб Пушкин. Сам Пушкин. Даже страсти Дантеса — и той не стоит...

В последней, пятой редакции «Маскарада» — «Арбенине» Евгений, отказываясь от дуэли со Звездичем, влюбленным в его жену и вроде бы любимым ею, так мотивирует свой отказ:

Ни вы, ни я, мы не имели власти  
В ней поселить хоть искру страсти.  
Ее душа бессильна и черства.  
Мольбой не тронется — боится лишь угрозы,  
Взамен любви у ней слова,  
Взамен печали слезы.  
За что ж мы будем драться — пусть уйдет  
Один из нас другого — так. Что ж дале?  
Мы ж в дураках: на первом бале  
Она любовника иль мужа вновь найдет.







Я, разумеется, не утверждаю, что приведенная выше цитата напрямую относится к Наталье Николаевне Пушкиной. И тем не менее, как мне кажется, есть причины, заставляющие задуматься вот над каким обстоятельством. Нина первых редакций драмы, над которыми Лермонтов работал весной, летом и осенью 1835 года, — «невинна»: маскарадная интрига с князем, равно как и связь с ним, существуют только в распаленном ревностью воображении Евгения.

В «Арбенине» (весна—осень 1836-го) картина резко меняется. Звездич, настойчиво и давно преследовавший жену Арбенина, наконец добивается своего: Нина признается, что тоже любит его. И в то же время явно боится решительных действий ошастливленного Звездича («Теперь вам мало сердца Нины, теперь вам хочется всего»). Причем руководит ею отнюдь не чувство жалости к мужу, а боязнь скандала — «испуг». В испуге, спасая себя, мадам Арбенина предает свою компаньонку, воспитанницу, фактически приемную дочь своей матери, то есть названую сестру. Клевещет на нее, уверяя Евгения, что Звездич, зачистивший В их дом в его отсутствие, ездил из-за Оленьки. И когда у Арбенина появляется план: женить «напроказившего князька» на влюбленной в него Оленьке, чтобы оградить и себя, и жену от сплетен и пересудов, Нина не возражает. Не приходит в отчаяние. Ведет себя как нельзя благороднее. Достаточно благородно держалась и Наталья Николаевна Пушкина, мадам Дантес, любимый и влюбленный, посватался и в скоростном порядке женился на ее сестре. Женился, чтобы уверить всех, что увивался вокруг Гончаровых не из-за Натальи Николаевны, а из-за Екатерины. Уверить в этом было нелегко, почти так же трудно, как придать убедительность той версии, что предлагает Арбенин (аристократ, красавец и бедная компаньонка?). Екатерина была куда старше Натальи и Александрины, по тем временам — почти «старухой». Правда, она была «девушкой из приличной семьи», вдобавок — фрейлиной, к тому же — племянницей влиятельной и богатой старой дамы, Загряжской... Но все эти достоинства, по убеждению Геккерна, приемного отца Дантеса, вполне весомые, в глазах двадцатидвухлетнего юноши выглядели сомнительными...

Станным представляется не только сходство положений, но и временные совпадения. В 1835 году, то есть до тех пор, пока бальный роман Натальи Николаевны и молодого Геккерна оставался в рамках «светского волокитства» и жена Пушкина не выделяла Жоржа из толпы многочисленных поклонников, — и Нина Арбенина относилась к красавчику-князю как к «безумному мальчишке». Не более того.

Осенью 1836 года, когда конфликт внутри треугольника: Пушкин — Наталья Николаевна — Жорж Дантес накаляется до такой степени, что Пушкин решает вызвать Дантеса, — резко меняется и положение в доме Арбениных...

4 ноября 1836 года Геккерн-младший написал Пушкину письмо; это было официальное предложение его свояченице. «Арбенин» был кончен за неделю до этого удивившего весь Петербург события. Следившие за перипетиями «горестного романа» с вдохновением обсуждают: женится или не женится Дантес на старшей, слишком «старой» и недостаточно красивой для него девице Гончаровой. Или все-таки (как Звездич в «Арбенине») с негодованием отвергнет унижительный

для его чести вариант спасения. Вариант, навязанный обстоятельствами и настойчивостью Геккерна-старшего.

Но мог ли Лермонтов знать обо всех этих перипетиях, о фактах, которые не добудешь простым наблюдением издалека? Мог. В те роковые зимы он частый гость в доме братьев Трубецких, Сергея и Александра (последний был одно время фаворитом императрицы и именовался в ее секретной переписке с подругами «Бархатом»). Сохранился «рассказ» Александра об отношениях Пушкина к Дантесу. Документ этот, записанный со слов А. Трубецкого в конце 80-х годов XIX века, среди пушкинистов не пользуется доверием, в силу его, так сказать, несерьезности: фаворит императрицы явно упрощает известные ему факты, подгоняет их под уровень своего понимания. Но для нас показания Трубецкого важнее прочих, ибо дом Трубецких — один из тех петербургских домов, куда Лермонтов являлся запросто, по дружеским отношениям с младшим братом мемуариста — Сергеем (одним из своих секундантов на последней дуэли).

Трубецкой-старший как приятель и однополчанин красавчика Жоржа был в курсе его амурных приключений. Если и не прямо через него, так через Сергея, к Лермонтову и стекалась информация о драме в семье Пушкина; все остальные источники были для него практически закрыты...

Во всяком случае, версия Лермонтова (и в «Маскараде», и в «Смерти Поэта») куда ближе к рассказу Трубецкого, чем к иным свидетельствам — более тонким и глубоким.

Прежде всего, совпадает характеристика Дантеса, точнее, один очень важный момент в этой характеристике: «Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы».

Как иностранец, вспоминает Александр Трубецкой, Дантес «был пообразованнее нас, пажей», его представил кавалергардам сам Николай I; на вид — 20, много 22 (в 1834), остроумен, жив, весел... «Он был очень красив, и постоянный успех в дамском обществе избаловал его — он относился к дамам вообще, как иностранец, смелее, развязнее, чем мы, русские, а как избалованный ими — требовательней: если хотите, нахальнее, наглее, чем даже было принято в нашем обществе».

Это во-первых. Во-вторых, конфиденгент Дантеса, Трубецкой утверждает наверняка, что в первое время «ухаживаний Жоржа за женой поэта» между ними не было «ничего серьезного»; Дантес часто посещал Пушкиных (Новая деревня, где квартировались кавалергарды, — недалеко от Царского, там Пушкины снимали дачу) и ухаживал за Наташей, как и за всеми красавицами, но вовсе не особенно „приударял“ за нею. Частые записочки ничего не значили: это было в обычае.

А. Трубецкой не преувеличивает: ухаживание сразу за несколькими особами было действительно в обычае, поскольку поклонение красавицам, возведенным мнением света в ранг первостепенных, или первостатейных, считалось не только правом, но и своего рода обязанностью истинно светского человека. (Тем самым он как бы подтверждал свое согласие с выбором «света».) Ведь предметом восхищения, обожания была не конкретная женщина, а эталон красоты — красота, всеми признанная!

Вот что пишет, к примеру, Александр Тургенев, венный холостяк и неутомимый, неистовый ревнитель красоты, а особенно сестер Шерваль — Авроры и Эмили, — уже известному нам А. Булгакову:

«Положи меня к ногам Эмили. Аврора на здешнем горизонте, но мои слабые очи не зрели ее». Встретившись с ослепительной Авророй и едва не заболев от огорчения (Аврора не сразу узнала его), Александр Иванович, занятый вроде бы по горло обилием всяческих дел, поручений, хлопот, визитов и приятельств, тем не менее находит время написать обо всех этих событиях и одновременно просит Булгакова, чтобы тот властью своей служебной не давал лошадей Эмили, дабы задержать ее в Москве до его, Тургенева, приезда. А для чего? Только для того, чтобы слабые очи стареющего эстета могли еще раз насладиться созерцанием лилейной ее белизны...

Не думаю, что Трубецкой прав, утверждая, будто Пушкин «не ревновал»; Лермонтов видел «глухую ревность» задолго до того, как для этого появились серьезные основания... Но к ревности примешивалось еще и возмущение манерой, с какой избалованный женским вниманием красавчик-француз обращался с его женой... Что касается самой Натальи Николаевны, то она, по наблюдению Трубецкого, то ли не умела, то ли не хотела «отшить» Дантеса: «Быть может, ей льстило, что блестящий кавалергард всегда у ее ног...»

Все это — и в обрисовке подробностей, и в общей картине — вполне укладывается в рамки первых, до «Арбенина», редакций «Маскарада». Но еще больше совпадений обнаруживается при сравнении второй части рассказа Трубецкого с «Арбениным».

По утверждению А. В. Трубецкого, летом 1836 года, то есть как раз в то самое время, когда Лермонтов работал над «Арбениным» и часто виделся с Трубецкими, Пушкин, возвращаясь из города, где у него было множество неотложных дел, заставал в своем доме Дантеса и недвусмысленно высказывал возмущение неуместными посещениями, слишком частыми тет-а-тет...

Тем же летом горничная Пушкиных принесла Дантесу записку от Натальи Николаевны с пометкой — «très-pressée» (крайне срочно).

Вот что было, по версии Трубецкого, в этой записке: «Наташа извещала Дантеса, что она передала мужу, как Дантес просил сегодня руки ее сестры Кати и что муж со своей стороны согласен на этот брак».

Очень сходный разворот принимают и события в «Арбенине»... Обманутый шитой белыми нитками версией, какую Нина, застигнутая врасплох ревностью мужа, не слишком удачно, в испуге, придумывает, Арбенин почти ставит князя перед необходимостью жениться на бедной названной «сестре» его жены. Звездич и удивлен и растерян: «Я не люблю ее... жениться... мысль смешна...» «С чего вы думали, что я женюсь на ней?»

Удивлен был и Дантес. Удивлен и растерян, причем до такой степени, что стал настойчиво убеждать всех присутствующих, что ничьей руки он не просил! Трубецкие еле уговорили обескураженного Жоржа успокоиться и подождать разрешения «казуса».

Казус разрешился именно так, как было намечено по плану французской записочки с пометкой — «крайне срочно».

17 ноября 1836 года на балу у С. В. Салтыкова была оглашена помолвка Дантеса и Гончаровой.

Клубок страстей, не развязанный, а еще больше запутанный этим бракосочетанием, А. В. Трубецкой постигнуть уже не в состоянии. Но для того чтобы как-то, для себя, свести концы с концами, сочиняет наивную мелодраму: Дантес, де, хотел уехать во Францию и увести с собой третью из сестер Гончаровых Александрину; Пушкин же, до безумия увлекшийся этой «некрасивой особой», все настойчивей искал повода рассориться со своим новоиспеченным родственником — «чтобы помешать отъезду Александрины».

Как ни анекдотична подобная мотивировка, она вполне в духе времени и той среды, где и вкус, и чувства воспитывали французская мелодрама и французские водевили.

В отрывке из неоконченной повести «Я хочу рассказать вам», датированной 1837—1841 годами, над которой Лермонтов работал уже после «Маскарада», вновь возникает фамилия героя этой драмы — Арбенин. Но на этот раз у него другое имя — Александр Сергеевич. Вряд ли Лермонтов сохранил бы такой прямой намек, и притом сразу на двух Александров Сергеевичей — Пушкина и Грибоедова, если бы дописал повесть, если бы подготовил ее к печати. Но в черновике оно осталось, и это, на мой взгляд, еще одно доказательство того, что Пушкин и Арбенин интуитивно связались в творческом сознании автора «Маскарада».

Ведь Пушкин, как и Арбенин, был игрок, и притом «постоянный». Он сам говорил, что из всех одолевавших его страстей страсть к игре — наисильнейшая и что он предпочел бы умереть, чем не играть. Правда, женившись, дал зарок «за игру вовеки не садиться». «Отстал», по собственному признанию, «от карт и костей», «к неопишному огорчению» бывших приятелей-картежников — «кавалергардских шаромыжников».

И все-таки: стоило Наталье Николаевне уехать из Петербурга с детьми, как Пушкин опять пускался в игру. И, как правило, проигрывал. Иногда скрывал это от жены, но чаще, со свойственной ему чистосердечностью, винился: «Я перед тобой кругом виноват, в отношении денежном. Были деньги... и проиграл их. Но что делать? я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь».

Именно в отсутствие Натальи Николаевны, и опять же в то самое время, когда писался «Маскарад», Пушкин проигрался так крупно, что не смог отдать долг попавшему в тяжелое материальное положение Павлу Нащокину, «Войнычу», — своему верному и задушевному другу.

А о том, как Пушкин, играя, заигрывался, можно представить себе по выдержке из «Записок» П. Вяземского, давнего, с лицейских лет, приятеля Александра Сергеевича:

«Пушкин, во время своего пребывания в Южной России... ездил за несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял все деньги свои и бал, и любовь...»

Кстати, именно с Пушкиным произошел эпизод, отдаленно напоминающий одну из сцен «Маскарада» (в доме Казарина, когда Арбенин садится играть «вместо» Звездича).

В надежде занять денег Пушкин зашел к своему дальнему родственнику Оболенскому, застав его за игрою в банк. Князь Оболенский был человеком вполне светским, но это не мешало ему, как утверждали злые языки, вести крупную игру не всегда «по правилам». Александр Сергеевич изложил свою просьбу. Оболенский отвечал, что будет «играть пополам», то есть в случае выигрыша отдаст Пушкину «половину». Князь выиграл. И много. По уходе же проигравшего, отсчитывая Пушкину обещанную ему часть, признался: «Каково! Ты и не заметил, ведь я играл на верное».

«Наверное» играет и Арбенин, хотя, в отличие от родственника Пушкина, «не против правил» (Оболенский просто «передернул», то есть применил шулерский прием). Однако щедрость Арбенина, как и щедрость игрока Оболенского, одной и той же природы; садясь за карточный стол, они знают, что не могут проиграться!

Звездич. Но проиграться вы могли.  
Арбенин. Я... нет!.. те дни блаженные прошли.  
Я вижу все насквозь... все тонкости их знаю...

Подтвердить документально, что Лермонтову был известен рассказанный выше эпизод, мы, конечно, не можем, однако «казусы», касающиеся столь известной личности, как Пушкин, очень быстро становились чем-то вроде анекдотов, то есть делались достоянием всего Петербурга.

А кроме всего прочего, случай был типичен, если, конечно, «забыть» его финал (Пушкин, как известно, не взял выигранные «наверное» деньги; до того рассвирепел, что «едва дошел до двери»), настолько типичен и выразителен, что грех было не «затащить» его, преобразив, разумеется, почти до неузнаваемости в трагическую сатиру на петербургские нравы. Если умнейший человек в России — игрок, то Арбенину, обреченному, как и его тезка — Евгений Онегин, — на полную праздность, и сам бог велел не отказываться от такой верной возможности «кровь привести в волнение»...

Еще одно «сближение». В знаменитом стихотворении «Смерть Поэта» Лермонтов сравнивает 37-летнего Пушкина с 18-летним Владимиром Ленским — «неведомым», но «милым певцом». Странность этой параллели, на мой взгляд, объяснима лишь в одном случае — если допустить, что Лермонтов, наблюдая Пушкина в самой невыигрышной для того роли (светского человека с небольшим состоянием, огромными расходами, немолодого и некрасивого мужа слишком юной и красивой жены), — понимал, какие муки приносит тому «глухая ревность»; если допустить, что автор «энергической оды» своими глазами видел, как, ревнуя, поэт терял не только ум, но и выдержку, и достоинство, забывая что он — не «неведомый певец», как юный герой его романа, а гений. Хозяин русской поэзии. И ныне, и присно, и вовеки веков.

Все это вместе взятое не могло, видимо, не вызывать у Лермонтова удивления и даже досады. Перед ним был совершенно чуждый ему тип поведения. Ведь он рано научился быть властелином своих поступков, еще в отрочестве сумев так поставить себя, что ничто земное не могло сделать его своим невольником...

«Смерть Поэта» — реакция на кровавый финал пушкинской драмы.

Начало, завязка ее — в «Маскараде». Речь идет, повторяю не о буквальном описании «истинного происшествия». Создавая острую критику на петербургские нравы, Лермонтов не имел в виду бытописание. На первом плане у него все-таки *Идея, Мысль*, которую разрешить надобно. Однако ему нужны факты, материал, ему нужны прототипы — как можно больше прототипов — характеристических лиц петербургского общества!

Отказаться в этих обстоятельствах от той пищи для работы ума и воображения, какую предлагала сочиненная самой жизнью горестная история любви и ревности гениального русского поэта, было бы непростительным расточительством...

Но автор «Маскарада» не только «заимствовал» у жизни необходимый ему психологический и фактический материал. Вольно или невольно он оставил свидетельство. Зашифрованное, но свидетельство, которое можно, как мне кажется, расшифровать следующим образом. Вина Натали Николаевны не в том, что она, не любя мужа, предпочла ему человека, больше отвечающего ее идеалам и склонностям. Вина, а точнее, беда ее в другом — в неумении полюбить. Ни Пушкина — за гений, за муки, за страсть к ней, простенькой московской барышне. Ни Дантеса — за молодость и красоту, за странное — в его-то положении «первого любовника» светских маскарадов — двухлетнее постоянство!..

Затеев «Маскарад», Лермонтов был уверен, что и его собственный авторский опыт, и отличное знание образцов помогут преодолеть сопротивление материала. Расчет казался верным, а оказался ложным: опыт, чужой и собственный, связывал, загонял в рамки канона; самый легкий и самый короткий путь обернулся тупиком. Задачи, какие он перед собой ставил, не умещались в рамки тогдашних театральных требований, а ведь приходилось считаться и с навыками режиссуры, и с актерскими возможностями, и с зрительскими предрассудками и предпочтениями; там, где мерещилась свобода, обнаружился « плен ». Надо было и в творчестве следовать своему главному жизненному правилу: идти туда, где не знаешь заранее, что тебя ожидает, и идти смелее.

Кое-чему научили и тщетные попытки поставить «Маскарад». На опыте годичной войны с театральной цензурой Лермонтов понял: в николаевской России драматургом ему не быть. Люди в голубых мундирах слишком уж бдительно следили за происходящим на русской сцене...

Судя по реплике Казарина Звездичу: «И я заметил вот недавно, как у Печориных движеньем томных глаз она кругом искала в а с », — параллельно с доработкой последнего варианта «Маскарада» Лермонтов создавал в уме первые наброски к «Княгине Лиговской».

Одна из боковых, но важных сюжетных линий — приключение с мадмуазель S. — уже два года почти как готова. Неистощимая на выдумки жизнь — «ценою муки», и какой муки! — обеспечила и главную любовную коллизию... Правда, первую попытку отделаться от тягостных переживаний, связанных с «изменой» В. А. Лопухиной, Лермонтов сделал еще раньше — сразу же после их короткого свидания в Москве — по дороге из Петербурга в Тарханы, в декабре 1835-го...

Свидание это — с юностью, с любовью юных дней, с городом юнос-



ти — содрало с него ту маску непроницаемости, что почти срослась с его истинной природой за два страшных юнкерских года и еще за один — разгульной гусарской «воли»...

Елизавета Алексеевна, почти привыкшая к новому «петербургскому» лицу Мишеньки, хотя и была вне себя от радости, перемену тут же отметила.

«Милой и любезнейший друг, — писала она 1 января 1836 года постоянной своей корреспондентке Прасковье Крюковой. — Дай боже вам всего лучшего, а я через 26 лет в первой раз встретила новый год в радости; Миша приехал ко мне накануне нового года. Что я чувствовала увидя его, я не помню, и была как деревянная, но послала за священником служить благодарный молебен. Тут начала плакать и легче стало». И дальше, в том же письме: «В страшном страдании была, обещали мне Мишеньку осенью еще отпустить... Я все думала, что он болен и оттого не едет и совершенно страдала. Нет ничего хуже, как пристрастная любовь, но я себя извиняю: он один свет очей моих, все мое блаженство в нем, нрав его и свойства совершенно Михайла Васильевича, дай боже, чтоб добродетель и ум его был».

В том, что через двадцать шесть лет после самоубийства Михаила Васильевича Арсеньева, преображенная любовью к внуку, помягчала к беспутному и странному мужу — ничего удивительного нет. Удивительно, что сумела угадать за безумным и безнравственным его концом «ум и добродетель». А угадав это, понять, что и Мишель — существо той же, чуждой столыпинскому здравочувствию, природы: «...нрав его и свойства совершенно Михайла Васильевича». А ведь еще совсем недавно Елизавета Алексеевна и сходства, и наследственного предрасположения к «пламенным страстям» — не то, чтобы не видела вовсе, а старалась не замечать, все еще надеясь, что «страсти», отнявшие у нее мужа и дочь, минуют ненаглядного Мишеньку. Потому и дружбу его с Алексеем Столыпиным (Монго), бонвиваном и добрым малым, поощряла. И потому шалостям потворствовала... Была ли она в курсе всех литературных забот и мечтаний Лермонтова, мы не знаем, но написанную читала, хотя, видимо, как и все окружающие, относилась к этому не слишком серьезно. Во всяком случае, поначалу живописными способностями Мишеля гордилась куда больше. Впрочем, может быть, потому, что предчувствовала: из всех страстей, какими бог, к несчастью, наградил ее внука, страсть к поэзии — самая беспокойная. Но пока все шло как нельзя лучше: напечатали «Хаджи Абрека» — и ничего страшного не произошло. «Стихи твои, мой друг, — с облегчением писала она всего месяца два назад, имея в виду только что опубликованную поэму, — бесподобные, а всего лучше меня утешило, что тут нет неонешней модной неистойвой любви, и невестка сказывала, что Афанасию очень понравились стихи твои и очень хвалил».

Афанасий был истинным Столыпиным. И его одобрение словно бы гарантировало: с Мишенькой ничего ужасного — в духе Михайла Васильевича (и зачем нарекли в честь покойного?) — не случится, что столыпинское здоровое и дельное начало поборет, осилит дурную, бешеную, арсеньевскую кровь.

И вот ведь как все повернулось и соединилось! И эта несчастная любовь к лопухинской дочке... И этот «Маскарад» с его «драматическими

ужасами»... И нетерпение сердца, не желающего признавать над собою власть обстоятельства... И это странное упорство страсти, и эта безмерность. Вылитый Михайла Васильич!

Но понять это в Мишеньке значило: простить это Михаилу Васильевичу. Елизавета Алексеевна простила. «И легче стало». Но не надолго. К привычным от рождения заботам о здоровье внука прибавилась еще одна, потребовавшая предельного напряжения душевных сил. Отныне вся ее недюжинная энергия, вся зоркость ее пристрастия подчинены одному: сохранить, уберечь, оборонить, оттянуть развязку, не дать пропасть. Между тем внук «несчастной, многострадальной» Арсеньевой вовсе не желал пропадать. Он хотел жить и действовать. Он хотел славы. Не просто известности — славы, которая поставила бы его вровень с Пушкиным. Но в 22 года Пушкин был уже знаменитым на всю Россию поэтом. А у него один «Хаджи Абрек»! И где? У Сенковского! В журнальчике пестром и малоразборчивом.

Выход? Работать. Работать, пользуясь каждой возможностью увильнуть от «службы царской». И Лермонтов работал.

Стояли морозы. «Снег в сажень глубины, лошади вязнут... и соседи оставляют друг друга в покое», — писал он из завьюженных Тархан в Петербург Раевскому. К 16 января 1836 года (дата, проставленная на письме) были готовы три акта «Двух братьев». Теперь он писал четвертый, последний, и никак не мог отдаться работе целиком: сердце было занято «происшествием, случившимся в Москве», то есть свиданием с госпожой Бахметевой, а мысли — судьбой «Маскарада»; Раевский, которому он поручил переговоры с цензурой, молчал, и это ничего хорошего не предвещало... Но Лермонтов все-таки заставлял себя, несмотря ни на что, в одно и то же время садиться за письменный стол. Пьеса шла и не шла: получалась ловкая, но холодная драматургическая абстракция с одним-единственным живым куском: рассказом Юрия Радина о юношеской любви к Верочке Р., в замужестве княгине Лиговской... Но он все-таки дотянул до конца, до точки, и тут же, не ожидая следующей зари, начал поэму. Москва оживила студенческие дни, завьюженные Тарханы вернули, казалось бы, прочно забытое «чувство провинции». «Сашка» писался легко, почти так же легко, как юнкерские безделки. Еще бы неделю... Но отпуск подходил к концу. А вась допишет в Петербурге. Не дописал — в Петербурге тянуло на прозу...

Расставаясь, Лермонтов взял с бабушки слово: к началу мая, когда в Петербурге в связи с началом летнего сезона упадут цены на квартиры, приехать насовсем. Он сам все уладит: и дом подходящий отыщет, и карету присмотрит... Деньги ведь теперь есть, да и он экономит; как придет, — от прежней квартиры откажется. Все равно лето на носу, а летом из Царского не вырвешься: каждый день маневры... А понадобится, можно и у дядюшки, Никиты Арсеньева, остановиться: дом большой и гостям рады.

Елизавета Алексеевна обещала. Никола Зимний хорошие цены на хлеб установил, правильно сделала, что не стала с осени продавать. Трудно ей такую дорогу перемогать — теплой погоды ждать надо. Да и за работами весенними приглядеть не худо было бы. Что посеешь, то и пожнешь.

На конец мая настроилась Арсеньева, но Миша упросил срок сократить: если выехать 29 апреля, как раз к Пасхе в Петербурге будет. Уж очень ему одному тоскливо, а в Пасху, лишь вспомнит Тарханы, как яйца в зале катали, и куличи, что грибы подосиновые, рядом по росту выставленные, и дух их ванильный, так и совсем невмочь...

31 марта 1836 года Лермонтов прибыл в Петербург...

Было холодно и мокро: по городу вновь, как три года назад, бродила новость откуда взявшаяся новая хворь. Болезнь называлась гриппом и, кроме головной боли и ломоты, приносила сплин. Прихватило и его. Чтобы как-то отвлечься от невеселых мыслей, он упросил сослуживца продать ему лошадь... Тот тоже был «в гриппе», и следовательно, «в сплине» — и продал... Это развлекло, но ненадолго. А тут еще это ужасное событие на пироскафе...

«Некая госпожа Столыпина, — писал А. Булгаков дочери, — провожала своего сына в Кронштадт, этот сын должен был ехать за границу, он служил в конной гвардии; он сел на палубе на скамейку, вдруг у него закружилась голова, и он падает в воду, это было в 4 верстах от Английской набережной. Ты знаешь, как быстро идут пароходы, так что не только не могли подать ему никакой помощи, но даже не было возможности найти тело. Вообрази себе состояние... матери, бывшей там с другими родственниками, чтобы проводить молодого человека».

Через несколько дней, когда отцу «солнцеликой» Ольги стали известны подробности, он тут же дополнил слишком краткий сюжет:

«Свидетель-очевидец рассказывал про трагическую смерть бедного Столыпина. Когда он упал, княгиня Лобанова с дочерью, бывшая тут же, упали в обморок, думая, что злополучным был молодой Лобанов, находившийся возле Столыпина. Какой-то англичанин и матрос тотчас бросились в шлюпку. Англичанин поймал руку Столыпина, но тот был в перчатке, и рука англичанина скользнула: тело скрылось, оставив над волной его фуражку.

К несчастью, у Столыпина было в кармане на 10 тыс. рублей золота, которое он взял с собой, быть может, эта тяжесть способствовала тому, что он пошел ко дну: дело в том, что тела больше не видели. Отчаяние семьи заставило вернуться к Английской набережной, чтобы посадить несчастную мать и остальных родственников, после чего пароход продолжил свой путь».

Известно, что в апреле и в самом начале мая Лермонтов находится в окружении родственников. Его письма к бабушке наполнены сведениями об их намерениях и планах. Судя по этим письмам, за границу соби-рался ехать не только утонувший Павел Григорьевич Столыпин, но и его мать, Наталья Алексеевна, сестра бабушки Лермонтова. Трудно предположить, что поэт пренебрег родственными обязанностями в таком приятном деле, как проводы тетушки и кузена, тем более что это была прогулка, то есть верный способ рассеяться, справиться со сплином.

В. Мануйлов, ссылаясь на переписку Арсеньевой, связывает долгое недомогание поэта с известием о трагической смерти кузена. Недомогание, а точнее, болезнь была столь серьезной и долгой (май—июнь), что Лермонтову разрешили официально внеочередной отпуск — для лечения Кавказскими Водами. Но, думается, дело не просто в известии

о смерти. Лермонтов был дружен с детьми Натальи Алексеевны и Григория Даниловича Столыпиных — с детства, с Пензы. Однако утонувший Павел — не первый из их сыновей, которого Лермонтов хоронил в сознательном возрасте.

В феврале 1834-го внезапно умер самый младший из братьев — ровесник поэта и его однокашник по юнкерской школе. Как и всякий на его месте, Михаил Юрьевич был опечален, но это не помешало ему написать такую записку:

«Милая кузина! Я с восторгом принимаю ваше любезное приглашение и, конечно, не премину явиться с поздравлением к дяде, но после обеда, ибо, к великому моему огорчению, мой кузен Столыпин умер позавчера, и, я уверен, вы не сочтете дурным, что я лишу себя удовольствия видеть вас на несколько часов раньше, чтобы пойти исполнить столь же печальную, сколь и необходимую обязанность».

Печальная, но необходимая обязанность — и долгая серьезная болезнь? Разница реакций объяснима лишь в случае, если Лермонтов был на пироскафе и Павел Григорьевич на его глазах упал за борт. И не в раздражительности нервов дело... Случай не мог не заставить Лермонтова, привыкшего анатомировать каждое свое душевное движение, задать себе несколько горьких вопросов: почему ни он, ни другие родственники не сделали того, что сделал англичанин — следуя спортивному кодексу чести, и матрос — по профессиональной обязанности? Что помешало им, гвардейским офицерам, оказать помощь? «Холод тайный» или рабий страх за собственную жизнь? Какой механизм не сработал, и почему?

К печальным мыслям примешивалось и глухое раздражение: уж эти Столыпины! 10 тысяч золотом в кармане гвардейского офицера! Слово он провинциальный купец, боящийся расстаться со своей «казной», а не русский дворянин... Нет, в этой стране все рабы — даже господа...

Видимо, болезнь, так сильно обеспокоившая его бабу (получив известие о смерти племянника и о болезни внука, Арсеньева, бросив все дела, немедленно выехала в Петербург), была не столько физической, сколько душевной — не воды требовались для исцеления, а оборона милой бабушки. И в самом деле: с приездом Елизаветы Алексеевны все как-то само собой, вдруг, уладилось: сплин испарился, жизнь вошла в прежнюю колею.

Бабушка, не мешкая, начала обживать нанятую внуком квартиру, а он в паре с Алексеем Аркадьевичем — объезжать новенькую упряжку. Лошади, башкирки, были чудо как хороши — они гнали их от Царского до Петербурга так, что ветер свистел в ушах, а тем хоть бы что — и не вспотеют...

А осенью, как Двор отбыл из Царского и кончились каждодневные «парадировки», Лермонтов обновил заботливо обставленный бабушкой кабинет в доме на Садовой — самую покойную и светлую комнату в квартире.

По монологу Юрия Радина, смаху, почти без помарок, написал московские главы. И имя, придуманное для списанной с Варвары героини, пригodiлось; он назвал им роман. Название звучало по-петербургски, но прятало дорогое ему воспоминание... —

об их тайном, торопливом (обязательно успеть к вечернему чаю!) побеге в деревеньку Лигачево! И как от беседки по обрыву спускались, и лодку отвязывали, и она все оглядывалась на середниковский берег — не видит ли кто. А потом уж он торопил, а она разглядывала да разглядывала лигачевские изукрашенные резьбой избы — что ни наличник, то диво-дивное... А вот то крылечко, видишь... А эти воротца... А помнит ли ее сиятельство Вера Дмитриевна Лиговская, как звали управляющего деревенькой-игрушкой? Злодея того самого, по наущению коего тетенька Екатерина Аркадьевна перевела лигачевцев с оброка на барщину? С любимым ремеслом разлучила? Вряд ли... Но он помнит: господин Бахметев в середниковских управляющих числился...

Вот так-то, Варвара Александровна, теперь уж навеки Бахметева...

На лету поймал Лермонтов и фамилию главного героя — Печорин: фамилия гуляла по Петербургу все лето 1836 года. Весь Петербург только и говорил, что о деле Печерина, молодого университетского профессора, совершившего побег из России. Граф Строганов, попечитель Московского учебного округа, несший личную ответственность за случившееся, пытался письменно, через границу, воздействовать на беглого. Но Печерин не вернулся, написав пространное письмо, где объяснил причины своего поступка.

Письмо ходило в списках.

Список, принесенный Святославом Раевским, которого его младший друг называл «политико-экономическим мечтателем», был сделан рукой Никитенко, лично знакомым с «беглецом».

Сюжет дорогого стоил, но Лермонтов не соблазнился; случай Владимира Сергеевича Печерина — исключительный случай, а роман, который собирался не только написать, но и издать, был о человеке — как все.

«Печорин в продолжение кампании отличался, *как всякий русский офицер*, дрался храбро, *как всякий русский солдат*...»

Впрочем, Печорин не совсем *как все*; он человек незаурядный, однако принудивший себя и жить и действовать в соответствии с требованиями золотой середины, то есть «ничтожества».

В этом убеждает его подробный, со ссылкой на Лафатера, портрет-исследование:

«Офицер слез, потрепал дымящегося рысака по крутой шее, улыбнулся ему признательно и взошел на блестящую лестницу... Теперь, когда он свял шинель, закиданную снегом, и взошел в свой кабинет, мы свободно можем пойти за ним и описать его наружность — к несчастью, вовсе не привлекательную; он был небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен; казался сильно сложенным, неспособного к чувствительности и раздражению; походка его была несколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хотя часто они выказывали лень и беззаботное равнодушие, которое теперь в моде и в духе века — если это не плеоназм. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто настоящая природа человека; видно было, что он следовал не всеобщей моде, а сжимал свои чувства и мысли из недоверчивости или из гордости. Звуки его голоса были то густы, то резки, смотря по

влиянию текущей минуты; когда он хотел говорить приятно, то начинал запинаться и вдруг оканчивал едкой шуткой, чтоб скрыть собственное смущение,—и в свете утверждали, что язык его зол и опасен... ибо свет не терпит в кругу своем ничего сильного, потрясающего, ничего, что бы могло обличить характер и волю: свету нужны французские водевили и русская покорность чуждому мнению. Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его последователей: они прочли бы на нем глубокие следы прошедшего и чудные обещания будущности».

В декабре 1836 года неутомимый Александр Васильевич Никитенко внес в свой «Дневник» очередную новость:

«Печерин отправился в отпуск за границу... Судя по идеям, которые он еще здесь обнаруживал, он, должно быть, задумал совсем оставить Россию. Это все больше и больше подтверждается... Был у министра. Он много говорил о Печерине, поступком которого очень огорчен, так как это действительно ставит его в затруднительное положение. Как сказать об этом государю? Кара может сначала пасть на самого министра, потом на все ученое сословие, и наконец, и на систему отправления молодых людей за границу. Ведь у нас довольно одного частного случая, чтобы заподозрить целую систему, и министр боится, чтобы так не было и на этот раз».

Запись сделана 23 декабря, а 24-го Лермонтов, испросив «длительный отпуск по болезни», целиком отдался роману.

Печерин уехал, а фамилия осталась... Изменив всего одну букву, Лермонтов «окрестил» своего героя: Печорин. Это была не выдуманная, сочиненная — как Радин, Волин, а натуральная дворянская фамилия. И в то же время в ней был намек: она связывала героя его хроники с пушкинским Евгением Онегиным. Связывала, но не объединяла: Онега — Онегин, Печора — Печорин... Чуть позднее в почти натуральной фамилии появился и неожиданный, непредвиденный, но очень точно совпадающий с идеей центрального образа — метафорический пласт.

В 1837 году в Петербург приехал никому не известный молодой коми с огромным свитком исписанных его рукою бумаг и стал добиваться встречи с самим Канкринным — управляющим министерством финансов. Свиток содержал описание Печорского края и проект его освоения. С этим свитком Василий Латкин, так звали молодого зырянина, стучался в каждую административную дверь: «Обратите внимание на Печорское Лукоморье, ибо там несказанные богатства и будущее России».

От него отмахивались, но он продолжал настаивать... 14 февраля 1841 года Латкин подал министру государственных имуществ Киселеву новый печорский проект — об учреждении промышленно-торговой компании на Печоре. Проект не был принят, но разговоры о любопытном зырянине и о чудесном Печорском Лукоморье шли, и как раз в лермонтовском кругу: среди тех, кто поддержал Латкина, был граф Виельгорский, в доме которого Лермонтов бывал чуть ли не ежедневно, и именно в феврале 1841-го — в свой последний перед смертью приезд в Петербург.

Ни Печорское Лукоморье с несметными богатствами, которые могли бы обеспечить будущее России в случае правильно, на американский манер устроенной торгово-промышленной компании, ни Печорины, энергичные люди, в которых «последователи Лафатера» угадывали «чудные обещания будущности», не нужны были в государстве автоматического, мертвого, стоячего порядка — как и все, что несло в себе начало личной инициативы и жизни.

Находкой была не только занесенная Александром Васильевичем фамилия его эмигрировавшего приятеля. Истинным кладом для Лермонтова (в его положении создателя петербургской хроники, которая, как насос, должна втянуть все характерное, характеристическое, все, что бурлило на поверхности столичной жизни и в то же время корнями уходило в бездонные почвы коренной России) был и сам Никитенко.

Никитенко знал всех. И все знали Никитенко. Был он цензором, но служба, при всей ее хлопотности, видимо, оставляла достаточно свободного времени, ибо неутомимый Никитенко поспевал всюду. А ночами отчитывался о виденном, слышанном и сделанном своему «Дневнику»:

«Вчера состоялся великолепный бал-маскарад в доме Державиной». «Сегодня опять представлялся великому князю Михаилу Павловичу». «Был во дворце для поздравления В. К. Михаила Павловича». «Князь попечитель призывал меня на совещание...» «Был у министра с докладом об одной статье в „Библиотеке для чтения...“» «Ездил к министру с докладом о цензуре...» «Я сделан членом комитета...» «Был на балу у Княжевича...»

Не менее охотно «плебей» Никитенко (крепостной, он был выкуплен из неволи, как и великий украинский поэт Тарас Шевченко) делился собранными новостями со всеми, кто попадался ему на глаза. Надо же было расплачиваться за снисходительность, какую проявляли к нему, «выскачке», петербургские аристократы и буржуа. Словом, к А. В. Никитенко вполне можно отнести сказанное в «Маскараде» о «нужном человеке» — вездесущем Шприхе:

Со всеми он знаком, везде ему есть дело,  
Все помнит, знает все, в заботе целый век...

А еще с большим основанием — характеристику Горшенко (персонаж «Княгини Лиговской»), которого Лермонтов представляет как «одно из характеристических лиц петербургского общества»:

«Он был со всеми знаком, служил где-то, ездил по поручениям, возвращаясь — получал чины, бывал всегда в среднем обществе и говорил про связи свои с знатью, волочился за богатыми невестами, подавал множество проектов, продавал разные акции, предлагал всем подписки на разные книги, знаком был со всеми литераторами и журналистами, приписывал себе многие безымянные статьи и журналы, издал брошюру, которую никто не читал, был, по его словам, завален кучею дел и целое утро проводил на Невском проспекте. Чтоб закончить портрет, скажу, что фамилия его была малороссийская, хотя вместо Горшенко он называл себя Горшенков».

В биографии А. В. Никитенко есть одна странность, которую никак не могут убедительно разъяснить издатели и комментаторы

«Дневника». Через его руки как цензора прошло почти все, что успел опубликовать при жизни Лермонтов. К услугам Никитенко, видя в нем «своего человека», не раз прибегал издатель «Отечественных записок» А. Краевский, когда надо было скорее провести через цензуру то или иное сочинение опального Лермонтова. И Никитенко не подводил влиятельного журналиста — делал все, что мог.

Зная его тщеславие, его пунктуальность (А. Никитенко вносил в «анналы» все, в том числе и свои цензорские заботы, удачи, неприятности), естественным было бы предположить, что и причастие к судьбе произведений Лермонтова найдет отражение в «Дневнике». Но там нет никаких упоминаний о хлопотах, связанных с просьбами Краевского, которые отнимали у него много времени. Не в оригинальной рукописи, она неизвестна, а в той, что готовилась для печати. Поразительную эту забывчивость обычно объясняют тем, что А. Никитенко боялся упоминать имя неугодного поэта и, редактируя рукопись, вычеркнул все упоминания о нем.

Объяснение представляется необидительным: Никитенко совершенно свободно, не оглядываясь на внутреннего цензора и редактора, писал о Чаадаеве, Печерине и т. д., то есть о людях, куда более «преступных» с точки зрения «венчанного деспота» — Николая I. И все эти записи сохранились в отредактированной рукописи. Куда вероятнее предположить, что Лермонтов был «изгнан» из «Дневника» по причине не политической, а лично-интимной. Ведь А. В. Никитенко дожил до 60-х годов, и к нему в руки, пусть ненадолго, могла попасть рукопись «Княгини Лиговской». Самолюбивый человек, не зная, что будущие комментаторы свяжут Горшенко не с ним, а с дельцом и тайным жандармским агентом — Н. Тарасенко-Отрешковым, — он вполне мог принять более чем нелестную и, конечно, несправедливую (если забыть, что это — обобщение, а не описание одного лица) характеристику на свой счет. И обидеться. Смертно. Так, как может обидеться бывший крепостной, всю жизнь вынужденный доказывать, что он — человек, ничем не уступающий тем, кто от рождения принадлежал к высшему, привилегированному дворянскому сословию. Но это, если и произошло, то позднее, после смерти Лермонтова. А пока Александр Васильевич Никитенко, зная, что его радушно принимают всюду, что он — самая свежая петербургская газета, спешит со всеми поделиться известными ему новостями...

В записи от 28 мая 1836 года он сообщает:

«Между моими близкими знакомыми есть некто Н. Г. Фролов, молодой человек с замечательными качествами. Он оставил военную службу и, по моему совету, поехал в Дерпт за систематическим образованием. Ему предстояла ожесточенная борьба с латинским и немецким языками и со многими другими трудностями ученого механизма. Все это он мужественно победил. Я никого не знаю с более благородным сердцем и умом, более способным к высшему развитию. Вот что случилось с ним на днях. Он пробирался сквозь толпу в театр. С ним рядом пролагал себе путь и какой-то офицер. Последний вдруг обращается к Фролову и грозно спрашивает, куда он тянется. Фролов изумился, но ни слова не отвечал и продолжал идти вслед за другими.



— Подите прочь отсюда, — закричал на него офицер, — или я вас отправлю на съезжую.

Фролов оцепенел и, как сам говорил, в первую минуту не нашелся, что отвечать. Опомнившись, он бросился в театр на поиски за офицером, который тем временем успел скрыться. Он его не нашел, но хорошо запомнил лицо и цвет воротника его мундира. Долго ходил он по казармам, отыскивая его, — но напрасно. Наконец, наткнулся на него во время ученья, узнал его имя и адрес. Тогда Фролов явился к нему с двумя товарищами и призвал к ответу. Офицер струсил и просил прощения.

Каково, однако, положение вещей в обществе, где ваш согражданин может грозить вам тюрьмою потому только, что носит известный мундир... и оправдывать свой поступок дурным расположением духа... или тем, что ваша физиономия не нравится ему. И это не единичный факт. Примеров офицерской дерзости не перечесать. Недавно тоже два офицера так, ради смеха, встретив на улице одного чиновника, совершили над ним грубое неприличие. Тот спросил у них, что они: сумасшедшие или пьяные? Они привели его на съезжую, и оскорбленный должен был заплатить полицейскому пятнадцать рублей, чтобы тот отпустил его».

История отношений кавалерийского офицера Печорина с чиновником Станиславом Красинским (после того, как владелец 3 тысяч крепостных душ оскорбил его в ресторации «Феникс», Красинский, как и Фролов, ищет своего обидчика и находит в театральной толпе) так живо напоминает случай, описанный А. В. Никитенко, что трудно приписать это сходство случайному совпадению. По всей вероятности, информация, которой располагал Никитенко, дошла до Раевского, а через него — и до Лермонтова. Вообще, судя по всему, Святослав Раевский не только записывал под диктовку Михаила Юрьевича (некоторые части «Княгини Лиговской» писаны его рукой), но и поставлял своему младшему другу необходимые сведения. Сам Лермонтов был далек от чиновничьего мира, тогда как Святослав Афанасьевич служил. Сначала в министерстве иностранных дел, а потом в департаменте военных поселений и, следовательно, знал нравы и быт этого социального слоя.

Короче: если Лермонтов воспользовался примером «офицерской дерзости», зафиксированной любознательностью Никитенко, возведя и ее в ранг «характерологической», то почему бы ему было не заинтересоваться и фигурой Никитенко, ничуть не менее типической, хотя и совсем в другом роде? Тем более что роман задумывался как петербургская хроника. Настраивала на хроникальность первая фраза первой же главы:

«В 1833 году, декабря 21-го дня в 4 часа пополудни по Вознесенской улице...» Указана дата и оперного спектакля, на котором Жорж встречает свою первую любовь Верочку Р., в замужестве княгиню Лиговскую...

Разумеется, все это лишь литературный прием. 21 декабря 1833 года четвертого представления оперы «Фенелла» не было и быть не могло. Премьера спектакля состоялась лишь в первый день 1834 года. На четвертом же ее представлении не мог присутствовать Лермонтов,

как как находился в этот вечер в школе кавалерийских юнкеров и подпрапорщиков. События нарочно сдвинуты примерно на год назад.

Лермонтов, с одной стороны, старается создать впечатление подлинности, документальности, или, если вспомнить Владимира Одоевского, «существенности». А с другой, наоборот, стремится эту подлинность (не хронологическую, а психологическую и сюжетную) замаскировать. Ведь в романе — такова установка с самого начала — он не выдумывает, не сочиняет, как было в «Вадиме», первом прозаическом опыте. Он лишь сдвигает и перетасовывает события, судьбы, отношения, взятые из действительной жизни. И уже поэтому не может не думать о том, узнают или не узнают себя в сделанных им литературных портретах те, с кого он их «списал»...

Взять хотя бы Григория Александровича, а по-домашнему Жоржа Печорина. И портрет, и характер несомненно биографичны: Лермонтов так долго приучал себя к роли «человека как все», что ему ничего не стоит холодно и спокойно проанализировать свое «создание». Однако и тут он не доводит сходство до полной идентичности: в отличие от автора его герой очень богатый человек, владелец 3 тысяч крепостных душ. В соответствии с этим рисунок его внешней жизни должен быть «списан» совсем с другого образца... Подарить Жоржу свою внешность, некоторые детали и подробности личной биографии автор может, но поселить человека, который более чем в пять раз богаче его самого, в своей квартире он, оставаясь верным действительности, уже не может: и дом Печорина с широкой лестницей, и модный кабинет его «скопированы» с дома и кабинета, принадлежавших одному из знакомых Лермонтова: гвардейцу Григорьевичу Кушелеву... (Не так уж много лет спустя один из завсегдатаев этого дома, в поисках прошедшего совершая ностальгическую прогулку по Петербургу, набредет и на Печоринский-Кушелевский особняк:

«Смотрю и глазам не верю... „Русский ресторан“. Да, это та самая лестница. Но вместо лакеев в красных ливреях навстречу мне спускались тарелки с обедами... Ищу танцевальной залы, где по тогдашнему обычаю граф Кушелев в мундире, в ленте, при сабле и каскою в руках встречал лиц царской фамилии... Зал был на месте, так же, как и памятный кабинет, но теперь здесь не танцевали и не беседовали, а ели, точнее, кутили те, кого в кушелевские времена в графском особняке не принимали...)

Роман захватил Лермонтова. Проза перестала быть мучением. Он наконец-то заставил не только стихотворную, но и прозаическую фразу быть послушной. Мысль, сильная и оригинальная, освободилась от стеснения, от страха перед «холодной буквой».

Работа над «Княгиней Лиговской» была в самом разгаре, когда по Петербургу полетела черная весть: Пушкин опасно ранен на дуэли с Дантесом...

Лермонтов в «Арбенине» (методом исключения) как бы высчитал тот единственный выход, который мог спасти Пушкина: отъезд в деревню. Пушкин и сам знал это: «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег...» Но этот вариант принадлежал уму; «грозный дух» и страсти — любовь, ревность, месть — отвергли его, разрешив трагический конфликт «рассудку вопреки»...

«Несчастье с вами будет...»

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*Прощай, мой друг. Я буду к тебе  
писать про страну чудес — Восток.  
Меня утешают слова Наполеона:  
«Les grands noms se font à l'Orient» \**

Александр Сергеевич Пушкин был ранен 27 января 1837 года, около 5 часов пополудни. В тот же вечер по городу распространился слух о его смерти. Долетел он и до Лермонтова — «обезображенный», как всякий слух, «разными прибавлениями».

28 января Михаил Юрьевич написал первые 56 строк «Смерти Поэта» — поэтический некролог опередил событие ровно на сутки: 28-го Пушкин был еще жив; он скончался на следующий день в 2 часа 45 минут пополудни.

К 29 января весь Петербург был буквально завален списками «энергической оды». И. Панаев: «Стихи Лермонтова... переписывались в десятках тысяч экземпляров и выучивались наизусть всеми».

Дошли они, естественно, и до главноначальствующего «голубым корпусом». Но Бенкендорф по дальнеродственным чувствам к сдвоенному клану Арсеньевых-Столыпиных, а больше по нежеланию лишний раз привлекать к событию, и так доставившему столько хлопот, общественное внимание, положил сочинение, что называется, «под сукно». К тому же главный обвиняемый в первой части «Смерти Поэта» — Дантес, а участь Дантеса была в принципе решена (исключить из списков Кавалергардского полка и выслать во Францию).

Прошло десять дней.

Александр Иванович Тургенев успел похоронить Пушкина, ознакомить П. А. Осипову со списком «Смерти Поэта», а город продолжал волноваться, и к Лермонтову, все еще привязанному к дому простудой, стекались толки о его стихах.

Дамы света были на стороне Дантеса и, отстаивая «свободу сердечного чувства», утверждали: Пушкин «не имел права требовать любви от жены своей».

Впрочем, не только дамы. Елизавета Алексеевна — и та считала: Пушкин сам во всем виноват. «Сел не в свои сани», и мало что сел, «не умел ловко управлять своенравными лошадами, мчавшими его и намчавшими на тот сугроб, с которого одна дорога была только в пропасть»...

Обсуждалось, конечно, не только мнение мало кому известного гусарского офицера с непрестижной фамилией Лермонтов. Жуковский увидел в «Смерти Поэта» «проявление могучего таланта». Одобрил и Владимир Одоевский, правда, более осторожно: «Зачем энергия мысли

---

\* «Великие имена возникают на Востоке» (*фр.*).

недостаточно выражена, чрез что заметна та резкость суждений, которая слишком рельефирует возраст автора»...

С Елизаветой Алексеевной Лермонтов не спорил, и не потому, что боялся расстроить ее, обеспокоенную состоянием внука: простуда все длилась, как бы горячкой не кончилось? В глубине души он был согласен с милой бабушкой: Пушкин и в самом деле жил не той жизнью, какой должен жить поэт:

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной  
Вступил он в этот свет завистливый и душный  
Для сердца вольного и пламенных страстей?  
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,  
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,  
Он, с юных лет постигнувший людей?..

Анализируя причины драмы, разрешившейся смертью Пушкина, и тот вариант судьбы, от которого поэт отказался, современный исследователь, автор документальной повести «Гибель Пушкина» Я. Гордин пишет:

«Он мог не пускаться в политическую деятельность, мог не заниматься профессиональными историческими изысканиями, мог не добиваться политической газеты, не вступать в службу и не искать сближения с царем. Он мог жить частным человеком, уехать в Михайловское или Болдино с молодой женой — „под сень дедовских лесов“, и там, свободный „тайною свободой“, вести жизнь *поэта*».

Практически тот же вариант «обсуждает» сам с собой и Лермонтов, но чувствует: сейчас, над свежей могилой, все эти соображения, пусть и справедливые, — кощунство.

Обеспокоенная вконец Елизавета Алексеевна упросила Николая Федоровича Арендта осмотреть внука. Добрейший Николай Федорович ничего, кроме крайнего нервного возбуждения да затянувшегося гриппа, не обнаружил и за чаем, уступая просьбам, «минута в минуту», рассказал эпопею смерти поэта: Пушкин умирал на руках Арендта.

Не успел Николай Федорович уехать, как Николенька Столыпин завялил: проведать «кузена» и милую тетюшку.

Старший брат Монго, единственный из Столыпиных, пошедший по дипломатической части, служил под началом самого Нессельроде и был недавно пожалован в камер-юнкеры; новости, им принесенные, подлили масла в огонь. В придворных кругах гадали, как долго Наталья Николаевна будет носить траур по мужу, а в дипломатических — были недовольны решением выслать Дантеса. Геккерны, и старший, и младший, утверждал знаток международного права Николай Аркадьевич Столыпин, «как знатные иностранцы, не подлежат ни законам, ни суду русскому».

Новопеченный камер-юнкер и свое собственное мнение выложил:

«Напрасно Мишель, апофеизируя поэта, придавал слишком сильное значение его невольному убийце, который, как всякий благородный человек, после того, что было между ними, не мог не стреляться...»

Лермонтов взорвался: всякий русский человек, из любви к славе России — какую бы обиду ни нанес ему Пушкин, — не поднял бы на него руку... снес бы...

Николенька недаром был дипломатом, не дал разгореться спору, перевел разговор.

Но Лермонтов в светской болтовне уже не участвовал; схватил лист чистой бумаги, уселся в дальний угол; с полдюжины карандашей переломал, обозвал кузена «антиподом Пушкина», чуть ли на дверь не указал!

А по уходе Столыпина вдруг успокоился, быстро переписал набело то, что сочинял, — последние заключительные 16 строк «энергической оды».

А вы, надменные потомки  
Известной подлостью прославленных отцов,  
Пятою рабскою поправшие обломки  
Игрою счастья обиженных родов!  
Вы, жадною толпой стоящие у трона,  
Свободы, Гения и Славы палачи!  
Таитесь вы под сению закона.  
Пред вами суд и правда — всё молчи!  
Но есть и божий суд, наперсники разврата!  
Есть грозный суд: он ждет;  
Он не доступен звону злата,  
И мысли, и дела он знает наперед.  
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:  
Оно вам не поможет вновь,  
И вы не смоете всей вашей черной кровью  
Поэта праведную кровь!

Вечером, вернувшись из гостей, Святослав Раевский, с помощью которого были размножены и предыдущие строфы, принялся за дело: переписал в нескольких экземплярах и пустил по друзьям — для дальнейшего распространения.

Петербург снова заволновался. 13 февраля А. И. Тургенев, несколько дней как вернувшийся из Михайловского, посылая псковскому губернатору список «Смерти Поэта», уже знает, что по городу бродят еще более резкие строфы, но подозревает в сочинительстве не Лермонтова, а другого автора.

Профессионалы сыска разобрались в авторстве крамольного добавления без особого труда: между 17 и 21 февраля 1837 года Лермонтов арестован и помещен в одну из верхних комнат Генерального Штаба — дабы удобнее было допрашивать...

А. И. Тургенев недаром подозревал в сочинителе преступных стихов другого автора. Уж очень трудно было предположить, что сын мелкопоместного дворянина, почти «не помнящего родства», и правнук провинциального «нувориша» разразится гневной филиппикой против «новой знати», среди представителей которой — ближайшие родственники Елизаветы Алексеевны! Когда одна из опекаемых императрицей первостепенных красавиц, М. В. Трубецкая, соизволила принять предложение А. Г. Столыпина, племянника Арсеньевой, царская семья, — записывает в дневнике супруга Николая I, — приняла в свадьбе «такое участие, как будто невеста — дочь нашего дома». На другой племяннице бабки Лермонтова, тоже Столыпиной, женат А. И. Философов — флигель-адъютант великого князя Михаила Павловича. Сестра Алексея Монго — фрейлина и т. д. и т. п.

Но дело даже не в этих биографических обстоятельствах...

В дорогую Пушкину мысль о восстановлении старинных дворянских

фамилий, вытесняемых новой знатью, Лермонтов не верил, и к людям, «работающим в том направлении, которое называется аристократическим и выражается в стремлении поднять значение дворянства», к А. В. Мещерскому, например, относился иронически. И если бы не высокомерие Николеньки Столыпина — внука пензенского винного откупщика, мальчишки, осмелившегося с превосходством выскочки рассуждать о Пушкине! — вряд ли бы с такой страстью кинулся защищать чужую и чуждую ему идею — идею защиты «игрою счастья обиженных» древних дворянских родов!

Точнее всех свое состояние объяснил Лермонтов:

«Невольное, но сильное негодование... против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукой божией, не сделавшего им никакого зла... и врожденное чувство... защищать всякого невинно осуждаемого зашевелилось во мне еще сильнее по причине болезнью раздраженных нервов...».

Но стихи были написаны, «может быть слишком скоро», но написаны, и отречься от них он не собирался: не выражая всей истины, они выражали правду момента, а это было важнее.

А. И. Тургенев за неделю до ареста Лермонтова предрекал неприятности автору «16 строк»: одно дело обвинять в смерти Пушкина Дантеса, и совсем другое — угрожать высшим судом власть предержащим. Вместе с добавлением стихи приобретали иной, расширительный и, главное, лично Бенкендорфа оскорбляющий смысл: в «жадной толпе», стоящей у трона, глава жандармского корпуса занимал одно из первых мест.

Вряд ли искоренитель «крамолы» Александр Христофорович всерьез поверил в то, что 22-летний внук почтеннейшей Елизаветы Алексеевны Арсеньевой и в самом деле требовал от государя наказания истинных виновников травли Пушкина. Но Бенкендорф не стал бы тем, кем он стал — сторожевым псом русского трона, если бы не знал за своим повелителем одного парадокса: император, искренне считавший, что служит отечеству, от своих подчиненных ждал совсем другого: они должны были служить не империи, а императору. А чтобы служить, нужно было уметь предвидеть, предугадать, как поведет себя государь в тех или иных обстоятельствах. А обстоятельства на февраль 1837-го складывались не в пользу сочинителя. Николай был раздражен и дерзостью «Телескопа», опубликовавшего возмутительное сочинение бывшего лейб-гусара Чаадаева, и цензором, пропустившим неподобающий номер, и вообще неприятностями, какие приносили ему сочинители, включая Пушкина, на которого он потратил так много государственного времени: цензуровал, денежные дела улаживал, а кончилось как? Скандально... А теперь вот докладные Дубельта, приставленного к бумагам почившего, — читал...

Поняв, что резонанс, который получили стихи «мальчишки», не позволит замять дело, «голубой паша» подписал приказ об аресте.

Подписывая, кривил узкие губы в иронической усмешке: не даст старуха Арсеньева наказать внука ее, на все кнопки нажмет, дело круг совершит и к нему же вернется, дабы выручал из опалы!

Однако «Записку» императору составил по правилам; учитывая настроение царя-батюшки:

«Вступление к сочинению дерзко, а конец — бесстыдное вольнодумство, более чем преступное».

На докладную Бенкендорфа Николай Павлович Романов наложил резолюцию:

«Приятные стихи, нечего сказать; я послал Веймарна в Царское Село осмотреть бумаги Лермонтова и, буде обнаружатся еще другие подозрительные, наложить на них арест. Пока что, я велел старшему медику гвардейского корпуса посетить этого молодого человека и удостовериться, не помешан ли он; а затем мы поступим с ним согласно закону».

Резолюция доброго не предвещала, но вмешательство Дубельта, до которого Елизавета Алексеевна добралась через старика Мордвинова (начальник штаба жандармского корпуса был, на счастье госпожи Арсеньевой, женат на племяннице адмирала), да чистосердечное признание виновного (не запирался, не дерзил, при первой угрозе назвал сообщника, к распространению руку приложившего) смягчили государево сердце. Состав преступления требовал по закону весьма строгого наказания. С Лермонтовым Николай поступил почти «по-отечески». Елизавета Алексеевна, которой мерещились и Сибирь, и Вятка, и солдатчина, — вздохнула с облегчением:

«Мишенька по молодости и ветренности написал стихи на смерть Пушкина и в конце написал неприлично насчет придворных. Государь изволил выписать его тем же чином в Нижегородский драгунский полк в Грузию».

При обычном, не носившем характера наказания, переводе из гвардии в армию полагалось повышение; Лермонтова перевели «тем же чином». Что до остального, то лучшего нельзя было и ожидать.

Во-первых, драгуны, «спешенная конница», «которая находит сама в себе достаточную долю самостоятельности, чтобы в случае нужды обойтись без помощи пехоты» — в фаворе у Николая Павловича. В этом он также подражал своему великому пращурю (в составе регулярной армии Петра I — целых 33 драгунских полка); во-вторых, Нижегородский драгунский — самый блестящий из кавказских строевых: здесь по традиции служила грузинская знать. К тому же, и это Елизавете Алексеевне от родственницы ее, Прасковьи Ахвердовой, воспитавшей детей Александра Чавчавадзе, достоверно известно: нижегородцы принимают участие в военных действиях, но не на них основная тяжесть кавказской войны (полк был показательный, и его, по возможности, старались поддерживать в парадном состоянии).

Словом, наказание было вроде бы и не совсем наказанием... Командировки на Кавказ добывались многие гвардейцы.

М. Лонгинов вспоминает:

«Вообще в те времена было в ходу военное удалство. Многие молодые „люди переходили служить на Кавказ. Гвардейцы хлопотали, чтобы попасть в число охотников, которые ежегодно (по одному от каждого полка) отправлялись на Кавказ и отличались там превосходной храбростью, а некоторые и такую отвагою, которая удивляла даже закаленных в бою старых кавказцев».

А кроме всего прочего, Кавказ, в глазах Елизаветы Алексеевны, был почти что «своей провинцией»: и именья столыпинские там нахо-

дились, и родственников множество. Павел Иванович Петров, муж сестры Марии Акимовны Шан-Гирей — Анны, — в начштабах у самого Вельяминова. Не дадут пропасть, оборонят. Да и Миша Кавказ любит, и климат тамошний, не в пример здешнему, петербургскому, лядащему, — живителен. Не прогулка, конечно, — какая-никакая, а война, но к военным опасностям, даже применительно к обожаемому внуку, Елизавета Алексеевна, сестра трех кадровых офицеров, уцелевших в наполеоновских войнах, относилась спокойно. Ни пули, ни штыки, ни картечь вражеская не брали Столыпиных: другие смерти на роду им написаны...

Елизавета Алексеевна успокоилась, насколько это было возможно в ее положении, а вот внук ее — нет. И не перевод из гвардии в армию, не ссылка, не расставание с «блестящими тревогами» Петербурга тяготили его.

27 февраля 1837 года. Петербург. С. А. Раевскому:

«Милый друг мой Раевский.

Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаяния, когда я узнал, что я виной твоего несчастья, что ты, желая мне же добра, за эту записку страдаешь. Дубельт говорит, что Клейнмихель тоже виноват... Я сначала не говорил про тебя, но потом меня допрашивали от государя: сказали, что тебе ничего не будет и что если я запрусь, то меня в солдаты... Я вспомнил бабушку... и не смог. Я тебя принес в жертву ей... Что во мне происходило в эту минуту, не могу сказать, — но я уверен, что ты меня понимаешь и прощаешь, и находишь еще достойным твоей дружбы».

Начало марта 1837 года. Петербург. С. А. Раевскому:

«Любезный друг.

Я видел нынче Краевского; он был у меня и рассказывал мне, что знает про твое дело. Будь уверен, что все, что бабушка может, она сделает... Я теперь почти здоров — нравственно... Была тяжелая минута, но прошла».

Первая половина марта. Петербург. С. А. Раевскому:

«Любезный друг Святослав.

Ты не можешь вообразить, как ты меня обрадовал своим письмом. У меня было на совести твое несчастье, меня мучила мысль, что ты за меня страдаешь. Дай бог, чтоб твои надежды сбылись. Бабушка хлопчет у Дубельта, и Афанасий Алексеевич также... Что Краевский, на меня пеняет за то, что и ты пострадал за меня? Мне иногда кажется, что весь мир на меня ополчился... Прощай, мой друг. Я буду к тебе писать про страну чудес — Восток. Меня утешают слова Наполеона: *Les grands noms se font a l'Orient*. Видишь: все глупости...»

Судя по письму А. Г. Философовой, которая сообщает мужу 27 февраля 1837 года, что Мишель уже девять дней под арестом, Лермонтова привезли в верхнюю комнату Главного Штаба 19 февраля; тогда же, очевидно, был снят и первый допрос, во время которого автор «Смерти Поэта» отказался назвать имя человека, занимавшегося распространением не позволенных стихов.

Следующий тур дознания — «от государя» — произошел, по всей вероятности, утром 20-го, так как 20 февраля у Раевского произвели обыск, а 21-го — Святослав Афанасьевич был арестован: 21-м февраля



датировано «Объяснение губернского секретаря Раевского в связи с Лермонтовым и происхождением стихов на смерть Пушкина».

Видимо, ни Михаил Юрьевич, ни его старший друг не предполагали, что дело может принять такой оборот, и не подготовили общий, не расходящийся в подробностях, вариант объяснения. Опасаясь, что Мишель, по неопытности, «сболтнет лишнее», Раевский, через камердинера Лермонтова, Андрея Ивановича, послал ему копию своей докладной. Записка была перехвачена, это осложнило положение губернского секретаря: Николай I и во время следственных разбирательств требовал и ожидал полного к его справедливости доверия.

Впрочем, даже если бы Андрей Иванович Соколов и не сплеховал, вряд ли его питомец воспользовался бы предложением любезного Святослава: Раевский истолковал поведение Лермонтова желанием «через сие приобрести себе славу».

Разумеется, Лермонтов не только мечтал, но страстно жаждал славы. Больше того, понимал: роковое стечение обстоятельств — смерть Пушкина и то, что он, не думая ни о чем, находясь в состоянии потрясения, написал стихи, которые уже можно было открыть свету, — и есть тот случай, какого он так долго ждал. Помните, предрождественское, накануне 1835 года, письмо к Марии Лопухиной: или случай не представится, или не хватит решимости?..

Больше того, хотя Лермонтов и утверждает (в объяснительной записке), что не видел в стихах ничего противного закону, он наверняка знал, что подобного рода решимость даром ему не пройдет. Знал и рискнул, чувствуя: «что-то сбывалось над ним».

И все-таки грубость мотивировки Раевского была неприемлема. При всей решительности, с какой Михаил Юрьевич использовал самим провидением дарованную возможность — перешагнуть наконец через границу «ничтожества», — он понимал: случай — из тех, когда славу ищут Князю, а себе лишь — чести!

Верил или не верил Лермонтов тому, что Раевскому «ничего не будет», мы не знаем; это тайна из тех, «которые никому не открывают». Вероятно, все-таки не совсем, иначе не объяснить мучительное состояние вины, которым наполнены все три процитированные выше письма. Недаром Краевский и после того, как друзья вроде бы помирились, продолжал обвинять Лермонтова в «несчастье» Раевского.

Лермонтов должен, обязан был учесть, открывая следователям имя друга, его особые отношения с графом Клейнмихелем, под началом которого служил любезный Святослав. Директор департамента военных поселений П. А. Клейнмихель питал к Раевскому род «личной ненависти», вследствие чего и выдал ему крайне резкую политическую аттестацию. Так что, в известной мере, виноват был граф П. А. Клейнмихель: не будь этой бумаги, Николай I вполне мог бы сдержать данное при нажиме на подследственного обещание.

Впрочем, и бабушка, и палочка-выручалочка — Афанасий Столыпин не впустую хлопотали у Дубельта: никакого особенного «несчастья» со Станиславом Афанасьевичем не произошло. Его всего лишь перевели в Олонецкую губернию, точнее, в Петрозаводск — «для употребления на службу по усмотрению тамошнего гражданского губернатора». Петрозаводский губернатор оказался человеком не из пугливых:

доверил ссыльному редактирование «Петрозаводских губернских ведомостей».

Полковник Данзас, лицейский друг Пушкина и его секундант на смертной дуэли, поплотился, к примеру, куда серьезнее: его перевели в Тенгинский пехотный, и притом в скоростном порядке. Лермонтов еще в Петербурге, а Константин Карлович Данзас уже проследовал через Ставрополь в укрепление Ивановское, где были расположены части этого «чернорабочего» полка.

Вина перед другом и печаль милой бабушки — не единственная причина нравственного «нездоровья», на которое, правда, в прошедшем времени, Лермонтов жаловался Раевскому.

Кем он был всего два месяца тому назад? Молодым человеком, пишущим недурные стихи. «Смерть Поэта» сделала его знаменитым. Но Лермонтов понимал, что это аванс, аванс, который он не мог сейчас, немедленно оплатить: среди написанного им не было почти ничего достойного первого русского поэта.

Не могла не смущать и безапелляционность литературной элиты, без колебаний зачислившей его — неведомого еще и самому себе избранника — во «вторые Пушкины»! Не слишком ли все получилось поспешно: «король умер, да здравствует король!» «Смерть Поэта», эта надгробная и одновременно тронная речь, была воспринята как клятва в верности не только Пушкину, но и пушкинскому слову. Психологически все понятно: Лермонтов возник внезапно и словно бы затем только, чтобы спасти от сиротства, за всех расплатиться, за всех расплакаться. Из ниоткуда возник — в то самое мгновение, когда оставшаяся без Пушкина Россия оплакивала первую свою любовь...

«Бывают странные сближения...»

19 марта 1837 года Лермонтов покинул Петербург. В тот же день состоялись похороны знаменитой «пиковой дамы» — Н. К. Загрязской. 19-го же сани, запряженные тройкой прекрасных рысаков, навсегда увезли из Северной Пальмиры Жоржа Дантеса. Несмотря на соседство жандарма и еще одного сопровождающего офицера, красавчик Жорж выглядел бодро. День выдался ослепительный, и фуражка, лихо сидевшая на кудрях бывшего кавалергарда, сияла так, что непонятно было, шелком или золотом расшита! А на следующий день по петербургскому тракту дилижанс увез и еще одного петербуржца — Николая Соломоновича Мартынова.

Развязав одну трагедию, жизнь тут же, без передышки, завязывала следующую!

Пушкинское время кончилось внезапно: смерть «пиковой дамы» словно бы проводила невидимую черту... Но современники этого еще не чувствовали, не понимали, что в ссылку, нагоняемый своим убийцей, уезжал отнюдь не преемник «дивного гения», что по иронии судьбы смерть Пушкина поставила рядом с Пушкиным (ступенькой ниже, конечно, но рядом же, затылок в затылок!) художника, в котором все было антипушкинским. Образ, или как говорили в XIX веке, «склад» мыслей. Чувство мира в себе и чувство себя в мире. Отношения с Россией и отношение к России.

Еще в 1831 году, семнадцати лет от роду, Лермонтов написал удивительные стихи:

Но, потеряв отчизну и свободу,  
Я вдруг нашел себя, в себе одном  
Нашел спасенье целому народу...

Речь идет, разумеется, не об отказе от русского гражданства. Не об утрате его. Вне России Лермонтов себя не мыслил. Однако отчизны в том смысле, какое вкладывал в это понятие юный Пушкин, когда, обращаясь к Чаадаеву, писал: «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы», у Лермонтова уже не было. Да, он любил отчизну, но, как сам признается в «Родине», «странною любовью». Все, что заставляло Пушкина «любить России честь», не вызывало в нем творческого восторга. Не надеясь больше на «вольность», «свободу», Лермонтов находит «спасение» в «себе самом»: сам себе государство, закон, этика.

Герои пушкинского времени при любых конфликтах с государством продолжали сознавать себя государственными людьми. Лермонтов чувствует себя иначе — личностью, отделившейся от государственности, и отделение это, — и идущий вразрез с официальным стереотипом образ чувств и мыслей, свободный внутри государственной несвободы, — понимается как единственно возможная форма оппозиции.

Даже «нерукотворные» памятники, заказанные еще при жизни «дивным гением» и его якобы преемником, «спроектированы» по разным чертежам.

Пушкин:

Я памятник себе воздвиг нерукотворный,  
К нему не зарастет народная тропа,  
Вознесся выше он главою непокорной  
Александрийского столпа.

Лермонтов:

Надо мной чтоб, вечно зеленея,  
Темный дуб склонялся и шумел...

Пушкинский мемориал возвышается словно бы в центре столичной площади, в самой гуще человеческого столпотворения. Он не просто выше «Александрийского столпа», он — вместо него, а значит, немислим без атрибутов российской государственности; имперского фасада Зимнего и «державного течения» Невы.

Лермонтовский Памятник — одинокое, отдельное, хотя и вечное — дуб! — дерево в российской степной провинции, и тропа к нему, затерянному в глуши, если и не зарастает «травой забвения», то потому лишь, что «путь» сюда, в пустыню, «кремнист».

Эхо... Всемирная отзывчивость... Протеизм... И «Одной лишь думы власть...»

Пушкин:

Блажен, кто смолоду был молод,  
Блажен, кто вовремя созрел.

Лермонтов:

...душа была  
Из тех, которым рано все понятно...

Пушкин:

И я, питомец неги праздной...

Лермонтов:

Мне нужно действовать...  
...понять

Я не могу, что значит отдыхать...

Почти на каждый пушкинский «тезис» мы без особого труда, сделав, разумеется, скидку на «коллективный опыт эпохи» (Ю. Лотман), отыщем у Лермонтова «антитезис».

Первым, кто догадался, что «новое могучее дарование» — иное и по составу художественности, и по содержанию, был Белинский. Остальные продолжали соединять их в целостность, в созвездие: Пушкин и Лермонтов, Лермонтов и Пушкин...

Лермонтов был противопоставлен Белинскому. Барьер, разделявший их, — сложная смесь разночинной застенчивости (со стороны Белинского) и скрытность, похожая на высокомерие (со стороны Лермонтова), — не оставлял надежды на контакт.

Контакт тем не менее состоялся. Неистовый Виссарион влюбился в Лермонтова, несмотря на то, что этот «аристократ» не укладывался ни в его этику, ни в его эстетику. Влюбленность, рассудку вопреки, видимо, и обострила его зоркость...

Впрочем, даже Белинский нет-нет, да скатывался к общему взгляду... Прочитав в рукописи «Родину», писал В. Боткину:

«Если будет напечатана его „Родина“, — то, аллах-керим, — что за вещь, пушкинская, то есть одна из лучших пушкинских».

Авторитет Белинского и в дальнейшем, при оценке и анализе этого шедевра, заставлял искать в нем следование Пушкину, почти подражание: «И неслучайно, — утверждал пушкинист Д. Благой, — давно уже обращавшее на себя внимание исследователей сходство не только в общем колорите, но и в отдельных подробностях между лермонтовской „Родиной“ и „Путешествием Онегина“».

А между тем «Родина» — вещь не просто не пушкинская, а откровенно, намеренно противоположная, и сходство «отдельных подробностей» это подчеркивает, даже если отвлечься от «спрятанной» в пейзаже идеи, тоже, разумеется, антипушкинской.

Пушкин:

Иные нужны мне картины:  
Люблю песчаный косогор,  
Перед избушкой две рябины,  
Калитку, сломанный забор,  
На небе серенькие тучи,  
Перед гумном соломы кучи —  
Да пруд под сенью ив густых,  
Раздолье уток молодых;  
Теперь мила мне балалайка,  
Да пьяный топот трепака  
Перед порогом кабака.

Лермонтов:

Люблю дымок спаленной жнивы,  
В степи ночующий обоз  
И на холме средь желтой нивы  
Чету белеющих берез.  
С отрадой, многим незнакомой,  
Я вижу полное гумно,  
Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно;  
И в праздник, вечером росистым,  
Смотреть до полночи готов  
На пляску с топаньем и свистом  
Под говор пьяных мужичков.

Общих подробностей действительно много. Пушкинские стихи так прочно «вросли в память», что восприятие прежде всего фиксирует *общее*. У Пушкина «две рябины», и у Лермонтова «чета берез». У Пушкина «избушка», и у Лермонтова — «изба». У Лермонтова — гумно, и у Пушкина... Отрывок из «Онегина» кончается пляской, «Родина» — также.

Однако проверим, так ли велико сходство. А для этого обратим внимание не только на повторяющиеся подробности, но и на те детали, которых нет у Пушкина. А главное, на оттенки, какие приобретают в лермонтовском тексте уже вроде бы знакомые по Пушкину предметы. Пушкин посадил свои рябины перед самой избушкой, Лермонтов увенчал четую берез холм. И это сразу преобразило картину: вместо убогой деревушки, приютившейся где-то на краю песчаного косогора, мы видим картину степного раздолья. Именно степь, а не деревня занимает первый план его пейзажа, а затерявшийся в ночи обоз вносит в стихотворение элемент «кочевья».

Иначе, чем у Пушкина, смотрится в «Родине» и деревня. У Пушкина занимающая первый план избушка кажется придавленной песчаным косогором. Впечатление убогости усиливают и остальные детали: сломанный забор, калитка (а не ворота!), серенькие тучи, валяющаяся перед гумном солома. У Лермонтова деревня вовсе не выглядит убого — он подчеркивает в ее бытовом укладе как раз противоположные черты: полное гумно, окно с резными ставнями. Да и время дня другое: у Пушкина «серенький день», у Лермонтова — «росистый вечер», то есть самое выгодное для деревенского ландшафта освещение. А как умело вносит он в свою картину и еще один элемент, также отсутствующий у автора «Евгения Онегина», элемент праздника. И праздник этот начинается еще до въезда в деревню, с четы белеющих берез, которые напоминают, что скоро кончится страда и наступит время деревенских свадеб!

Но характернее всего концовка. На первый взгляд, именно здесь Лермонтов ближе всего к образцу, который он якобы копирует, как прилежный ученик. Но это только на первый взгляд. Вспомнитесь — и увидите, что и здесь нет ни равнения на общепризнанный шедевр, ни согласия с его автором: натура одна и та же, да подход к ней свой. У Пушкина пляшут пьяные, и притом где? — возле кабака. А у Лермонтова? Кабака в его картине нет, да и хмельные мужики не участвуют в пляске: он отодвинул их в сторону, чтобы не мешали, не портили ни песни, ни пляски: «топанье» и «свист» остаются в плясовом кругу, усиливая впечатление «вольницы», а «пьяный говор» выносится за его «черту»...

Пушкинский пейзаж, искусство замаскированный под зарисовку с натуры, — литературная декларация, реплика в защиту реализма и нагой простоты. Лермонтов по крохам, по крупичкам собирает в одной картине, в одной раме, на одном холсте все, что заставляет его, несмотря на «всезречность», любить отчизну.

Пройдет несколько десятков лет, и Блок найдет формулу «странной любви»: «И страсть, и ненависть к отчизне», но никто из его современников уже не будет воспринимать соединение столь противоречивых чувств как странность.

Тот же антитеза, та же скрытая энергия противостояния и в «Герое нашего времени».

Казалось бы, всего лишь новый, применительно к общественной ситуации конца 30-х годов, вариант «лишнего человека». Однако Онегин — воплощение бездеятельности, существо, лишенное «рефлекса цели», естественный продукт своего времени, воспитания, среды («развращающая обстановка помещичьей праздности»), словом, «типичный представитель», плывущий «по течению века».

У Лермонтова — более сложный случай.

В популярном литературоведении обычно отождествляются собирательный образ «Думы» и главный персонаж «Героя нашего времени» — «портрет, — по аттестации автора, — составленный из пороков целого поколения». Но является ли эта аттестация истинным мнением Михаила Юрьевича Лермонтова о Григории Александровиче Печорине? Известно: из черновика «Героя...» Лермонтов вычеркнул в характеристике Печорина абзац, видимо, как слишком уж открыто излагающий авторскую концепцию центрального образа; она сложнее, чем та, что предлагается в печатном тексте от автора:

«Если верить тому, что каждый человек имеет сходство с каким-нибудь животным, то, конечно, Печорина можно было бы сравнить с тигром. Сильный и гибкий, ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушению минуты; всегда готовый на долгую борьбу; не скучающий один, в пустыне с самим собою, а в обществе себе подобных требующий беспрекословной покорности. По крайней мере таким, казалось мне, должен быть его характер физический, т. е. тот, который зависит от наших нервов и от более или менее скорого обращения крови. Душа — другое дело! Душа или покоряется природным склонностям или борется с ними, или побеждает их. От этого — злодеи, толпа и люди высокой добродетели. В этом отношении Печорин принадлежал толпе, и если он не стал ни злодеем, ни святым, то это, я уверен, от лени. Впрочем, это мои собственные замечания, основанные на моих же наблюдениях, и я вовсе не хочу заставлять вас верить в них слепо».

Но почему человек-тигр, личность, рожденная на борьбу и владычество, оказывается принадлежащим толпе? Лермонтов объясняет это «ленью» Печорина, то есть с намерением дает самый пошлый — на уровне понимания толпы — ответ; однако не навязывает его, не настаивает на окончательности своего утверждения и тем самым как бы предлагает читателю, умному, разумеется, самому найти (или хотя бы поискать) иное, более глубокое объяснение.

Думаю, не следует понимать буквально и авторскую декларацию из предисловия к «Журналу Печорина»: «История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа».

Не услышав здесь иронии, мы рискуем оказаться в положении Лермонтовым же осмеянного простодушного провинциала... Простофили, который, «подслушав разговор двух дипломатов, принадлежавших к

враждебным дворам, остался бы уверен, что каждый из них обманывает свое правительство в пользу взаимной, нежнейшей дружбы».

Строгость николаевской цензуры (гражданской, военной, духовной) вынуждала к дипломатии. Цензор и автор принадлежали к «враждующим дворам», а Лермонтову было необходимо закамуфлировать, спасти от беспощадного цензорского карандаша самую главную, самую опасную мысль своего романа, поскольку история души — не мелкой от рождения, но ставшей почти мелкой, рассказанная в «Герое...», имела самое прямое, самое актуальное отношение «к истории целого народа».

Известно, что Лермонтов хотел назвать роман «Один из героев начала века», но отказался от этой мысли. Ведь Печорин не просто — характеристическое лицо; его судьба — ключ к загадке времени: почему век, начавшийся так блестяще — триумфом наполеоновских войн, — оказался ничтожным?

В. Белинский, конечно, несколько огрублял момент истины, утверждая, что Печорин — это сам Лермонтов «как есть».

Портрет Печорина в «Княгине Лиговской» — почти автопортрет. Герой нового романа — тоже Печорин и тоже Григорий Александрович — списан с другой натуры; единственная лермонтовская черта — «глаза, не смеявшиеся, когда он смеялся». «Слова: „Глаза его не смеялись, когда он смеялся...“ — действительно, применялись к нему» (Иван Тургенев о Лермонтове).

Убежденный последователь Лафатера (уезжая из Петербурга в марте 1841 года, Лермонтов не забыл захватить сочинения швейцарского чудодея, не тонкую книжку — массивный десяти томник), он полагал, что облик человека и его характер — единое целое. Изменив внешность Печорина, Лермонтов и внутренне отстранился, отодвинулся от него...

Но интуиция не обманула Белинского: самым главным своим Михаил Юрьевич поделился с Григорием Александровичем; как и его «творец», Печорин родился для действия — борьбы и владычества. Эта особенность при первом чтении романа, видимо, и бросилась в глаза критику:

«Его беспокойный дух требует движения, деятельность ищет пищи, сердце жаждет интересов жизни».

Однако обстоятельства, в какие поставлен герой, не дают ни нужной ему пищи, ни целенаправленного движения, ни высших интересов. И эти обстоятельства фатальны. «Жизненный жребий» Печорина искажен, изуродован не по его вине. Причина трагедии — в коренных неурядицах «гражданской жизни россиян», в том механическом порядке, который был распространен на всю Россию железной волей Николая I, систематически душившего всякое проявление инициативы и жизни.

Печорин, в отличие от Онегина, — олицетворение личной инициативы, человек, одержимый жадой индивидуальной свободы! Вот почему на нем болезненней, чем на людях с иной нравственной и душевной конституцией, отражается проникший во все уголки государственной и частной жизни «худший вид угнетения» — обдуманное, самодовлеющее, имеющее вполне конкретную чудовищную цель: «сделать из великой нации автомат», «механизм которого находился бы в руках владыки»...

Спасая свое физическое существование, обращенный в бегство от себя, от истинной своей природы, Печорин смешивается с тол-

пой, принуждает себя быть человеком как все и не может быть таким, как все.

...В перебеленной рукописи стихотворения Пушкина «Кавказ» была одна дерзкая строфа, которую автор не стал публиковать — «по размышленьи зрелом»:

Так буйную вольность законы теснят,  
Так дикое племя под властью тоскует,  
Так ныне безмолвный Кавказ негодует,  
Так чуждые силы его тяготят.

Забракованная по высшим государственным соображениям строфа из пушкинского «Кавказа» может служить вторым эпиграфом к «Мцыри». Однако Лермонтов не просто продолжает мысль великого предшественника... В «Путешествии в Арзрум» Пушкин, имея в виду «дикие племена» Северного Кавказа, писал:

«Что делать с таковым народом?.. Влияние роскоши может благотворить их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия... Кавказ ожидает христианских миссионеров. Но легче для нашей лености в замену слова живого... посылать немые книги людям, не знающим грамоты...»

«Мцыри» является как бы проверкой предложенного Пушкиным гуманного плана «укрощения» немирных горцев. Шестилетним ребенком Мцыри попадает к христианским миссионерам. Они спасают его от смерти. Его воспитывают не «немые книги», а живой пример подвижничества. А он, несмотря на все эти усилия, остается верным «заветам отцов».

Антипушкинский современный роман.

Поэма с иным, чем у Пушкина, взглядом на проблему «присоединения Кавказа».

И наконец, «Песня про царя Ивана Васильевича...» — первый опыт исторического народного романа в стихах, объясняющего ход, течение исторического процесса не только борьбой социальных групп, а еще и своеобразием русского национального характера.

В начале 40-х годов Владимир Одоевский создал одну из своих самых „одоевских" работ — „Опыт безымянной поэмы», где попытался описать и осмыслить «русскую Илиаду», используя — как «черновик» не успевшей сложиться эпопеи — разбойничьи и удалые песни.

Вот что писал Одоевский:

«Едва ли не к самым древним русским песням должны быть отнесены те, которые я назову *удальми*, т. е. те, в которых воспеваются наезды и вообще жите-бытье русских молодцев... В них есть нечто общее... в них найдите вы характеры, понятия, чувства, целую жизнь русского наездника, являющегося под именем то гостя, то богатыря, то кулачного бойца, то волжского бурлака; Соловей Будимирович, Васька Буслаев, Фрол Минаевич, Стенька Разин, даже Ванька Каин — это одинакие стихии, которые не успели слиться в одно и то же символическое лицо, подобно тому, как несколько Ахиллов и несколько Юпитеров слились в одного Ахил-





per l'incisione  
in litografia  
di G. G. G.



ла, в одного Юпитера; это обломки аэролита, не успевшего сделать-ся планетою...

Дух завоеваний, прекратившийся у других народов, по особенным обстоятельствам продолжался долго в Русской земле. Порабощенные татарами русские не могли совершенно сломиться под сим игом, но силою оружия искали своей независимости и все отнятое у врага... считали законным приобретением... Как бы то ни было, сей дух был дух русский и произвел Ермаков и Хабаровых...»

В дальнейшем, полагает Одоевский, «дух завоеваний... получил характер разбойничества, ибо сей дух действовал уже не на пользу целого государства, но лишь для отдельного скопища людей».

Исследование написано после смерти Лермонтова, но Владимир Одоевский — из той породы литераторов, которые щедро делятся своими идеями задолго до того, как те оформились «на бумаге». Он был своеобразным «генератором идей» и никак не мог понять, почему на особенный характер, отразившийся и в сказках, и в песнях, не хотят обратить внимание русские романисты, ревностно подражающие Вальтеру Скотту. Он полагал, что народная эпическая поэзия — есть тот родник, из которого может развиваться самобытный исторический роман.

Лермонтов был первым русским историческим писателем, кто решился создать исторический роман в форме эпической народной песни, обратив особое внимание на подмеченную Одоевским черту национального характера.

Однако Лермонтов не только осуществляет в своей художественной практике излюбленную идею Одоевского, он дополняет и усложняет ее. В «Песне...» Кирибеевичу противостоит Степан Калашников, носитель совсем иной, но тоже извечно русской стихии. «Дух удалства» создавал Ермаков и Хабаровых; благодаря их усилиям, русская земля разбегалась, расширялась, летела, как птица-тройка... Но ведь разбегающуюся во все концы света Русь надо было еще и на месте удерживать, «на крепь» сажать, запрягая в тяжкую долгую работу! А для этого требовались совсем другие люди, такие, как Степан Калашников, — верные долгу, оседлые, основательные.

Не по былинам своего времени решил Лермонтов и образ Грозного. Это теперь, усилиями целой когорты блестящих знатоков русского XVI века, установлено, что у Ивана Грозного, принадлежавшего к числу самых образованных людей своего времени, была серьезная программа государственного строительства. Вокруг Грозного менялись лица и влияния, сам Грозный мог жить добродетельно или порочно — свойства московской политики не менялись. Это была политика большого размаха, исполненная широких замыслов и энергии выполнения задуманных мер. Они воплощались в жизнь самим Грозным, а не приходили с Сильвестром и не уходили с Басмановым и Малотой Скуратовым.

Совсем иначе относились к Грозному в эпоху Лермонтова. Так, виднейший историк XVIII века М. Щербатов, «прошед историю сего государя», вынес впечатление, что Грозный «в толь разных видах представляется, что часто не единым человеком является».

Практически тот же взгляд на личность Ивана Васильевича выразил и Карамзин. Об эпохе Грозного он написал увлекательно, картинно, заразив интересом к истории широкие слои русской публики, но характер Иоанна, по признанию историка, остался для него загадкой.

Не умея разгадать загадку, Николай Карамзин предложил гипотезу: Грозный, по слабости характера, был подвержен влияниям; когда его окружали прогрессивные сподвижники, вроде Сильвестра, он был «добродетелен»; приблизив к себе «развратных любимцев», «пал нравственно». Гипотеза родилась из наблюдений Карамзина над личностью Александра I — «властителя слабого и лукавого» — он перенес ее в шестнадцатый век.

Лермонтов угадал характер Грозного точнее, чем современная ему историография. Политика размаха, отмеченная отважным поиском, не могла обойтись без таких деятелей, как Кирибеевич, и Иоанн прекрасно понимал это. Но Калашникова казнят не потому, что царь разгневался на него за убийство нужного человека. Вернее, не только поэтому... Кулачные бои на льду Москвы-реки — спорт XVI века, а спорт требовал соблюдения правил. Калашников нарушил спортивный кодекс, и Грозный, хотя ему явно импонирует честность убийцы, не может пойти на отступление от закона — здесь, при стечении народа, когда он, Иоанн, олицетворяет идею справедливой, хотя и твердой власти. И оставшейся без кормильца семье покровительствует не потому, что добр. Без Калашниковых не устроить царю земли русской, оттого и делает все, чтобы не перевелась «добрая порода»:

Молодую жену и сирот твоих  
Из казны моей я пожалую,  
Твоим братьям велю от сего же дня  
По всему царству русскому широкому  
Торговать безданно, безошлинно.

И это не милость, не великодушный рыцарский жест. Это — хозяйский поступок, забота о добром семени, которым надлежит засеять русское поле, с таким трудом отвоеванное у татар.

В «Панораме Москвы» Лермонтов, описав церковь Василия Блаженного — исторический памятник времен Ивана Грозного, — сделал интересное наблюдение: главы храма непохожи одна на другую, рассыпаны без симметрии, без порядка, и тем не менее не глядятся отдельно, а кажутся «отраслями одного дерева». Точно такое же впечатление оставляют и три главных фигуры «Песни» — каждый сам по себе, своей краской крашен, и все-таки — ветви одного дерева.

Словом, три крупные, «козырные» вещи, которые Лермонтов привезет из ссылки, уже в готовом, как «Песня про царя Ивана Васильевича», или в полуготовом, как «Герой...» и «Мцыри», виде — не только оплата выданного год назад аванса («Поэт с Ивана Великого»), но еще и спор с «дивным гением». Не мальчишеский задорный спор, вызванный тщеславным желанием самоутвердиться посредством отрицания: за напряжением спрятанной в глубину полемики — инакомыслие, инакочувствие, иной взгляд на вещи...

Внутренней установкой на противоборство, по всей вероятности, объясняется и то странное упорство, с каким Лермонтов при жизни Пушкина сохранял и пестовал в себе чувство дистанции, и не только в творческом, но и бытовом плане. Прожив почти четыре с половиной года в Петербурге, рядом с Пушкиным (тот же общественный круг, множество общих знакомых), он не сделал ни одной попытки познакомиться с «дивным гением», казалось бы, естественной со стороны юноши, подающего «большие надежды». Но в этом, видимо, и состояло препятствие: роль подающего надежды молодого дарования не устраивала Лермонтова, он мог прийти к Пушкину лишь как равный к равному.

Поединком с автором «Бориса Годунова» было и «Бородино». Здесь Лермонтов дал «первый бой» аристократическому взгляду на русскую историю.

История многих произведений Лермонтова до сих пор не выяснена. К числу темных происхождением относится и знаменитое «Бородино». Оно опубликовано в шестой, за 1837 год, книжке «Современника». С этим обстоятельством, очевидно, и связана легенда, будто Пушкин видел и даже хотел напечатать стихи в своем журнале. Цензурное разрешение на шестой номер помечено 2-м мая. Автограф не сохранился. Основываясь на этих скудных данных, исследователи выдвигают разные гипотезы.

Б. Эйхенбаум, например, допускал, что «Бородино» могло быть написано и до смерти Пушкина. Но это маловероятно: очень трудно поверить, что произведение такого масштаба оказалось незамеченным в те дни, когда внимание читающего Петербурга было привлечено к поэту, в котором так хотели видеть наследника Пушкина.

Согласно мнению других, «Бородино» написано на Кавказе. Версия эта идет еще от первого биографа Лермонтова Висковатова. Наиболее подробно она изложена в книге А. В. Попова «Лермонтов на Кавказе». «Мог ли Лермонтов, — рассуждает автор этой работы, — такое стихотворение, как „Бородино“, написать в Петербурге, где он был окружен офицерами, которые, по словам его современника, верили в благодетельную спасительность вытянутых в одну линию солдатских носков и безукоризненно начищенных кирпичом мундирных пуговиц? Конечно, нет. Зато в Ставрополе Лермонтов попал в совершенно иную обстановку».

Обстановка в кавказской армии была действительно иной. По свидетельству Висковатова, «офицеров, приезжавших из войск, расположенных в России, поражали в кавказской армии самостоятельность ротных и батальонных командиров, разумные сметливость и незадерганность солдата; унтер-офицеры были вообще очень хорошие люди и заслуженные; в это звание производили не за наружность и ловкость во фронте. Вообще в войсках видны были остатки преданий суворовского времени».

Все это звучало бы убедительно, если бы не было доподлинно известно: Лермонтов выехал из Москвы 10 апреля 1837 года, а цензурное разрешение на 6-ю книжку «Современника» получено 2 мая. В этих условиях принять вариант Висковатова-Попова, значит, допустить, что за 22 дня Лермонтов сумел: добраться по весенней

распутице до Ставрополя, изучить обстановку в кавказской армии (не выезжая из Ставрополя!), написать «Бородино», доставить его в Петербург не позже конца апреля...

Более правдоподобным представляется предположение, что «Бородино» написано по дороге на Кавказ, а скорее всего, в Москве. И вот почему. Лермонтов задержался здесь на целых 17 дней. Значит, время у него было, и на то, чтобы написать стихотворение, и на то, чтобы отослать рукопись в Петербург. Лермонтов попал в древнюю столицу как раз в ту пору, когда Москва деятельно готовилась к большому торжеству — 25-летию Бородинской годовщины. Праздник затевался широко, на всю империю. Но именно в Москве, где была еще так сильна память и о «сожжении пожаром», и о горьком возвращении к «родному пепелищу», острее чувствовалась бестактность помпезности, с какой, по распоряжению Николая, обставлялась 25-летняя Бородинская годовщина. Здесь отчетливей, чем в казенном Петербурге, бросался в глаза разрыв между истинным духом Бородина и официальной показухой, которая Лермонтову, в его теперешнем положении, на переломе судьбы, представлялась отвратительной, тем более отвратительной, что «Поле Бородина», стихотворение, написанное им в один из прежних «юбилеев» (теперь то он это понимал), ничем не отличалось, за вычетом одной-единственной полустрофы, от той ложно-пафосной, ложно-одической верноподданнической чепухи, которой, в преддверии общеимперского торжества, заполнялись журналы.

Разумеется, были и исключения. Время от времени, к примеру, Денису Давыдову удавалось напечатать, хотя и в изуродованном цензурой виде, отрывки из «Материалов для современной военной истории». Так, в 1836 году в «Библиотеке для чтения» опубликован его «Урок сорванцу», а несколько ранее, у того же Сенковского, — «Воспоминание о сражении при Прейсиш-Эйлау» и «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году».

Это была серьезная и в то же время яркая проза, яркая по слогу, по способу «живописного соображения» (Гоголь) и оттого сильно страдавшая при редакторской правке. Сенковский, взявшийся публиковать Давыдова, безбожно коверкал его текст, находя в нем множество ошибок супротив правил российской грамматики. Давыдов приходил в бешенство, жаловался Пушкину, Пушкин успокаивал, как мог: «Сенковскому учить тебя русскому языку все равно, что евнуху учить Потемкина».

Но это была совсем не та военная литература, какая мерещилась Лермонтову.

Проза Давыдова слишком декоративна, во всяком случае, там, где он выступал не как теоретик и военный историк, а как живописец военного дела. «Загудело поле, и снег, взрываемый 12 тысячами сплоченных всадников, поднялся и взвился из-под них, как вихрь из-под громовой тучи. Блистательный Мюрат в карусельном костюме своем, следуемый многочисленною свитою, горел впереди бури, с саблею наголо, и летел, как на пир, в середину сечи». Было время, когда и Лермонтову нравились батальные сцены,

исполненные в гусарском стиле, и Лермонтову-поэту («Поле Бородина»), и Лермонтову-живописцу («Атака гусар под Варшавой»).

Теперь его уже не устраивали ни нагая простота пушкинской прозы, ни гусарская выразительность Дениса Давыдова, ни цветастый слог Бестужева-Марлинского, который Греч прозвал «бестужевскими каплями» (бестужевские капли: раствор железа в смеси спирта с эфиром — популярное лекарственное средство той поры).

Но кроме противопоказушного настроения и необходимости художнически оформить новое миропонимание должен же был быть какой-то конкретный повод? Жизненный «импульс», давший новое направление старому сюжету?

Нельзя, конечно, исключить возможность свежей встречи с участником Бородинской битвы... Но, думается, могла быть и еще одна встреча. Я имею в виду знаменитую книгу Альфреда де Виньи «Неволя и величие солдата».

Отдельным изданием «Неволя и величие солдата» вышла в октябре 1835 года, но повести, составившие цикл, печатались и раньше, в журнале. Как и на многие французские книги, на нее распространялся запрет иностранной цензуры. Однако запрет этот, даже во времена Николая I, сплошь и рядом оказывался чистой фикцией.

По свидетельству осведомленного современника, не было ни одной запрещенной иностранной цензурой книги, которую нельзя было бы купить в Петербурге, даже у букиниста. «В самом начале появления „Истории Наполеона“, сочинения Вальтера Скотта, — записывает он в своем дневнике, — ее позволено было иметь в Петербурге всего шести или семи государственным людям. Но в то же самое время мой знакомый... выменял его у носильщика книг за какие-то глупые романы»...

Но прежде чем рассказать о книге А. де Виньи, приведу выдержку из нее — сходство этого фрагмента (и в общем взгляде, и в авторском отношении к предмету) с лермонтовским «Бородино» таково, что простым совпадением его, по-моему, никак не объяснить.

«В полках, где мне довелось служить, — пишет де Виньи, — я любил слушать офицеров почтенного возраста; их сутулая спина все еще напоминала спину солдата, согбенного под тяжестью ранца... Они рассказывали мне о былых походах — Египетском, Русском... И, напротив, мне казалось нудным и неприятным навязчивое самодовольство молодых лейтенантов той поры, праздных и невежественных, завязанных игроков и курильщиков... знатоков по части покроя мундира, любителей поразглагольствовать в кафе и бильярдных залах. Беседа их ничем не отличалась от тех, что обычно ведут меж собою заурядные молодые люди светского круга... Чтобы извлечь хоть некоторую пользу из всего, что меня окружало в ту пору, я не упускал ни малейшей возможности послушать стариков... Они, в свою очередь, не без удовольствия вписывали в мою память отдельные эпизоды минувших дней, и убедившись, что мое терпение не уступает их собственному... всегда охотно раскрывали передо мною душу. Вечерами мы часто бродили по полям и рощам, окружавшим гарнизон-

ные стоянки, а иногда по берегу моря, и то тут, то там общий облик пейзажа или какая-нибудь неровность местности навевала на моих спутников нескончаемые воспоминания: то о некоей морской битве или памятном отступлении, то о роковой засаде, пехотной стычке или обложении крепости; и всякий раз при этом они либо тосковали по ушедшим тревожным дням, либо с почтением вспоминали некоего доблестного генерала».

Речь идет, разумеется, не о подражании или заимствовании идей. Военная книга Виньи, оказавшись созвучной раздумьям Лермонтова, собрала в фокус и наблюдения, и мысли, а главное, дала возможность соотнести их с наблюдениями и мыслями человека, думающего в том же направлении. Словом, Виньи оказался прежде всего собеседником, и собеседником такого ранга и масштаба, какого непосредственное окружение не могло Лермонтову предоставить. Даже среди столичных литераторов не было ни одного, кого бы всерьез интересовала проблема армии, во всяком случае в такой широкой, философской постановке, какую наметил Альфред де Виньи. Ценность диалога увеличивалась еще и общностью судьбы. Как и Лермонтов, Виньи был не только поэтом, но и профессиональным военным. Как и Лермонтов, он почти подростком вступил в гвардию, соблазненный сиянием военной славы Франции. Однако событие это совпало с падением Наполеона I, и, вместо военных триумфов и далеких походов, на долю юного поэта выпали долгие годы будничной гарнизонной службы, которую разнообразили лишь «гражданские смуты» внутри Франции — по долгу службы Виньи принужден участвовать в их подавлении. Раздумывая о превратностях своей судьбы, он увидел за ней судьбу современной армии, невольной, как и автор «Боролина», сравнивая прежние времена и нынешние.

Результаты этих раздумий выглядели, в условиях николаевской России, непозволительно, но тем более должны были они привлекать сочинителя непозволительных стихов.

«Судьба современной армии, — утверждал Виньи, — совершенно непохожа на судьбу прежнего войска... Теперь это как бы живое существо, отторгнутое от большого тела нации... Современная армия... становится чем-то вроде жандармерии. Она как бы стыдится собственного существования и не ведает ни того, что творит, ни того, чем она является в действительности; армия то и дело задает себе вопрос, кто она: рабыня или царица в государстве; это живое существо ищет повсюду свою душу и не находит ее...

...Сколько раз, будучи вынужден принимать незаметное и все же деятельное участие в наших гражданских смутах, я чувствовал, как совесть моя восстает против этой унижительной и жестокой обязанности!»

Поскольку у нас нет документально точных свидетельств, не будем утверждать, что именно эти соображения Виньи оказали влияние на мировоззрение Лермонтова... Но чтобы убедиться в том, что основная мысль этой книги была близка ему, достаточно внимательно прочитать «Валерик» и «Завещание», две исповеди участников «народной» войны. Они определенно чувствуют себя существами, отторгнутыми от «большого тела нации», гладиаторами, участ-



вующими в некоем «представлении». Отсюда и театральные эпитеты при описании сражений: «трагический балет», «сцена», «представление», «забава» и т. д.

Но я боюсь вам наскучить,  
В забавах света вам смешны  
Тревоги дикие войны...

Герой «Бородина», в каких бы отношениях ни находился он с забывшей его женщиной, такого не то чтобы написать — подумать не мог...

В пользу того, что Лермонтов не только читал военную прозу Альфреда де Виньи, но и постоянно оглядывался на его книгу, создавая «Героя нашего времени», свидетельствуют и текстуальные совпадения.

В повести Виньи «С кем я однажды повстречался на большой дороге» есть такой эпизод. Автору-рассказчику, застигнутому в пути непогодой, встречается повозка, которую тянет низкорослый мул. Мула вел под уздцы «мужчина лет пятидесяти, седоусый, крепкий, высокий и несколько сутулый, как все старые пехотные офицеры, в свое время носившие ранец. На нем был мундир пехотинца, а из-под короткого поношенного синего плаща выглядывал майорский эполет. Лицо было грубоватым, но добрым, каких в армии немало... На шее у майора висел кокосовый орех, покрытый красивой резьбой, приспособленный под флягу, с серебряным горлышком и, надо думать, немало тешивший его тщеславие».

Встреченный Лермонтовым, точнее, героем-повествователем, на большой Кавказской дороге пехотный штабс-капитан (глава «Бэла») до такой степени похож на знакомого Виньи, что невольно возникает предположение: автор «Героя...» сохраняет это сходство специально:

«За мою тележку четверка быков тащила другую... За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро. На нем был офицерский сюртук без эполет и черкесская мохнатая шапка. Он казался лет пятидесяти; смуглый цвет лица его показывал, что оно давно знакомо с закавказским солнцем, и преждевременно поседевшие усы не соответствовали его твердой походке и бодрому виду. Я подошел к нему и поклонился».

Совпадают и тип (седые усы, не соответствующие бодрому, бравому виду), и возраст (лет пятидесяти). Даже их тщеславие одного плана: у французского майора на шее висит фляга из кокосового ореха с серебряным горлышком; Максим Максимыч «покуривает из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро». И фляга из кокоса, и кабардинская трубочка — не просто недорогие, но красивые безделушки. Это своего рода «сувениры» — вещественные доказательства их скитаний, долгой службы в экзотических краях.

С удивительной естественностью оба героя, повествуя о своей жизни, переходят от драматического к обыденному, застревают на мелочах, но за этим неумением отделить высокое от смешного — не бесчувствие, а смирение, терпение, боязнь досадить своими горестями. Даже авторские рассказы об их рассказах кончаются одной и той же фразой:

Альфред де Виньи:

«Он нимало не заботился о том впечатлении, какое произвел на меня его рассказ... Меньше всего он думал о самом себе и спустя примерно четверть часа принялся тем же тоном рассказывать более пространно о каком-то походе маршала Массены, где ему пришлось построить свой батальон в каре против не помню уже какой там конницы. *Я его не слушал...*»

Лермонтов:

«Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости годом позже... *Я не перебивал его и не слушал.*»

Бедный ужин с Максимом Максимычем — в дымной сакле (кпустому чаю автор добавляет вынутые из чемодана два походных стаканчика) также заставляет вспомнить трапезу, описанную де Виньи: его герои, спрятавшись от проливного дождя под повозкой майора, делят пополам «два хлебца» («У нас было два хлебца; мы поделили их между собою...»).

Подобного рода сближений с «Неволей и величием солдата» в тексте «Героя нашего времени» очень много... Приводить их все не имеет смысла. Лермонтов и Альфред де Виньи — тема отдельной, большой работы. И все-таки позволю себе еще одну подробность. «Герой нашего времени», как и «Горе от ума», давно разобран на цитаты. Особенно часто цитируется пассаж из «Тамани»: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще и с подорожной по казенной надобности»: уж очень она лермонтовская и по сути, и по мелодическому ладу. А между тем ее вполне можно назвать вольным переводом не менее знаменитой фразы Виньи: «Какое мне дело было до того, кто они и что о н и , — мне, скитавшемуся всю жизнь по морям».

Была в книге Альфреда де Виньи и еще одна тонкость, делавшая автора, в глазах Лермонтова, человеком, который мог дать необходимый совет; совет сугубо профессиональный и в то же время плотно подогнанный к моменту.

«Эти четырнадцать лет (армейской службы. — *А. М.*), — пишет А. де Виньи в «Неволе и величии солдата», рассказывая об истории возникновения книги, — были бы, разумеется, безвозвратно для меня потеряны, если бы, неся свою службу, я не наблюдал, прилежно и неотступно, за всем, что могло оказаться поучительным в будущем». Исходя из собственного жизненного опыта, Виньи утверждал: служба в армии — превосходная школа действительной жизни, «книга, которую полезно открыть, если хочешь узнать человеческую природу», особенно для людей «богатых» и «избалованных»:

«Не будь армии, сын какого-нибудь вельможи и не подозревал бы, как живет, мужает и нагуливает жир солдат».

Можно представить себе, каким утешением и поддержкой были эти слова для новоиспеченного армейца! Каким обещанием для вчерашнего дилетанта, внезапно вынесенного из полного «ничтожества» на русский поэтический Парнас!

В представлении петербургских друзей и особенно родственников, он был «жертвой», «заклаемой в память усопшего». Но с помощью Виньи драматическая ситуация как бы переигрывалась в его, Лермонтова, пользу. «Высочайшее наказание», «удар судьбы» оборачивались

благоденствием — новая, полная тревог, битв и труда жизнь открывалась ему...

Я так подробно останавливаюсь на проблеме «Бородина» не только для того, чтобы выяснить творческую историю этого произведения — это и важно, и интересно, но еще важнее другое: показать, что Лермонтов ехал на Кавказ не за экзотикой, не с расплывчатыми мечтами, а с хорошо разработанным планом действий и творческого поведения — «Бородино» было как бы экспериментальной проверкой нового плана жизни и одновременно поэтическим манифестом. Ехал с душой, распахнутой для новых впечатлений, и в то же время твердо зная, где и как (главное — как) надо искать. Л. Толстой, прежде чем «найти», долго и мучительно искал; то, что искал в «Севастопольских рассказах» и «Казаках», нашел лишь в «Воине и мире». К Лермонтову приложим парадокс Пикассо: сначала я нахожу, потом ищу. Во всяком случае, заранее продуманный план и направление поиска, соотнесенные с образцом, — единственное, что разъясняет неизбежное недоумение: да как же он успел за одно только лето, пусть длинное, с апреля по декабрь, но все-таки — лето! — собрать столько жизненного материала? Мысленно соединив все, что Лермонтов написал о Кавказе, что он успел написать, мы увидим не мечтателя молодого, ищущего острых ощущений, но человека дела, углубленного, по слову Гоголя, в действительную жизнь, профессионального военного и профессионального военного писателя, озабоченного положением дел на Кавказском фронте, судьбами тех русских людей («кавказцев»), на которых легло бремя «вечной войны». Выражение это — «вечная война» — принадлежит Михаилу Орлову. Вот что писал Орлов в 1820 году:

«Известия... о подвигах или намерениях Ермолова, весьма важны, но мне кажется, что со всем его умом он довершить общего успокоения той страны не в состоянии. Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас не избыточно... Сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся восвояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких. Впрочем, я не его виню... Кто, кроме нас, может похвастаться, что видел вечную войну?!»

В отношении Ермолова Орлов ошибся: ни больших, ни малых личных выгод наместничество на Кавказе ему не принесло; сразу же по вступлении на престол Николай сместил легендарного «диктатора». Но это не изменило общего хода дел. И обстоятельства, и меры русской администрации (и военной, и гражданской), сделавшие из Кавказа, по выражению М. Орлова, «политическую фистулу», через которую «Россия потеряла много крови и соков», оставались прежними. Поздравляя преемника Ермолова, Паскевича, с окончанием русско-турецкой войны, император напоминал: «Кончив, таким образом, одно славное дело, предстоит вам другое, в моих глазах столь же славное, а в рассуждении прямых польз гораздо важнейшее — усмирение навсегда горских народов или истребление непокорных»...

Слово у Николая не расходилось с делом. В 1830 году в Южной Осетии вспыхнуло восстание. В ответ на столь явное выражение непокорности была немедленно организована карательная экспедиция во главе с Ренненкампом. Трех повстанцев четвертовали, четверых колесовали, четырнадцать прогнали сквозь строй; остальных сослали в Сибирь — на вечное поселение.

Лермонтов попал на Кавказскую Линию семнадцать лет спустя. «Политическая фистула» продолжала кровоточить, войне не было видно конца, и все противоречия российской действительности, здесь, в условиях непрерывной войны, проявлялись и резче, и наглядней, чем в престольном Петербурге, благодушной Москве или провинциальных Тарханах. Здесь легче было разглядеть то, что столетие спустя Пастернак назовет «звериным ликом завоеванья» («Звериный лик завоеванья показан Лермонтовым и Толстым»)..

Кавказ стал для Лермонтова высшим, выпускным классом школы жизни. Не окончив его, царскосельский гусар, может быть, так никогда бы и не узнал, как чувствуют себя «максимы максимычи» и состоящая из «максимов максимычей» «немытая Россия», с ее «неволой» и с ее «величием»...

Нельзя забывать и о том, что для людей 30-х годов XIX века, кроме Кавказской Линии и кавказского вопроса, существовал еще и собственно Кавказ — неисследованная земля, terra incognita.

Едва оказавшись «в стране чудес», Лермонтов начинает ее изучать, и тоже — как сначала Москву, а потом Петербург — «по частям». Интерес «к кавказскому» был продиктован не простой любознательностью странствующего офицера, а высшей надобностью. За любопытством стояла программа, и программа серьезная, об этом мы можем судить по статье С. Раевского, опубликованной в «Петрозаводских губернских ведомостях» (как и его младший друг, Святослав Афанасьевич не умел «не действовать»):

«Изучение и описание каждой страны есть непременная обязанность образованных ее туземцев, — и как благородно участвовать в этом подвиге! Как лестно передать потомству свои наблюдения, может быть, произведения лучших минут жизни. У кого душа способна к наслаждениям возвышенным, тот чувствует долг заплатить за свое образование и исполнить обязанности гражданина принятием участия в литературном труде народа».

«Прощай, мой друг»... Дружба с Раевским, которой так искал Лермонтов, дала трещину, не выдержав первого же испытания.

И скучно и грустно, и некому руку подать

В минуту душевной невзгоды...

Приятели, знакомые, поклонники. Кузены, кузины. И ни одного настоящего — «по музе, по судьбам» — друга!

«Во всей ледяной России нет сердца, которое отвечало бы моему!»

А ведь было! Почти сверстник, почти земляк, почти однокашник по университету, почти сосед по Москве, почти двойник по «выражению души» — Николай Огарев.

Если бы они встретились!.. Хотя кто знает? Сходство душ при разном «составе нервов» и «скорости обращения крови» не гаранти-

рует «магнетического» или «химического тяготения», на всю жизнь спявшего жизненные пути Огарева и Герцена! И все-таки недаром Огарев так любил и так тонко понимал Лермонтова; в истоке, в начале они стояли на одном старте: оба чувствовали в душе музыку, какую не могла «взять» ни одна известная им «скрипка» (если вспомнить реплику любимого Лермонтовым Бетховена. Исполнитель пожаловался автору на трудность скрипичной партии в одном из его квартетов. «Неужели ты воображаешь, что я думаю о твоей несчастной скрипке, когда со мной разговаривает дух!» — отвечал композитор).

Оба хотели воплотить в слове еще не существующее, в них, первых, рожденное чувство. В том же самом 1833 году, когда Лермонтов так мучился неспособностью «холодной буквой передать» боренье чувств и дум, Огарев писал Герцену:

«Я не могу еще взять те звуки, которые слышатся душе моей, неспособность телесная ограничивает фантазию».

Лермонтов преодолел «неспособность телесную» — «жесткую кору», «сдираемую работой»... Огарев не смог: то ли энергии таланта не хватило, то ли характера, да и обстоятельства вскоре увели его совсем в другую сторону...

А все-таки, жаль, что они не встретились... Ну, хотя бы на Кавказе, в Пятигорске, где их встречу от их не встречи отделяет такая малость! Огарев ехал тем же путем, виделся почти с теми же людьми, что и Лермонтов, но только тринадцать месяцев спустя! Но это-то и позволяет нам воспользоваться записками Огарева о поездке на Кавказские Воды, чтобы — пусть приблизительно! — представить то, что видел по дороге в свою первую ссылку нижегородский драгун, офицер с подорожной по высшей, самой высокой из казенных надобностей, когда вдруг «диапазон жизни повысился, и все соединилось к тому, чтоб настраивать его выше и выше» (Н. Огарев).

«Дорога развеяла скорбное впечатление. Что это была за чудесная дорога!.. Мы ехали почти проселками, иначе нельзя назвать уездных больших дорог. Почтовых лошадей нигде не было, и мы тащились до Пятигорска восемнадцать дней, точно на своих... Чем дальше мы подвигались к югу, все зеленее становилась степь; наконец, мы добрались до Дона... Дон был еще в полном разливе: с одной стороны зеленая пахучая степь, с травой выше человеческого роста, а с другой — вода, идущая, как море, в бесконечность... Я даже забыл тайное, самому себе не высказанное сомнение в собственном счастье и весь был погружен в пантеистическое наслаждение широкой природой. Самое казачье племя произвело на меня благотворное впечатление... не было тех запуганных лиц, которые я привык встречать... под разбойническим отеческим управлением... пензенских чиновников и помещиков. Тут чувствовался крик народа посамостоятельнее... Но вот мы переехали и через Дон... Мы переехали его в грозу и бурю... И опять пошла степь зеленая, и все роскошней и роскошней. Вот и татарские арбы заскрипели, вот и верблюды показались. Наконец, светлым днем засинели вдали мои старые знакомцы—

...Бешгу остроконечный  
И зеленеющий Машуку».

Старых своих знакомцев — «синие горы Кавказа» — Лермонтов, как и Огарев, увидит в середине мая, а пока останавливается в Ставрополе. Остановка была не совсем обязательной: в подорожной, выписанной в Петербурге, указан другой маршрут: Закавказье, Кахетия, Караагач...

День приезда поэта в Ставрополь в 1837 году точно неизвестен, но так как известно, что из Москвы он выехал 10 апреля и, в отличие от Огарева, ехал по казенной надобности, то должен был появиться там никак не позже 20 апреля. Примерно через три недели, 13 мая, Михаил Юрьевич подал в ставропольский военный госпиталь, доктору Мейеру, рапорт об освидетельствовании болезни его, в результате чего и оказался на Водах. В письме к Раевскому замедление в вояже Лермонтов объясняет простудой, схваченной в дороге («простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах»). Но в какой дороге он мог простудиться до такой степени, чтобы отказаться от продолжения путешествия и на три месяца осесть в Пятигорске, уже знакомом по отроческим воспоминаниям? С его-то нетерпением, подгоняемым страхом «не успеть»? Неужели почти месяц сидел в городе, в котором не на что было смотреть и нечего было делать?

Существует предположение, будто Лермонтов, узнав о том, что два эскадрона Нижегородского полка отправлены на Лезгинскую Линию, и горя желанием как можно скорее явиться в полк, «решил следовать не общепринятым для того времени путем по Военно-Грузинской дороге через Владикавказ и Тифлис, а отправился вдоль Терека до Кизляра, чтобы оттуда проследовать на Лезгинскую Линию». «Следуя таким путем, — утверждает автор этой гипотезы А. В. Попов, — Лермонтов не только выигрывал во времени, но и получал возможность принять участие в... рекогносцировке».

Предположение это кажется мне маловероятным и, прежде всего, потому, что Лермонтов слишком хорошо знал, что такое полковая жизнь с ее неволей. Пристать к полку — значило для него, в ссылкеном его положении, намертво привязать себя к Кахетии, то есть не увидеть ни войны, ни Кавказа. Нет, все действия Лермонтова в это длинное кавказское лето говорят вовсе не о том, что он стремился как можно скорее представиться полковому начальству. Наоборот, судя по его поступкам, Лермонтов сделал все, чтобы попасть в полк как можно позже. И добился своего: приехал в Караагач, где была штаб-квартира Нижегородских драгун, уже после исключения из списка этого полка. Приказ о переводе его в Гродненский гусарский, подписанный 11 октября 1837 года, опубликован 1 ноября. Но первого ноября Лермонтов еще не добрался до урочища Караагач...

Трудно поверить и в то, что П. Петров, начштаба у Вельяминова и старый кавказец, мог дать санкцию на такое сомнительное и опасное предприятие, как путешествие через Линию, почти в одиночку, по горным, «немирным» дорогам. К тому же у Петрова был совсем другой план: устроить своего «племянника» в отряд Вельяминова, за Кубань. В осенней кубанской экспедиции собирался

принять участие сам государь, а это — верный путь к отличию и прощению. Осуществить этот план было, очевидно, делом далеко не простым, но «за хребтом Кавказа» упрощались как-то сами собой и более сложные дела!..

К тому же генерал Петров был не единственным кавказцем, принявшим участие в судьбе поэта. Алексей Илларионович Философов, флигель-адъютант великого князя, женатый на племяннице Елизаветы Алексеевны, подключил к делу Вольховского (Владимир Вольховский, однокашник Пушкина и один из самых порядочных, по выражению Лермонтова, людей своего времени, был начальником штаба у барона Розена, командира Отдельного кавказского корпуса). Вольховский сделал все от него зависящее, о чем и сообщил письменно «любезнейшему и почтенному Алексею Илларионовичу»:

«...Письмо твое... получил я только в начале июля в Пятигорске и вместе с ним нашел там молодого родственника твоего Лермонтова. Не нужно тебе говорить, что я готов и рад содействовать добрым твоим намерениям на счет его; кто не был молод и неопытен? На первый случай скажу, что он по желанию ген. Петрова, тоже родственника своего, командирован за Кубань, в отряд ген. Вельяминова: два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему бесполезны — это предействительное прохладительное средство... а сверх того лучший способ загладить проступок. Государь так милостив, что ни одно отличие не останется без внимания его».

На стороне Лермонтова был, очевидно, и сам Вельяминов. В воспоминаниях одного из участников Закубанской экспедиции (весенней, к которой Лермонтов опоздал) говорится о том, что 25 мая у генерала Вельяминова состоялся разговор с бароном Розеном «на счет Лермонтова». В результате всех этих объединенных усилий и появился приказ за подписью Вольховского «Об отправлении в действующий за Кубань отряд Нижегородских драгун прапорщика Лермонтова». Нижегородские драгуны, среди которых было много грузин, славились по всему Кавказу своей выправкой и наездническим мастерством. Очевидно, поэтому им и было поручено встречать государя императора по приезде его в Анапу.

Но в чем А. В. Попов, на мой взгляд, прав, так это в утверждении, что фраза из письма Лермонтова к Раевскому: «Простудившись дорогой, я приехал на воды весь в ревматизмах», — относится не к дороге из России. Ведь она следует после описания очень многих дорог, где Лермонтов мог простудиться до «ревматизмов»; лето 1837-го было на Кавказе на редкость холодным и сырым («погода ужасная: дожди, ветры, туманы, июль хуже петербургского сентября»). «С тех пор как выехал из России... — говорится в этом письме, — я находился... в непрерывном странствовании, то на перекладной, то верхом; изъездил Линию всю вдоль, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов, ел чурек, пил кахетинское даже...»

Письмо это, к сожалению, третий вариант обещанного отчета о кавказском лете. Первые два, подробные, написанные по свежим впечатлениям, пропали в дороге. И Лермонтов, не получив ответа, пишет в третий раз, осенью, прощенный и весь уже как бы нацеленный на личную

встречу. Поэтому письмо и выглядит таким беглым. В спешке оказались смазанными, вернее, не обозначенными интервалы между разными поездками — от Ставрополя до Кизляра, от Ставрополя до Тамани и т. д. Но только смазанными, ибо Лермонтов и здесь точен в передаче последовательности событий. Сначала называются маршруты вдоль Линии, и лишь после того, как упомянут переезд через горы, речь заходит о Закавказье: Шуше, Кубе, Шемахе. Но первым из этих путешествий была, в этом я также согласна с А. В. Поповым, вероятнее всего, поездка вдоль Терека, по направлению к Кизляру.

Лермонтов явился в Ставрополь почти перед самым отъездом Вельяминова и, очевидно, имея за собой поддержку Петрова, попросился «за Кубань». Согласиться на эту просьбу, тем более что времени на необходимые формальности уже не оставалось, означало бы нарушение государственной воли, что было небезопасно, особенно накануне высочайшего смотра. В этих обстоятельствах со стороны осторожного Вельяминова самым разумным (и вероятным) было бы обещание придумать что-нибудь до осени, а со стороны умудренного опытом армейской службы Петрова еще и совет — не торопиться в полк, пока Вельяминов не переговорит с бароном Розеном...

А. А. Вельяминов был на хорошем счету у государя; в 1832 году ему пожалован орден Белого Орла — «в ознаменование особого внимания и благоволения» «к отличному мужеству и благоразумной распорядительности, оказанных в разных делах противу горских народов». После назначения Вельяминова в вялом течении «вечной войны» и в самом деле наступило некоторое оживление. По несколько высокопарному выражению его преемника на этом посту — П. Х. Граббе — Вельяминов «почал горы».

Вельяминов уехал из Ставрополя 2 мая. И Лермонтов, воспользовавшись отсутствием начальства, отправился в свой первый вояж, для которого выбрал самый проверенный и самый короткий из кавказских маршрутов — по левому берегу Терека, почти сплошь застроенному казачьими станицами... Он просто не мог его не выбрать: поездка была возвращением в детство. Мальчиком он гостил в «Земном раю», притерском имении родной сестры Елизаветы Алексеевны — Екатерины Хастатовой, на одной из дочерей которой был женат покровительствующий Лермонтову генерал Петров. К 1837 году Петров, правда, уже овдовел, но связей с родственниками покойной жены не порывал. Не было в живых и «передовой» помещицы Екатерины Алексеевны. Но сын ее, Аким Акимович Хастатов, унаследовал и «Земной рай», и кавказские повадки своей решительной матушки. Имение его по-прежнему походило на небольшую крепость — и рвы, и тын, и пушки. Аким Акимыч даже в свои визитные карточки вписал унаследованный от Екатерины Хастатовой «титул»: «Передовой Помещик Российской Империи». Авангардный помещик и рассказал Лермонтову о своих приключениях; как был чуть не изрублен пьяными казаками в станице Червленной и как похитил «татарочку» по имени Бэла...

Побывал в Червленной, «невенчанной» столице Гребенского казачества, и сам Лермонтов. Здесь, по преданию, он и услышал песню, на основе которой написал «Казачью колыбельную»...

А от Червленной уж и совсем недалеко до Кизляра. В Кизляр Печорин



пошлет за подарками для Бэлы. Но Лермонтова интересовала не экзотика армянских лавок. Комендантом Кизлярской крепости был в то время Павел Катенин, оппонент Пушкина и друг Грибоедова. Последнее представляло особый интерес. Пушкин и его жизнь не составляли для Лермонтова «загадки». В Грибоедове же все было тайна — и жизнь, и смерть, и творческая судьба. О Грибоедове-человеке он мог многое узнать от своей родственницы, Прасковьи Ахвердовой, воспитательницы Нины Грибоедовой. Но Лермонтову для его замыслов мало женских глаз и женской пристрастной памяти. Особенно здесь, на Кавказе, где имя Грибоедова звучало почти в одном «регистре» с именем Ермолова, и главное, теперь, по выходе пушкинского «Путешествия в Арзрум», где не только дан первый очерк судьбы Грибоедова, но и брошен упрек современникам, не заметившим в нем великого человека.

«Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости его и пороки... — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ними может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в „Московском Телеграфе"... Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды со своею молодостью и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью, уехал в Грузию, где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву... было переворотом в его судьбе и началом непрерывных успехов. Его рукописная комедия „Горе от ума" произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще: он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

В «Герое...» судьба Грибоедова почти не отозвалась, если не считать смерти Печорина по дороге из Персии да его «честолюбия, подавляемого обстоятельствами».

Но «Герой...» был только первым опытом «кавказского романа», первой пробой, разведкой боем. В будущем большом романе, замысел которого Лермонтов вынашивал, Грибоедов и Ермолов — главные действующие лица:

«Тифлис при Ермолове, его диктатура и кровавое усмирение Кавказа, Персидская война и катастрофа, среди которой погиб Грибоедов».

Ермолов (анонимно — «русский генерал») впервые упомянут в «Мцыри»:

Однажды русский генерал  
Из гор к Тифлису проезжал;  
Ребенка пленного он вез.

Эпизод документален: Лермонтов был знаком, еще в Петербурге, с художником П. Захаровым, чеченцем по происхождению. Во время штурма одного из горских аулов он был взят в плен Ермоловым, который принял живейшее участие в судьбе осиротевшего мальчика: отвез в Тифлис, помог получить образование.

После личной встречи с опальным наместником (в 1841 году) написано стихотворение «Спор» — слегка стилизованное под «восточную легенду», где дан идеализированный образ «седого генерала» (впечатление такое, что моделью поэту служил не живой человек, а знаменитый портрет Доу). Живой, настоящий Ермолов был куда менее прост. В записной книжке редактора «Русского архива» П. Бартенева есть такой эпизод:

«Князь Н. Г. Репнин был с докладом у императора Александра Павловича вслед за Ермоловым, который вышел из государева кабинета с заплаканными глазами. „Что такое у вас было? — спросил он потом Ермолова, — когда я вошел к Государю, он отирал слезы“. — „Ничего, — отвечал Ермолов, — друг друга надували“».

«Надуть» Лермонтова Ермолову не удалось. Его раздумья о тайной драме легендарного кавказца, сжигающего горские аулы и спасающего горских детей, как свидетельствует замысел романа, где «седой генерал» назван «диктатором», а его план покорения Кавказа — «кровавым», были столь же беспристрастны, как и дума поэта о судьбе собственного поколения. И в этом случае Лермонтов лишь указывал болезнь, считая, что только История сможет найти выход из трагического противоречия. В ином освещении, чем в «Путешествии в Арзрум», был задуман и грибоедовский сюжет. Там, где Пушкин не увидел «ничего ужасного» («Не знаю ничего завиднее последних годов его бурной жизни. Самая смерть не имела для Грибоедова ничего ужасного»), Лермонтов разглядел катастрофу...

Был ли экзотический Кизляр конечной точкой первого кавказского вояжа Лермонтова или он собирался продолжить свое путешествие, неизвестно, ибо в Кизляре или под Кизляром, славящимся злокачественными лихорадками, поэт подхватил малярию, вынудившую срочно вернуться в Ставрополь, где он был немедленно помещен в военный госпиталь.

О том, что речь шла не об обыкновенной простуде, как напишет спустя несколько месяцев Раевскому Лермонтов, а действительно о серьезном и требующем серьезного лечения заболевании, свидетельствует не только срочная госпитализация, но и официальный отпуск «для лечения водами»...

Доктор Мейер знал, что делал, направляя больного Лермонтова в Пятигорск. Меньше чем через месяц поэт уже чувствовал себя вполне здоровым.

Считается, что «Герой нашего времени» написан в течение 1838 года, уже по возвращении из ссылки. Так оно, вероятно, и есть, если подходить формально, то есть исключить весь подготовительный период, который

у Лермонтова занимал львиную долю творческого времени. Писал он легко, почти набело, но это не было импровизацией. Просто прежде чем написать, создавал свои произведения в уме («в уме своем я создал мир...»), в уме перекраивал, искал, отбрасывал неудавшиеся варианты. «В уме» Лермонтов стал перекраивать и историю Печорина, едва оказался на водах — в тишине, уединении.

Михаил Лермонтов — Марии Лопухиной. Пятигорск, 31 мая 1837 года:  
«...У меня здесь очень хорошая квартира; по утрам вижу из окна всю цепь снежных гор и Эльбрус; вот и теперь, сидя за этим письмом, я иногда кладу перо, чтобы взглянуть на этих великанов, так они прекрасны и величественны. Надеюсь изрядно поскучать все то время, покуда останусь на водах, и хотя очень легко завести знакомства, я стараюсь избегать их».

Начало «Княжны Мери»:

«Вчера я приехал в Пятигорск, нанял квартиру на краю города... Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов... Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синее, как «последняя туча рассеянной бури»; на север подымается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона; на восток смотреть веселее: внизу передо мною пестреет чистенький, новенький городок... а там, дальше, амфитеатром громоздятся горы все синее и туманнее, а на краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начинаясь Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом...»

Суховатый абзац французского письма стал развернутым литературным описанием, но и план описания и бытовые реалии те же: окно, раннее утро и вид из окна...

Выясняя историю написания главок-частей в романе «Герой нашего времени», исследователи до сих пор не пришли к единому мнению. Уже Б. Эйхенбаум усомнился в том, что порядок, в каком Лермонтов публиковал в «Отечественных записках» фрагменты из «Героя нашего времени» — «Бэла», «Фаталист», «Тамань», соответствует последовательности их творческого рождения, и сделал попытку, очень убедительную, доказать, что прежде всего написана «Тамань».

Возможно, все это и верно, но, как мне кажется, лишь в приложении к рукописи, то есть последнему этапу работы над романом. А тот, первоначальный вариант «Героя...», что создавался «в уме», вероятнее всего начался с «Княжны Мери», ибо стилистически именно эта повесть ближе всего к зашедшему в тупик петербургскому роману: даже в названии их есть соприкосновение: «Княгиня Лиговская» — «Княжна Мери»...

Герой выбран и более или менее ясен, найден и метод-исследования: не осуждение, а анализ, точный и беспристрастный, как врачебный диагноз. И план выработан: чтобы добиться объективности изображения, надо показать Печорина в разных обстоятельствах и в отношениях с разными людьми, надо дать читателю возможность сопоставить суждение героя о себе («Журнал Печорина») с мнением окружающих, а главное, не позволить угадать в Печорине уже знакомый по многочисленным кавказским повестям типаж: человека, для которого и гонение судьбы, и разочарование в жизни — лишь модный способ самоутверждения.

Нужен как бы двойник Печорина, но сниженный, упрощенный почти до карикатуры на него.

Словом, нужен Грушницкий. И тут жизнь, неистощимая на зигзаги, делает Лермонтову подарок: в Пятигорск приезжает его младший однокашник по «Пестрому эскадрону» — Павел Гвоздев.

Принято считать, что Грушницкий «списан» с Колюбакина, поклонника Бестужева-Марлинского и отчаянного дуэлянта.

Некоторые черты последнего — позерство, «нерусская храбрость», склонность к пышноречию — и в самом деле придают ему сходство с Грушницким. Как отмечают очевидцы, это признавал, добродушно посмеиваясь, и сам Колюбакин. Но Колюбакин был значительно старше, а в романе молодость героя — элемент, что называется, конструктивный. К тому же он не юнкер, а действительно разжалованный, и к нему никак не может относиться та характеристика, какую дает Лермонтов людям, подобным Грушницкому: «Под старость они делаются либо мирными помещиками, либо пьяницами — иногда тем и другим. В их душе часто много добрых свойств, но ни на грош поэзии». Вот что пишет о Колюбакине весьма осведомленный мемуарист: «Воспитанник Царскосельского лицея, образованный, глубоко начитанный, рыцарь честности и беспристрастия, он мог бы сделаться одним из государственных людей, но этому мешал его своеобразный характер».

Куда вероятней предположить, что прототипом Грушницкого послужил Павел Гвоздев. Тот самый, что откликнулся на «Смерть Поэта» стихами, посвященными Лермонтову: в стихотворении Гвоздева, действительно, много добрых чувств, но ни на грош поэзии. Бытовало предположение, что именно за эти стихи он и был разжалован в солдаты и сослан на Кавказ. Но это всего лишь эффектная легенда, автором которой вполне мог быть Гвоздев. На самом-то деле его перевели из училища в Навагинский пехотный полк сроком на три года. Мастер на остроумные и дерзкие выходки, Гвоздев был любимцем великого князя Михаила. Чувствуя свое «избранничество», Гвоздев позволял себе больше вольностей и шалостей чем остальные его однокашники, и в конце концов вывел из терпения начальство. Его и наказали: удлинители срок пребывания в юнкерах.

Трех лет в Навагинском пехотном полку Гвоздев не прослужил.

Через год (за храбрость) он был произведен в офицеры, вышел в отставку и стараниями старшего брата устроился на вполне мирную канцелярскую должность.

А легенда о его разжаловании в солдаты за дерзость, за причастие к делу Лермонтова продолжала бытовать. Видимо, Гвоздева, как и Грушницкого, она больше устраивала, чем правда.

В маленьком Гвоздеве, пытавшемся во всем подражать Лермонтову, Михаил Юрьевич видел себя как бы в кривом зеркале. И он разделался с искаженным отражением: написал Грушницкого. Этим актом он как бы убивал свою собственную юность, свое гусарство, когда и он, подобно Гвоздеву-Грушницкому, «драпировался в необыкновенные чувства, возвышенные страсти и исключительные страдания». Когда «просто прекрасное» его еще «не трогало»...

Итак, Лермонтов, скучая на Водах, переиначивает, применительно к кавказским условиям, «Княгиню Лиговскую», усложняет сюжет введе-

нием свежих лиц и прикидывает, опять же в уме, куда бы переместить Печорина, когда он, вследствие дуэли, будет неизбежно выслан из чистенького и приятного Пятигорска. Опыт кавказский у него еще очень невелик — всего две недели странствий вдоль Линии, по левому флангу. Но и двух недель достаточно, чтобы подобрать нужную «крепостцу», да и быт передовых поселений в какой-то мере знаком, и по детским впечатлениям, и по рассказам Акима Хастатова. Припасена «на случай» и история Бэлы — без любви русского офицера к украденной горянке роману из кавказской жизни не обойтись: московские барышни мечтают о черкесских туфельках, а братья их — о черкешенках; мода — естественная и неизбежная в условиях вечной войны!

Если б не это, не роман, посвежевший на Водах, вряд ли бы Лермонтов так терпеливо, так оседло ожидал в курортном городке обещанную ему экспедицию... Три месяца безделья? Нет, этого просто не может быть...

О том, что дело его улажено, стало известно уже к середине июля.

18 июля 1837 года М. Ю. Лермонтов, из Пятигорска, к Е. А. Арсеньевой:

«Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию».

В 1837 году, через сто пятнадцать лет после Петра, император всея России соизволил осчастливить кавказскую провинцию своим посещением. В Грузии давно поговаривали, что царской ревизии не избежать. Наконец, в марте барону Розену была вручена официальная реляция: «изыскать средства к безостановочному проезду» и «устройству встреч» на надлежащем уровне.

В июне стали известны подробности: безостановочное передвижение начнется с Анапы или Геленджика. Уведомили коменданта Анапской крепости, и началась свистопляска. Больше всех суетились, утруждая воображение, гарнизонные дамы, но и мужья их не дремали. Мерещилось нечто грандиозное: и смотр, и показательная экспедиция, и долгое, подробное гостевание.

Был приведен в порядок внешний вид крепости, после чего строжайше запретили «свободное дотоле путешествие по всему городу коров, свиней и многочисленных пернатых».

Пернатые и непернатые перешли в распоряжение дам. Жена плацмайора Новикова славилась по всей Анапе кулинарными изобретениями; ей поручили гастрономическую часть. Майорша отобрала телка и нескольких индюшек, теленка поили цельным молоком, индюшек откармливали галушками по рецепту мадам Новиковой: тесто из лучшей пшеничной муки с добавлением мелко истертых миндальных орехов. Комендантша, графиня Цукато, занялась более тонкими предметами: выписала из Тифлиса мебель и несколько рулонов лучшего бархата. Голубым, небесным — любимый цвет императора — бархатом обтянули все, что можно было обтянуть, загодя определив места для вензелей — из белых и алых роз. Все замерло в ожидании. Лишь музыкантская команда все репетировала и репетировала петербургскую новинку: «Боже, царя храни...»

В первой половине сентября, загодя, чтобы не опоздать в отряд, Лермонтов выехал из Пятигорска по направлению к Анапе, но до Анапы не доехал; задержался в Тамани.

В «Тамани», судя по воспоминаниям Цейдлера, узнавшего описанные Лермонтовым и домик, и семейство, с поэтом действительно приключилось нечто аналогичное описанному в романе: после своего путешествия «на запад» Лермонтов вернулся в Ставрополь без вещей и без денег, и даже получил выговор, так как, ожидая, пока мундир и другие вещи будут приготовлены, не явился к начальству сразу же по приезде...

Впрочем, спешить все равно было некуда. И незачем.

Как и намечалось по генеральному плану высочайшего инспектора, государь (вместе с наследником) высадился в Анапе 23 сентября, но напуганный происшествием в Геленджике, отменил парад. В Геленджике, где Вельяминов поджидал царя, с 7 сентября, все, так же, как и в Анапе, приготовили загодя; и палатку, подбитую белым сукном, и запас фейерверков. Фейерверк, однако, произведен не был, ибо поднялась буря, и такая, что опрокинулись козлы с ружьями. Солдаты не держались на ногах, палатку вырвало и трепало, как флаг. И лишь император оставался непоколебим: «Войска, дети, ко мне!..» Строй рассыпался, императора окружили, Николай обнимал Вельяминова. Сцена была трогательной. Но тут вспыхнул пороховой погреб...

Опасаясь повторения — пороховой взрыв вместо фейерверка, — император, сходя на анапский берег, предупредил, чтобы пальбы в его честь не было. Приказ передали по цепочке, но юный прапорщик, будучи в крайне нервном состоянии, на него не отреагировал. Николай оторопел и велел отправить нервного артиллериста на гауптвахту. Прапорщика спасли дамы. И индейка, откормленная миндальными галушками, и тающая во рту телятина покорили Николая, несмотря на его гастрономический аскетизм. Ласково разбранив комендантшу за «голубые» излишества, он, уже стоя на подножке коляски, сменил гнев на милость: «Прапорщика выпустить, дать годовой оклад, но предупредить, чтобы впредь без приказа не палил и пороха зря не тратил».

Программа, рассчитанная минимум на неделю, была исчерпана в несколько часов: государь торопился. По намеченному плану он должен прибыть в Редут-Кале 25 сентября. Было 23-е, а надо успеть отвезти сына в Крым. Осень выпала ранняя и холодная, императрица умолила не брать в некомфортабельное путешествие наследника. Вручив Александра Николаевича матери, Николай, не мешкая, отправился в Редут-Кале: здесь его встречал Розен. Первая часть смотра, за которую отвечал «хозяин» Линии и Черномории, была окончена: «государь не велел делать вторую экспедицию»...

Узнав об этом, Лермонтов вернулся в Ставрополь. Здесь в октябре 1837-го он впервые увидел декабристов. Их было семеро: С. Кривцов, В. Голицын, В. Лихарев, М. Назимов, М. Нарышкин, А. Черкасов, А. Одоевский. Вместе с ними, или с некоторыми из них, он и отметил грандиозное событие. Пока опальный прапорщик тащился без вещей и без денег от Тамани до Ставрополя, пока ожидал, чтобы выдали прогонные, государь успел увидеть весь Кавказ и семнадцатого октября около семи часов вечера торжественно въехал в Ставрополь. Город,

раскисший от долгой непогоды, от многомесячной слякоти, был настолько непригляден, что император велел его упразднить. И если бы Вельяминов, человек опытный, твердый и властный, не объяснил царю-батюшке, что более удобного в стратегическом отношении места для штаб-квартиры на Северном Кавказе не отыскать, приказ наверняка бы исполнили. Вельяминова Николай не хотел огорчать: Вельяминов был единственным из господ кавказцев, в чьих действиях его величество Ревизор не узрел никаких отклонений.

«Представьте себе, — рассказывал много лет спустя очевидец этого события, — осеннюю ночь, черную... Через Ставрополь проезжал Николай I. Народ толпами... А в гостинице — молодые люди. Один — Лермонтов, поэт... Другой — тоже поэт. Из декабристов... Одоевский Александр... Оба — между двумя ссылками... Разговаривали. Пили вино. Было о чем поговорить... Вдруг декабрист Одоевский Александр выскочил на балкон. Плошки чадил... Мрачно! Заметьте: император был в Ставрополе и Одоевский закричал: „Аве, цезарь, моритури те салютант! (Цезарь, обреченные на смерть тебя приветствуют!)“ Все испугались — страшно. Схватили Одоевского за руку — „Что ты, брат? Услышат, беда!“ „Ну, господа, русская полиция по-латыни еще не обучена!“ Правильно. Но — смело. Даже до дерзости».

Дошла ли выходка Одоевского до полиции — неизвестно. Но генерал Вельяминов о ней узнал и сделал «отеческое предупреждение» идущим на смерть: «Помните, господа, что на Кавказе есть много людей в черных и красных воротниках, которые следят за вами и за нами».

По свидетельству декабриста Н. Лорера, молодежь лермонтовского круга — Сергей Трубецкой, Столыпин-Монго, Михаил Глебов и даже Александр Васильчиков — «чрезвычайно любила декабристов вообще». И только с Лермонтовым Николай Лорер не нашел общего языка — «мне с ним было как-то неловко». Автор «Героя нашего времени» Николаю Ивановичу резко не понравился — «желчный и наскучивший жизнью человек».

Не думаю, чтобы в отношении к декабристам вообще Лермонтов чем-нибудь отличался от Столыпина или «милого Глебова»; как и все его поколение, он рос, неся в себе чувство вины перед ними — мучениками. А вот при первом же столкновении убедился: они — не понимают его. И тут же, мгновенно, в ответ на глухое раздражение, вызванное непониманием, возникла защитная реакция: он сжимал свои чувства «из недоверчивости или гордости», пряча себя, настоящего, прикрывая истинную свою природу — желчной холодностью.

Декабристам, чтобы продолжать жить, нужна была вера в преблагоую, премудрую и всемогущую причину всего сущего, их правильно и цельно устроенная душа не принимала ни лермонтовского хаоса, ни лермонтовского стоицизма, единственной опорой которому были: гордость и личное достоинство. Коллективисты, они не могли понять человека, который не скучал сам с собой в пустыне. Уж на что чуток был Кюхельбекер, а и тот удивился: зачем Лермонтов «истратил свой талант на изображение такого существа, каков его гадкий Печорин?» А уж принять генеральную установку Лермонтова: «Будет и того, что болезнь указана, а как ее излечить — это уж бог знает», — они были совершенно не в состоянии.

Впрочем, подобный взгляд на задачу литератора и Пушкин бы не принял, недаром охладел к истории Петра, как только после многолетнего изучения документов понял, что не сможет предложить опыт «исполина» в качестве панацеи от российских неурядиц. И как историк охладел, и как прозаик, хотя, казалось бы, какой простор для романиста, какая густая замесь жизни, где все так причудливо и так по-русски соединилось: великое и ничтожное, временное и вечное! Приблизился и, разглядев там, где думал найти идеал монарха, клубок противоречий, зажмурился, растерялся и, скрывая сам от себя растерянность, неспособность постичь феноменальное явление, «отделался» от поверженного кумира осторожно и дипломатично:

«Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательности и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом».

Какой смысл указывать болезнь, если не знаешь, как ее излечить?

Первый из героев 14 декабря, перед которым Лермонтов раскрылся, — Александр Одоевский, милый Саша. Впрочем, Лермонтов не единственный, кто именно Одоевского выделил из всех и принял целиком: точно так же оценил Одоевского и Огарев. Чем же пленил двух поэтов «милый Саша»? Чем обворожил их — таких похожих, но таких разных? Ни политической твердости Пестеля. Ни прочности Пущина... Спады. Депрессия... Малодушие в первые дни ареста... Но при этом на фоне подавленного честолюбия, разражения и «обормотства» — естественность, «страдание, которое не носится вокруг своей личности, около неудач самолюбия», и полное равнодушие к «миллиону» — этому идолу «ничтожного века». («Миллион, да тут не нужно ни лица, ни ума, ни души, ни имени — господин миллион — тут все». Лермонтов. «Два брата».)

Но было и еще — важное; для Лермонтова, которого с младенчества мучила непрочность всего земного, может быть, наиважнейшее... Примерно в то же самое время В. Кюхельбекер записал в сибирском дневнике: «Не радуется меня прекрасный твой мир, мой боже. Я... столько любил и столько утратил, что утомился даже от печали. Усталость от печали, нечто вроде эмоциональной деформации, Лермонтов заметил и в переведенных на Кавказ декабристах; лишь милому Саше удалось каким-то чудом сохранить себя живым: не износился, не утратил — ни «блеска лазурных глаз», ни «живой речи», ни сердца, продолжающего, несмотря на 12 лет каторги, любить все то, что любило прежде, и так же сильно и нежно, как прежде...

22 октября 1837 года Лермонтову наконец оформили подорожную и выдали прогонные. Теперь можно было ехать.

О впечатлениях, какие оставила дорога из Предкавказья в Грузию, проза Лермонтова молчит. Для прозы он выбрал не первое, восторженное, а второе, притушенное, впечатление. Все его предшественники, включая Пушкина, описывали Военно-Грузинскую дорогу по направлению от Владикавказа к Тифлису; Лермонтов «перевернул» традиционный маршрут: и Максима Максимыча, и Печорина мы встречаем на дороге из Тифлиса во Владикавказ...

Однако в письме к Раевскому Лермонтов своими первыми впечатлениями, хотя и бегло, все-таки поделился:



«Как перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовая) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздух — бальзам; хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит — ничего не надо в эту минуту: так сидел бы да смотрел целую жизнь».

Перевалив через хребет, Лермонтов мысленно отложил и роман — он снова стал поэтом. Волшебный воздух Грузии вернул ему высокое расположение духа. Не там ли, на вершине Крестовой, откуда видна половина Грузии, пришла ему счастливая мысль — перенести действие «Демона» в этот горный край?

Но по-настоящему «Демон» ожил только после того, как Лермонтов, прибыв в свой полк, поехал по «самой грузинской» Грузии, проникся духом ее, познакомился и с владельцем «Цинандалов» — князем Александром Чавчавадзе, и «милой дочерью его» — Ниной Грибоедовой.

Александр Чавчавадзе, сын полномочного министра царя Ираклия Второго при дворе Екатерины Великой, и родился, и получил образование в Петербурге. Но он был большим грузинским поэтом, любившим и чтившим старинный обычай, и дом его в Цинандалах был вполне грузинским. С одинаковой ловкостью носил Чавчавадзе и русский офицерский мундир, и грузинский национальный костюм. Правда, в 1837 году князь был уже не молод, но все еще статен и тонок в талии... Так что нет ничего невероятного в предположении, что портрет «властителя Синодала» в «Демоне», равно как и описание старинного грузинского дома, Лермонтов сделал хотя и по памяти, но в какой-то мере с учетом впечатлений и от Цинандалов, и от их хозяина:

Ремнем затянут ловкий стан;  
Оправа сабли и кинжала  
Блестит на солнце; за спиной  
Ружье с насечкой вырезной.  
Играет ветер рукавами  
Его чухи, — кругом она  
Вся галуном обложена...  
Цветными вышито шелками  
Его седло; узда с кистями;  
Под ним весь в мыле конь лихой  
Бесценной масти, золотой,  
Питомец резвый Карабаха  
Прядет ушми и, полный страха,  
Храпя косится с крутизны  
На пену скачущей волны...

И вообще, кто знает, вернулся бы автор «Демона» к полудетскому своему сюжету, если бы не эта встреча — с грузинским князем и с дочерью его — красавицей-княжной, которую «залетный демон», то бишь Александр Сергеевич Грибоедов, полюбив, погубил, оставив вдовой в шестнадцать лет?

Все шло по намеченному плану. Лермонтов не потерял ни одного дня. Начал даже учиться азербайджанскому языку — «который... в Азии необходим, как французский в Европе». Он вообще увлекся «страной чудес» и, очевидно, не только в поэтическом плане. Пример Грибоедова,

а особенно Ермолова, бывшего в течение многих лет практически правителем Кавказа, давал надежду на высшую деятельность, более разумную, чем армейская служба. Уже переведенный в гвардию, Лермонтов писал Раевскому, что желал бы остаться на Кавказе, и следующим образом аргументировал странное для ссыльного желание: «Я уже составил планы ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь остается только проситься в экспедицию в Хиву с Перовским».

И еще, в том же письме: «Хороших ребят здесь много, особенно в Тифлисе есть люди очень порядочные». Тифлис и тифлисцы пришлись Лермонтову «в пору», как, впрочем, и его друзьям — изгнанникам «с милого севера в сторону южную».

«Сверх пестрой восточной чужеземщины, какую встречал их Тифлис, — писал Б. Пастернак о русских друзьях и сверстниках Бараташвили, — они где-то сталкивались с каким-то могучим и родственным бродилом, которое вызывало в них к жизни и поднимало на поверхность самое родное, самое дремлющее, самое затаенное. В этом кругу было все, как в Петербурге, — вино, карты, остроумие, французская речь, поклоненье женщине и гордая, готовая отразить любую оплошность, заносчивая удаль. Тут также были знакомы с долгами и кредиторами, устраивали заговоры, попадали на гауптвахту, и тоже разорялись, плакали и писали в восемнадцать лет горячие, порывистые стихи неповторимого одухотворения, и вслед за тем рано умирали».

Так же... И не совсем так! Ибо здесь, за стеной Большого Кавказа, было еще и то, чего так не хватало Лермонтову в Петербурге: жизнь, живая, естественная, с беспечной мудростью обтекавшая автоматический порядок!

Итак, Лермонтов крупно рискнул и крупно выиграл. Вместо ожидаемого прозябания где-нибудь в скучной крепости — увлекательнейшее, и к тому же за казенный счет, восьмимесячное путешествие по стране чудес, из которого поэт привез целый чемодан записок (помня опыт Виньи, он бесперывно записывал). К сожалению, записки не сохранились. Исключение составляет сказочка «Ашик-Кериб», записанная, по предположению И. Андроникова, со слов ученого азербайджанца, может быть, самого Ахундова.

Лермонтов всерьез интересовался кавказским фольклором — он набил необходимыми ему реалиями и свой дорожный чемодан, и свою память. Но сказка о турецком сазандаре была ему вроде бы ни к чему, и нет в ней вроде бы ничего такого, что может поразить воображение. Известно, что Лермонтов записал этот фольклорный сюжет во время пребывания в Нижегородском драгунском полку. Но когда сводишь все вместе, возникает вот какое предположение — всего лишь гипотеза, разумеется. Но сначала цитата:

«Ступай за мною», — сказал грозно всадник. «Как я могу за тобою следовать, — отвечал Ашик, — твой конь летит, как ветер, а я отягощен сумою». «Правда; повесь же суму свою на седло мое и следуй». Отстал Ашик-Кериб, как ни старался бежать. «Что ж ты отстаешь?» — спросил всадник. «Как же я могу следовать за тобою, твой конь быстрее мысли, а я уж измучен». «Правда, садись же сзади на коня моего и говори всю правду, куда тебе нужно ехать». «Хоть бы в Арзрум поспеть нонче», — отвечал Ашик. «Закрой же глаза». Он закрыл. «Теперь открой». Смотрит

Ашик: перед ним белеют стены и блещут минареты Арзрума. «Виноват, Ага, — сказал Ашик, — я ошибся, я хотел сказать, что мне надо в Карс». «То-то же, — отвечал всадник, я предупредил тебя, чтобы ты говорил мне сущую правду; закрой же опять глаза, — теперь открой». Ашик себе не верит — то, что это Карс. Он упал на колени и сказал: «Виноват, Ага, трижды виноват твой слуга Ашик-Кериб, но ты сам знаешь, что если человек решился лгать с утра, то должен лгать до конца дня; мне по-настоящему надо в Тифлизи». «Экой ты, неверный, — сказал сердито всадник, — но, нечего делать, прощаю тебе: закрой же глаза. Теперь открой», — прибавил он по прошествии минуты. Ашик вскрикнул от радости: они были у ворот Тифлиза».

А теперь попробуйте представить себе, как мог звучать подобный текст в середине ноября 1837 года, когда все только и говорили что о невероятной быстроте, с какой высочайший Ревизор пронесся по Кавказу.

Маркиз де Кюстин свидетельствует:

«Император непрерывно путешествует, он проезжает по крайней мере 1 500 лье каждый сезон и не допускает, чтобы кто-либо не был в состоянии проделать то же, что и он».

Лермонтов находился в непрерывном странствии почти восемь месяцев, с апреля по декабрь, однако перещеголять государя в количестве преодоленных «лье» все-таки не смог: Николай отревизовал Кавказ за один месяц. Лишь герой лермонтовской якобы турецкой сказки мог в те времена сравняться с ним...

Как я уже упоминала, на кавказском побережье Николай I высадился 27 сентября; 28-го император в Кутаиси. В тот же день поднялся в Сурами и 5 октября прибыл в Армению: Сардар-Абад, Эчмиадзин, Эриван. В Эриване вынужден был притормозить: туземное население одолело жалобами на «окружных начальников». Полагалось также осмотреть твердыни. Твердыни не понравились: «Какая это крепость, это просто глиняный горшок». Не понравилось и приготовленное ложе — приказал заменить свежим сеном. Выспавшись в сене, с утра пораньше явился в областное правление. Присутствие еще не заполнилось, но император, стоя перед собственным портретом, словно перед огромным зеркалом, высказал крайнее и совершенно искреннее возмущение взяточничеством и вообще — злоупотреблениями. И взятки, и злоупотребления Николай ненавидел. Он был идеальным Ревизором. Ревизором по вдохновению. По призванию. И убеждению.

А дождь лил себе и лил. Все усилия барона Розена, потраченные на исправление дорог, были сведены на нет ненастным летом и такой же осенью. Несмотря на непогоду, какой не помнили и самые древние из старожил, Николай решил ехать из Эривана в Тифлис самой мокрой дорогой — через Дилижанское ущелье. Ему и прежде приходилось, ввиду расстройств путей сообщения, выходить из экипажа и пересаживаться на крепкую казачью лошадь. Но Дилижанский «провал» превзошел все прежние «провалы». Свита выбивалась из сил, и Высокий, Высочайший в России всадник, бросил свиту: явился на почтовую станцию в полном одиночестве, напугав станционного смотрителя до полу-смерти.

Подъезды к Тифлису практически отсутствовали. Учтя это обстоятельство, тифлисцы расслабились, решив, что Николай, как благо-

разумный человек, переждет непогоду. Не тут-то было: поданы быки и буйволы и... Император въезжал в столицу грузинского края, славящегося своим гостеприимством, и его никто не встречал. Полицмейстер пьян вдребезги. Сионский собор — закрыт. Послали за Экзархом и нашли того сладко спящим.

Невероятно. Невозможно. И тем не менее было именно так: Тифлис, живущий по законам живой жизни, и предположить не мог, что высочайшее в империи лицо полезет в грязь для того только, чтобы осчастливить город в точно назначенный срок. Тифлис был смущен. Он вовсе не собирался фрондировать. В Тифлисе не то что такое событие, как личный визит, но дни рождения императорской четы, «сдвоенные близким расстоянием времени», отмечались с веселой пышностью: здесь любили праздники и умели их делать. По утру — парад регулярных войск. За ним — смотр «иррегулярной конницы», «которая по воинскому духу здешних жителей составляет всегда готовое ополчение». И смотр и парад растягивались между двумя главными площадями — Главнокормящего и Эриванской; весь Тифлис высыпал на улицы.

После военизированных экзерсисов — служба в Сионском соборе. Разумеется, на высшем уровне: «Божественная литургия совершена была архиепископом Карталинским и Кахетии Экзархом»...

Затем, для избранных, обед у Главного начальствующего, а вечером — гулянье, затейливо иллюминированное. Огни блистали, тянулись стройной перспективой по главным аллеям губернаторского сада, извиваясь, разбегаясь по боковым тропкам, чтобы вдруг, столкнувшись, образовать созвездие... Бассейн тщательно вычищали, и он, как натертое зеркало, отражал и множил сияние. Ровно через неделю программа, за исключением парада, повторялась: на этот раз в честь царствующей императрицы...

И так из года в год. — И вдруг... Несмотря на неудовольствие высокого гостя и связанные с ним выяснения причин беспорядка, 10 октября состоялся главный смотр. Он вознаграждал государя за все предыдущие жертвы: смотр был великолепен. Особенно отличились нижегородцы — любимые Николаем драгуны. Удовольствие, полученное от привычного зрелища, не притупило бдительности главного Ревизора. Прибыл П. В. Ган, барон и сенатор, посланный загодя на Кавказ для обстоятельного изучения местной обстановки. Сделал донос на злоупотребления, допущенные сиятельным зятем Розена — князем Дадияни.

О том, что барон Розен «злоупотребляет» или, в лучшем случае, смотрит на злоупотребления сквозь пальцы, Николай стал догадываться еще в Армении. В патриаршей короне, какую ему показывало армянское духовенство (после того, как реликвия побывала у супруги барона), не оказалось крупнейших сапфиров — их заменили искусственными камнями. Но то, что сообщил Ган, было серьезнее, чем потеря для общеимперской казны старинных сапфиров. Князь Дадияни, командир Эриванского карабинерного полка и зять Розена, обращался со своими карабинерами так, как будто они были его крепостные, пуще того — рабы, то есть попросту заставлял их работать в своих поместьях...

Николай задумал показательный — при народе — суд. На Мадатовской площади была устроена скромная военная церемония, поглазеть на которую, как и обычно, несмотря на хмурый октябрь, собрался весь

Тифлис. Присутствовали, естественно, и Розен с семейством. По окончании военного дивертисмента собравшиеся принялись приветствовать императора. Подождав, пока тифлисцы выдохнутся, Николай рывкнул самым могучим из своих голосов: «Розен!» Толпа, охнув, отпрянула: ей послышалось: «Розог». С Дадиани содрали аксельбанты, тройка была приготовлена заранее, и под приказ — «В Бобруйск!» — он «вылетел» из Тифлиса.

До Бобруйска сиятельный зять не доехал. Николай, поразмыслив, нашел наказание слишком мягким. Александра Ливановича Дадиани приговорили к лишению чинов, орденов и дворянского достоинства, заключили на три года в Динабургскую крепость, а затем — сослали в Вятку. Прощен он был только при Александре II.

Сместил царь и Розена — отозвал во внутренние губернии, а на его место назначил Евгения Александровича Головина. Ошеломленный Розен не провожал императора: вследствие сильного нервного потрясения на него напал беспробудный сон.

А путешествие продолжалось все с той же сказочной быстротой: 18 октября Николай покинул неприглядный Ставрополь и 28-го, через Новочеркасск, где «в окружении знамен и регалий атаманских» произнес коротенькую, но выразительную речь, прибыл в Москву.

Примерно в тех же числах ноября Лермонтов наконец-то добрался до урочища Караагач и застал здесь жаркие споры; офицеры обсуждали новости, и прежде всего ту, что касалась их непосредственно: личность новоназначенного командующего кавказским Отдельным корпусом. Розен был Розеном, но у него была «слабость»: он любил порядочных людей. Порядочных и умных, недаром в начштабах держал Вольховского. Как поведет себя и кем окружит себя *новый*? Знавшие Головина были настроены пессимистически. Их прогнозы смущали незнавших.

Вот как характеризует преемника Розена П. Х. Граббе: «Мне говорят, что генерал Головин умен и хорошо пишет. Да, фраза его часто вьется красивыми изгибами змеи и так же, как она, напитана ядом. Не ищите в ней, если имеете с ним дело по службе, прямого, ясного, нелицеприятного ответа на вопросы, требующие разрешения. Вы найдете более или менее ловкое уклонение от всякой ответственности: и да, и нет на все вопросы. Конечно, и на это нужен ум; но какой ум?»

Впрочем, среди нижегородцев было много и «природных грузин», и «настоящих кавказцев» — из русских: долго серьезничать они не любили. А повод для шуток, насмешек и издевательств — налицо: молниеносная, сказочная, скорость, с какой император одолел Кавказ, показав им, кавказцам, как надо преодолевать расстояния. И вот тут-то кто-то из остроумцев и вспомнил, под вино, святому Георгию припасенное, слышанную в детстве сказочку об Ашик-Керибе:

«Но поведай, как же ты мог в такое короткое время проехать такое великое расстояние?»

А другой, подхватив застольную шутку, продолжал: «В городе Халафе я пил мисирское вино... Утренний намаз творил я в Арзиньянской долине, полуденный намаз в городе Арзруме, а вечерний намаз в Тифлизе»...

А чтобы московскому гостю стало понятно, в чем соль шуток, ему и пересказали сказочку — в самом коротком варианте. Фольклористов

смущает путаница: у невесты Ашика имя, звучащее на армянский манер, у самого Ашика — азербайджанское, его высокий покровитель назван по-грузински — Георгий, а сказочка — почему-то турецкой. Но так, чтобы все спуталось в некую «пеструю азиатчину», мог рассказать байку про Ашик-Кериба и коренной тифлисец, знающий, на разговорном уровне, кроме родного и русского, и другие «тифлисские» языки.

И еще. Лермонтов назвал сказку турецкой. И. Андроников объясняет это тем, что некоторые эпизоды происходят в Турции. Куда вероятнее иное... Отроческое стихотворение Лермонтова, где поэт жалуется, что человек в его отчизне стонет «от рабства и цепей», называлось «Жалобы турка». Почему бы ему не употребить эзоповский эпитет и еще раз?

Разумеется, все это лишь предположение, лишь допустимое и возможное... Но уж очень были похожи офицеры и генералы свиты, отставшие на Дилижанском перевале от Высокого всадника, на бедного Ашик-Кериба... «Ступай за мной, — грозно сказал всадник... Как я могу за тобой следовать... Твой конь летит как ветер, а я отягощен сумою... Что же ты отстаешь... Как я могу за тобой следовать, твой конь быстрее мысли, а я уже измучен...»

Если принять эту версию, становится ясным и иронический подтекст следующей фразы: «Покровитель был не кто иной, как Хадерилиаз» (святой Георгий). Святой Георгий, покровитель Грузии, по русской традиции считался защитником воинства — георгиевским крестом награждали за особую — отменную — храбрость; полный георгиевский кавалер освобождался от телесных наказаний, принятых в русской армии для нижних чинов.

Издевка была язвительной, ведь офицерам, развлекавшим себя за красиво и ярко накрытым столом, слишком хорошо были известны причины сказочной скорости: на молниеносность истрачено 143 438 рублей и еще 59 копеек (Николай любил пунктуальность), лошадей же было загнано — 170. Так что крылатый конь Высокого всадника мчался в сто семьдесят лошадиных сил — скорость по тем временам невероятная.

Возвращаться из страны чудес в «Турцию» не хотелось...

«Я совсем отвык от фронта и серьезно думаю выйти в отставку».

Но воля его кончилась. Отдаленное родство Елизаветы Алексеевны с шефом жандармов — Бенкендорфом и старания ее неусыпные «о все-милостивейшем прощении внука» сделали свое дело. Решающий разговор произошел 21 октября 1837 года в столице донского казачества — Новочеркасске. Государь был в приятном расположении духа после очередного военного спектакля, и Бенкендорф, тонко чувствующий момент, замолвил словечко за юного и неопытного автора. Сыграла роль и безупречная выправка нижегородцев. Лермонтова, правда, на смотре не было: без вещей и без денег он сидел в Ставрополе, ожидая «прогонных». Но государю об этом, естественно, не доложили... (Милости после удачно разыгранных парадировок были не капризом, а традицией; в случае, если Николай оставался доволен смотром, даже нижним чинам выдавалось; «по два рубля, по два фунта рыбы и по две чарки вина».)

Итак, прощен! Полк, правда, хоть и гвардейским считается, да стоит не в столице, а «между Питербурга и Нова города в бывшем поселении»,

и сортом похуже. Но бабушка — куда ей в Новгород — «я там никого не знаю и от полка слишком пятьдесят верст» — уверена: добьется перевода в Царское, раз уж фортуна расположение проявляет...

И опять оказалась права. И двух месяцев не прошло, как был опубликован высочайший приказ: «Апреля 9 дня 1838 года... по кавалерии переводится: лейб-гвардии Гродненского полка корнет Лермонтов лейб-гвардии в Гусарский полк...»

Но Лермонтов и тут не спешит предстать перед полковым начальством, а, подав рапорт о болезни (к отчисленным полковые медики не слишком строги), задерживается в скучном поселении до середины мая. Однако о том, как использует очередной промежуток между обязанностями царской службы, умалчивает. Даже Раевскому правды не открывает: «Писать не пишу, печатать хлопотно, да и пробовал, но неудачно». Письмо помечено 8 июня, а к 8 сентября — готов новый «Демон». Перебелен и отослан Варваре Александровне Лопухиной-Бахметевой. К Новому, 1839 году поэт сделал еще один подарок: «Казачью колыбельную» — новорожденной дочери Верещагиной-Хюгель.

1839 год был годом лермонтовского триумфа. 1-й номер «Отечественных записок» — «Дума»; 2-й — «Поэт»; 3-й — «Бэла»; 4-й — «Русалка»; 5-й — «Ветка Палестины» и «Не верь себе»; 6-й — «Еврейская мелодия»; 8-й — «Три пальмы»; 11-й — «Фаталист» и «Молитва»; 12-й — «Дары Терека» и «Памяти А. И. Одоевского».

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что только можно мне пожелать.*

«Отечественные записки» делали рекламу молодому автору, а автор — молодому журналу. Реклама журналу нужна была позарез: и А. Краевский, и Вл. Одоевский выложились, что называется, до копейки. Даже временный неуспех был опасен — держалось на волоске — это видно по отчаянному письму Одоевского к Жуковскому:

«Дядюшка! Помогите и помогите от души, потому что дело задушевное; от 5 до 10 т. нас поднимут на ноги.

Краевский, комендант этой крепости...

Ваш грустик князь В. Одоевский»...

Жуковский откликнулся — «Записки» удержались и сразу же привлекли внимание читающей публики, особенно молодежи. Вл. Стасов, в ту пору подросток, вспоминает:

«Мы брали книжку чуть не с боя, перекупали один у другого право ее читать раньше всех, потом, все первые дни, у нас только и было разговоров, рассуждений, споров, толков, что о Белинском да о Лермонтове».

Но В. Белинский стал сотрудником журнала лишь в самом конце 1839 года. «Отечественные записки» пошли сразу! Неужели Лермонтов оказался столь соблазнительной приманкой? Не без этого. И все же несколько превосходных стихотворений да три отрывка из романа не могли дать такой разбег затеянному Краевским литературному предприятию. В своем «Современнике» Пушкин, как известно, публиковал «Капитанскую дочку» и «Путешествие в Арзрум» и тем не менее журнал терял тираж, принося издателю-редактору сплошные убытки.

Считается, что неуспех «Современника» вызван чрезмерной серьезностью. Но ведь и «Отечественные записки» были серьезным изданием, продолжающим пушкинскую — энциклопедическую — линию в русской журналистике. В 1832 году, затеяв политическую газету, а при ней — прибавления, Пушкин привлек к составлению проекта Владимира Одоевского. Одоевский представил план, суть которого вполне передает название, предложенное автором проекта: «Современный летописец политики, наук и литературы, содержащий в себе обозрение достопримечательнейших происшествий в России и других государствах Европы, по всем отраслям политической, ученой и эстетической деятельности с начала... последнего десятилетия 9-го века».

Ни газета, ни прибавления к ней разрешены не были. Однако







и Пушкин в «Современнике», и Краевский с Одоевским в «Отечественных записках» действовали практически по приведенному выше плану. Но «Современник» не продавался, а «Отечественные записки» молодежь вырывала друг у друга из рук... В чем же дело? Прежде всего, видимо, в том, что Одоевский, будучи человеком не только серьезных, но еще и неожиданных интересов, внес в журнал элемент занимательности—это привлекло тех, кто толстых журналов отродясь не читывал. Так, князь считал себя кулинаром-затейником, знакомые и друзья посмеивались над этим «хобби», отказываясь от его полухимических, полуфантастических соусов. А вот в журнальном деле даже эта странная для серьезного человека страсть нашла выход: ну кому не интересно узнать, как, допустим, сохранить и законсервировать воспетые Пушкиным «трюфли» или прочитав рецепт их приготовления, изобретенный самим Россини?

Любопытство «русского Фауста» к материальным приметам времени было феноменальным—он «втаскивал» в журнал все, на что набредало его любознание, казалось бы, ничуть не заботясь о том, насколько «съедобно» подобное ассорти: статья, пропагандирующая паровой плуг (тут же выкладки и расчеты с точностью до рубля), ученое, понятное лишь узким специалистам, обозрение книг по высшей математике (с анализом и оценкой), известие о том, что во Франции изобретен дешевый способ окрашивания сукна в синий цвет с помощью обыкновенной синьки.

«Экран знаний» соредактора «Записок» был, если употребить современный термин, мозаичным; мозаичным выглядел и создаваемый им журнал. Но в пестрой смеси, в кажущемся беспорядке была Идея: не просто спокойный и умный энциклопедизм, а стремление поймать в журнальные мрежи «течение века» способом «сближения всего, что в короткое время совершается в отечестве постоянно». Как это ни кощунственно звучит, но «Современник» был «наказан» невниманием публики за то, что игнорировал злободневную существенность, того читателя, который, как писал Владимир Одоевский, скучает над «Илиадой», но никогда не бросит книжку, обещающую помочь «поправить домашние обстоятельства».

Организационно журнал Краевского—Одоевского замысливался на европейский промышленный манер:

«Редакция должна походить на фабрику, где посредством правильного разделения работ, в один час соединенными усилиями людей производится то, чего те же самые люди не могли бы произвести в долгое время, работая отдельно».

Впрочем, один Одоевский стоил целой редакционной фабрики—работоспособность его была невероятной, он и сам называл свою жизнь—«чернорабочей», и если это не вывело его в первые ряды русских литературных деятелей, то только потому, что интересы этого удивительного человека всегда «дробились на множество лиц и действий»...

Для Краевского способность Одоевского «дробиться» оказалась настоящим кладом.

С учетом расположения часовых стрелок на европейских часах компоновал его соредактор и «Обозрение наук», и другие разделы

(первые номера журнала — своеобразная модель общественного сознания, сквозь «магический кристалл» которой видно, как внутри сороковых годов созревают шестидесятые с их культом положительного знания).

Но несмотря на практический уклон, гвоздем первого номера была все-таки «Дума», ибо — таково мнение редакционной фабрики — «Поэзия есть слово народа, и как в слове — весь человек, так и в поэзии — весь народ».

Поэт — «человек высшего разряда» — нащупывал болевую точку века, и основные материалы незаметно и ненавязчиво включались в диалог с ним. Вот что, к примеру, писал автор раздела «Русская литература» во 2-й книжке, продолжая начатый Лермонтовым разговор о судьбе отрицательного, бесплодного поколения и причинах его бесплодия:

«Юные мыслители XIX века... на чем обопремся мы, уничтожая все до нас бывшее? На наших понятиях? Где они? Если и проявляются, то они так ничтожны, что даже не заслужат остроты от наших потомков. Призовем на помощь здравую логику, если уже мы решаемся смеяться над почтенными сединами наших отцов... — какая участь постигнет нас, растративших всю юность на презрение ко всему благородному труду и на насмешки над всем, заслуживающим уважение! И из чего мы бьемся, в чем состоят наши идеи века, понятия нового... поколения? Из того, чтоб говорить о всем, о чем дошло до нас отдаленное эхо, которого действительного звука мы не слыхивали, и чтоб окрасить себя водяною краскою образованности, брав ее из газетного листка или из нового журнала, или из вчерашней пьесы».

Если воспользоваться формулой В. Ключевского, можно сказать: Пушкин сделал из «Современника» книгу, которую в России почти некому было читать; Краевский и Одоевский дали тем, кому до «Отечественных записок» нечего было читать, журнал, ориентированный не на «легкое суждение» о злобе дня, а на «труд и мышление, усваивающее себе все современное». Те же требования предъявлялись и произведениям беллетристическим: в них должен был чувствоваться «нерв времени», этот принцип, кстати, очень удачно определила в предисловии к своим «Очеркам большого света» Евдокия Ростопчина:

«Дух девятнадцатого века есть точно дух разбора, дух рассуждения и исследований. Этот дух, это расположение испытывать себя и всех — они повсеместны, они проявляются везде; они глубокомудрие у философа и мыслителя, они прихоть и побуждение суетных. Знамя века нашего — знак вопрошенья; его орудие — умственный скальпель, которым он разбирает дно сердца и фибры страстей. Люди поняли, что любопытнейшая из наук — наука самопознания, что занимательнейшее из открытий — это открытие характеров и лиц. И потому все думы настроены к наблюдению, все взоры хотят проникнуть изгибы души ближнего. Моралист и историк изучают владык мира... Поэты призывают в предметы своих созерцаний души избранные, создання, изъятыя из толпы».

Когда читаешь это предисловие, сравнивая его с лермонтовским

предисловием к «Журналу Печорина», понимаешь: С. Сушков, брат Додо и пансионский приятель Лермонтова, не преувеличивая, утверждал, что между ними было много «общего и сочувственного».

Учитывая короткие отношения Лермонтова и с «комендантом» новой литературной крепости А. Краевским, и с Вл. Одоевским, можно предположить, что «козырной» автор «Отечественных записок» принимал участие и в черновой работе редакционной «фабрики». На такую мысль наводит материал, открывающий (в первом номере) раздел политических событий — отчет о путешествии Николая I по Кавказу в 1837 году. В первый момент лакейская стилистика публикации вызывает недоумение: столь густопсовым верноподданническим восторгом побрезговала бы, пожалуй, даже неразборчивая «Северная пчела». Но вчитавшись, видишь, что это — пародия, написанная от лица того самого «презренного раба», который, благодаря вмешательству цензуры, исчез из лермонтовской «Думы». (При первой публикации «Думы» в 1839 году выброшено двестише:)

Перед опасностью позорно малодушны  
И перед властью презренные рабы).

А сходство и в общем тоне, и в подробностях с уже разобранным фрагментом из «Ашик-Кериба» дает некоторые основания предположить, что идея тонкой редакционной дерзости принадлежала Лермонтову; во всяком случае, среди сотрудников «Отечественных записок» он был единственный, кто мог, не заглядывая в прошлогодние номера «С.-Петербургских ведомостей», сообщить факты, даты, подробности, необходимые автору следующей стилизации:

«Между тем сам Государь, как благий и животворный гений, которому нет преград, нет невозможного, переносится по бурным волнам на берега Кавказского края; там милостивое наградное слово, чудотворное «спасибо» льется из уст царя на закаленные любовью сердца чудо-богатырей наших, верных его воинов, и вот Анапа, Редут-Кале, Кутаис... Гумры, Сардар-Абад, Эчмиадзин, Эриван, Тифлис — принимают своего благодушного владыку... Еще миг — и великий царь великой земли уже несется на казачьем коне среди едва проходимых ущелий и стремнин... Русскому царю легки и открыты все пути: ему нет в народе опасностей... нет в делах его невозможного... На обратном пути Государь Император посещает целебные воды Кавказа, прибывает в Новочеркасск и посреди Донцев... вручает булаву атаману их, возлюбленному сыну своему... октября 28 наш царь уже в белокаменной своей... Где и когда слышали или читали мы что-либо подобное?»

Лермонтову повезло, и крупно: его профессиональное рождение совпало с рождением популярного (в лучшем смысле этого слова) журнала. Не будь «Отечественных записок», лермонтовские вещи, разлетевшись по разным изданиям, с разным направлением и разным читательским активом, не прозвучали бы так значительно.

Впрочем, «мода на Лермонтова» возникла до появления «Отечественных записок» — с неопубликованного при жизни автора «Демона» и «Песни про царя Ивана Васильевича...», которую А. Краевскому удалось напечатать в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» еще в 1838 году.

«Надо вам сказать, — писал Михаил Юрьевич Лопухиной еще в конце 1838 года, — что я... пустился в *большой* свет. В течение месяца на меня была мода, меня буквально рвали друг у друга. Это, по крайней мере, откровенно. Все эти люди, которых я поносил в своих стихах, стараются льстить мне. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими как триумфом...

Я возбуждаю любопытство, предо мной заискивают, меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого; дамы, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы я бывал, у них, потому что я ведь тоже *лев*, да! я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозревали гривы...»

Регулярная переписка с Лопухиными оборвалась в 1835 году — после замужества Варвары Александровны. Весной 1837-го, остановившись, по дороге на Кавказ, в Москве, Лермонтов зашел-таки на Молчановку, и Мария Александровна обязала его комиссией: прислать, в знак старой дружбы, черкесские туфельки. Едва оказавшись на Водах, Михаил Юрьевич купил сразу шесть пар и тут же соорудил посылку. К посылке следовало приложить письмо — переписка возобновилась.

Следующий шаг к примирению был куда более решительный. Переведенный в Новгород, Лермонтов, задержавшись на несколько дней в Петербурге, пишет (в феврале 1838 года) очередное послание к Марии Лопухиной. На этот раз — в прежнем, откровенно-доверительном тоне, как будто Варвара Александровна никогда не выходила замуж за «серебряного» господина Бахметева... Но дело не в тоне письма. И даже не в содержании: обычный отчет о событиях внешней жизни. Дело в стихах, которые якобы написаны перед отъездом в ссылку, затерялись было в бумагах, а раз нашлись, то, следуя старой юношеской привычке, Лермонтов и посылает их своему первому и главному критику. Это — версия. А истина заключалась в том, что стихи обращены к Варваре Александровне и представляют собой страстную мольбу о прощении — за неуместность мстительного порыва, за скоропалительность оскорбления, мольбу о прощении и признание в пожизненности внушенного ею чувства, которое и любовью-то назвать нельзя, настолько оно — другое:

#### МОЛИТВА

Я мать божия, ныне с молитвою  
Пред твоим образом, ярким сиянием,  
Не о спасении, не перед битвою,  
Не с благодарностью иль покаянием,

За за свою молю душу пустынную,  
За душу странника в свете безродного;  
Но я вручить хочу деву невинную  
Теплой заступнице мира холодного.

Окружи счастьем душу достойную,  
Дай ей спутников, полных внимания,  
Молодость светлую, старость покойную,  
Сердцу незлобному мир упования,

Срок ли приблизится часу прощальному  
В утро ли шумное, в ночь ли безгласную —

Ты воспрять пошли к ложу печальному  
Лучшего ангела душу прекрасную.

«Варенька-уродинка» мольбу услышала.

Все тот же Шан-Гирей вспоминает:

«Весной 1838 года приехала в Петербург... Варвара Александровна Бахметева. Лермонтов был в Царском, я послал к нему нарочного, а сам поскакал к ней. Боже мой, как болезненно сжалось мое сердце при ее виде! Бледная, худая, и тени не было прежней Вареньки, только глаза были такие же ласковые, как прежде. „Ну, как вы здесь живете?“ „Почему же это *вы?*“ „Потому что я спрашиваю про двоих“. „Живем как бог послал, а думаем и чувствуем, как в старину. Впрочем, другой ответ будет из Царского часа через два“. Это была наша последняя встреча, ни ему, ни мне не суждено было ее больше видеть».

Подробностей этого короткого свидания мы никогда не узнаем. Ни Варвара Александровна, ни Михаил Юрьевич ни единым словом ни одному из своих ближайших друзей о нем не проговорились. Оно так и осталось «тайной двоих». И эти двое — промолчали.

Впрочем, в стихах Лермонтов не молчал, «таинственный разговор с подругой юных дней» продолжался. 8 сентября 1838 года, через несколько месяцев после встречи, он отослал Лопухиной новый, кавказский вариант «Демона».

Поэме было предпослано «Посвящение», в котором Лермонтов давал понять Варваре Александровне, что, кроме «могучего образа» властелина надзвездного мира, созданного «игрой воображенья», в «Демоне» есть и другой, более интимный смысл: «простое выраженье тоски», «томившей» его «много лет».

Над «Демоном» Лермонтов начал работать, едва открыв в себе поэта, в 1829-м. Сразу же нашлась первая строчка: «Печальный Демон, дух изгнания». В варианте 1830 года появилось и заключительное двустишие, к которому Лермонтов долго не притрагивался:

После потерянного рая  
Улыбкой горькой упрекнул...

Этими же стихами начинался и оканчивался и тот «Демон», которого Лермонтов подарил шестнадцатилетней Лопухиной в 1831 году. Он работал над ним весной и летом, еще до их встречи. Посвящение, где он называет подругу «Мадонной» («Прими мой дар, моя Мадонна»), как и акварельный портрет Варвары Александровны в костюме монахини, написаны позднее. Видимо, поэтическое чутье умной девушки, неординарность ее восприятия и сблизили их.

Семь лет назад эти строчки были всего лишь словами, а теперь стали еще и нотной записью «звуков», в которых, «как в гробе», «зарыто былое». Оттого поэт и сохраняет ее в лопухинском списке, в надежде, что «давно забытый звук», пробудив сожаленье о прошлом, напомнит забывчивому, но незабвенному другу: роскошная восточная повесть родилась из когда-то подаренного ей черновика, точнее — эскиза, и в ней, как в тайнике, «запечатана» простая человеческая тоска по тем дням, когда жизнь только начиналась и обыкновенный мальчик требовал, чтобы обыкновенная девочка дала ему необыкновенную клятву:

Послушай, быть может, когда мы покинем  
Навек этот мир, где душою так стынем,  
Быть может, в стране, где не знают обману,  
Ты ангелом будешь, я демоном стану! —  
Клянися тогда позабыть, дорогая,  
Для прежнего друга все счастья рая!  
Пусть мрачный изгнанник, судьбой осужденный,  
Тебе будет раем, а ты мне — вселенной.

Печатать «Демона» в том виде, в каком 8 сентября 1838 года он отослан Варваре Александровне, было немислимо, даже в списках пускать по рукам и то — опасно. А между тем слухи о волшебной кавказской поэме, привезенной из ссылки «вторым Пушкиным», распространились по Петербургу, дошли до ушей великосветских любителей изящной словесности, в том числе и до императрицы Александры Федоровны, падкой на все новинки. Скрепя сердце Лермонтов взялся за переделку, пытаясь приспособить текст к требованиям церковной цензуры (в поэме задевались канонические представления о том, как должно и как не должно вести себя лицам «неземного подданства»). Разумеется, это была не механическая подгонка под «белодневный» трафарет. Перечитывая поэму, Лермонтов наткнулся на незамеченные оплошности, исправлял их. Так, в описании внешности жениха Тамары меняет банальное «стройный стан» на более точное: «ловкий»; вместо «вся галуном обведена» стало: «обложена». Не бог весть какая находка, но до печати еще далеко, и Лермонтов не торопится с отделкой. В главном же поэма — завершена. Он кончил ее. «Отделался» от возмущавшего ум грозного духа, от тоски, мучившей душу.

Приспособленный к требованиям цензуры, «белодневный» вариант «Демона» завершен 4 декабря 1838 года. В день именин Варвары Лопухиной. В священный для автора день. Может быть, это простое совпадение. А может быть, и нет. Ведь Лермонтов был суеверен и, уродуя великолепный текст, поспешил завершить неприятную, уязвляющую его самолюбие работу в срок, когда можно было, мысленно обратясь за помощью к «подруге юных дней», испросить у ее заступницы, святой Варвары великомученицы, прощение за вынужденный, оскорбительный компромисс.

Чтение «Демона» в маленьком салоне императрицы состоялось 8 и 9 февраля 1839 года. Александра Федоровна нашла стихи очаровательными — «а мнение императрицы было законом...».

Сообщая Марии Лопухиной о своих успехах в «большом свете», Лермонтов умалчивает о куда более важном: о безоговорочном признании в литературных кругах.

В феврале 1837 года, посылая брату Андрею в Париж список «Смерти Поэта», Софья Карамзина сообщает, что автором является «какой-то гусарский офицер». 14 мая 1838 года Лермонтов прибыл, после ссылки и недолгого пребывания в чистилище — в Гродненском гусарском, — в Царскосельский рай, куда уже съехался весь литературный свет и где ходят по рукам «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду» с «Песней про царя Ивана Васильевича...». Обсуждают новинку и в семье Карамзиных. Софи, старшая дочь покойного историографа, заболевает от нетерпения: молодого литературного львенка необходимо заполнить в салон! Но как подступиться,



чтобы не нарваться на отказ или, упаси боже, на дерзость? Выручает мачеха: ее обаяние обезоруживает самых неподдающихся. Не устоял перед «обворожением» Екатерины Андреевны Карамзиной и Лермонтов: Софья Николаевна заполучила новую игрушку.

Весь сентябрь Михаил Юрьевич «занят у Карамзиных»: то репетиции, то кавалькады, то именины. Приятный плен был, правда, прерван служебной неприятностью — за очередную шалость Михаил Павлович продержал Лермонтова на гауптвахте целых три недели. И день рождения Мишеньки — 24-й — Елизавета Алексеевна отметила без него; без него состоялась и конно-спортивная игра «Карусель», к которой девицы Карамзины готовились все лето.

За это на Лермонтова наложен штраф: как только приедут в Петербург и соберутся в красной гостиной, он прочтет «Демона».

В скромной гостиной Карамзиных, с патриархальной обстановкой, с красной, сильно выцветшей мебелью, запросто собиралась интеллектуальная элита Петербурга, правда, вперемежку с людьми «совсем иного сорта» — вельможами, дипломатами, светскими львами и львицами. Особых приемных дней, как, скажем, у Владимира Одоевского, куда приезжали только по субботам и только после театра, не было. Принимали каждый вечер: в будни человек восемь-пятнадцать, по воскресеньям до шестидесяти. Чтобы позволить себе столь широкое гостеприимство, Софья Николаевна ввела постоянное меню: очень крепкий чай, самые свежие сливки и тоненькие тартинки со сливочным маслом. Тартинки тут же, сидя у самовара, изготавлила собственноручно хозяйка салона, «Рекамье» красной гостиной, и все гости находили, что нет ничего вкуснее крепкого чая со сливками, если его подают за столом, на который так уютно и патриархально падает свет масляной лампы, купленной когда-то самим Николаем Михайловичем.

В особых, чрезвычайных случаях, число званных резко сужалось. 29 октября 1838 года в самом узком — только свои — карамзинском кругу Лермонтов прочитал «Демона». Отныне ни у кого из посетителей красной гостиной не могло быть иного мнения, чем то, какое составила после чтения Софья Николаевна:

«Это блестящая звезда, которая восходит на нашем литературном небосклоне, таком тусклом в данный момент».

У большинства мемуаристов, из числа тех, кто бывал у Карамзиных, сохранились самые идиллические воспоминания о чаепитиях в красной гостиной.

Самый высокий тон взяла Евдокия Петровна Ростопчина:

Когда, насытившись весельем шумным света,  
Я жизнью умственной вполне хочу пожить  
И просится душа, мечтою разогрета,  
Среди душ родственных свободно погостить,  
К приюту тихому беседы просвещенной,  
К жилищу светлых душ дорогу знаю я...  
Там говорят и думают по-русски,  
Там чувством родины проникнуты сердца,  
Там чинность модная, своею цепью узкой,  
Не давит, не теснит, там памятью отца  
Великого и славного все дышит;  
Там свят его пример, там как заветный клад

И дух, и мнения во всем его хранят,  
Свидетель тронутый всегда там видит, слышит  
Семью согласную, счастливую семью.  
Где души — заодно, где община святая  
Надежд и радостей, где каждый жизнь своего  
Другим приносит в дар, собой пренебрегая...

На самом-то деле согласия не было и здесь. Екатерине Андреев-не и не по душе, и не по силам страсть общительности, владев-шая детьми. Она уставала — и от счастливой способности падчерицы Софьи «порхать по цветущим верхам мысли», и от чересчур уж пунктуальной преданности Лизы, и от снисходительного полупрезрения, какого не скрывала Екатерина; этажом выше жила ее старшая дочь и ни разу не соизволила спуститься в красную гостиную.

Но на дочерей Николай Михайлович никогда и не надеялся: девицы были не в его вкусе — «рисуют, танцуют, бренчат на кла-весине» — к светской жизни себя готовят.

В уединении передержали. Тихой жизнью в детстве перекормили. Как мотыльки — к свету рвутся.

А вот в сыновей верил, так верил, что глазу не боясь, говорил, и ей, матери их, и друзьям: «Если будут живы, то не сделают стыда моей тени и в полях Елисейских».

Уберег бог — все трое живы, здоровы, вот только к делу ни у одного душа не лежит. Из Александра, пожалуй, как в возраст войдет да женится, хозяин получится. А ни Андрею, ни Владимиру, при всей их талантливости, из героев светской хроники не выбыть.

Сравнивала Екатерина Андреевна своего первенца с новым сонюшкиным «предметом»: ровесники, одноклассники, а какая разница! У сына ничего, кроме репутации очень умного человека, а у этого к двадцати четырем годам слава второго Пушкина! Сравнивала и страдала: на ее глазах произошло самое страшное из предательств: кумира из отца сделали, поклоняются ему, дом семейный в кумирню превратили, из Лизы, младшей, жрицу домашнюю сделали, а сами предают. Каждый день предают. Отец трудом жил, в труде наслажде-ние находил, а они — говорят, говорят, говорят... На разговоры время переводят — и так день за днем, месяц за месяцем, год за годом... А она все ждет и ждет, пока они соблаговолят кончить свой слишком длинный «кейф», свое сладкое «ничего неделанье»... Лермонтов, конечно, догадывался, что в «ковчеге Арзамаса» — как на-зывали друзья Пушкина этот литературный дом — не так благополуч-но, как представляется завсегдашам красной гостиной, и все-таки охотно бывал у Карамзиных.

Когда-то, в «Княгине Лиговской», он составил себе образ идеаль-ного общества. «В коротком обществе, где умный, разнообразный разговор заменяет танцы... где можно говорить обо всем, не боясь цензуры тетюшек и не встречая чересчур строгих и неприступных де-в, — в таком кругу он мог бы блистать и даже нравиться, потому что ум и душа, показываясь наружу, придают чертам жизнь, игру и заставляют забыть их недостатки; но таких обществ у нас в России мало, в Петербурге еще меньше, вопреки тому, что его называют совершенно европейским городом».

И вдруг оказалось, что такое общество существует, и не где-

нибудь, а в Петербурге, и он действительно может не только блистать в нем, но и нравиться.

Судя по всему, именно здесь впервые и увидела Михаила Юрьевича Мария Алексеевна Щербатова. Впрочем, она была не единственной из красивых и молодых женщин, слетавшихся в гостиную Карамзиных, «насытившись весельем шумным света», на которую Лермонтов, в пору своего триумфа, произвел сильное впечатление.

Рассказывая в своем к Александру Дюма историю второй ссылки Лермонтова, Евдокия Ростопчина утверждает:

«Несколько успехов у женщин, несколько салонных волокитств вызвали против него вражду мужчин; спор о смерти Пушкина был причиной столкновения между ним и г. де Барантом, сыном французского посланника. Последствием спора была дуэль».

Не поверив графине Ростопчиной, лермонтоведы стали искать более веские основания новой немилости и нового изгнания.

Согласно версии Э. Герштейн, Лермонтова сослали за участие в кружке 16-ти; дуэль же, по ее мнению, была лишь официальным поводом изгнания.

«Это общество, — вспоминает один из его членов Ксаверий Браницкий, сослуживец Лермонтова по лейб-гвардии Гусарскому полку, — составилось частью из университетской молодежи, частью из кавказских офицеров. Каждую ночь, возвращаясь из театра или бала, они собирались то у одного, то у другого. Там, после скромного ужина, куря свои сигары, они рассказывали друг другу о событиях дня, болтали обо всем и все обсуждали с полнейшей непринужденностью и свободой, как будто бы III Отделения собственной его императорского величества канцелярии вовсе и не существовало: до того они были уверены в скромности всех членов общества».

Никакой политической программы члены кружка 16-ти не имели, но если бы Николаю донесли о существовании подобного общества, он наверняка поступил бы так, как предполагает Э. Герштейн: разорил гнездо коллективного инакомыслия! Уже потому хотя бы, что оно было «слеплено» на ненавистный императору французский манер — по образцу интеллектуальной элиты, поставившей себя выше закона (знаменитые «Тринадцать», описанные Бальзаком в «Утраченных иллюзиях»).

Однако — и это убедительно доказал И. Андроников — ни император, ни его жандармерия о полуночных бдениях молодых интеллектуалов так и не узнали. Уверенный, как и Э. Герштейн, что дуэль с де Барантом была инспирирована, и притом чуть ли не самим Николаем I, Андроников ищет иную мотивировку высочайшего нерасположения к Лермонтову. Зацепившись мимоходом за оброненную Висковатовым фразу, что у Монго-Столыпина были неприятности по поводу одной дамы, которую тот защитил от назойливости «некоторых лиц» и даже помог ей скрыться за границу, исследователь выдвигает очень интересную гипотезу. И если бы ему удалось совместить ее с фактами, то есть обнаружить в светской хронике 1839—1840 годов подходящую особу знатного происхождения, которую Столыпин с помощью Лермонтова спас от похотливых домогательств государя, «нищенская» (А. Блок) биография поэта обогатилась бы весьма

эффектным эпизодом. Но так как поиск И. Андроникова не увенчался успехом, приходится отказаться от соблазнительной версии, тем более что не исключено: Висковатов, а за ним Андроников отправлены «молвой» по ложному следу, они искали «ключи» к еще одной тайне Лермонтова не там, где их следовало искать. Я имею в виду широко известный казус с похищением девицы Кох. Влюбившись в воспитанницу балетного класса, князь Н. С. Вяземский, однокашник Лермонтова по «Пестрому эскадрону» и сослуживец по Гусарскому полку, похитив ее, привез тайком в Царское и только тут сообразил, что разумнее было дожидаться выпуска. Романы с театральными ученицами, даже вполне невинные, преследовались, брать же на содержание балерин и актрис никому не возбранялось. Смущенный промашкой, Вяземский хотел было отвезти девицу Кох обратно в театральную школу, но товарищи не позволили — помогли переправить танцовку через Кронштадт в Швецию, где та благополучно поступила на сцену. Тайственное исчезновение девицы долго волновало петербургское общество — о ней даже куплеты сложены были.

Произошел этот гусарский фарс в 1835 году, то есть в тот самый период, когда была написана поэма «Монго» (комический театральный «роман», главный герой которого — Алексей Аркадьевич Столыпин, «актрис коварный обожатель») и когда Лермонтов со своим дядей-кузеном лихо объезжали купленную Елизаветой Алексеевной тройку башкирских лошадок... Нет ничего невероятного в предположении, что именно эта чудо-тройка и выручила попавшего в затруднительное положение бедного Вяземского...

Требуется уточнений и широко бытующая версия о травле Лермонтова, инициатором которой являлись якобы члены царствующего дома.

Общеизвестно: великий князь Михаил, недовольный духом товарищества, сильно развитым в лейб-гвардии Гусарском, неоднократно грозился покончить с ним, причем, судя по воспоминаниям не склонного к крайностям и вполне благонамеренного М. Лонгинова, все происходящие в полку неприятности приписывал «подговорам» со стороны Столыпина и Лермонтова. Кроме того, трехнедельная гауптвахта за слишком короткую — детскую — саблю (сентябрь—октябрь 1838-го) свидетельствует, что командир Отдельного гвардейского корпуса время от времени переходил от угроз к дисциплинарным взысканиям и что дерзости Лермонтова сердили его не на шутку. И все-таки: если бы в отношении Михаила Романова к Михаилу Лермонтову было что-нибудь из ряда вон выходящее, вряд ли бы он с такой последовательностью подписывал ему поощрения (6 и 11 июля 1838 года — «Высочайший приказ о поощрении»; 16 марта 1839-го — «Высочайший приказ о поощрении»; 9 и 27 мая, 12, 13, 14 июня 1839 года — «Высочайшие приказы о поощрении»; 23 июня, 14, 15, 26—31 июля — снова; 2 и 7 августа — «Высочайшие приказы о поощрении», а также: 21 октября, 6 ноября 1839-го и, наконец, последний — от 14 февраля 1840 года).

Послужной список Лермонтова свидетельствует также, что 6 декаб-

ря 1839 года он был повышен в чине — «на вакансию лейб-гвардии Гусарского полка... из корнетов в поручики».

Если верить Владимиру Соллогубу, повесть «Большой свет», где, по его собственному признанию, изображено «светское значение Лермонтова», написана по личному заказу дочери Николая — Марии.

Эту повесть Соллогуб читал членам царской семьи уже весной 1839 года. Чтобы сделать такой заказ, у великой княгини должен был быть серьезный повод. Видимо, поэт и в самом деле «задел» Марию Николаевну, сделав вид, что не узнал «под маской», — дерзким словом или подчеркнутым равнодушием к ее чарам. Во всяком случае, подобный способ мести вполне в характере старшей царевны.

Мария была любимицей Николая, его щедрость к ней не знала предела. Словно сказочная принцесса, она жила среди роскоши, столь затейливой, что дворец, подаренный ей отцом, вызывал у современников впечатление «миража посреди январских морозов».

Великая княгиня была неглупа, достаточно красива, но ей, по свидетельству А. Ф. Тютчевой, «не хватало возвышенных идеалов, духовных и умственных интересов».

И далее:

«В общественной среде петербургского высшего света, где... законодательствует исключительно тщеславие, легкомыслие и стремление к удовольствиям, деморализация не трудное дело. В этом мире, столь наивно развращенном, что его нельзя даже назвать порочным, среди жизни на поверхности, жизни для внешности, нравственное чувство притупляется, понятия добра и зла стираются, и вы встречаетесь в этих сферах со своеобразным явлением людей, которые, при внешних признаках самой утонченной цивилизации, в отношении кодекса морали имеют самые примитивные представления дикарей. К числу таковых принадлежала и великая княгиня. Не без неприятного изумления можно было открыть в ней, наряду... с чрезвычайно художественными вкусами, глупый и вульгарный цинизм».

Но мы рискуем разминуться с истиной, если допустим, что Николай был в курсе более чем правдоподобных сплетен о похождениях его любимой дочери, ходивших в придворных и не только придворных кругах. Выданная замуж по выбору отца за принца Лейхтенбергского, который, как утверждают, чтобы пользоваться большей свободой в собственном разврате, постарался развратить свою молодую жену, Мария Николаевна после смерти мужа тайно обвенчалась с графом Строгановым. Брак был «секретом Полишинеля», так же, как и добрачные отношения великой княгини с графом, однако Николай об этом браке никогда не узнал. А узнал бы (на сей счет ни у детей царя, ни у жены его не было сомнений) — сослал бы Строганова «на верную смерть на Кавказ», а дочь — «в монастырь»!

Короче, если у Марии Николаевны и были какие-то счеты с Лермонтовым из-за ее маскарадных вылазок, она не могла свободно обсуждать этот вопрос со своим царственным отцом.

Что же до отношений к Лермонтову самого Николая, то, если отбросить версию Герштейн — как расходящуюся с фактами (кружок

16-ти) и предположение Андроникова — как недоказанное (участие в судьбе очередной пассии императора), у нас нет ни одного документа, свидетельствующего, что Лермонтов (до июня 1840 года) был в сфере особого нерасположения императора, в его, так сказать, личном черном списке. Наоборот, и легкость, с какой А. Х. Бенкендорф добился совершеннейшего прощения внука Елизаветы Арсеньевой, и лермонтовские чтения в салоне императрицы говорят о другом: об отсутствии у государя и особых чувств, и особого мнения «на счет Лермонтова». Но даже если бы оно и было, спровоцировать дуэль ни Николай I, ни его младший брат Михаил никак не могли. Ни с Барантом. Ни с Мартыновым. Будучи принципиальным противником дуэлей, Николай видел в поединках неестественное, не свойственное русскому образу жизни проявление духа независимости, больше того — французское влияние, которое систематически, неуклонно преследовал. В глазах Николая даже прямое убийство из ревности или мести было более нравственным, чем дуэль — свидетельство испорченности нравов. Известно, например, что в 1836 году отцу Павлова, убившего во время венчания соблазнителя своей сестры, император назначил пенсию в размере 2 тысяч рублей в год; такую же сумму, кстати, получал и Карамзин — как член ученого совета Московского университета.

Словом, логичнее всего принять объяснение Е. П. Ростопчиной, тем более что оно косвенно подтверждается признанием самого Лермонтова — стихотворением «Тучки», где поэт, раздумывая о причинах своего изгнания — «с милого севера в сторону южную» — также упоминает о зависти, злобе и клевете...

В самом конце 1839 года секретарь французского посольства от лица посла — Проспера де Баранта — обратился к А. И. Тургеневу с запросом: «Правда ли, что Лермонтов в известной строфе стихотворения „Смерть Поэта“ бранит французов вообще или одного только убийцу Пушкина?» Тургенев, успевший раздарить все имевшиеся у него списки, обратился к Лермонтову, Лермонтов на следующий же день отослал интересующий французов фрагмент, Тургенев ознакомил с ним Барантов, послал, удостоверившись, что введен в заблуждение ложным слухом, отправил автору «Смерти Поэта» официальное приглашение на новогодний прием в посольстве — в знак того, что считает инцидент исчерпанным.

Барант-сын считал или хотел считать по-другому, у него была дополнительная, сугубо личная причина для раздражения.

Шан-Гирей свидетельствует:

«Зимой 1839 года Лермонтов был сильно заинтересован кн. Щербатовой (к ней относится пьеса «На светские цепи»). Мне ни разу не случилось ее видеть, знаю только, что она была молодая вдова, а от него слышал, что такая, что ни в сказке сказать, ни пером написать. То же самое, как видно из последующего, думал про нее де Барант, сын тогдашнего французского посланника в Петербурге. Немножко слишком явное предпочтение, оказанное на бале счастливому сопернику, взорвало Баранта, он подошел к Лермонтову и сказал запальчиво: „Vous profitez trop, monsieur, de ce que nous sommes dans un pays où le duel et défendu!“ — Qu'a ca ne tienne, monsieur, —

отвечал тот, — *je me mets entièrement à votre disposition*" \* и на завтра назначена была встреча».

Аким Павлович ошибся одним днем. Столкновение на балу у графини Лаваль произошло 16 февраля 1840 года, дуэль — 18-го.

Вернувшись после поединка домой, Михаил Юрьевич рассказал кузену:

«Отправился я к Мунге (А. А. Столыпину. — *А. М.*), он взял оточенные рапиры и пару кухенрейтеров (пистолетов. — *А. М.*) и поехали мы на Черную речку. Они были на месте. Мунго подал оружие, француз выбрал рапиры, мы стали по колено в мокром снегу и начали; дело не клеилось, француз нападал вяло, я не нападал, но и не поддавался. Мунго продрог и бесился, — так продолжалось минут десять. Наконец, он оцарапал мне руку ниже локтя, я хотел проколоть ему руку; но попал в самую рукоятку, и моя рапира лопнула. Секунданты подошли и оставили нас; Мунго подал пистолеты, тот выстрелил и дал промах, я выстрелил на воздух, мы помирились и разъехались...»

В тот же день, 18 февраля, Лермонтова видел Иван Панаев; по его наблюдению, поэт был необычайно весел. Причиной чрезвычайной веселости могло быть нервное возбуждение, но, видимо, еще и уверенность, что дуэль, ввиду столь счастливого исхода, удастся сохранить в тайне. Во всяком случае, доносить о «проступке» ни Михаил Юрьевич, ни его секундант не собирались; да и Баранту, по всем расчетам, выгоднее было помалкивать: огласка могла принести неприятности, если не лично ему, то посланнику.

И тем не менее 21 февраля, на четвертый день, о дуэли на Черной речке стало известно командиру Гусарского полка — Н. Плаутину; он потребовал от провинившегося офицера объяснения обстоятельств поединка.

Дело, однако, разворачивалось медленно. Приказ об аресте Лермонтова был приведен в исполнение почти месяц спустя после происшествия на Черной речке — 11 марта 1840 года.

Высочайший порядок, установленный Николаем, исключал дуэли. Дуэль расценивалась как преступление:

«Кто выходит на поединок и обнажит шпаги, лишается дворянского достоинства и ссылается в Сибирь навсегда».

Закон был, разумеется, достаточно гибок и допускал исключения. Но исключения так и воспринимались, как исключения, как отклонения от закона...

Если бы зачинщиком оказался Лермонтов, достаточно было применить Закон. Но инициатива была на стороне Баранта, а Барант — гражданин Франции, где поединок считается легальным способом разрешения конфликтов, связанных с вопросами дворянской чести. Тонкость эта настолько усложняла применение Закона, что был момент, когда следящим за ходом судебного разбирательства стало всерьез казаться, что на этот раз «кончится милостиво». Даже госпожа Нессельроде, супруга всесильного министра иностранных дел, надеется, что наказание «не будет строго». Судьба Лермонтова ее, естественно,

---

\* «Вы слишком пользуетесь тем, что мы в стране, где дуэль запрещена». — «Это ничего не значит, я весь к вашим услугам» (*фр.*).

ничуть не волнует. Для госпожи Нессельроде автор «Тамани» всего лишь «какой-то офицер Лементьев», но она очень дружна с Барантами... Молва, склонная, как всегда, выдавать желаемое за действительное, разносит по Петербургу фразу, якобы произнесенную государем: «Если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что делать, но когда с французом, то три четверти вины слагается». Но кое в чем молва была права: государь император и в самом деле не знал, как поступить с беспокойным поручиком. Из затруднительного положения судопроизводство вывел сам Лермонтов, предоставив судьям отягчающие вину факты.

В письме к Плаутину Лермонтов следующим образом описал злополучную дуэль: «Так как господин Барант почитал себя обиженным, то я предоставил ему выбор оружия. Он избрал шпаги, но с нами были также и пистолеты. Едва успели мы скрестить шпаги, как у моей конец переломился, а он мне слегка оцарапал грудь. Тогда взяла пистолеты. Мы должны были стрелять вместе, но я немного опоздал. Он дал промах, а я выстрелил уже в сторону. После сего он подал мне руку, и мы разошлись».

Показания не понравились господину де Баранту, он потребовал новой дуэли. Лермонтов вынужден был пригласить Эрнеста де Баранта на Арсенальную гауптвахту — для объяснений. Произошло это 22 марта 1840 года, в восемь часов вечера. В тот же день Барант-сын отбыл в Париж. Судя по тому, что Барант-отец накануне обращался к министру иностранных дел с просьбой выдать Эрнесту выездной паспорт, стрелялся французский петушок не собирался, и разговоры о повторном поединке были лишь хорошей миной при плохой игре.

Эрнест де Барант уехал, а дело о дуэли продолжалось. Теперь уже сам Бенкендорф, представлял якобы интересы семьи Барантов и высшую справедливость, настаивает на том, чтобы Лермонтов написал своему противнику письмо с признанием ложных показаний на суде. Это было уже нарушением всяческих приличий, и командир гвардейского корпуса счел необходимым вмешаться; Бенкендорф отказался от своих претензий. Но сам факт возникновения подобного требования вполне в характере «голубого генерала». Всю жизнь Бенкендорф служил не делу, а лицам, и в силу этого совершенно искренне полагал, что подсудимый — человек, незнакомый с чувством благодарности. И из Нижегородского в Гродненский беспокойного литератора перевели единственно по неотступной его, Бенкендорфа, просьбе, и возвращением в лейб-гвардии Гусарский внук Арсеньевой обязан лично ему: «Честь имею покорнейше просить в особенное личное мое одолжение испросить у государя императора к празднику св. Пасхи всемилоостивейшее прощение корнету Лермонтову...»

Мало того, получив согласие, лично на поруки взял, обещая императору, что молодой человек не подаст больше поводов к взысканию, и к госпоже Арсеньевой лично явился — поздравить с царской милостью. Не впрок хлопоты пошли: вместо благодарности — новая неприятность, вместо раскаяния — дерзость, и в речах, и в улыбках. Высокомерен. Не по чину и возрасту.

Впрочем, кроме личного неудовольствия был, видимо, и дальновидный профессиональный расчет. Если бы шефу жандармов удалось



доказать: подсудимый Лермонтов несправедливо показал на суде, его репутация была бы погублена навеки и общественное мнение, делающее из Лермонтова героя (за то, что «проучил француза»), оказалось бы в ложном положении. Сомнительное дело перестало бы быть сомнительным... Вмешательство Михаила Павловича испортило игру. И все-таки свидание на Арсенальной гауптвахте расценили как отягчающее вину обстоятельство. «Лермонтово дело пошло хуже, — пишет всезнающий Вяземский жене своей Вере Федоровне. — Под арестом он имел еще свидание и экспликацию с молодым Барантом. Все глупое, ребячество... Дух независимости, претензии на независимость, на оригинальность, и конец всего — что все делает навыворот. Тут много посторонних людей пострадает, во-первых, свидетели, а более всех дежурный офицер, который допустил свидание».

Даже родные, и те раздражены. «Миша... еще сидит под арестом, и так досадно — все дело испортил... И что еще несносно — что в его делах замешает других, ни об чем не думает, только об себе, и об себе неблагоприятно». (Из писем Е. А. Верещагиной.)

Но было ли поведение Лермонтова всего лишь неблагоприятно — глупостью от большого ума, как полагала, выражая мнение родных, Елизавета Аркадьевна? Белинский, например, располагал другими сведениями: «Лермонтов слегка ранен и в восторге от этого случая, как маленького движения в однообразной жизни. Читает Гофмана, переводит Зейдлица и не унывает. Если, говорит, переведут в армию, буду проситься на Кавказ. Душа его жаждет впечатлений в жизни».

Белинский передает с чужих слов — их знаменитое свидание состоится позднее. Но в том, что в Петербурге Лермонтову не хватало ни жизни, ни впечатлений и что он действительно был готов снова и рисковать, и жертвовать (и бабушкиным спокойствием, и своей жизнью), сомневаться не приходится.

Пушкин в Петербурге писать практически не мог; чтобы внести в фонд русской литературы свой ежегодный оброк, запирает себя в Болдино, в Михайловском. Лермонтов мог работать всюду: в казарме, в странах по казенной надобности, на гауптвахте, «среди рассеянной Москвы» и сосредоточенного Петербурга. Но к 1840 году Петербург был исчерпан. Для задуманной эпопеи — трех романов из трех эпох жизни русского общества — необходимо было знание высшего света и психологии высших лиц в государстве. И он добыл его: «Нигде нет столько подлости и столько смешного, как там».

Но этого было мало: нужен опыт войны, необходимо доскональное изучение Кавказа и свободное от экзерциргаузных излишеств время — для мышления. Не понюхав пороха, грозу 1812 года не написать.

Словом, повторялась ситуация 1832-го, из которой Лермонтов выпутался, «бежав» из Москвы:

Я жить хочу! хочу печали  
Любви и счастию назло.  
Они мой ум избаловали  
И слишком сгладили чело.

Но повторялась в более сложном варианте. В стихотворении «Тучки небесные», в этом прощании с Петербургом, Лермонтов, размышляя о причинах своего изгнания, пишет:

Кто же вас гонит: судьбы ли решение?  
Зависть ли тайная? Злоба ль открытая?  
Или на вас тяготит преступление?  
Или друзей клевета ядовитая?

И тайная зависть, и открытая злоба, и клевета, и несчастное сцепление случайностей — все оказало влияние на «решение судьбы». Но преступление? В каком преступлении обвиняет себя Лермонтов?

10 мая 1840 года Александр Иванович Тургенев, человек, который знал всех и которого все знали, записал в дневнике (это было на следующий день после знаменитого обеда в честь именин Гоголя в московском доме Погодина): «Был у кн. Щербатовой. Сквозь слезы смеется. Любит Лермонтова».

Причин для слез у Марии Алексеевны Щербатовой в мае 1840 года было более чем достаточно. Она только что потеряла маленького сына, а вместе с этой смертью и право на наследство. Для сироты и бесприданницы это было не просто неутешным горем, но и жизненной катастрофой. Но Тургенев, а он не склонен к романтическим преувеличениям, твердо называет причину слез: «Любит Лермонтова».

Тургенев был не только разносчиком новостей, но и хранителем тайн, что было его призванием, его талантом. Но даже это не объясняет вполне поведения княгини Щербатовой, нарушающего все правила светского приличия. Объяснение только одно: жест отчаянья, реакция сильной и простой души на непонятное поведение Лермонтова.

Он настойчиво добивался ее любви.

Он открыто ездил к ней в дом.

Он посвятил ей полные самого серьезного чувства стихи.

Он стрелялся из-за нее.

И он избегает ее, даже теперь, когда она в таком отчаянии. Было отчего потеряться и более опытной и искушенной женщине.

На этой записи в дневнике Тургенева можно было бы не останавливаться, если бы она не находилась в явной связи с признанием самого Лермонтова («Или на вас тяготит преступление...»), а главное, если бы история Марии Щербатовой не приводила на память с такой неотвратимой настойчивостью историю княжны Мери, над которой Лермонтов работал зимой 1839 года — в то самое время, когда был, по общему признанию, сильно заинтересован молодой и прелестной вдовой.

Стараясь отыскать прототип княжны Лиговской, биографы Лермонтова перебрали всех его кавказских знакомых. В список возможных претенденток попали даже сестры Николая Мартынова.

Но на Кавказе Лермонтов только расставил героев, одел и загримировал их в соответствии с модой лета 1837-го. Повесть задыхалась, задвигалась, ожила, приобретая непосредственность дневника, лишь зимой 1839-го. Для того чтобы поставить Печорина в положение «между двух женщин», одну из которых он любит, хотя и странной любовью, а любви другой добивается, частью от скуки, частью из страсти к экспериментаторству, Лермонтову было мало поверхностных пятигорских впечатлений. Не будем проводить слишком жестких соответствий и видеть в Лермонтове экспериментатора — человека без сердца, способного превратить и собственную жизнь в опытный театр, дабы испытать нужный ему сюжет на выразительность. Не так уж автор «Героя нашего

времени» избалован был женской преданностью, чтобы «волочиться» за влюбленной в него женщиной из соображений экспериментальных... Но в том, что Лермонтов, работая над «Княжной Мери», пристально и трезво наблюдал не только за окружающими людьми, но и за самим собой, сомнения быть не может, равно как и в том, что очень многие из этих наблюдений использованы при создании «Журнала Печорина».

Помните, как кончается «Княжна Мери»? Переведенный за дуэль в «скучную крепость», Печорин, пробегая «мыслию прошедшее», спрашивает себя: «...отчего я не хотел ступить на этот путь, открытый мне судьбою, где меня ожидали тихие радости и спокойствие душевное?» И отвечает сам себе «Нет, я бы не ужился с этой долею!»

В случае с Печориним признание кажется не совсем обоснованным. Ну какие радости и какой покой мог обещать ему брак с девушкой, за которой он приволокннулся «шутя» и «от скуки»? Но то же самое признание приобретает и вес, и значимость, если увидеть за ним самого Лермонтова. А право на такое предположение дает нам уже известное его письмо к Алексею Лопухину («Ты нашел, кажется, именно ту... дорожку, через которую я перепрыгнул... Ты дошел до цели, а я никогда не дойду: засяду где-нибудь в яме, и поминай как звали, да еще будут ли поминать?»).

Письмо это, правда, написано весной 1839-го, а увлечение Щербатовой современники, начиная с Акима Шан-Гирея, относят лишь к зиме того же года. Но, думается, они не то чтобы ошибаются, а выдают конец романа за его начало. Есть, например, основание предполагать, что «Молитва» («В минуту жизни трудную...»), напечатанная в 11-й книжке «Отечественных записок», посвящена Щербатовой. Известно также, что 25 июня 1839 года Лермонтов присутствовал на обеде, который кн. Щербатова давала на своей павловской даче. Обед был рассчитан только на своих: «Смех, шалости, кокетство, шептанье», — таким запомнила этот день Софи Карамзина. К Лермонтову она «относилась решительно» и ни обедов, ни вечеров с его присутствием не пропускала...

Но для того чтобы оказаться 25 июня 1839 года на павловской даче, Лермонтову надо было все-таки успеть стать «своим»...

Впрочем, кроме этих косвенных, у нас есть и прямые доказательства, что ситуация, изобретенная для героя романа, в какой-то мере повторяла ту, в которой оказался летом — осенью — зимой 1839-го и его автор.

Весной 1840 года, уже после дуэли с де Барантом, но до отъезда на Кавказ, Лермонтов написал два стихотворения, обращенные к двум женщинам, и они точнее, чем прозаические признания, свидетельствуют об его истинных чувствах.

Первое обращено к Марии Алексеевне Щербатовой.

Мне грустно, потому что я тебя люблю,  
И знаю: молодость цветущую твою  
Не пощадит молвы коварное гоненье.  
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье  
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.  
Мне грустно... потому что весело тебе.

Второе еще Висковатов связывал с именем В. А. Лопухиной, утверждая со слов очевидцев, что Лермонтов, которому было заказано встре-

чаться с любимой женщиной, видел ее дочь; в результате этой встречи и возникло стихотворение «Ребенку».

О грезех юности томим воспоминаньем,  
С отрадой тайною и тайным содрогаьем,  
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...  
О, если б знало ты, как я тебя люблю!  
Как милы мне твои улыбки молодые,  
И быстрые глаза, и кудри золотые,  
И звонкий голосок! — Не правда ль, говорят,  
Ты на нее похож?

Итак, Лермонтов поставлен перед выбором: «тихие радости» обыкновенного семейного счастья или верность романтическим грезам юности. Положение осложнялось еще и тем, что Машенька Щербатова-Штерич, в отличие от княжны Лиговской, набожна и проста («глупа», как язвила Смирнова-Россет), и вести с ней двойную светскую игру было никак невозможно. В этих условиях дуэль с де Барантом оказывалась идеальным выходом из затруднительного положения. Тем, что стрелялся из-за нее, Лермонтов подтверждал (в глазах светских знакомых) истинность своего чувства и как бы отводил от милой ему женщины «молвы коварное гоненье». Зато последовавшее за дуэлью наказание (и новый арест, и новая ссылка) избавляло от каких-либо решительных действий в подтверждение серьезности своих намерений. Но это оправдывало его лишь в глазах светского общества. Себя самого Лермонтов, очевидно, судил другим судом: «Или на вас тяготит преступление...»

Дело о дуэли закончилось лишь к 29 апреля: приказом по Отдельному гвардейскому корпусу Лермонтов переведен в Тенгинский пехотный полк тем же чином.

5 мая 1840 года «Северная пчела» напечатала извещение о выходе в свет отдельного издания «Героя нашего времени».

5 мая Карамзины устроили Лермонтову прощальный вечер.

«Северная пчела» несколько оживила грустный повод, по которому Софи Карамзина к вечным тартинкам и свежесваренному чаю прибавила нечто более солидное. Однако траура не было: ожидали худшего. Доказательство тому — письмо Верещагиной-старшей от 8 мая 1840 года; через три дня после отъезда Лермонтова она сообщает дочери — Верещагиной-Хюгель:

«Он (то есть Лермонтов. — А. М.) после суда, который много облегчили государь император и великий князь, отправился в армейский полк на Кавказ. Он не отчаивается и рад на Кавказ, и он не жалок ничего, а бабушка отправляется в деревню и будет ожидать там его возвращения, ежели будет».

Елизавета Алексеевна была верна себе: раз уж так по судьбе выходит, что им опять разлучаться, надо и из беды пользу извлечь: чем тут, в столице, деньги на ветер пускать, делами заняться пора. Еще в прошлом году собиралась, да Миша не пустил. Без нее Марию Египетскую освятили, в память дочери в старом саду поставленную. Да и неможется ей в городе этом волглom — для Миши беречь себя надо. Подождать бы весточки — в столицу почта быстрее доходит, — да весна ранняя: горит земля, хозяйских рук ждет.

10 июня 1840 года Лермонтов прибыл в Ставрополь и сразу же убедился: нельзя дважды войти в один поток. Смотр, произведенный три года назад государем императором войскам Отдельного кавказского корпуса, и то особое, со знанием местных обстоятельств, внимание, которое после южного вояжа Николай стал уделять кавказским делам, — преобразили захолустный Ставрополь. Он был буквально заполнен гвардейцами. Командированные петербуржцы, как и Лермонтов три года назад, приехали загодя, с запасом, и в ожидании очередной экспедиции развлекались, как могли. Лермонтову развлекаться не пришлось; на следующий же день он был зачислен в отряд генерала Галафеева, на левый фланг, и 17 июня выехал в крепость Грозную: ставропольское начальство, точнее, генерал Граббе на свою ответственность освободил Лермонтова от необходимости являться в Тенгинский пехотный полк.

Граф П. Х. Граббе, заменивший на посту командующего Линией и Черноморией умершего А. А. Вельяминова, не слишком себя обременял сомнениями в связи с теми моральными коллизиями, какие неизбежно возникали в «вечной войне», ибо совершенно искренне полагал: горцы — «дикие звери». Косвенно причастный к декабризму и даже когда-то слегка пострадавший за это, он каждый год наедине с самим собою отмечал Роковой день. Однако симпатии его были целиком на стороне тех, кого Граббе считал неопытными, обольщенными «несбыточными теориями»; лидеры декабризма в его глазах — злодеи, затеявшие смуту «для безотчетных и преступных видов». Но при этом граф был человеком безупречной личной и профессиональной честности, а кроме того — немного поэтом (для собственного удовольствия переводил античных авторов); его дневники свидетельствуют о несомненных, но не реализованных литературных данных, вначале, в юности, — по недостатку честолюбия, а позднее — «от старости».

К тому же П. Х. Граббе принадлежал к редкому среди крупных военных николаевской поры сорту людей, способных к самоанализу и к самооценке своих поступков. Вот характерное для него признание: «Нет человека, требующего от себя отчета за свою жизнь, который бы не закрывал иногда глаз и не чувствовал на лице краски».

Короче, новый командующий, которому опальный поэт предъявил документы, вполне мог поступить, согласуясь с буквой закона, — то есть отправить его в Тенгинский пехотный, как было назначено высочайшим приказом.

Граббе ослушался. Причина ослушания была довольно сложной по своему составу, но кое-какие из составляющих мы можем попробовать угадать. Граф недаром избрал своим девизом строчку из стихов Н. Языкова: «Да возвеличится Россия, да сгинут наши имена». Стоявший перед ним в ожидании решения судьбы молоденький поручик имел самое прямое отношение к величию России, как понимал его генерал, и он не мог позволить себе закрыть на это глаза...

В 1837 году, по инициативе Николая I, была основана Черноморская Береговая Линия — несколько укреплений от Анапы до Поти. По замыслу автора проекта, задача приморских гарнизонов заключалась в том, чтобы пресечь снабжение горцев морским путем (из Турции на Кавказ доставлялось английское оружие; Англия, опасаясь за свои восточные колонии, была сильно обеспокоена «русской экспансией на

восток»). Однако береговые укрепления, вместо того чтобы угрожать горцам, сами оказались в состоянии постоянной блокады. Даже из-за стен нельзя было показаться, не рискуя жизнью: все — от возделывания огородов до рытья могил — оплачивалось кровью. И если бы только кровью! Все усилия полковых медиков были бессильны перед здешней малярией. Дело порой доходило до того, что девять десятых числа солдат, как свидетельствует военный историк, лежали большими и некому было занимать караулы...

В одном из этих обреченных на истребление фортов летом 1839 года и умер Александр Одоевский — «милый Саша»...

Среди «настоящих кавказцев» Береговая Линия была крайне непопулярна. Даже соперничающие друг с другом Головин, (командир Отдельного кавказского корпуса) и Граббе в отношении «прибрежной Линии» были единомышленны, считая ее «шарлатанством». Она и была шарлатанством, и это доказала весна 1840-го. 7 февраля взят форт Лазаревский. В ночь с 28-го на 29-е — Вельяминовский, а 22 марта взлетело на воздух все, что осталось от укрепления Михайловского. Чудом уцелевшая к концу штурма горстка солдат, не желая сдаваться в плен, подожгла пороховой погреб...

Докладывая об этой катастрофе, Граббе писал Николаю I: «Если четыре роты пехоты, значительное число орудий... примерная храбрость и распорядительность начальников и самая упорная и мужественная защита не могли спасти укрепления, то ясно, что слабость Береговой Линии находится в самых основных началах ее устройства».

Чтобы осмелиться на подобный доклад, зная, что автор «основных начал устройства» — сам император, нужно было обладать и чувством собственного достоинства, и мужеством, и характером. Однако и Николай I нерешительностью не страдал; получив известие о падении форта Лазаревский, он приказал немедленно передвинуть на Кавказ 13-ю крымскую дивизию. Но Крым был далеко, а положение — угрожающим, и тогда на помощь береговым гарнизонам, по распоряжению опять же Николая I, срочно двинули резервные батальоны Тенгинского пехотного, того самого, куда решением государя был зачислен Лермонтов.

Известие о падении Михайловского пришло в Петербург 9 апреля 1840 года. 11 апреля государь потребовал срочного окончания военного дела о дуэли, а 13-го — изменил решение суда. Согласно определению генерал-аудитора, поручика Лермонтова надлежало выдержать под арестом на гауптвахте в течение 3 месяцев, а затем выписать в один из армейских полков тем же чином. Получив на высочайшее утверждение этот приговор, Николай сам выбрал полк — Тенгинский, а на обертке, в которой был представлен доклад, приписал: «Исполнить сегодня же».

Факт, казалось бы, настолько красноречивый, что даже комментарию к нему не требуются. Однако делать на этом основании из государя «злодея» было бы все-таки не историчным. Тенгинский пехотный считался самым исправным из кавказских полков, а воспитание посредством настоящей армейской службы — общепринятым средством от пагубного легкомыслия и неприличной в «государстве порядка» ветренности. Легендарный Ермолов, например, разгневавшись на одного из своих сыновей, отправил его на Кавказ, снабдив письмом к генералу Граббе, в котором просил определить блудного сына рядовым в Тенгин-

ский пехотный. И следующим образом комментировал свою просьбу: «Опасностей я за него не боюсь, и самая смерть излишне не огорчит меня».

Это во-первых. Во-вторых, выбирая для провинившегося гусара исправительный полк, Николай I и мысли не допускал, что операция, в которой эта воинская часть должна была стать основной силой, обречена на провал. Идея Береговой Линии принадлежала лично ему, Николаю, и в ней не могло быть изъяна. Падение форта Михайловский, сообщение о котором легло на рабочий стол императора почти одновременно с бумагами Лермонтова, он принял так, как и должен был принять подобный казус автор безупречно — стратегически и тактически — разработанного плана: силы горских народов оказались значительнее, чем предполагалось, следовательно, необходимо повысить численность русского экспедиционного отряда. И если господин Лермонтов настолько не дорожит жизнью, что позволил «французишке» запутать себя в дуэльную историю, так пусть уж лучше рискует в деле, которому суждено принести славу отечеству. Но то, чего не желал видеть император, прекрасно знал Граббе: положение в Черномории — катастрофично, и отправлять туда автора «этого изумительного „Героя нашего времени“» — было преступлением не только против совести. Усердный читатель Тацита и Тита Ливия, Граббе верил в возмездие, в карающую руку «Немезиды истории», в суд потомства. Сделав вид, что не понял смысла распоряжения императора, он поступил так, как поступил бы на его месте профессионально грамотный военачальник: отправил отличного кавалериста, гусара и драгуна на тот участок фронта, где была крайняя нужда в офицерах «коницы летучей».

Нет, Граббе вовсе не прятал поэта от опасностей: экспедиция Галафеева, несмотря на обилие командированных гвардейцев, не была игрой в солдатики и не могла ею быть. Положение в Дагестане и Малой Чечне было очень серьезным, Шамиль стянул в кулак силы всего Северного Кавказа. Но над Чеченским походом не тяготела роковая и бессмысленная обреченность, а главное, галафеевская экспедиция обещала успех, а значит, и надежду на представление к награде, за которым можно было бы ожидать и помилования.

Сбылась давняя мечта Лермонтова — принять непосредственное участие в настоящей войне. Ведь в задуманном им романе «из времен смертельного боя двух великих наций» война должна стать одним из главных объектов изображения. Чтобы изобразить «тревоги дикие войны» без ложного пафоса и романтических украшений, их надо увидеть собственными глазами, на своем опыте понять, что это такое — «упоение в бою», воспетое Пушкиным.

Решающее сражение произошло при реке Валерик 11 июля 1840 года. В нашем распоряжении имеются три описания этого боя.

Реконструкция историка, основанная на изучении журнала военных действий:

«...Поручик Лермонтов, во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик, имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря

ни на какие опасности, исполнял возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших ворвался в неприятельские завалы».

Письмо самого Лермонтова к Алексею Лопухину:

«У нас были каждый день дела, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часов сряду. Нас было всего 2000 пехоты, а их до 6 тысяч; и все время дрались штыками. У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на месте... вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела еще пахло кровью».

И наконец, «Валерик», написанный на следующий день после «жаркого дела». «Валерик», в переводе с чеченского, означает: «мертвый»; Лермонтов истолковывает метафору, заключенную в географическом «имени» горной реки, по-своему. Мертва не сама «речка смерти», а идея, во имя которой пролита кровь множества людей:

...и пошла резня.  
И два часа в струях потока  
Бой длился. Резались жестоко,  
Как звери, молча, с грудью грудь,  
Ручей телами запрудили.  
Хотел воды я зачерпнуть...  
(И зной и битва утомили  
Меня), но мутная волна  
Была тепла, была красна.

Герой «Бородина», старый воин, через двадцать пять лет после сражения гордится тем, что был участником боя, о котором «помнит вся Россия». Героя «Валерика» воспоминания о вчерашней схватке наводят на размышления о бессмысленности «вражды»:

Я думал: «Жалкий человек.  
Чего он хочет!.. небо ясно,  
Под небом места много всем,  
Но беспрестанно и напрасно  
Один враждует он — зачем?»

Не испытал участник «военного представления» и ожидаемого «упоения в бою». Самым сильным впечатлением, вынесенным из боя, оказалось лицо смерти, увиденное вблизи:

...и вы едва ли  
Вблизи когда-нибудь видали,  
Как умирают. Дай вам бог  
И не видеть...

Сражение при реке Валерик — не единственное «жаркое дело» в военной биографии Лермонтова.

Осенью 1840 года он был снова прикомандирован к кавалерийскому отряду, действующему в Малой Чечне, и в каждом из сражений обращал на себя внимание не только «пылким мужеством», но и «расторопностью и верностью взгляда».

10 октября Лермонтов принял на себя командование группой разведчиков-кавалеристов (по определению самого поэта, что-то «вроде партизанского отряда»).

Опытный офицер, «настоящий кавказец», К. Мамацев, вспоминает: «Невозможно было сделать выбора удачнее: всюду поручик Лермонтов, везде первый подвергался выстрелам... и во главе отряда оказывал самоотвержение выше всякой похвалы».



За участие в летней экспедиции Лермонтов был, как и рассчитывали его друзья, представлен к награде.

Генерал Галафеев после окончания военных действий подал рапорт, где к наградному списку прилагалась просьба: перевести Лермонтова в гвардию тем же чином.

В дополнение к галафеевскому рапорту, князь Голицын, командующий кавалерией, подал свой, в котором просил о награждении Лермонтова золотой саблей — «За храбрость».

Не дремала, разумеется, и Елизавета Алексеевна...

11 декабря 1840 года «государь император, по всеподданнейшей просьбе г-жи Арсеньевой, бабки поручика Тенгинского пехотного полка Лермонтова, высочайше повелеть соизволил: офицера сего, ежели он по службе усерден и в нравственности одобрителен, уволить к ней в отпуск в С.-Петербург сроком на два месяца».

Соизволение это — при упрощенной трактовке характера Николая I — выглядит нелогичным, тем более нелогичным, что Бенкендорф предлагал другой вариант: отпуск во внутренние губернии, и довод приводил вполне разумный. Бабка поэта находится в Тарханах, пензенском своем поместье, с какой стати для свидания с внуком ей в Петербург приезжать — по зимней дороге в такую даль пускаться?

А между тем и в этом поступке Николая была логика и притом — железная.

Обнадеженные относительным благодушием, с каким Николай отнесся, вопреки обыкновению, к дуэльной истории Лермонтова, друзья поэта — через «некое высокопоставленное лицо» (по всей вероятности, Жуковского) обратились с просьбой к императрице: переговорить с царем. Александра Федоровна, очарованная лермонтовской «Молитвой» (она ее даже в дневник свой переписала), сделала то, что было в ее возможностях: уговорила супруга внимательно прочитать «Героя нашего времени».

Николай обещал и, так как считал себя человеком слова, несмотря «на скуку и отвращение», осилил роман.

12 июня 1840 года. Николай I — жене:

«Я прочел героя до конца и нахожу вторую часть отвратительную, вполне достойную быть в моде. Это то же преувеличенное изображение презренных характеров, которые мы находим в нынешних иностранных романах. Такие романы портят нравы и портят характер. Потому что, хотя подобную вещь читаешь с досадой, все же она оставляет тягостное впечатление, ибо в конце концов привыкаешь думать, что свет состоит только из таких индивидуумов, у которых кажущиеся наилучшими поступки проистекают из отвратительных и ложных побуждений. Что должно явиться последствием? Презрение или ненависть к человечеству... Итак, я повторяю, что, по моему убеждению, это жалкая книга, показывающая большую испорченность автора».

Последние слова, которые Николай сказал наследнику, были: «Держи все-все», — и несмотря на приближение агонии, сопровождал их «жестом руки, настолько энергичным, что не оставалось сомнений: держать должно было крепко».

Наследник, как известно, уже не смог исполнить завет отца. Но сам Николай держал...

«Смерть Поэта» была истолкована как вольнодумство, но об испорченности автора речь не шла. Дуэль являлась преступлением, но преступлением типовым. Выход «жалкой» книги, которая тем не менее обладала — это император почувствовал точно — магнетической силой влияния, силой воздействия на умы и сердца, книги, которая мешала ему держать в энергичном кулаке все, что рвалось к жизни, все, что сопротивлялось бульдожьей хватке, был уже случаем отдельным, и этот отдельный случай требовал отдельного, исключительного внимания. Но вот что любопытно: несмотря на антипатию к роману в целом (из-за «отвратительной второй части», то есть «Журнала Печорина»), император заметил, что характер Максима Максимыча «набросан верно» и даже выразил надежду, что автор, «если прочистит себе голову в среде, где сумеет завершить характер своего героя», может сделать полезное дело: обратить общественное внимание на истинных героев времени — таких, как Максим Максимыч. Во время кавказского вояжа его величество убедился, что «кавказский корпус насчитывает их немало».

По всей вероятности, доброму Максиму Максимычу и обязана Елизавета Алексеевна нечаянной радостью — последним свиданием с внуком.

Но радость была недолгой. В феврале 1841 года бумаги представленных к награде за летнюю экспедицию вообще, и за сражение при реке Валерик особенно, дошли наконец до Петербурга. Николай был более чем удивлен: давая разрешение на отпуск поручику Тенгинского пехотного полка Лермонтову Михаилу Юрьевичу, он не знал, что тот не явился в назначенный ему полк, а своеволием Граббе употреблен в Чеченском отряде. Естественно, он выразил негодование — вычеркнул фамилию Лермонтова из списка награжденных...

5 февраля 1841 года Лермонтов прибыл в Петербург, не позволив себе даже привычной задержки в Москве — спешил, надеясь в лучшем случае на отставку, в худшем — на всемилостивейшее — к празднику св. Пасхи — помилование. Не только Елизавета Алексеевна, но и сам Лермонтов придал слишком серьезное значение соизволению на отпуск. Этим, видимо, и объясняется неосторожное, опрометчивое появление на балу у Воронцовых-Дашковых — уж очень не терпелось сразу же по приезде удостовериться, что его положение в обществе не изменилось за восемь месяцев отсутствия. Да и почему должно измениться? Ведь уезжал он триумфатором, оставляя на прилавках книжных лавок, на письменных столах друзей пахнущие типографской краской томики «Героя нашего времени». И приехал опять же, что называется, на шите: под объявление о вторичном издании романа, под разговоры о громкой и дерзкой статье Белинского о сборнике его стихотворений!

Реакция гостей — испуг, возмущение, негодование — была неожиданной. Лермонтов еще не знает, что вычеркнут из валерикского представления, а сиятельными лицам, получившим приглашение на бал с участием царских особ, уже известно: государь изволит гневаться — и на беспокойного поручика, и на потворствующих ему кавказцев. Представить сосланного за дуэль к золотой сабле? Экая бестактность. Золотая сабля за храбрость, резко выделившая имя Лермонтова в общем наградном списке, была не единственным психологическим просчетом умного Граббе.

Просматривая перед отправкой на высочайшее утверждение бумаги Лермонтова, граф Граббе обнаружил досадное зияние: по документам выходило, что опальный драгун практически все восемь месяцев первой своей ссылки пребывал, что называется, «в нетях». Небрежность была понятной: прежние «хозяева» Линии — А. Вельяминов и П. Петров, по коротким отношениям с бароном Розеном и его начштаба Вольховским, могли позволить себе договориться «на щет Лермонтова», не прибегая к формальностям. Приказ Вольховского о командировке поэта за Кубань, подписанный и составленный спустя два месяца после прибытия поэта на Кавказ, да отношение из ставропольского госпиталя в те добрые старые времена были достаточно вескими бумагами для оправдания дисциплинарного нарушения — неявки в полк (Лермонтов явился в Нижегородский драгунский уже после того, как был исключен из его списков).

Но времена переменились; в 1840 году, при Е. А. Головине, прилагать к представлению подобный документ было нелегко, и Граббе прибег к уловке. Не мудрствуя лукаво, полковой писарь переписал в новенький формуляр все те сражения, в которых участвовали прикомандированные к Анапе нижегородцы, а заодно и те, в которых они не участвовали. Выходило эффектно; 26 апреля перестрелка на реке Кунипсе, 29-го — близ Абинского укрепления, 10 мая — сильная перестрелка в Гулабайском лесу, 11-го — стычка в Боголокской долине, 12-го — близ Николаевского укрепления, 17-го — «на долине оного», 23-го — у перевала Вородубуй, 24-го — на речке Дуабе, 25-го — на речке Пшаде... А три недели спустя, то есть как раз в то время, когда Лермонтов, после месячного курса горячих вод и бесперывной ходьбы по «пересеченной местности», почувствовал облегчение от схваченного в странствиях вдоль Терека ревматизма, он, как утверждает формуляр, «участвует» в морской экспедиции капитана Серебрякова, цель которой — перехватить турецкие суда, снабжающие горцев английским оружием.

Евгений Александрович Головин, бегло просмотрев список, не обнаружил в нем ничего странного. Николай же, по свойственной ему пунктуальности, пунктуальности в мелочах, и перечень заслуг, и представление прочитал внимательно. Унизиться до подозрения, что перед ним — «липа», он себе, разумеется, не позволил, однако, не без остроумия заметил, что господин Лермонтов слишком много путешествует... Между тем кавказские упрямцы продолжали настаивать на своем. 5 марта 1841 года Е. А. Головин составил рапорт на высочайшее имя с просьбой наградить Лермонтова — на этот раз за осеннюю экспедицию в Малой Чечне (с 27 октября по 6 ноября 1840 года).

О новом нажиме со стороны командующего кавказским Отдельным корпусом Николаю было доложено в июне 1841 года. В его глазах это была уже не просто вольность (если не простительная, то понятная в условиях «вечной войны»), но открытое, демонстративное непослушание. Читателю, недостаточно отчетливо представляющему себе психологическую и бытовую атмосферу тех лет, подобная реакция может показаться болезненно маниакальной. Но это, увы, не так: ничего исключительного в поведении Николая нет и на этот раз. Нет даже пресловутого самодурства — лишь уважение к уставу и порядку. Чтобы не быть голословной, сошлюсь на малоизвестное письмо Пушкина (к Вяземско-

му, из Кишинева, в марте 1823 года): «Сделай милость, напиши мне обстоятельнее о тяжбе... с цензурою... Твое предложение собраться нам всем жаловаться на Бируковых может иметь худые последствия. На основании военного устава, если более двух офицеров в одно время подадут рапорт, таковой поступок приемлется за бунт. Не знаю, подвержены ли писатели военному суду, но общая жалоба с нашей стороны может навлечь на нас ужасные подозрения и причинить большие беспоконья... Соединиться тайно — но явно действовать в одиночку, кажется, вернее...»

За Лермонтова заступилось «более двух офицеров», и притом офицеров высшего ранга. Это был уже бунт, и государь император отреагировал на него в полном соответствии со своими принципами. 30 июня 1841 года генералу Головину (вместо ответа на вторичное представление Лермонтова к Святославу 3-й степени) отправлено следующее предписание:

«Его величество, заметив, что поручик Лермонтов при своем полку не находился, но был употреблен в Экспедиции с особо порученною ему казачьего командою, повелеть соизволил сообщить вам, милостивый государь, о подтверждении, дабы поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте, и чтобы начальство отнюдь не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку».

До исследований С. А. Андреева-Кривича биографы Лермонтова объясняли этот приказ лишь желанием Николая лишить опального поэта возможности отличиться и тем самым попасть под высочайшую амнистию. С. Андреев-Кривич впервые сопоставил настойчивость, с какой император требовал, чтобы автора «Смерти Поэта» ни под каким предлогом не смели удалять от службы в Тенгинском пехотном, с той ролью, какая, по распоряжению Николая, отводилась этому полку в так называемой «убыхской» экспедиции. Экспедиция, запланированная на август 1841 года, имела целью проникнуть, двигаясь со стороны моря, в «самое сердце враждебного края». На это наступление Николай возлагал большие надежды, но оно, увы, задохнулось прежде, чем экспедиционные войска подошли к укреплению Навагинское (согласно плану, отсюда должно было начаться продвижение вглубь). Из 2807 рядовых Тенгинского полка, составлявших костяк экспедиционного отряда, в строю осталось лишь 1064 человека. Остальные либо убиты, либо умерли от ран, либо находились в госпитале. Зная о печальной судьбе предприятия, очень легко забыть о маленькой подробности, а именно о том, что Николай, привязывая Лермонтова к «убыхской» экспедиции, и мысли не допускал о подобном финале. Вряд ли представлял он себе и реальные трудности похода. Это тенгинцы могли чувствовать себя гладиаторами, которых «равнодушный Цезарь» посылает на верную смерть. Равнодушным Цезарем Николай себя никак не считал. Идея создания «прибрежной Линии» принадлежала лично ему, и «убыхская» экспедиция должна доказать кавказским генералам, из которых все еще не выветрился мятежный ермоловский дух, что несмотря на «отдельные неудачи», основные начала этого устройства пересмотру не подлежат (это был уже вопрос амбиции). Нежелание Граббе использовать поручика Лермонтова по назначению, то есть на главном, по представлению императора, направлении, означало (в глазах узвнен-

ного в своих стратегических претензиях самодержца) еще один выпад против его любимого детища, еще один демарш со стороны строптивого Граббе, упрямо следующего постоянной своей мысли о бесполезности Береговой Линии...

Официально отпуск Лермонтова кончился 12 марта 1841 года, но он не мог уехать, не повидавшись с милой бабушкой; Арсеньева же из-за ранней распутицы никак не могла добраться до Петербурга.

Друзья стали хлопотать об «отсрочках» и, не остановившись перед первым отказом, взяли разрешение на продление почти что «штурмом». Но вот и бабушка приехала, а Лермонтов все откладывал и откладывал отъезд...

Еще в феврале, объясняя кавказскому приятелю Бибикову «тайну своего отпуска» (бабушка просила о прощении, а дали всего лишь отпуск — «для последнего благословения»), Михаил Юрьевич обмолвился загадочной фразой:

«Обществом... я был принят очень хорошо, и у меня началась новая драма, которой завязка очень замечательная, зато развязки, вероятно, не будет, ибо 9-го марта отсюда уезжаю заслуживать себе на Кавказе отставку».

За неимением данных, биографы поэта даже и не пытались объяснить ее. В. Мануйлов первый (в книге «Лермонтов в Петербурге») осмелился предположить, что «загадочные слова о завязке новой драмы относятся к сближению Лермонтова с графиней Ростопчиной». Но и он не развивает свою гипотезу, и по вполне понятной причине. Ни стихи Евдокии Петровны, посвященные поэту, ни ее позднейшие воспоминания (письмо к А. Дюма), равно как и свидетельства современников, не дают оснований для столь смелого утверждения, во всяком случае, если изучать имеющиеся в нашем распоряжении материалы по общепринятой методе, то есть читать только слова, не стараясь угадать, что они «утаивают», что скрывают под обманчиво спокойной «поверхностью».

Да, Евдокия Петровна и в стихах, и в прозе настойчиво и упорно подчеркивает, что ее чувство к Лермонтову не более чем приязнь («Но заняты радушно им сердца приязненных желанья»).

Вот разве что слишком уж настойчиво подчеркивает...

Стихи, из которых извлечена вышеприведенная цитата («На дорогу Михаилу Юрьевичу Лермонтову»), написаны 8 марта 1841 года. В том, что Ростопчиной совершенно точно известна дата предполагаемого отъезда, ничего удивительного нет. По ее собственному признанию, в течение всех трех месяцев, проведенных Лермонтовым в Петербурге, с февраля по апрель 1841 года, «они постоянно встречались и утром, и вечером».

При обычных — дружеских — отношениях, тем более если в них присутствует профессиональный взаимный интерес, естественным было вручить послание «адресату», не дожидаясь отъезда Михаила Юрьевича. Однако Ростопчина утаила подарок, хотя это явно не в ее натуре — нетерпеливой, порывистой, легкой. Чуткость сердца, занятого приязнью, боязнь разрушить разговорами о неизбежности дальней дороги «веселое расположение духа», «ни с того ни с сего» овладевшее поэтом, пере-

силило авторское тщеславие и авторское нетерпение услышать мнение профессионала о своем творчестве. Посвященные ему стихи Лермонтов получил лишь 27 марта; к этому времени Елизавета Алексеевна Арсеньева уже добралась до Петербурга и надежды на дальнейшие «отсрочки» отпали за отсутствием весомых аргументов. Вместе с тем с приездом милой бабушки появилось весьма серьезное препятствие уже ставшим необходимостью ежедневным встречам. Госпоже Арсеньевой, с ее ревнивым и властным нравом, не по душе столь долгие отлучки Мишеньки. В этой ситуации послание на дорогу, где одна строфа была целиком посвящена Арсеньевой («Но есть заступница родная с заслугою преклонных лет, она ему конец всех бед у неба вымолит, рыдая»), превращало стихи как бы в средство, которое могло бы нейтрализовать недовольство Елизаветы Алексеевны слишком частыми свиданиями с внучкой Пашковых и невесткой старого Ростопчина... Судя по всему, расчет Евдокии Петровны оказался верным: и после приезда «заступницы» Михаил Юрьевич проводил многие часы в обществе черноглазой Додо. Ежедневно — и утром, и вечером.

Впрочем, осторожность и необычная для «воронежской ласточки» сдержанность объяснялись и еще одним, весьма щекотливым, обстоятельством: завязка «новой драмы» происходила параллельно с развязкой не слишком веселого романа графини с Андреем Карамзиным и вдобавок на глазах его старшей сестры, бурно и самовластно претендующей на исключительное внимание Лермонтова. Судя по уже упомянутому письму к Дюма, даже в день отъезда поэта — 14 апреля 1841 года — Ростопчиной и Лермонтову не удалось остаться тет-а-тет:

«Мы ужинали втроем, за маленьким столом, он и еще один друг, который погиб насильственной смертью в последнюю войну» (А. Н. Карамзин).

И все-таки Додо, с чисто женской ловкостью, нашла способ проститься с Лермонтовым — без свидетелей. Воспользовавшись суматохой, возникшей в самый момент отъезда, — «одна из последних пожала ему руку». В это краткое мгновение уединения в толпе Михаил Юрьевич успел отдать поэтессе загадка заготовленный, ответный — стихи за стихи — дар: альбом со стихотворением «Я верю, под одной звездой мы с вами были рождены», а Евдокия Петровна — шепнуть, выдохнуть коротенькую, в одно дыхание французскую фразу: „Je vous attends" («Я вас жду»).

Первое — факт, второе — всего лишь гипотеза, но если отказаться от нее, совершенно необъясним и еще один «загадочный» поступок Лермонтова — его последнее, от 10 мая 1841 года, письмо к Карамзиной, в которое поэт искусно вмонтировал французское стихотворение „L'attente" («Ожидание»).

В русском прозаическом переводе оно звучит так: «Я жду ее в темной долине. Вдали, вижу, белеет призрак, который приближается. Но нет! Обманчива надежда! То старая ива качает свой сухой и блестящий ствол. Я наклоняюсь и долго прислушиваюсь: мне кажется, что я слышу звук легких шагов по дороге. Нет, не то! Это шелестит лист во мху, колеблемый душистым ветром ночи. Полный горькой тоски, я ложусь в густую траву и засыпаю глубоким сном. Вдруг я вздрагиваю и просыпаюсь: ее голос шептал мне на ухо, ее уста целовали мой лоб».

Текст этот справедливо вызывает недоумение комментаторов: к

Софье Карамзиной («Пьеро в вечно стоптанных башмаках») он явно не имеет никакого отношения, а для того, чтобы убедить «русскую Рекамье», что он не бездельничал в дороге, у Лермонтова есть другие, куда более значительные, в литературном плане, стихи: «Утес», «Спор», «Сон»; все они записаны в книжке, которую Владимир Одоевский — со значением — подарил ему в день отъезда из Петербурга. Но недоумение исчезает, если предположить, что стихи обращены к Ростопчиной, тем более что к ним приложен зашифрованный комментарий; «Я хотел написать еще кой-кому в Петербурге, в том числе и госпоже Смирновой, но не знаю, будет ли ей приятен этот дерзкий поступок». Карамзиной Лермонтов написал — сразу же по приезде в Ставрополь, не дав себе даже отдохнуть после утомительной дороги. Смирновой хотел написать... Следовательно, остался еще кое-кто, *не названный*... Вместо письма отправил стихи, смысл которых понятен лишь двоим. Для открытого, легального письма к Евдокии Петровне нужен был лояльный предлог. Таким предлогом мог бы стать разговор о сборнике ее стихотворений. Но Евдокия Петровна получила сигнальный экземпляр лишь через несколько дней после отъезда Михаила Юрьевича. Зная, что Лермонтов собирался задержаться в Москве, но не зная его точного адреса, она бросилась к Елизавете Алексеевне с просьбой — передать стихи с оказией.

Елизавета Алексеевна, обычно такая точная во всем, что касалось Мишеньки, комиссию не исполнила: то ли оказия не подвернулась, то ли не смогла побороть ревнивого чувства. Постоянно находясь в страхе, что «Мишу женят», она с подозрением относилась к «девицам на выданье», однако и потрафлять непонятым отношениям внука с замужней женщиной, матерью маленьких детей, тоже не собиралась — это было не в ее правилах. Однако о том, что слишком нарядная и чересчур разговорчивая жена графа Андрея Федоровича завезла собственное сочинение, сообщила. Узнав об этом (по приезде в Пятигорск Лермонтов получил сразу три письма от бабушки), он, не без раздражения, пишет:

«Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда в Пятигорск». Далее следует еще два поручения: купить и прислать полное собрание Жуковского и полного Шекспира — «по-англински». В ряду: Шекспир, Жуковский — желание как можно скорее заполучить сборник Ростопчиной свидетельствует, что Лермонтов интересуется им отнюдь не по соображениям эстетического порядка.

«Белеющий призрак...». «Легкие шаги...». Уста, целующие (по-сестрински? по-матерински?) в лоб... Все это так точно соответствует неопределенным (когда любой зигзаг судьбы равно возможен!) отношениям между Ростопчиной и Лермонтовым, а главное, облику Евдокии Петровны! Легкость, воздушность Додо Лермонтов подметил еще в посвященном ей новогоднем мадригале 1831 года: «Как над пучиною мятежной свободный парус челнока, ты беззаботна и легка».

Больше того, если сопоставить стихи из подаренного при прощании альбома, где, помимо осторожного объяснения причины своего сдержан-

но-осторожного поведения во время отпуска («Предвидя вечную разлуку, боюсь я сердцу волю дать»), есть еще и метафорический образ их «неразгаданного союза», со стихотворением «Утес» (оно также написано по дороге на Кавказ, после трех месяцев счастливого отпуска), — видно, что и эта вещь продолжает «ростопчинскую тему» — тему несостоявшейся любви:

Так две волны несутся дружно  
Случайной, вольною четой  
В пустыне моря голубой:  
Их гонит вместе ветер южный;  
Но их разрознит где-нибудь  
Утеса каменная грудь...  
(«Графине Ростопчиной»)

Ночевала тучка золотая  
На груди утеса-великана;  
Утром в путь она умчалась рано.  
По лазури весело играя...  
(«Утес»)

С мыслями о Ростопчиной, с непосредственными впечатлениями от тех месяцев, которые он провел в обществе юных жен, посещавших салон Карамзиных, связано, по всей вероятности, и самое таинственное из произведений Лермонтова — знаменитый «Сон» («В полдневный жар, в долине Дагестана...»).

Графиня Ростопчина увлекалась проблемой сверхчувственного; впрочем, не она одна, мистика входила в моду — наступало время «русских ночей», и Владимир Одоевский, обеспокоенный хаотическим смещением в умах, идеях, чувствах, решил вынести устные споры с Додо о природе таинственного на публику: стал печатать в «Отечественных записках» под псевдонимом, конечно, — «Письма к графине Е.П.Р.», где старался объяснить в занимательной форме, что «подкладка и причина» якобы непознаваемого — «ряд естественных явлений, донныне не вполне исследованных», что таинственными делает обыкновенные предметы наш дух, «в нравственном волнении ожидающий чего-то сверхъестественного».

Но графине Ростопчиной нравилось находиться именно в этом, так точно обозначенном Одоевским состоянии духа — среди предсказаний, предчувствий, магнетических снов. Магнетическое она умела находить всюду — даже в цепи поэтических некрологов: А. Одоевского — на смерть Грибоедова, Лермонтова — на смерть А. Одоевского, своего — на смерть Лермонтова... Убийца Пушкина, Дантес, и убийца Лермонтова, Мартынов, — служили в одном и том же полку — в Кавалергардском, это тоже кажется Ростопчиной не простой случайностью, а магнетическим сцеплением...

Тон в салоне Карамзиных задавала Софья Николаевна — особа резкая и решительная; перед ее безапелляционностью отступала даже умножительная, но чересчур уж «самовоспитанная» Смирнова-Россет. Разумеется, это — только манера, ибо единственной женщиной, чье превосходство красивая умница открыто признавала, — была Ростопчина.



«Додо, — настойчиво внушала она Евдокии Петровне, вынужденной по прихоти мужа „похоронить себя в деревне“, — ты должна воспользоваться этими двумя годами, потерянными для общества, но которые не должны быть потеряны для женщины-поэта, женщины замечательной и иначе созданной, чем мы, заурядная жизнь которых начинается на балу и кончается за ломберным столиком».

В этом признании есть, наверное, нечто от самоуничужения, того, что паче гордости, но и истина есть: при всем своем тонком и ядовитом уме, «черноокая Россета» была существом антипоэтическим и в глубине души полагала, что «порядок всего поэтичнее на свете»...

Словом, «среди юных жен», присутствовавших на интеллектуальных «пирах» в красной карамзинской гостиной и ведущих, стараясь попасть в тон, заданный хозяйкой, веселые разговоры о Лермонтове, Евдокия Петровна была единственной, кому мог присниться магнетический сон наяву...

Растягивая, как всегда, сроки дорожных «отпусков», Лермонтов не спешил и оказался в Ставрополе только к 9 мая. К этому времени о тайных и явных намерениях Николая Павлу Граббе, естественно, еще ничего не было известно, и он поступил точно так же, как и год назад: направил Лермонтова не в Тенгинский пехотный, а в экспедиционный отряд, в Темир-Хан-Шуру — «заслуживать отставку». И сам Лермонтов, и покровительствующий ему Граббе все еще уверены, что монаршее несоизволение можно нейтрализовать военной доблестью и заслугами перед отечеством. Единственной предосторожностью была незамедлительность, с какой оформлялась подорожная — от города Ставрополя до крепости Темир-Хан-Шура. 10 мая Лермонтов уже покинул Ставрополь. Здесь было слишком много любопытных и праздных, и Граббе поторопился «спрятать» от них опального поэта...

Однако в Темир-Хан-Шуру Лермонтов не поехал. Проливной дождь задержал их (поэт ехал вместе с Алексеем Столыпным-Монго) в крепости Георгиевская. Здесь с ними и столкнулся некий Петр Магденко, 24-летний офицер; Магденко путешествовал по казенной надобности, а впечатления свои записывал. Из его записок мы и узнали о том, что произошло в Георгиевской 12 мая 1841 года.

«Я только что принялся пить чай, — вспоминает Магденко, — как в комнату вошли Лермонтов и Столыпин. Они поздоровались со мною, как со старым знакомым, и приняли приглашение выпить чаю. Вошедший смотритель, на приказание Лермонтова запрягать лошадей, отвечал предостережением в опасности ночного пути. Лермонтов ответил, что он старый кавказец, бывал в экспедициях и его не запугаешь. Решение продолжать путь не изменилось и от смотрительского рассказа, что позавчера в семи верстах от крепости зарезан был черкесами проезжий унтер-офицер. Я, с своей стороны, тоже стал уговаривать лучше подождать завтрашнего дня, утверждая что-то вроде того, что лучше же приберечь храбрость на время

какой-либо экспедиции, чем рисковать жизнью в борьбе с ночными разбойниками. К тому же разразился страшный дождь, и он-то, кажется, сильнее доводов наших подействовал на Лермонтова, который решил-таки заночевать. Принесли что у кого было съестного, явилось на стол кахетинское вино, и мы разговорились. Они расспрашивали меня о цели моей поездки, объяснили, что сами едут в отряд за Лабу, чтобы участвовать в „экспедициях против горцев". Я утверждал, что не понимаю их влечения к трудностям боевой жизни, и противопоставлял ей удовольствия, которые ожидаю от кратковременного пребывания в Пятигорске, в хорошей квартире, с удобствами жизни и разными затеями, которые им в отряде, конечно, доступны не будут... На другое утро Лермонтов, входя в комнату, в которой я со Столыпиным сидели уже за самоваром, обратясь к последнему, сказал: „Послушай, Столыпин, а ведь теперь в Пятигорске хорошо, там Верзилины (он назвал еще несколько имен); поедем в Пятигорск". Столыпин отвечал, что это невозможно. „Почему? — быстро спросил Лермонтов. — Там комендант старый Ильяшенков, и являться к нему нечего, ничто нам не мешает. Решайся, Столыпин, едем в Пятигорск". С этими словами Лермонтов вышел из комнаты. На дворе лил проливной дождь. Надо заметить, что Пятигорск стоял от Георгиевского на расстоянии 40 верст, по-тогдашнему — один перегон. Из Георгиевского мне приходилось ехать в одну сторону, им — в другую.

Столыпин сидел задумавшись. „Ну что, — спросил я его, — решаетесь, капитан?" — „Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск, ведь мне поручено везти его в отряд. В он, — говорил он, указывая на стол, — наша подорожная, а там инструкция — посмотрите". Я поглядел на подорожную, которая лежала раскрытою, а развернуть сложенную инструкцию посовестился и, признаться, очень о том сожалею.

Дверь отворилась, быстро вошел Лермонтов, сел к столу и, обратясь к Столыпину, произнес повелительным тоном: „Столыпин, едем в Пятигорск! — С этими словами вынул он из кармана кошелек с деньгами, взял из него монету и сказал: — Вот, послушай, бросаю полтинник, если упадет кверху орлом — едем в отряд; если решеткой — едем в Пятигорск. Согласен?"

Столыпин молча кивнул головой. Полтинник был брошен и к нашим ногам упал решеткою вверх. Лермонтов вскочил и радостно закричал: „В Пятигорск, в Пятигорск! позвать людей, нам уже запрягли!" Лошади были поданы. Я пригласил спутников в свою коляску. Лермонтов и я сидели на задней скамье, Столыпин на передней. Нас обдавало целым потоком дождя. Лермонтову хотелось закурить трубку, — оно оказалось немислимым. Дорогой Столыпин и я молчали, Лермонтов говорил почти без умолку и все время был в каком-то возбужденном состоянии... Говорил Лермонтов и о вопросах, касавшихся общего положения дел в России. Об одном высокопоставленном лице я услышал от него тогда в первый раз в жизни моей такое жестокое мнение, что оно и теперь еще кажется мне преувеличенным.

Промокшие до костей, приехали мы в Пятигорск и вместе остановились на бульваре в гостинице... Минут через 20 в мой номер явились

Столыпин и Лермонтов, уже переодетыми... Потирая руки от удовольствия, Лермонтов сказал Столыпину: „Ведь и Мартышка, Мартышка здесь. Я сказал Найтаки, чтобы послали за ним". Именем этим Лермонтов приятельски называл старинного своего хорошего знакомого, а потом скоро противника, которому рок судил убить надежу русскую на поединке».

...Пожалуй, это единственный в мемуарной литературе о Лермонтове эпизод, где фатализм в характере поэта проявился с почти романтической выразительностью. Рассказ Магденко совершенно безыскусен, но тем виднее, что вопрос, который в «Фаталисте» задает Вулич, — «может ли человек своевольно располагать своею жизнью, или каждому из нас заранее назначена роковая минута», — сильно занимал автора новеллы, и отнюдь не только в абстрактно-философском плане. Разумеется, фаталистом в буквальном смысле этого понятия Лермонтов не был. «Кто знает наверняка, — рассуждает, анализируя случившееся (в «Фаталисте») Печорин, и Лермонтов, в данном случае, целиком на его стороне, — убежден ли он в чем или нет?.. и как часто мы принимаем за убеждение обман чувств или промах рассудка!.. Я люблю сомневаться во всем: это расположение ума не мешает решительности характера — напротив, что до меня касается, то я всегда смелее иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает...»

Что ожидало его в Темир-Хан-Шуре, поэт, по опыту прошлогоднего военного «сезона», из которого вынес все, что можно было вынести, знал наизусть. «Вариант» с Пятигорском обещал некую неожиданность, и Лермонтов, сославшись на решение судьбы (орел или решетка), предпочел его. И все-таки странный этот поступок — из всех лермонтовских алогизмов, из всех непонятных, «навыворот», и себе во вред «решений» — кажется самым неразумным. Особенно «задним числом», когда невольно начинаешь анализировать отброшенный вариант и представлять себе, как могла сложиться судьба Лермонтова, поверни он в ту роковую минуту не на Пятигорск, а на Темир-Хан-Шуру... А вдруг именно так, как предполагалось в его последнем (из дошедших до нас) письме к Софье Карамзиной: «Пожелайте мне: счастья и легкого ранения, это самое лучшее, что можно мне пожелать»? К тому же мы никак не можем забыть о том, что, не явившись в Темир-Хан-Шуру, Лермонтов серьезно подводил не только себя, но и Столыпина, а главное, ставил под удар так много сделавших для него кавказских друзей. Даже терпеливый Граббе рассердился. Выждав почти месяц, он приказал своему начштаба полковнику Траскину напомнить пятигорскому коменданту, добряку Ильяшенкову, что «потерявшегося» в дороге и пребывающего в «нетях» поручика лучше бы отправить по назначению. И как можно скорее.

Но Лермонтов и тут нашел выход, и даже вполне «приличный». (Это, кстати, и наводит на мысль, что под проливным дождем в Георгиевском решали не столько «чувства», сколько «рассудок».)

Получив в пятигорском военном госпитале свидетельство о том, что «одержим золотухою и цынготным худосочием» (и то и другое было правдой), он приложил его к рапорту о болезни. Ильяшенков,

как и предполагалось заранее, прошение уважил. Граббе смягчился, и командиру Тенгинского полка на очередной запрос о местонахождении вечно отсутствующего офицера было отвечено, что начштаба, то есть полковник Траскин, разрешил поручику Лермонтову остаться в Пятигорске «впредь до получения облегчения».

Словом, все опять выходило по его, Лермонтова, хотению: вместо того, чтобы дожидаться обещанного штурма (речь шла о штурме знаменитого аула Черкей) в скучной Темир-Хан-Шуре, где будет (а Лермонтов это уже знал по прошлому году) не до «демона поэзии», который, как он признается в уже упомянутом письме к Карамзиной, «овладел им во время путешествия», поэт получал в свое полное распоряжение целое пятигорское лето...

Лето оборвалось ровно на середине, но два месяца он все-таки «выгадал». За эти два месяца в записной книжке Владимира Одоевского, к написанным в дороге «Утесу», «Спору», «Сну», «Они любили друг друга», прибавилось еще 6 шедевров: «Тамара», «Свиданье», «Дубовый листок», «Выхожу один я на дорогу», «Морская царевна» и «Пророк»...

И все-таки расчетом — даже в пользу «демона поэзии» — по всей вероятности, не исчерпывалась сложность ситуации (я имею в виду комплекс внутренних побуждений, мотивов, состояний). Даже такой неосведомленный наблюдатель, как Магденко, обратил внимание на «крайнее возбуждение» Лермонтова. То, что Лермонтову изменяет присущая ему железная выдержка, заметил при его последнем проезде через Москву и Юрий Самарин.

В этом состоянии — трезвого, холодноватого расчета, когда все средства хороши, лишь бы помогли достижению цели, и «крайнего нервного возбуждения», мешавшего действовать в точном соответствии с «планом», — Лермонтов и прожил оставшиеся ему дни...

Девять лет назад, сообщая Лопухиным о поступлении в юнкерскую школу, Лермонтов сформулировал «план своей жизни»:

«До сих пор я жил для литературной карьеры, столько жертв принес своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я — воин».

И вот он снова желает дать «новое направление жизни». Ни дикие тревоги войны, ни соблазн дальних странствий больше не привлекают его. Испытав себя тем и другим, Лермонтов как бы возвращается, сделав круг длиною почти в десять лет, к тому состоянию, когда он жил лишь «для литературной карьеры».

Еще год назад он не хотел даже думать о будущем. Ему достаточно было настоящего — жизни, исполненной внешней, физической деятельности:

Мой крест несу я без роптанья:  
То или другое наказанье?  
Не все ль одно. Я жизнь постиг;  
Судьбе, как турок или татарин,  
За все я ровно благодарен;  
У бога счастья не прошу  
И молча зло переносу.  
Быть может, небеса Востока  
Меня с ученьем их пророка  
Неволью сблизили. Притом  
И жизнь всечасно кочевая,

Труды, заботы ночь и днем,  
Все, размышлению мешая,  
Приводит в первобытный вид  
Больную душу: сердце спит,  
Простора нет воображенью...  
И нет работы голове...  
Зато лежишь в густой траве  
И дремлешь под широкой тенью  
Чинар или виноградных лоз...

Еще год назад Лермонтов был доволен, что стал как все. Он даже гордился тем, что и солдаты его «отчаянной команды», и офицеры в экспедиции видят в нем лишь боевого товарища, надежного и терпеливого в лишениях.

Теперь ему захотелось будущего. И сразу же стала тяготить вроде бы и вполне достойная, но совсем не подходящая ему роль — роль храброго армейского офицера. Вдруг стало неудобно и тесно в кочевой жизни: сердце возжаждало бодрствования, воображение — простора, а ум — работы, работы, работы. Теснота сделалась невыносимой, и «демон нетерпения», этот вечный спутник «демона поэзии», снова овладел им. Он весь был в предвкушении полета, он был готов к нему, и если бы не «промах рассудка», помноженный на «обман чувств»...

Счастливые месяцы, проведенные в Петербурге, под охраной женской «приязни», среди искренних друзей, избаловали Лермонтова. Он словно бы позабыл об опасности, утратил всякую осторожность. Всем уже ясно, что его положение серьезно, а он не хочет этому верить. Даже бабушке — не верит. Она сообщает, что ее хлопоты о помиловании не увенчались успехом, Лермонтову кажется, что это недоразумение...

Ему бы поступить так, как предполагалось в гневном прощании с Россией — скрыться за стеной Темир-Хан-Шуры — от «всевидающего глаза» и от «всеслышащих ушей» своих тайных и явных врагов! А он, бросая им всем вызов, явился в Пятигорск, в этот курортный филиал Невского проспекта! И мало того, что явился, ведет себя так, словно не знает, на что способны «зависть тайная» и «злоба открытая»...

Эмилия Шан-Гирей, урожденная Верзилина, в доме которой произошло столкновение между Лермонтовым и Мартыновым, вспоминает:

«...Собралось к нам несколько девиц и мужчин... М<ихаил> Ю<рьевич> дал слово не сердить меня больше, и мы, провальсировав, уселись мирно разговаривать. К нам присоединился Л. С. Пушкин... и принялись они вдвоем острить свой язык а qui tieux (наперебой)... Ничего злого особенно не говорили, но смешного много; но вот увидели Мартынова, разговаривающего очень любезно с младшей сестрой моей Надеждой, стоя у рояля, на котором играл князь Трубецкой. Не выдержал Лермонтов и начал острить на его счет, называя его... „montagnard au grand poignard" („горцем с большим кинжалом")... Надо же было так случиться, что, когда Трубецкой ударил последний аккорд, слово „poignard" („кинжал") разнеслось по всей зале. Мартынов побледнел, закусил губы, глаза его сверкнули гневом; он подошел к нам и голосом... сдержанным сказал Лермонтову:

„Сколько раз просил я вас оставить свои шутки при дамах“, — и так быстро отвернулся и отошел прочь, что не дал и опомниться Лермонтову, а на мое замечание: „Язык мой враг мой“, — Михаил Юрьевич отвечал спокойно: „Ce n'est rien; demain nous serons bons amis“ („Это ничего, завтра мы будем добрыми друзьями“). Танцы продолжались, и я думала, что тем кончилась вся ссора. На другой день Лермонтов и Столыпин должны были ехать в Железноводск. После уж рассказывали мне, что когда выходили от нас, то в передней же Мартынов повторил свою фразу, на что Лермонтов спросил: „Что ж, на дуэль что ли вызовешь меня за это?“ Мартынов ответил решительно: „Да“, — и тут же назначили день».

Чтобы стали понятными и меткость лермонтовской насмешки, и резкость реакции Мартынова, необходимо добавить к рассказу Верзилиной-Шан-Гирей некоторые подробности.

В феврале 1841 года майор Гребенского казачьего полка Николай Мартынов вынужден был выйти в отставку. По уставу отставным офицерам дозволялось носить мундир бывшего полка. Однако Мартынову форма Гребенского казачьего не нравилась. Проста слишком, и он, пользуясь свободой кавказских нравов, сочинил себе туалет в неопределенно горском стиле. В Пятигорске это называлось «истый денди». Неотъемлемой принадлежностью дендизма по-пятигорски были бритая голова, необъятной величины кинжал и, разумеется, черкеска.

Рукава своей черкески, как вспоминают очевидцы, Мартынов всегда засучивал — для придания фигуре особого молодечества. Истый дендизм требовал внимания к мелочам. И Мартынов изощрялся в дополнениях, чем, естественно, вызывал насмешки товарищей — боевых офицеров.

Подробности смертной дуэли Лермонтова до сих пор остаются неясными. Не углубляясь в этот специальный и крайне запутанный вопрос, приведу самую архаическую из реконструкций. Ее автор, А. Я Булгаков, путем сопоставления и сравнения перлюстрированных писем с места происшествия, составил такую картину:

«...Когда явились на место, где надобно было драться, Лермонтов, взяв пистолет в руки, повторил торжественно Мартынову, что ему не приходило никогда в голову его обидеть, даже огорчить, что все это была одна шутка, а что ежели Мартынова это обижает, он готов просить у него прощения... везде, где он захочет!.. „Стреляй! Стреляй!“ — был ответ исступленного Мартынова. Надлежало начинать Лермонтову, он выстрелил в воздух, желая кончить глупую эту ссору дружелюбно. Не так великодушно думал Мартынов. Он был довольно бесчеловечен и злобен, чтобы подойти к самому противнику своему и выстрелить ему прямо в сердце. Удар был так силен и верен, что смерть была столь же скоропостижной, как выстрел. Несчастный Лермонтов испустил дух! Удивительно, что секунданты допустили Мартынова совершить этот зверский поступок. Он поступил противу всех правил чести и благородства, и справедливости. Ежели бы он хотел, чтобы дуэль совершилась, ему следовало сказать Лермонтову: „Извольте зарядить опять ваш пистолет. Я вам советую хорошенько в меня целиться, ибо я буду стараться

вас убить". Так поступил бы благородный, храбрый офицер. Мартынов поступил как убийца».

Поведение секундантов недаром вызывает недоумение даже у Булгакова. В их оправдание, точнее, для понимания происшедшего надо учесть, во-первых, то, что никто из них, видимо, не предполагал в Мартынове неуправляемого ожесточения. Да, «Мартышку» еще в училище прозвали «homme féroce» («кровожадный человек»), но скорее в шутку, чем всерьез. Во-вторых, неожиданно налетела гроза, и притом почти апокалиптическая, ее приближение невольно рассеивало, раздвигало внимание, тем более что кони, привязанные неподалеку, начали рваться и тоже «отвлекали»... И это, кстати, одна из самых главных причин того, что все четверо секундантов: и С. Трубецкой, и А. Васильчиков, и А. Столыпин, и М. Глебов — расходятся в описании обстоятельств поединка; каждый увидел свое, в зависимости от степени сосредоточенности внимания... Разумеется, на это первичное расхождение — и во время следствия, и потом — наложились намеренные затемнения истины, но это уже особый, отдельный сюжет, непосредственно к Лермонтову отношения не имеющий...

Убедившись, что Михаил Юрьевич мертв и, следовательно, врач не нужен, Столыпин, Трубецкой и Васильчиков ускакали в город, оставив у тела Глебова: необходимо было раздобыть повозку, чтобы перевезти убитого.

«Глебов, — утверждает Верзилина-Шан-Гирей, — рассказывал мне, какие мучительные часы провел он... один в лесу, сидя на траве под проливным дождем. Голова убитого поэта покоилась у него на коленях. Темно, кони привязанные ржут, рвутся, бьют копытами о землю, молния и гром непрерывно; необъяснимо страшно стало! И Глебов хотел осторожно опустить голову на шинель, но при этом движении Лермонтов судорожно зевнул. Глебов остался недвижим...»

Тело поэта было привезено в Пятигорск в 11 часов вечера.

17 июля произведен «медицинский осмотр» и доставлено надлежащее свидетельство:

«Пистолетная пуля, попав в правый бок ниже последнего ребра, при срастении ребра с хрящом, пробила правое и левое легкое, поднимаясь вверх, вышла между пятым и шестым ребром левой стороны и при выходе прорезала мягкие части левого плеча; от которой раны поручик Лермонтов мгновенно на месте поединка помер».

Восстановив, по рассказам свидетелей, обстоятельства дуэли и положение «поединщиков», биографы Лермонтова пришли к заключению, что выстрел Мартынова не мог нанести ранение, описанное в медицинском свидетельстве.

В связи с этим возникла анекдотическая версия, будто Лермонтова убил некто, спрятавшийся в придорожных кустах. Кустарник был выше уровня дороги, на которой происходил поединок.

Куда более убедительной выглядит гипотеза С. Недумова, долгие годы бывшего директором лермонтовского музея в Пятигорске.

Ссора в доме Верзилиных произошла 13 июля. На следующий день Лермонтов, как и собирался, уехал в Железноводск. Здесь,

утром 15-го, его и разыскала веселая компания пятигорской молодежи, среди которой была и дальняя родственница поэта Катенька Быховец. Разнообразия ради молодые люди решили пообедать в шотландской колонии Каррас. До обеда было еще далеко, и, чтобы скоротать время, отправились в парк.

«Как приехали на Железные, — рассказывает Быховец, прозванная креолкой (*belle noire*) за смуглый цвет лица и черные глаза, — ...все там гуляли. Я все с ним (то есть с Лермонтовым. — А. М.) ходила под руку. На мне было бандо. Уж не знаю, какими судьбами коса моя распустилась и бандо свалилось, которое он взял и спрятал в карман».

Истинность эпизода подтверждают, во-первых, воспоминания Э. Шан-Гирей («*M-elle* Быховец носила на голове золотой ободок, называвшийся по тогдашней моде *bandeau*... М. Ю. выпросил у *m-elle* Быховец ободок и, положив его в боковой карман сюртука, обещал доставить его на другой день»), а во-вторых, свидетельство Н. П. Раевского, присутствовавшего при обряде «положения во гроб»: «И фероньерка *belle noire* в правом кармане нашлась вся в крови».

На основании этих данных С. Недумов и высказал предположение, что золотой ободок Быховец сыграл роковую роль в ранении поэта. По его гипотезе, «пуля, встретив на своем пути фероньерку, резко рикошетировала вверх и, как видно из акта осмотра тела, пробила оба легких».

...Внезапная смерть Лермонтова, смерть в зените славы, и где — на дуэли, от руки человека, который считался его близким другом, к тому же дуэли нелепой, возникшей по какому-то вздорному поводу, — породила множество толков и кривотолков. Одним виделся заговор, другим — самоубийство; в трагическую случайность трудно, невозможно было поверить.

К числу тех, кто придерживался «политической версии», принадлежал, например, Петр Андреевич Вяземский. В его записной книжке сохранилась интригующая заметка: «По случаю дуэли Лермонтова кн. Александр Николаевич Голицын рассказал мне, что при Екатерине была дуэль между кн. Голицыным и Шепелевым. Голицын был убит, и не совсем правильно, по крайней мере, так в городе говорили и обвиняли Шепелева. Говорили также, что Потемкин не любил Голицына и принимал какое-то участие в этом поединке». В том, что в поединке Лермонтова с Мартыновым какое-то участие принимал кто-то из людей «высшего круга», имевших основание не любить Лермонтова, был уверен и Висковатов. Не ссылаясь на источники, поскольку этими источниками для первого биографа Лермонтова служили рассказы очевидцев, он тем не менее утверждает более чем уверенно: «Некоторые из влиятельных личностей из приезжающего в Пятигорск общества, желая наказать несносного выскочку и задиру, ожидали случая, когда кто-нибудь, выведенный им из терпения, прочит ядовитую гадину». То, что Висковатов не «натягивает», увлеченный предметом своего исследования, подтверждает, например, повесть Соллогуба «Большой свет». Она была напечатана в 3-й книжке «Отечественных записок» за 1840 год, поступив-



шей к подписчикам как раз во время судебного разбирательства дела о дуэли Лермонтова с де Барантом. Ее автор считал себя хорошим приятелем, почти другом Лермонтова. Одним из первых он стал сохранять его автографы. Современники действительно узнавали в герое «Большого света», офицере Леонине, Лермонтова, но, видимо, не без помощи авторских комментариев, ибо ничего общего с Лермонтовым — даже таким, каким он предстает в самых пристрастных и близоруких мемуарах, — у маленького жалкого Леонина не было. Соллогуб, в своем аристократическом высокомерии, забыл даже наделить его поэтическим даром... «Извините меня, — открывает глаза бабушке Леонина его приятель-аристократ, — я буду говорить языком вам понятным. Леонин, внук ваш, хороший и добрый малый, но в свете, Настасья Александровна, он ничего не значит; он не что иное, как маленький Леонин, офицерчик из армии, довольно бедный, никому не родня; имя его — Леонин — похоже на водевильное и вовсе ничего не имеет аристократического... одним словом, Миша ваш в свете менее нуля».

Уж если литератор, сохранявший автографы Лермонтова, не мог простить своему гениальному «коллеге» ни фамилии, ни незаконного вторжения в «большой свет», где он, Владимир Соллогуб, занимал видное место — по праву рождения, богатства и родственных связей, — то что говорить о тех, кого поэт задел своим словом — устно или письменно?

Передают, что пасквиль Соллогуба рассмешил Лермонтова. А вдруг не только рассмешил? Может быть, подлил еще одну каплю горечи в его и без того горькую «Благодарность»?

За все, за все тебя благодарю я;  
За тайные мучения страстей,  
За горечь слез, отраву поцелуя,  
За месть врагов и клевету друзей...

Во всяком случае, стихотворение это было написано как раз в то время, когда весь Петербург читал 3-й номер «Отечественных записок» — в апреле 1840 года...

Правда, от намерений «проучить» зарвавшегося «парвеню» до разыгранного, как по нотам, «убийства под видом дуэли» не так уж близко, но дыма без огня не бывает...

И все-таки необходимо освободить «политическую версию» от фантастических «примесей», от категорических крайностей. И прежде всего — от весьма наивных, хотя и эффектных рассуждений, согласно которым главой заговора был якобы сам Николай I, организовавший через полковника Траскина «убийство». И не в моральных качествах и свойствах Николая Павловича Романова суть. Объясняясь с критиками в связи с нападками на «Моцарта и Сальери», Пушкин так мотивировал свое право поверить в легенду об отравлении: «Завистник, освивставший „Дон-Жуана“, мог отравить его творца». Перефразируя Пушкина, мы вправе сказать о Николае: глава государства Российского, поставивший под горские пули «надежу русскую», какими бы соображениями он при этом ни руководствовался, уже убийца.

И все-таки организовать дуэль Николай не мог. И потому, что

был принципиальным противником дуэли, и потому, что, судя по приказу от 30 июня 1841-го, ему не было точно известно местонахождение Лермонтова (до середины июня даже Граббе не знал, где находится «беглец»). И наконец, последнее, но самое главное. Если мы допустим подобное предположение (о существовании заговора во главе с императором), нам придется также допустить, что государь, категорически повелев (30 июня 1841 года), дабы «поручик Лермонтов непременно состоял налицо во фронте и чтобы начальство не осмеливалось ни под каким предлогом удалять его от фронтовой службы в своем полку», — тут же усомнился в том, что кавказское начальство «послушается» и, чтобы «подстраховать» себя — по другим, уже не официальным каналам, — отдал еще один тайный приказ полковнику Траскину. А это допустить невозможно: во-первых, подобная подстраховка — не в характере Николая; во-вторых, полковник Траскин, которого биографическая традиция долгое время считала тайным агентом и злодеем, не был ни тем, ни другим. Это убедительно доказал, основываясь на новонайденных документах, В. Вацуро.

Траскин ловко использовал в интересах непосредственного начальника — генерала Граббе — и мелкие старческие слабости военного министра Чернышева, и свое знание придворной дипломатии. Рыцарем без страха и упрека начштаба войск Кавказской Линии и Черномории, разумеется, не был. Но без его помощи даже сам Граббе не смог бы так долго противиться «злой воле» Николая в отношении Лермонтова. Да и роль Траскина в ходе судебного разбирательства «дела о дуэли» — и это тоже доказал В. Вацуро — вовсе не сводилась, как полагали прежде, к защите Мартынова. Трезво оценив обстановку, то есть поняв, что Мартынова придется предоставить «высочайшей воле», Траскин поставил перед собой две задачи: добиться реабилитации «мальчишек» — Васильчикова и Глебова, а главное, повести разбирательство так, чтобы в ходе следствия не всплыли имена вторых секундантов — Столыпина и Трубецкого. Эти уже успели попасть в «черный список», и причастие к дуэли грозило им крупными неприятностями. И в том и в другом ловкий Траскин преуспел как нельзя лучше. Участие в дуэли и Алексея Столыпина, и Сергея Трубецкого было скрыто, а титулярного советника князя Васильчикова и корнета Михаила Глебова государь — стараниями Траскина — простил: первого «за внимание к заслугам отца», второго — «по уважению полученной им в сражении тяжелой раны».

Не меньше уточнений, чем версия об «убийстве», требует и бытующая наравне с ней романтическая легенда о «самоубийстве посредством дуэли». Так же, как и первая версия, легенда эта родилась в смутные дни после смерти поэта. «Он мне всегда говорил, что ему жизнь ужасно надоела, — писала из Пятигорска летом 1841 года очаровательная кузина Лермонтова, Катенька Быховец, — судьба его так гнала, государь его не любил, великий князь ненавидел... и тут еще любовь: он был страстно влюблен в В. А. Бахметеву; она ему была кузина; я думаю, он и меня оттого любил, что находил в нас сходство, и об ней его любимый разговор был».

Легенда эта не только красива, но и поэтична. Она даже вполне

«в духе Лермонтова». Правда, Лермонтова юного, еще не осознавшего ни себя, ни своей миссии. Но ведь легенде — на то она и легенда — дела нет до психологических и фактических оттенков; она берет предмет крупно, резко, декоративно. Но нам-то без оттенков не обойтись, хотя, конечно, трудно поверить в трагический исход дуэли — даже помня об «онегинском прецеденте» — между старыми приятелями, почти друзьями...

Да, Мартынов был обидчив, а Лермонтов насмешлив. Но к этому свойству «Маёшки» «Мартышка» (юнкерское прозвище Мартынова) привык еще по гвардейской школе, где Лермонтов насмешничал и злее, и настырнее. Но тогда, в юнкерские годы, у Мартынова не было оснований завидовать Лермонтову. А теперь — были. И завидовал он не успехам своего друга-врага в дамском обществе. Тут Николай Соломонович был слишком уж в себе уверен. И не литературной славе — на нее он и не претендовал. Это может показаться смешным, но отставной майор Николай Мартынов завидовал, и, видимо, «мучительно», — «пламенной храбрости» сосланного поручика, его репутации отличного боевого офицера, которой не смогли помешать ни «гонение», ни «опала». Потому что сам он оказался на поверку совершенно неспособным к службе в действующей армии, причем настолько, что вынужден был подать в отставку. Не помогли ни письма влиятельных людей, ни связи его отца. Все те качества, которые выделяли его во время столичных «парадировок» и «маршировок» — импозантная внешность и красивая выправка, — выглядели здесь, на Кавказе, в походных условиях, смешными. А ведь Мартынов так рвался на Кавказ, надеясь и на военное счастье, и на «чины»! Но надежды лопнули, как мыльный пузырь: этот статный, высокий красавец был попросту неспортивен, а значит, и профессионально непригоден.

И это не единственный аргумент против версии о самоубийстве. Известен рассказ Михаила Глебова, секунданта Лермонтова.

«Никаких предсмертных разговоров, никаких предсмертных распоряжений от него Глебов не слышал, — утверждал Мартынов. — Он ехал как будто на званый пир какой-нибудь. Все, что он высказал за время переезда, это сожаление, что он не мог получить увольнения от службы в Петербурге и что ему в военной службе едва ли удастся осуществить задуманный труд (уже известную нам эпопею из трех эпох жизни русского общества. — *А. М.*). И вот придется сидеть у моря и ждать погоды, когда можно будет приняться за кладку их фундамента. Недели через две уже нужно будет отправиться в отряд, к осени пойдем в экспедицию, а из экспедиции когда вернемся!..»

Никаких «предчувствий», никаких намеков на то, что «жизнь ему ужасно надоела», не содержат и последние, из Пятигорска, письма Лермонтова. Они энергичны, деятельны, и если и выделяется в них какая-нибудь навязчивая идея, так это идея отставки, которая вовсе ему не кажется невозможной.

9—10 мая 1841-го. Из Пятигорска — бабушке:

«...Я все надеюсь, милая бабушка, что мне все-таки выйдет прощенье и я могу выйти в отставку».

28 июня. Из Пятигорска. Ей же:

«Прошу вас также, милая бабушка, купите мне полное собрание сочинений Жуковского... Я бы просил также полного Шекспира, по-англински, да не знаю, можно ли найти в Петербурге; препоручите Екиму. Только, пожалуйста, поскорее; если это будет скоро, то здесь еще меня застанет. То, что вы мне пишете о словах г<рафа> Клейнмихеля, я полагаю, еще не значит, что мне откажут отставку, если я подам; он только просто не советует; а чего мне здесь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили только, выпустят ли, если я подам».

Полный Шекспир, полный Жуковский, замысел огромных — толстовского замаха — романов и страстная мечта об отставке... Ничего похожего на «предсмертную тоску» не видим мы и в чисто житейских поступках и распоряжениях Лермонтова в преддуэльные дни.

12 июля Михаил Юрьевич представил пятигорскому коменданту свою подорожную. «Явлено к выезду», — так записано в бумагах Пятигорского комендантского управления. Но выезжать сразу же, по-видимому, не собирался («недели через две, не раньше», как явствует из показаний Глебова). Вероятно, ждал известий и посылки с книгами из Петербурга. Хотел также закончить курс лечения водами. Пятигорский медик, выдавший Лермонтову свидетельство о болезни, ничуть не преувеличивал, утверждая, что поручик одержим «цынготным худосочием», сопровождаемым «ломотою ног, изъязвлением языка и десен». Это были симптомы кавказской злокачественной лихорадки, которую Лермонтов подхватил во время своей первой ссылки, в 1837 году. К 15 июля Лермонтов успел принять 29 ванн, а в день дуэли, в Железноводске, купил еще «один курс» — пять билетов на ванны № 12. Об этом известно не со слов очевидцев, которые могут ошибаться, тем более в таких мелочах. Факт зафиксирован в «Книге дирекции кавказских минеральных вод на записку прихода и расхода купленных билетов и вырученных с гг. посетителей денег за ванны на горяче-серных водах в Пятигорске на 1841 год...».

Согласитесь, что все это, вместе взятое, говорит не о самоубийственной рефлексии, а о воле к жизни, о желании действовать и подчинять себе обстоятельства...

Таковы факты. Однако параллельно с ними продолжает бытовать и легенда о Лермонтове, не желающая считаться «с тьмой низких истин»: ей нечего делать с героем, уехавшим «на Кавказ заслуживать себе отставку». Бытует и не собирается отступать перед фактами, ибо источником, из которого она добывает себе пищу, являются... стихи самого Лермонтова.

Запись в метрической книге пятигорской Скорбящей церкви: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15 июля, а 17-го погребен, погребение пето не было».

По православному обычаю, убитый на дуэли приравнялся к самоубийце. Похоронить его по церковному обряду было нелегким делом.

Дав взятку священнику, друзья поэта добились разрешения вырыть могилу на кладбище, а не за пределами его. На большее местное духовенство не решилось.

Когда-то в ранней юности Лермонтов написал странные стихи:

Кровавая меня могила ждет,  
Могила без молитв и без креста.

И вот предсказание сбылось! Тело его было предано земле без молитв: «Погребение пето не было».

Да и место первоначального захоронения, как и место рокового поединка, осталось безвестным. При перенесении праха поэта в Тарханы могилу разрыли. А могильный камень, простой и узкий, положили рядом. Разрытая могила посреди ухоженного кладбища производила гнетущее впечатление, к тому же разнесся слух, что кто-то из почитателей поэта собирался похитить надгробье. Городское начальство приказало зарыть камень.

В начале XX века, когда специальная комиссия прибыла в Пятигорск для установления точного места первоначального погребения поэта, никого из старожилов уже не было в живых. Никто не мог показать место, где зарыли беспризорный камень...

## СЕМЬ НОВЕЛЛ ВМЕСТО ОДНОГО ЭПИЛОГА

*Земле я отдал дань земную  
Любви, надежд, добра и зла,  
Начать готов я жизнь другую.  
Молчу и жду: пора пришла...*

Пока весть о смерти поэта, медленно, на почтовых скоростях, дотащилась до города его рождения, милое личико Катеньки Быховец, совсем было подурневшее от детски отчаянных слез, успело восстановить свою прежнюю смуглую матовость. Она все еще гневалась на Дмитриевского: взялся передать драгоценную теперь фероньерку и потерял. Растяпа... Чурбан бесчувственный... И доставая из бисерного ящичка подарок Мишеля (все, кто заходил в эти дни к ним, списать просили), вздрагивала, оглядываясь, — голос чудился: «Cousine, душенька, какие я вам стихи написал, чур, только не обижаться».

*Нет, не тебя так пылко я люблю,  
Не для меня красы твоей блистанье,  
Люблю в тебе я прошлое страданье  
И молодость погибшую мою...*

Тогда она обиделась, хоть и виду не подала, а теперь вот и обида прошла и глупой ревности к Варваре Александровне больше не было.

А было: солнце, молодость, и роза, сорванная Костенькой Бенкендорфом, белая роза для «belle poire» — чудо как хорошо пахла!

\* \* \*

У Екатерины Андреевны, как сообщили о Лермонтове, опять разболелось сердце, и ехать в Петербург, из зеленого Царского, в жару, да еще по железной дороге, тяжело было. Но она все-таки заставила себя встать и Лизу разбудила. Сонюшку нельзя оставлять одну.

Не обмануло предчувствие — горничная, не успев двери открыть, выпалила: барышня третий день кофий не пьет и из комнаты не выходит.

Софья Николаевна была в истерике. Лизу, однако, к себе допустила и к ужину вышла.

Екатерина Андреевна, в экзальтациях падчерицы подозревавшая болезненное, вздохнула с облегчением: старею, мнительной становлюсь. И вдруг давнее вспомнила: куклу французскую, из пленного Парижа кем-то из друзей покойного мужа для дочери его привезенную. Не по годам игрушка, но Сонюшка в восторг пришла — головка фарфоровая, нежная, под пастушек Ватто разукрашенная. Нянька молоденькая, загодя из деревни затребованная (Екатерина Андреевна на сносях была), загляделась на цапку заморскую да и обронила

ненароком. Что с Сонюшкой было! И гнев, и слезы до синевы, и обморок! Осколки фарфоровые в узелок завязала и, как в люльке, рыдая, баюкала! Николай Михайлович, близко к сердцу домашнее принимающий, велел доктора звать. Не понадобился доктор. Уснула в слезах, проснулась с улыбкой, с улыбкой и в сад убежала: пони кормить.

И нрав мотыльковый, и грация, даром, что некрасива, да и ум нраву под стать — эльф, а не женщина.

\* \* \*

Мария Алексеевна Щербатова не принимала и не выезжала вторую неделю. И штор не поднимала. Молилась. Грех страшный замаливала — радость мгновенную при страшной вести. Вот оно — отмщенье! И тут же обомлела от ужаса... С сухими глазами молилась — слез просила. И сжалился всевышний: ниспослал слезы. Светлые, легкие... Летошние, горькие, княгиня Щербатова все — до последней слезинки — выплакала.

\* \* \*

Наталья Алексеевна Столыпина, вынув из дорожного кожаного сундучка сшитое к московским свадебным торжествам платье, кликнула камердинера и дала ему два поручения — оба срочные. Отменить заказанное в дилижансе место и тайно, так, чтобы сестра не провела, на лихаче, не скупясь, привезть Марию Акимовну.

До вечера совещались тетка с племянницей, не зная, как объявить Елизавете Алексеевне кончину Мишину.

«Она сама догадалась, и кровь ей прежде пустили».

Ногам, однако, не помогло: отнялись ноги.

Обманутая покорностью, с какою сестрица приняла известие, Наталья попробовала было разговорить ее — по себе помнила: горю исход нужен, нельзя его в сердце молчком держать, и даже фразу, случаю приличную, приготовила — ту, что от Прасковьи Ахвердовой слышала, на могиле Грибоедова, женой его высеченную: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских». Но Лиза так глянула...

«Никогда не произносит она имени Мишеля и никто не решается в ее присутствии произнести имя какого бы то ни было поэта».

Даже прошение на государево имя о всемилостивейшем соизволении на перевоз тела внука из Пятигорска в Тарханы — от ее имени Афанасий писал. Арсеньева только руку, не читая, приложила, волю свою удостоверив.

\* \* \*

Преодолев раздражение, давно уже ставшее привычным в отношениях с младшей сестрой, и еще раз благословив судьбу за то, что, в обмен на «убожество», избавила от разрушительных страстей, мадмуазель Лопухина затворилась в кабинете. Три Сашенькиных письма лежали в бюваре нераспечатанными. Пробежав глазами исписанные знакомой рукой листки и убедившись, что обитатели замка Хюгелей здоровы и благополучны, Мария Александровна приступила к исполнению долга давней дружбы.

Прямой, сильный дождь впечатывал в землю жухлые листья. В доме было покойно. Свеча горела ровно и ярко:

«Последние известия о сестре моей Бахметевой поистине печальны. Она вновь больна, ее нервы так расстроены, что она вынуждена была провести около двух недель в постели. Муж предлагал ей ехать в Москву — она отказалась, за границу — отказалась и заявила, что решительно не желает больше лечиться. Быть может, я ошибаюсь, но я отношу это расстройство к смерти Мишеля, поскольку эти два обстоятельства так близко сходятся, что это не может не возбудить известного подозрения... В течение нескольких недель я не могу освободиться от мыслей об этой смерти, и искренне ее оплакиваю. Я его действительно очень, очень любила».

\* \* \*

Александр Дюма путешествовал по России, собирая дань неостывшей еще здесь, на задворках Европы, популярности (стоило шутя крикнуть: Дюма — и толпа начинала бросаться в сторону, на которую указывали).

Поездка была коммерческой; «Монте-Кристо», еженедельник, созданный королем приключенческого романа, искал новые жанры. Дюма давно запланировал русский вояж, который уже сам по себе мог стать приключенческим романом, и притом — в новом вкусе: «Voyages» входили в моду. Но Николай I не давал визы; не мог простить «Записок учителя фехтования». Не только в доме повешенного, но и во дворце вешателя нельзя было говорить о веревке. Дюма, не предвидя последствий, заговорил — сочинил роман о любви декабриста Анненкова и француженки Полины Гельб.

Но вот наконец Вешатель скончался, и граница открылась. «Я не знаю путешествия более легкого, покойного и приятного, чем путешествие по России. Услужливость всякого рода, приношения всякого вида всюду сопутствуют вам: каждый человек с положением говорит по-французски и тотчас отдает в ваше распоряжение свой дом, свой сад, свой экипаж... Денежные детали для путешественников по России не существенны. С того момента, как вас узнали или снабдили хорошими рекомендациями, путешествие делается одним из самых дешевых».

Дюма не преувеличивает: Россия, чувству знаменитого европейца, явно хотела перещеголять самого Монте-Кристо. Князь Дундуков-Корсаков, командующий Кавказским корпусом, в его честь, силами Нижегородских драгун, устроил инсценировку «схватки с Шамилем». Дюма был в восторге и подлога не заподозрил.

Дюма-отец ехал дорогой Лермонтова:

«Мы перерезали территорию Шамиля... Странная машина — человеческий ум. Знаете ли, чем занимался мой ум за это время? Невольными воспоминаниями и невольным переводом на французский язык оды Лермонтова, с которой меня познакомили в Петербурге и о которой я даже совершенно забыл. Ода называется „Дары Терека"... Никакой шум не соответствует лучше поэтическому размеру, как шум реки».

Дюма ехал дорогой Лермонтова.

Ту же дорогу осиливала умирающая Евдокия Ростопчина, сопровождаемая в одиноком своем путешествии лермонтовской строкой:



«Мы шли дорогою одной». Нет, нет, милый Михаил Юрьевич, разными! И смерти нам господь бог разные послал.

Дюма путешествовал.

Евдокия Петровна умирала.

Стояло лето 1858 года. Евдокия Петровна занемогла еще прошлой весной, но ни она сама, ни домашние не хотели видеть болезни, объясняя ее печальными обстоятельствами. Дома — ад. Девочки пугливы, робки, дурно одеты. Муж раболепствовал перед тронувшейся умом матерью. Чтобы угодить ей, часами низал ожерелья из стеклянных бусин — в подарок крепостным новобрачным: грошовое благотворительство было вторым, после разноцветных попугаев, хобби Ростопчиной-старшей. Свекровь, не выходя из своих покоев (не комнаты, а вольеры для экзотических птиц), знала о каждом шаге невестки: и кто в гости зашел, и о чем говорил, и до какого часа сидели.

Когда-то Катишь, кухня, так завидовала ее апартаментам, и особенно кабинету. В последние годы, когда обстоятельства заставили Ростопчиных переехать к свекрови, у Евдокии Петровны не то что кабинета, гостиной не было: спальня, темная каморка и комната для прислуги — это все, что соблаговолила выделить неугодной невестке графиня Екатерина.

Додо, уже больная, продолжала выезжать и, целуя дочерей, которых отец и бабка не пускали из дому, объясняла: «Меня упрекают в том, что я люблю выезды и стараюсь не оставаться дома. Пусть бы мои обвинители попробовали, какова моя домашняя жизнь».

Девочки не возражали — они обожали мать.

Но год назад, в обществе, домашний врач хозяйки, сидевший во время обеда визави с Додо, вполголоса сказал приятелю графа Андрея Федоровича: «Предупредите графа Ростопчина, его жена опасно больна, у нее все признаки рака...»

Ростопчин, женившийся от нечего делать и долгие годы изводивший жену тайной ревностью к ее писательской популярности, к ее отдельной, независимой от него жизни, перед лицом смертной беды повел себя неожиданно: затосковал, растерялся, не спросив у матери, кинулся в Петербург, к знаменитому спириту Юму — молва утверждала, что на счету у кудесника несколько чудесных исцелений. Умолял, обещал бешеные деньги, но Юм отказался, сославшись на то, что болезнь запущена.

Граф был еще в Петербурге, когда в Москве объявился Дюма. Знаменитый романист, знакомый с Ростопчиным еще по Парижу, был слегка неравнодушен к графине. Но не эти давние сентименты заставили его нанести визит. Автор «Монте-Кристо» собирался переводить Лермонтова, а может быть, даже и роман о нем написать, ему нужны были подробности. Петербургские гиды на все его вопросы об авторе «Героя...» только разводили руками — мелькнул, де, как комета, не успев оставить след в памяти. Дюма настаивал, и ему посоветовали обратиться к Ростопчиной. Графиня обещала сообщить все, что знает и помнит, Дюма откланялся, на том и расстались.

Евдокия Петровна принялась за работу. Она писала легко и даже слегка кокетничала этим, хотя и понимала, что легкость, без приложения труда на обработку, вредила достоинству ее слога.

Но жизнь бежала так быстро, а издатели теребили — им нужно было имя, делающее сбор.

Заказ Дюма требовал не просто обработки — тщательной отделки слова и фразы; он исключал украшения и небрежность; впервые в жизни она писала просто и чисто:

«Созрев рано, как и все современное ему поколение, он уже мечтал о жизни, не зная о ней ничего, и таким образом теория повредила практике. Ему не достались в удел ни прелести, ни радости юношества; одно обстоятельство, уже с той поры, повлияло на его характер и продолжало иметь печальное и значительное влияние на его будущность. Он был дурен собой, и эта некрасивость, уступившая впоследствии силе выражения, почти исчезнувшая, когда гениальность преобразила простые черты его лица, была поразительна в его самые юные годы. Она-то и решила его образ мыслей, вкусы и направление молодого человека с пылким умом и неограниченным честолюбием».

Работа продвигалась медленно. Иногда по одной фразе в день. Боли становились все мучительней, передышки случались все реже и и делались все короче — опиум больше не действовал.

«Главная его прелесть заключалась преимущественно в описании местностей: он сам, хороший пейзажист, дополнял поэта — живописцем; очень долго обилие материалов, бродящих в его мыслях, не позволяло ему привести их в порядок, и только со времени его вынужденного бездействия на Кавказе начинается полное обладание им самим собою, осознание своих сил и, так сказать, правильное использование своих различных способностей».

Сентябрь подходил к концу, а графиня все еще не могла исполнить заказанную ей работу. Обессилев от болей, посылала дочерей к Иверской божьей матери — ставить свечи и молиться, чтобы смерть положила конец ее страданиям.

Дочери торопливо исполняли комиссию и стремглав бросались домой в страхе не застать мать в живых.

А Евдокия Петровна работала, и фраза ее была точна, как скальпель уже ненужного ей хирурга:

«Возможно ли, — сказал он секундантам, когда они передавали ему заряженный пистолет, — чтобы я в него целил?»

Целил ли он? Или не целил? Но известно только то, что раздалось два выстрела и что пуля противника смертельно поразила Лермонтова.

Таким образом окончил жизнь... поэт, который один мог облегчить утрату, понесенную нами со смертью Пушкина.

Странная вещь! Дантес и Мартынов оба служили в Кавалергардском полку».

Письмо графини Ростопчиной, как и договаривались, Дюма получил в Пятигорске, но ответить уже не смог: Евдокии Петровны Ростопчиной-Сушковой уже несколько недель как не было в живых.

Романа о Лермонтове Дюма так и не написал, но семь стихотворений, созданных в последние два года жизни поэта, перевел, стремясь, насколько это было в его возможностях, сохранить оригинальность подлинника.

Выбор также подсказала Ростопчина:

«От времени второго пребывания в этой стране войны и величественной природы исходят лучшие и самые зрелые произведения нашего поэта.

Поразительным скачком он вдруг самого себя превосходит, и его дивные стихи, его великие и глубокие мысли 1840 года как будто не принадлежат молодому человеку, пробовавшему свои силы в предшествовавшем году; тут уже находишь больше правды и добросовестности в отношении к самому себе, он с собою более ознакомился и себя лучше понимает, маленькое тщеславие исчезает, и если он сожалеет о свете, то только в смысле воспоминаний об оставленных там привязанностях...»

Письмо Ростопчиной Дюма также опубликовал сразу по приезде в Париж.

Это была первая, не только на Западе, но и в России биография Лермонтова. Потом появились другие, но мемуарное письмо Е. П. Ростопчиной не затерялось и среди солидных монографий.

\* \* \*

На Кавказ, однако, ехать пришлось — из чужой земли гроб дорогой вызволить. Не доверила матушка комиссию эту молодым Иванам — Вертюкову да Соколову, — за старшего в поезде похоронном его, Соколова Андрея, назначила. И дом, по смерти боярыни, на него же оставили. Вольную дала, а, умирая, потребовала: не дослужил господину при жизни его — памяти дослужи...

«Когда мы приехали в Тарханы и вошли в господский дом, то он оказался пустым, т. е. в нем никто не жил, но порядок и чистота в доме были образцовыми, и он был полон мебели, какая она была 18 лет назад... Нас встретил тот самый дворовый человек, бывший с Лермонтовым на Кавказе, и, узнав о цели нашего посещения, стал водить нас по дому и рассказывать о прошлом. Затем он повел нас наверх, в мезонин, в те именно комнаты, в которых жил, находясь в Тарханах, Лермонтов. Там, как и в доме же, все сохранилось в том виде и порядке, какие были во времена гениального жильца. В запертом красного дерева со стеклами шкафе стояли на полках даже книги, принадлежащие поэту».

То ли очевидец запомнил, то ли Андрей Николаевич за восемнадцать лет жительства в пустом доме уверовал, что именно он, а не однофамилец его Иван Соколов, при питомце своем до последнего дня находился... Сторожил верный дядька храм земного бытия Мишеньки — память его берег, не ведая, что начинается другая — вечная жизнь Михаила Лермонтова...

## Примечания

С. 8 Дом, где родился М. Ю. Лермонтов, впоследствии был куплен богатым купцом Голиковым. Вот как описывал это ныне не существующее здание Н. П. Розанов, член Московского археологического общества, предпринявший в середине шестидесятых годов прошлого века своего рода экспедицию по поиску материалов к биографии поэта: «Я был на месте, где дом Голикова. Если ехать от дебаркадера Николаевской железной дороги, то, приближаясь к Красным воротам, по правой руке, против самих Красных ворот, на углу, вы бы увидели огромный каменный дом в три этажа, беловатого цвета... Этим домом начинается Садовая улица, ведущая к Сухаревской башне». Н. П. Розанов установил также, что крестил Лермонтова «замечательный протоиерей» Николай Петрович Другов, пользовавшийся в свое время известностью как человек образованный и просвещенный. Церковь также была «замечательной» — патриаршей.

Факты эти свидетельствуют о серьезности, с какой Е. А. Арсеньева, бабка поэта, отнеслась к рождению внука: и акушерка, и поп, и церковь, где первенца ее дочери опустили в купель, — все должно было быть не просто приличным, а *самым лучшим*.

С. 8 Карамзин мечтал написать историю своего времени, — не написал, но вид сожженной пожаром 1812 года столицы, рассказы очевидцев помогли ему создать картину другого «пожара московского» во времена Ивана Грозного: «21 июня, около полудня, в страшную бурю, начался пожар за Неглинною, на Арбатской улице, с церкви Воздвижения; огонь лился рекою и скоро вспыхнул Кремль, Китай, Большой посад. Вся Москва представляла зрелище огромного пылающего костра, под тучами густого дыма. Деревянные здания исчезали, каменные распадались, железо рдело, как в горниле, медь текла. Рев бури, треск огня и вопль людей от времени до времени был заглушаем взрывами пороха, хранившегося в Кремле и в других частях города. Спасали единственно жизнь; богатство, праведное и неправедное, гибло. Царские палаты, казна, сокровища, оружие, иконы, древние хартии, книги, даже мощи святых истлели».

С. 11 А. М. Тургенев вспоминает в своих «Записках»:

«Приехал в Москву Симбирский дворянин Алексей Емельянович Столыпин... У дворянина был, из доморощенных парней и девок, домовый театр — знатная потеха... Каждую неделю доморощенная труппа крепостных актеров ломала, потехи ради Алексея Емельяновича и всей почтеннейшей асамблеи — трагедию, оперу, комедию, и сказать правду, без ласкательства, комедь ломали превосходно».

Среди столыпинских крепостных актеров была Варвара Насова, впоследствии жена критика Н. Страхова. Театр был, видимо, привезен не просто для потехи, но и для продажи в казну, то есть в распоряжение дирекции императорских театров. Распродавать своих «амуров» и «психей» («по одиночке») А. Е. Столыпин не желал, и отнюдь не из гуманных соображений: понимал, что труппа хороша в «ансамбле». Цену владелец домового театра заломил крутую — 42 тысячи. Александр I нашел ее слишком высокой и велел поторговаться. 74 артистические «души» были проданы в казну за 32 тысячи; даже с этой «потерей» сделка оказалась выгодной и необходимой: дочери были на выданье. Когда открылся Малый театр, столыпинские актеры передали ему; они составили костяк первой труппы знаменитого впоследствии театра.

С. 14 Об особом пристрастии Е. А. Арсеньевой к домоводству свидетельствует и ее личная библиотечка, небольшая, но собранная старательно и разумно — ничего лишнего, только самое необходимое и полезное: «Хозяин и хозяйка, или Должность господина и госпожи, соч. Ф. К. Гермесгаузена» (М., 1789); «Добрая хозяйка, или Подробное описание того, как сия сельская хозяйка должна смотреть за своим домом и за всеми к нему принадлежностями, также за скотным и птичьим двором». Перевод с французского (М., 1789); «Новый и совершенный русский садовник, или Подробное наставление российским садовникам и огородникам», «Сады, или Искусственные разные виды», сочинение Делиля, перевел А. Воейков (Спб., 1817); «Полный и всеобщий домашний лечебник. Творение Г. Бухана, славнейшего в нынешнем веке врача» (М., 1790—1792).

Судя по датам изданий, библиотечка пополнялась дважды: в первые годы после замужества, и после 1817 года, когда Арсеньева, продав старый дом и построив неподалеку новый, решила заложить и правильные сады, для чего и приобрела самое современное пособие по садоводству.

С. 19 Продукция винокуренных заводов, принадлежавших градеду Лермонтова, по всей вероятности, имела широкий сбыт и в самой Пензе. В 1801 году упраздненное пензенское губернаторство было восстановлено, и в городе началось бурное строительство дорогостоящих каменных зданий, полагающихся по статусу административному центру. Прежде всего были сооружены острог и гауптвахта, затем «помещение для умалишенных». При таком широком размахе «благоустройства» никак не обойтись без питейных домов. Описывая в «Тамбовской казначейше» провинциальный русский город, в котором «зданье лучшее острог», Лермонтов имел в виду не только Тамбов, — недаром именно эта (топографическая подробность) была изъята из текста при первой публикации поэмы в журнале «Современник» в 1838 году. В той же поэме Лермонтов упоминает и еще об одной типичной достопримечательности провинциального города:

Там два трактира есть, один  
«Московский», а другой «Берлин».

С. 21 Безупречной выправки Александр I требовал от своей армии не только в мирное время, но и в походных условиях. 28 июля 1815 года А. А. Закревский, дежурный генерал Главного штаба, занес в свой дневник: «Вступили в Париж 2-я Кирасирская и 3-я Гренадерская дивизии с 4-мя артиллерийскими ротами. Государь арестовал командиров полков Сибирского — полковника Потулова, 26-го Егерского — подполковника Медведея и 29-го — подполковника Татаринова и посадил... на гауптвахту за то, что полки дурно прошли». А. П. Ермолов вступился было за боевых, отличных командиров, но вызвал лишь «высочайшее неудовольствие».

С. 25 Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — русский государственный деятель, юрист, дипломат, с 1808 года — доверенное лицо Александра I. В 1812 году был обвинен в государственной измене, отстранен от дел и сослан. С 1816 года — пензенский губернатор; с 1819-го — генерал-губернатор Сибири. Друг брата Е. А. Арсеньевой — Аркадия. В распри Е. А. Арсеньевой с Ю. П. Лермонтовым принял сторону Арсеньевой (13 июня 1817 года засвидетельствовал завещание бабки поэта, разлучавшее отца с сыном до совершеннолетия последнего). Возвращаясь из Сибири в Петербург в 1821 году, сделал большой крюк, чтобы навестить Елизавету Алексеевну в Тарханах. В семье Столыпиных был своего рода культ Сперанского — великого мужа, не понятого современниками. М. М. Сперанский, как известно, был специально отмечен Наполеоном (Наполеон подарил Сперанскому свой портрет) как единственный замечательный ум в окружении русского императора, что вызвало тайную зависть и явное неудовольствие Александра I. Есть некоторые основания предполагать, что стихотворение М. Ю. Лермонтова «Великий муж! здесь нет награды...» посвящено М. М. Сперанскому.

С. 33 Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — публицист, философ, общественный деятель. Принадлежал к славянофильской группе, но был достаточно самостоятелен в своих убеждениях. Даже Е. П. Ростопчина в антиславянофильском памфлете «Дом сумасшедших в Москве» отмечает особое положение Самарина в этом кругу.

...Как занесло  
В круг смешной и дикой дури  
Европейский светлый ум?..

О беспощадной строгости Самарина, причем не только к людям, но и к самому себе, пишет И. С. Аксаков: «Никто не относился к себе с такою беспощадной строгостью, никто не подвергал себя такому самобичеванию, как он сам, и именно потому, что природо ему был дан талант иронии и сарказма необычайный».

Об этом свойстве личности Ю. Ф. Самарина необходимо знать, ибо она, во многом, объясняет и внутреннее состояние, и внешнее поведение Лермонтова во время их свидания в Москве в 1841 году. Это была своего рода интеллектуальная дуэль двух очень сильных натур. Ни Самарин, ни Лермонтов не желали чувствовать себя «поддавшимися» проницательной силе и иронии противника.

С. 37 Александр Аркадьевич Столыпин, внук Дмитрия Алексеевича и Екатерины Аркадьевны, передавая семейное предание, пишет: Алексей Монго «считался самым красивым человеком в России. Такова же была и его сестра, Мария Аркадьевна Вяземская, которая в семидесятилетнем возрасте производила на меня впечатление античного изваяния. Говорят, что Николай I, гордившийся своей внешностью, ревновал Столыпина к его светским успехам и даже не скрывал своей нелюбви к нему». Мемуарист приводит такой факт из биографии своего двоюродного деда: «Под Севастополем он отличился большой храбростью и был представлен к Георгиевскому кресту. Узнав об этом и продолжая свою своеобразную оппозицию, он подал прошение о замене Георгиевского креста Станиславом

на шею, так как намерен выйти в отставку, а при фраке и белом галстуке Станиславский крест красивее. Дерзость эта не имела последствий за смертью обоих действующих лиц этого странного и неравного состязания».

Прощение о замене ордена было не первой дерзостью, какую позволил себе Столыпин-Монго, дразня Николая. Однажды, зная наверняка, что разрешения не будет, он отправил на высочайшее имя просьбу о выдаче ему заграничного паспорта. О мере бешенства в какое привела Николая выходка Столыпина, свидетельствует наложенная императором резолюция: «Никогда, никуда». «Эта совершенно исключительная резолюция, — повествует автор вышеуказанных мемуаров, — надела в свое время много шума».

С. 101 Публикуя предсмертное письмо Николая Михайловича к Николаю I (Карамзин скончался 22 мая 1826 года), П. Бартнев, редактор «Русского архива», делает такое примечание: «Николай Павлович на другой день приезжал поклониться его телу и заливался слезами. Одиннадцать лет спустя он плакал о Пушкине; посылал наследника к его телу и ранним утром, когда еще было темно, приходил к дому кн. Волконского на Мойку и спрашивал дворника о здоровье поэта».

Слезы, если это не легенда, не помешали Николаю проявить «необыкновенную суровость»... После поспешной и почти тайной панихиды царь, как известно, выслал гроб с телом Пушкина из Петербурга — опасаясь волнений. Чувства — это чувства, а государственная необходимость — это государственная необходимость. Даже подвиг 14 декабря государь император, «самодержец всероссийский и прочая, и прочая, и прочая», допустить не мог: не то что беспорядок — призыв беспорядка подлежал немедленному — хирургическому — искоренению.

С. 159 В Петербургском университете сыновья столичных аристократов держались особняком, не сливаясь с демократической массой. Говорили только по-французски, приезжали на занятия в собственных экипажах, позволяли себе выходить из аудитории во время лекций. Да и уровень преподавания, несмотря на реформу, оставался низким. Вот как характеризует один из бывших студентов самого популярного в то время преподавателя — А. В. Никитенко:

«Аудитория его всегда была полна... Речь Никитенки отличалась плавностью и изяществом, была оживлена, даже иногда юношески восторженна. Что же касается предмета его лекций, «Теории прозаической и поэтической словесности», то не думаю, чтобы эта теория обогатила кого-либо из слушателей положительными знаниями. Блистательная импровизация симпатичного профессора была не что иное, как «переливание из пустого в порожнее». Правда, среди бывших питомцев Петербургского университета были и Иван Сергеевич Тургенев, и А. Майков, но образованием они, по их собственному признанию, обязаны были себе, своему любознанию, а не университету.

С. 162 Гвардия учреждена в начале царствования Петра I из его «личных» полков — Преображенского и Семеновского. Сначала пополнялась только дворянами, позднее стали допускаться переводы из армии и прием рекрутов. По Петровской системе каждый дворянин, определившийся в военную службу, прежде чем сделаться офицером армии, должен был поступить рядовым в один из гвардейских полков и прослужить до тех пор, пока царь не утверждал его баллотировку в офицеры. До 1722 года гвардия не имела никаких преимуществ; лишь по приказу от 22 января 1722 года офицеры гвардии получили «старшинство двух чинов против армейских». При Елизавете Алексеевне гренадерская рота преобразенцев именовалась лейб-компанией. В лейб-компанейской роте, или как ее стали называть позднее — корпусе, служил прадед Лермонтова А. Е. Столыпин, — по причине сверхвысокого роста.

С. 196 В «Маскараде» страшный и странный мир постоянных игроков предстает в столичном антураже, «Гамбовская казначейша» предлагает провинциальный вариант: грубый, но более простодушный. Лермонтов назвал эту поэму «сказкой»; то же слово употребляет В. Белинский, однако «сказочка», даже если понимать этот термин так, как понимали его в ту пору (нравоучительный анекдот, повествовательный «концентрат» с напряженным сюжетом и парадоксальной развязкой), рождена отнюдь не поэтическим воображением. Подобного рода сюжеты в изобилии поставляла действительность русской жизни! Например, широкое хождение имела одна бль о екатерининском вельможе Пассеке. Французский путешественник, познакомившись с «екатерининским орлом» в тот момент, когда тот был генерал-губернатором Могилева, оставил свидетельство: «Я был представлен наместнику... Он сказал мне: «Мы проводим вечера за картами у Марьи Сергеевны, а кто не хочет играть, тот танцует». Деньг, выручаемых за карты, хватало на содержание дома Марьи Сергеевны, и доход от банка покрывал расходы наместника. Марья Сергеевна — жена отъявленного игрока майора Салтыкова, который, проиграв Пассеку все свое состояние, поставил на карту жену и проиграл и ее. Говорят, будто эта потеря менее всего огорчила его, хотя Марья Сергеевна была еще молода и хороша собою. Пассек, назначенный генерал-губернатором Белоруссии, увез ее в Могилев». В «Записках» Ф. Ф. Вигеля, с которым Лермонтов встречался в салоне Карамзиных, рассказывается о пензенском помещике Колокольцеве... Вскоре после Пугачевского бунта в Пензе целый год стоял драгунский полк. Полком командовал некий Исленьев, человек смелый, предприимчивый и собою молодец: рослый, плечистый. Он сумел понравиться жене Колокольцева Елизавете Григорьевне. Об этом знала вся Пенза, ничего не подо-

ревал лишь Колокольцев. Наконец, полку приказано было выступать, и для влюбленных «настала минута разлуки». Колокольцев, как хлебосольный хозяин, пригласил драгун в свое имение и закатил, как водится, пир на весь мир. И вот, когда поднялась последняя чаша за здравие отъезжающих, Елизавета Григорьевна вдруг встала и со слезами на глазах объявила, что не имеет сил расставаться с пригожим Исленьевым и «готова следовать за ним всюду»... «Все гости, — повествует Вигель, — поражены были сим театральным ударом». Колокольцев умолял жену не покидать его и детей, Елизавета Григорьевна заколебалась, но Исленьев показал в открытое окно, как солдаты выносят сундуки, в которые госпожа Колокольцева уложила накануне свои пожитки. Колокольцев велел было дворне остановить солдат, но Исленьев обратил его внимание на конный эскадрон, готовый по знаку полковника «окружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным»...

Об этой истории, трогательной, при всем ее комизме, произошедшей в ту пору, когда бабушка Лермонтова была еще ребенком, пензенские обыватели наверняка бы забыли, если бы не ее конец... Лет двадцать спустя, Колокольцев нашел беглянку и несмотря на протесты выросших сыновей привез домой. Пенза изумилась, начались пересуды...

Елизавета Алексеевна, как и все Столыпины, была прекрасной рассказчицей; Лермонтов любил слушать сохранные ее памяти «пензенские были». Так что нет ничего невероятного в том, что и эта «сказочка» со счастливым концом стала известна ее внуку. Во всяком случае, и в образе казначейши, и в том «театральном ударе», каким обрывается поэма «И бросила ему в лицо свое венчальное кольцо», есть нечто трогательно-простодушное, роднящее рассказанный «онегинским размером» «тамбовский анекдот» скорее с рассказом Вигеля, чем с историей жены Салтыкова, несмотря на, казалось бы, полную идентичность сюжетного рисунка.

С. 204 Муж одной из дочерей Карамзина, Екатерины, князь Петр Мещерский, нигде не служил; в царствование Николая, да еще в Петербурге, это было чуть ли не единственное исключение. Однажды П. И. Мещерский был приглашен на крестины к своему родственнику. Восприемником новорожденного вызвался быть сам государь, любивший подобного рода церемонии (в его представлении они способствовали чистоте нравов). Естественно, был большой переполох — «трепет и щепетильность»; в суете хозяева слишком поздно обратили внимание, что князь Мещерский явился не в мундире, как все остальные гости, а во фраке. Выяснив, что нарушение этикета вызвано объективной причиной, хозяин дома растерялся, но, по счастью, быстро нашелся. Неслуживого князя загнали в дальний угол, велели молчать, укромного места не покидать до конца приема, а вместо «фигового листка» вручили огромную треугольную шляпу. Так и простоял весь вечер бедный Петр Иванович, прикрывая неуместный черно-белый «фасад» золотым шитьем форменной шляпы! Шляпа была куда больше, чем «фиговый лист», и все обошлось: Николай не заметил в толпе черно-белую фрачную «ворону».

Зато во время маскарадов, даже придворных, царь сквозь пальцы смотрел на самые вольные туалеты, даже — на своих дочерях. Так, на одном из маскарадов в Михайловском дворце, хозяйкой которого была великая княгиня Елена Павловна, любимая дочь Николая — Мария — появилась в наряде предводительницы эльфов: тонкая и без того талия стянута в рюмочку, а юбочка укорочена до такой степени, что все до единого убедились, какие изящные и хорошенькие ножки у старшей царевны!..

С. 229 Лермонтов вступился за честь Пушкина как поэт: бросил в лицо его убийцам всего лишь *слово*, но его не случайно наказали за слово так, как будто это было делом. Иначе защитить невинного он, в условиях России, не мог. То, чего не смог сделать ни один русский человек, сделал польский поэт Адам Мицкевич. Он послал Дантесу «картель» и написал, что считает себя обязанным драться на дуэли с убийцей Пушкина, своего друга, и что если Дантес не трус, Мицкевич явится к нему в Париж. Заочный вызов на дуэль был опубликован в журнале, но ответа, естественно, не последовало.

С. 229 *Чаадаев* Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель, автор трактата «Философические письма» (1829—1831); первое письмо опубликовано в «Телескопе» (1836, № 15). Журнал был немедленно запрещен, Болдырев, цензор, отстранен. Надеждин, издатель, послан в Усть-Сысольск. Чаадаев же Николай I приказал объявить сумасшедшим и обязать подпиской ничего не сочинять.

По свидетельству современников, П. Чаадаев очень надеялся, что его двусмысленное положение «государственного сумасшедшего» со временем поправится, благодаря помощи всеисильного Алексея Федоровича Орлова, ближайшего помощника Николая I (сам Чаадаев был знаком с временщиком «со школьной скамьи»). Но годы шли... «Лет десять спустя после постигшей Чаадаева опалы граф... заехал навестить приятеля. При прощании он, уже в шубе, остановился перед Чаадаевым и, переменяя тон, с озабоченным видом обратился к нему, говоря: „Ах, я забыл у тебя спросить, скажи, пожалуйста, что ты такое написал против папы? Зачем ты это сделал? Что тебе за охота была с ним связываться?“ И уходя, добавил: „Вот и нажил себе неприятности!“ Чаадаев, писавший о важном значении и пользе католичества и желавший видеть его торжество даже в России, был поражен как громом... Граф все забыл и перепутал...» (А. В. Мещерский. Воспоминания).

При всей выразительности приведенного эпизода, он упрощает ситуацию: Алексей

Орлов не просто забыл и перепутал, как и многие; он не понял того, что написал Чаадаев, не понял глубинной мысли «Философического письма», налицо было подозрительное инакомыслие, оно подлежало суду, но суть ускользала от судий.

Впрочем, и на людей с куда более высоким интеллектуальным потенциалом сильнее действовал сам факт открытого несогласия с общепринятой системой, чем философическая концепция Чаадаева как таковая. Вот как воспринял «Философическое письмо» А. Герцен, находившийся в те годы в административной ссылке в Вятке:

«Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, все равно, надобно было проснуться. Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкшей к независимому говору, что «Письмо» Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию... Мысль томилась, работала — но еще ни до чего не доходила. Говорить было опасно — да и нечего было сказать; вдруг тихо поднялась какая-то печальная фигура и потребовала речи для того, чтобы спокойно сказать свое *lasciate ogni speranza*.\* «Письмо» Чаадаева — безжалостный крик боли и упрека петровской России... Разумеется, такой голос должен был вызвать против себя оппозицию, или он был бы совершенно прав, говоря, что прошедшее России пусто, настоящее невыносимо, а будущего для нее вовсе нет».

Лермонтов познакомился с Чаадаевым в мае 1840 года в Москве, в доме М. Погодина на обede в честь именин Н. Гоголя.

Судя по всему, заметка в записной книжке, подаренной В. Ф. Одоевским (датируется весной 1841 года), представляет собой конспект лермонтовской «оппозиции» на «Философическое письмо» Чаадаева:

*«У России нет прошедшего; она вся в настоящем и будущем.*

Сказывается сказка: Еруслан Лазоревич сидел сиднем двадцать лет и спал крепко, но на двадцать первом году проснулся от тяжкого сна и встал, и пошел... и встретил он тридцать семь королей и семьдесят богатырей, и побил их, и сел над ними царствовать. Такова Россия».

С. 232 Дубельт Леонтий Васильевич (1792—1862) — начальник штаба корпуса жандармов, с 1839-го одновременно управляющий III Отделением. Правая рука А. Х. Бенкендорфа. Решением императора был приставлен к бумагам покойного Пушкина. Лермонтову об этом было известно — на полях черновика «Смерти Поэта» он изобразил профиль Дубельта. Леонтий Васильевич Дубельт, хотя и дальними, но достаточно осозаемыми узами был связан с семейством Столыпиных, чем неоднократно пользовалась Елизавета Алексеевна Арсеньева, хлопоча за внука. Выразительный портрет Дубельта дан А. И. Герценом в «Былом и думах»:

«Дубельт — лицо оригинальное, он, наверно, умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу — явно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, то есть выражали тонкую смысленность хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость. Он был всегда учтив».

В начале 1850 года за сына Дубельта полковника Михаила Леонтьевича вышла замуж младшая дочь Пушкина — шестнадцатилетняя Наталья Александровна.

С. 266 «Автомат», в который Николай I превратил Россию, был задуман как беспрерывно действующий. Ничто не должно было стоять на месте, все куда-то неслось, перемещалось, но при этом неизменно возвращалось к исходной точке. Западная армия, например, состояла из четырех пехотных корпусов, и каждый имел свой центр: Вильна, Варшава, Киев и Гомель. Однако через каждые три года (дабы войска не сливались с жителями и не призывали к оседлой жизни) корпус из Варшавы шел в Киев, из Киева — в Гомель, из Гомеля — в Вильну, и из Вильны — в Варшаву; в двенадцать лет исполнялся полный круговорот: корпусы возвращались на прежние квартиры. Этот большой «круг», обременительный для армии и разорительный для края, — кто-то из остроумцев назвал «вальсом войск вокруг Польесья». Вальс начинался осенью; весной войска двигались на лагерные сборы; в зимние месяцы изобретались иные причины для перемещений...

Автомат двигался, спусковой механизм находился в руках владыки, по сему даже утренний кофе и чаепитие царской семьи не имели постоянного места:

«В Парском или Петергофе по утрам можно было видеть большой запряженный фургон, нагруженный нагретым самоваром и корзиной с посудой и булками. По данному сигналу фургон мчался во весь опор к павильону, назначенному для встречи. «Ездовые» с развезающимися по ветру плюмажами скакали на ферму, в Знаменское, в Сергеевку: предупредить великих князей и великих княгинь, что императрица будет кушать кофе в Ореанде, в «мельнице», в «избе», в Островском, на Озерках, в Монплизире... словом, в одном из тысячи причудливых павильонов... Через несколько минут можно было наблю-

\* Оставь всякую надежду (*ut*).



дать, как великие князья в форме, великие княгини в туалетах, дети в нарядных платьях, дамы и кавалеры свиты поспешно направлялись к намеченной цели...) (А. Ф. Тютчева).

Беспрерывно перемещался и сам Николай. Но вовсе не потому, что страдал психическим расстройством. Автомат размером во всю Россию, а также «проче, прочее и прочее» — был слишком велик, чтобы можно было «царствовать лежа на боку», не опасаясь за тот или иной винтик в его устройстве. Недаром он говорил маркизу де Кюстину: «Расстояния — наше проклятие». Преодоление расстояний стало родом гимнастического упражнения, поддерживающего в государственной форме и дух, и плоть самодержца. Самодержец из всех сил держал сам себя «на уровне». А уровень, как полагал Николай Павлович, был установлен прашуром, Петром, и умнейший человек России благословил его, Николая, на этот подвиг: «Во всем будь прашуру подобен». Во всем — не выходило, но одному из заветов Петра: «Государю полезно путешествовать по своей земле и замечать, что может служить к пользе и славе государству», — он неуклонно следовал. Но так как по натуре был не «работником на троне», а всего лишь ревизором, квартальным надзирателем, которому, вместо одного квартала, волею случая вручили огромную страну, то, путешествуя, замечал мало и главным образом, то, что ни к пользе, ни к славе служить не могло...

С. 263 А. И. Одоевскому посвящено одно из последних стихотворений Н. П. Огарева «Героическая симфония Бетховена». Простившись с Герценом («Памяти друга»), сочинив и себе ироническую «Эпитафию» («Умираю утомленный злом общественных скорбей»), Николай Платонович вернулся памятью к светлой личности поэта-декабриста.

Я вспомнил вас, торжественные звуки,  
Но применил не к витязю войны,  
Но к людям доблестным, погибшим среди муки  
За дело вольное народа и страны.

С. 269 «Император разрешил этот перевод единственно по неотступной просьбе любимца своего, шефа жандармов А. Х. Бенкендорфа... Это было, если не ошибаюсь, перед праздником рождения 1837 года. Граф сейчас отправился к «бабушке». Перед ней стоял портрет любимого внука. Граф, обращаясь к нему, сказал, не предупредая ни о чем: «Ну, поздравляю тебя с царской милостью». Старушка сейчас догадалась в чем дело и от радости заплакала» (М. Н. Лонгинов).

С. 280 Карамзина Софья Николаевна (1802—1856) — дочь Н. М. Карамзина от первого брака с Е. И. Протасовой. Согласно общепринятому мнению, — умная, образованная, широко начитанная женщина. Не опровергая расхожую характеристику, считаю необходимым привести несколько свидетельств современников, которые позволяют стереть хрестоматийный глянец с образа «хозяйки красной гостиной»:

«Софи была очень некрасива... крупные и грубые черты, глаза, окаймленные страшными, черными бровями, мужской рост — делали ее несколько похожей на переодетого женщиной Пьеро. И тем не менее под этой некрасивой оболочкой скрывалась какая-то обаятельность, какая-то женственная грация или, лучше сказать, грация мотылька; грация мотылька чувствовалась и в ее уме, который так любил перепархивать от одного предмета разговора на другой и порхать по цветущим верхам мысли, но всего больше грации мотылька было в ее счастливом детском характере, умевшем горячо и глубоко наслаждаться маленькими ежедневными радостями жизни и видеть, как наслаждаются ими другие» (А. Ф. Тютчева).

«Софья Николаевна с одинаковым интересом и таким же вниманием беседовала, как с человеком самым умным, так и с самым ограниченным, что нередко нас изумляло. Она в этом случае напоминала знаменитую госпожу Рекамье» (А. В. Мещерский).

«Собирался тесный кружок молодых людей; рекрутский набор лежал на Софье Николаевне, которую мы называли «бедная Сонюшка»: она летом и зимой рыскала по городу в изодранных башмаках, вечером рассказывала свои сны, ездила верхом и так серьезно принимала участие в героинях английских романов, что иногда останавливала лошадей и кричала: «Вон, совсем как тот вид, каким восхищалась Камила в замке» (А. О. Смирнова-Россет).

«У Карамзиных затевается спектакль, бал и чуть ли не карусель (конноспортивная игра в манеже). Екатерина Андреевна ничего не хочет, но дети хотят и, следовательно, будет... Машеньку (дочь П. Вяземского. — А. М.) завербовали Карамзины в свою комедию. И ей не хотелось, и мне не хотелось, но слезы, вопли и настойчивость Софьи Николаевны все превозмогли» (П. А. Вяземский).

С. 300 В представлении Е. П. Ростопчиной дружба между натурами незаурядными не относилась к числу «простых чувств». В поэтическом послании к одной из своих истинных подруг, Софье Мещерской, Евдокия Петровна писала: «Повстречаться... дело очень простое для умов обыкновенных, для душ низкого слоя: это просто видеться друг с другом говорить, наблюдать друг друга, разбирать, кто как входит, смотрит, говорит, как одет, и, расставшись, тотчас позабыть друг о друге. Повстречаться... для душ избранных: это сердцем говорить, тотчас же понять друг друга... свои наклонности и свои мысли сводить к одному и, возносясь вместе к небесным высотам, назначать себе свидание в общей будущности» (подстрочный перевод с французского).

«Общей будущности» у Е. П. Ростопчиной и М. Ю. Лермонтова не оказалось; урочное свидание не состоялось. Но и «разговор сердцем», и понимание, и обоюдная потребность «сводить наклонности и мысли к одному» — по всей вероятности, были...

На смерть Лермонтова Ростопчина откликнулась стихами. Однако куда более выразительно ее письмо к А. О. Смирновой-Россет от 20 декабря 1842 года: «Я провела несколько часов моего длинного дня, повторяя... пролетающим тучам: „Тучки небесные, вечные странники!“ И эта нежная поэтическая песня наполнила мое сердце нежным запахом прошлого, пробуждая в моей душе образ печальный и мечтательный, а теперь покоящийся и немой... Пустота, которую оставляют отсутствующие, дает себя жестоко чувствовать».

Справедливости ради надо отметить, что Е. П. Ростопчина, несмотря на высокий настрой души, обладала умом наблюдательным и даже саркастическим. Незадолго до смерти она написала «Дом сумасшедших в Москве» — остросатирический групповой портрет московских славянофилов. Портрет эскизен, подмеченная еще Лермонтовым «небрежность ее стиха» видна в этом наброске с особенной очевидностью, но в остроте социального зренья автору не откажешь. В этом убеждает хотя бы следующая характеристика реакционного журналиста М. Н. Каткова, редактора «Русского вестника», избравшего мишенью своих нападок славянофильский журнал «Беседу»:

Здесь Катков — кружка *Беседы*  
Нареченный супостат...  
*Вестник* враг ей... до обеда, —  
А потом... ей станет брат!..

Не ищите убежденья  
У редакторов иных:  
Их пружина — вверх стремленье  
И потребность благ земных!

Во избежание кривотолков, родственники отговорили Евдокию Петровну печатать слишком резкий памфлет. Он увидел свет лишь в 1885 году, в приложении к знаменитому «Дому сумасшедших» А. Ф. Воейкова.

С. 316 А. Ф. Тиран, сослуживец Лермонтова по лейб-гвардейскому Гусарскому полку, от которого нам известна юнкерская кличка Н. С. Мартынова, «homme fegosse», приводит в своих воспоминаниях эпизод из жизни «Пестрого эскадрона», весьма выразительно характеризующий убийцу поэта как человека амбициозного, привыкшего самоутверждаться в мелочах — рассудку вопреки и зачастую — себе во вред:

«...Бывало, явится кто из отпуска поздно ночью: Ух, как холодно! — Очень холодно? — Ужасно — Мартынов в одной рубашке идет на плац, потом, конечно, болен. Или говорят: А здоров такой-то! Какая у него грудь славная! — А разве у меня не хороша? — Все же не та. — Да ты попробуй, ты ударь меня по груди. — Вот еще, полно. — Нет, попробуй, я прошу тебя, ну ударь! — Его и хватят так, что опять болен на целый месяц».

## Основные издания произведений М. Ю. Лермонтова

Стихотворения М. Лермонтова. Спб., 1840

Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. Часть I и часть II. Спб., 1840.

Лермонтов М. Ю. Сочинения / Под ред. П. А. Висковатого. В 6-ти т. М., 1889—1891.

Лермонтов М. Ю. Иллюстрированное полное собрание сочинений / Под ред. В. В. Каллаша. В 6-ти т. М., 1914—1915.

Лермонтов М. Ю. Полное собрание сочинений / Редакция текста и комментариев Б. М. Эйхенбаума. В 5-ти т. М.; Л.: Academia, 1935—1937.

Лермонтов М. Ю. Сочинения. В 6-ти т. М.; Л., 1954—1957.

Лермонтов М. Ю. Собрание сочинений. В 4-х т. М.; Л., 1958—1959.

## Литература о М. Ю. Лермонтове

- Андроников И. Л. Лермонтов в Грузии в 1837 году. Тбилиси: Заря Востока, 1958.
- Андроников И. Л. Лермонтов. Исследования и находки. М.; Худож. лит., 1964.
- Белинский В. Г. Стихотворения М. Лермонтова. — Собр. соч. В 9-ти т. М.: Худож. лит., 1978, т. 3.
- Белинский В. Г. Герой нашего времени. Сочинение М. Лермонтова. — Там же.
- Вырыпаев П. А. Лермонтов. Новые материалы к биографии. Воронеж: Центр.-Черномоз. кн. изд-во, 1972.
- Герштейн Э. Г. Судьба Лермонтова. М.: Сов. писатель, 1964.
- Дурылин С. Н. Как работал Лермонтов. М.: Мир, 1934.
- Иванова Т. А. Москва в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова. 1827—1832. М.: Моск. рабочий, 1950.
- Лермонтов в воспоминаниях современников / Сост., подготовка текстов, вступит. статья и примеч. М. И. Гиллельсона и В. А. Мануйлова. М.: Худож. лит., 1964.
- Лермонтовская энциклопедия. М: Изд-во Советская энциклопедия, 1981.
- Мануйлов В. А. Лермонтов в Петербурге. Л.: Лениздат, 1964.
- Мануйлов В. А. Летопись жизни и творчества М. Ю. Лермонтова. М.: Л: Наука, 1964.
- Недумов С. И. Лермонтовский Пятигорск. Ставрополь, 1974.
- Попов А. В. Лермонтов на Кавказе. Ставрополь, 1954.
- Сушкова (Хвостова) Е. А. Записки. 1812—1841 / Редакция, введение и примечания Ю. Г. Оксмана. Л.: Academia, 1928.
- Щеголев П. Е. Книга о Лермонтове. Л.: Прибой, 1929, вып. 1—2.
- Эйхенбаум Б. М. Лермонтов: Опыт историко-литературной оценки. Л.: Госиздат, 1924.
- Эйхенбаум Б. М. О прозе. Л: Худож. лит., 1969.

## Основные издания Лермонтова-художника

- М. Ю. Лермонтов: Каталог выставки в Ленинграде. М.; Л., 1941.  
М. Ю. Лермонтов: Картины и рис. поэта; Ил. к его произведениям. Л., 1964.  
Лермонтов: Картины; Акварели; Рисунки. М., 1980.

## Оглавление

<i>Нафи Джусойты. Постижение характера</i> . . . . .	5
Глава первая . . . . .	8
Глава вторая . . . . .	43
Глава третья . . . . .	72
Глава четвертая . . . . .	110
Глава пятая . . . . .	151
Глава шестая . . . . .	178
Глава седьмая . . . . .	226
Глава восьмая . . . . .	271
Семь новелл вместо одного эпилога . . . . .	317
Примечания . . . . .	323
Основные издания произведений М. Ю. Лермонтова . . . . .	330
Литература о М. Ю. Лермонто- ве . . . . .	331
Основные издания Лермонтова-художника . . . . .	332

**Алла Максимовна Марченко**  
**С ПОДРОЖНОЙ**  
**ПО КАЗЕННОЙ НАДОБНОСТИ**

Зав. редакцией *Т. В. Громова*  
Редактор *М. Я. Фильштейн*  
Художественный редактор *И. К. Борисова*  
Технический редактор *А. З. Коган*  
Корректор *Л. Г. Медведева*

ИБ № 1149. Сдано в набор 02.02.84. Подписано к печати 27.08.84.  
А11088. Формат 60X90<sup>1/16</sup>. Бум. офс. №2 60 г. Гарнитура  
«Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Усл. кр.-отт. 42,0.  
Уч.-изд. л. 26,38. Тираж 200 000 (100 001—200 000) экз. Заказ № 134.  
Изд. № 3672. Цена в бумвиниле 2 р., в коленкоре 2 р. 10 к.  
Издательство «Книга», 125047, Москва, ул. Горького, 50.  
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при  
Государственном комитете СССР по делам издательств, по-  
лиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Сво-  
боды, 97.



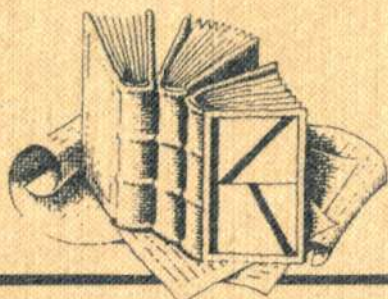
М23 Марченко А.

**С подорожной по казенной надобности.** — М: Книга, 1984. — 335 с. — (Писатели о писателях).

Роман в документах и письмах посвящен личности М. Ю. Лермонтова — человека и поэта. События жизни поэта даются через призму его творческих исканий, творческого возмужания. Духовный облик Лермонтова раскрыт во всем его величии и обаянии. В книге использованы рисунки поэта.

М  $\frac{470201200-086}{002(01)-84}$  75-84

2 р. 10 коп.



---

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «КНИГА»**

---

В 1985 году в серии «Писатели о писателях»  
выйдут следующие книги:

Гордин М. А. Жизнь Ивана Крылова  
Рассадин Ст. Сатиры смелый властелин  
Олдингтон Р. Стивенсон  
Форстер М. Записки викторианского джентльмена

